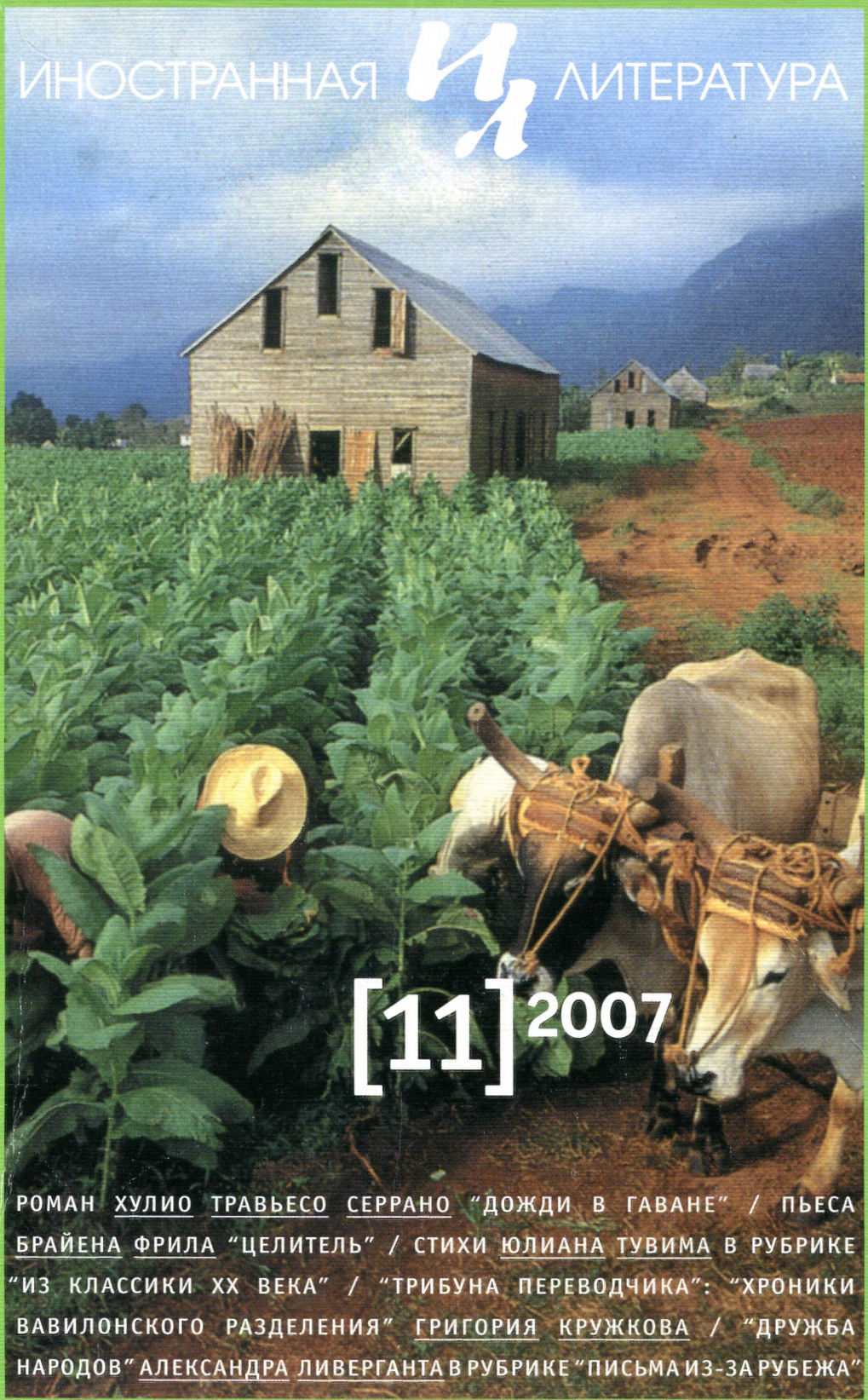
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[11] 2007

РОМАН ХУЛИО ТРАВЬЕСО СЕРРАНО "ДОЖДИ В ГАВАНЕ" / ПЬЕСА БРАЙЕНА ФРИЛА "ЦЕЛИТЕЛЬ" / СТИХИ ЮЛИАНА ТУВИМА В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / "ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА": "ХРОНИКИ ВАВИЛОНСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ" ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА / "ДРУЖБА НАРОДОВ" АЛЕКСАНДРА ЛИВЕРГАНТА В РУБРИКЕ "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА"

Основан в 1891 году

[11]
2007

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Хулио Травьесо Серрано *В Гаване идут дожди.* Роман. Перевод с испанского Маргариты Былинкиной

149 Брайен Фрил *Целитель.* Пьеса. Перевод с английского и послесловие Марка Дадяна

181 *"Мы слишком одержимы прошлым".* О Брайене Фриле беседуют Майк Мёрфи, Финтан О'Тул, Деклан Киберд и Патрик Мейсон. Перевод с английского Е. Скрылевой

187 *"Вы находитесь здесь".* Стихи. Переводы с итальянского Евгения Солоновича, Яны Арьковой. Вступление Евгения Солоновича

195 Режис де Са Морейра *Книжник.* Фрагменты романа. Перевод с французского и вступление Натальи Мавлевич

Из классики XX века

215 Юлиан Тувим *"Любовь в дожде нараспашку."* Стихи и афоризмы. Перевод с польского и вступление Анатолия Гелескула

Статьи, эссе

229 Гай Давенпорт *Три эссе.* Переводы с английского Анастасии Власовой, Дмитрия Воеводы

Трибуна переводчика

243 Григорий Кружков *Хроники вавилонского разделения*

Путешествие по книге

257 Татьяна Венедиктова *О происхождении лиц "кавказской национальности"*

Письма из-за рубежа

268 Александр Ливергант *Дружба народов*

Среди книг

272 Ирина Дементьева, Зиновий Цукерман *Немцы – не немцы*

БиблиоФИЛ

277 *Издательские планы. "Я убежден: будущее литературы в прошлом".* С Дмитрием Волчеком, главным редактором издательства "Kolonna publications", беседует Светлана Силакова

282 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Авторы номера

283

© "Иностранная литература", 2007

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

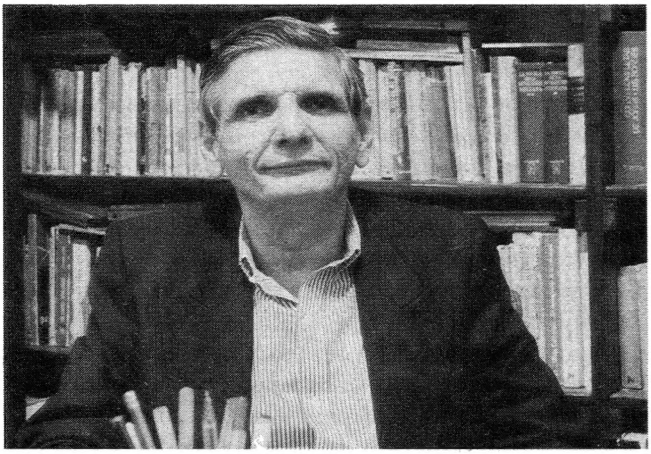
О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Н. В. Елисеева
Е. Ю. Леонова
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Хулио Травьесо Серрано



В Гаване идут дожди

Роман

Перевод с испанского Маргариты Былинкиной

Маргарите Былинкиной,
Александру Сухостату

...все дни суетной жизни он проводит как тень.

Екклесиаст. 6:12

Всё было сплошным вселенским смехом,
И это всё зовется историей.

Хулио Кортасар *Игра в классики*

I

Слезы в душе у меня,
Как над городом слезы дождя.

Поль Верлен

Ливень всей своей мощью внезапно обрушился на Гавану, как это бывает в сезон дождей. Тяжелые струи яростно хлестали крыши и улицы, но дождь так же внезапно кончился, уступив место глухой тишине, поглотившей, как мне казалось, все звуки и шорохи.

© Julio Travieso Serrano, 2004
© Маргарита Былинкина. Перевод, 2007

Часы на стене тоже остановились — ровно за минуту до полуночи, — словно предвещая беду в ту майскую ночь 1992 года.

И тут явилась Моника. Открылась тайна ее исчезновения.

Она вошла и сказала:

— Я умираю.

Умереть, почить, упокоиться, погибнуть, скончаться, скапуститься, угаснуть, muri, morire, to die — как много есть слов в испанском и других языках, обозначающих одно и то же событие, единственное и универсальное, частное и всеобщее, схожее и разноликое, происходившее до человека, до Земли и до Галактики — гибель материи, исчезновение энергии, окоченение, конец и начало.

— Мы с тобой умрем. Сначала я, потом ты.

— Когда?

— Наверное, через год-два, может, и позже, но так обязательно будет. А до того еще придется мучиться и страдать.

Меня пугали не столько муки и страдания, сколько тот самый момент, когда вдруг начнешь задыхаться, жадно хватать ртом воздух и провалишься во тьму, точно шагнув во мрак кинозала.

— Да что такое стряслось?

— Все это по моей вине, — сказала она, всхлипывая и прижимаясь ко мне.

По ее вине? Я тихо поцеловал Монику в лоб. Надо было забыть свои собственные страхи и найти какие-то слова утешения и ободрения.

— Знаешь... — сказала она, плача и все еще отвергая мои нежности, а значит, и саму жизнь. — Как только придет боль, я покончу с собой.

Я покончу с собой, ты покончишь с собой, мы покончим с собой, когда придет боль, завтра или через год-два, кто знает когда, — все это звучало, как в мелодраме. Но в те минуты было совсем не до мелодрамы.

— Я тоже умру. Вместе с тобой, — сказал я и, сжав руками ее голову, посмотрел в заплаканные глаза, красивые, как никогда.

— Поклянись, что не бросишь меня, даже если я превращусь в страшенную ведьму, морщинистую и беззубую. Поклянись.

— Клянусь, — ответил я и снова поцеловал ее. — Клянусь тебе, моя дорогая, любимая.

С тех пор великое множество оборотов сделали стрелки часов, настенных часов, сопровождающих меня всю мою жизнь, висевших когда-то в доме моих родителей, а еще раньше — в доме моих дедов, прадедов и далеких предков, часов, купленных, возможно, самим Фелипе Валье, старейшим из известных мне представителей нашего рода; часы переходили из поколения в поколение. Их деревянные створки открываются каждые полчаса, и наружу выскакивает аккуратная труженица-кукушка, которая той ночью не захотела выпрыгнуть из гнезда, видимо устав без отдыха отсчитывать чьи-то часы.

Сейчас кукушка, откуковав, спокойно спит, а я вспоминаю о Монике, моем друге, моей возлюбленной, моей любви. Я вспоминаю ее дневник, слова и рассказы. Обычно она не вдавалась в подробности, но то, о чем она умалчивала, я угадывал, представлял себе и словно сам все слышал и все видел.

Я расскажу ее историю и свою собственную — нашу историю. Это повесть о том, как Моника исчезнет, затерявшись, утонув в Гаване, в этом прекрасном, уродливом, грязном, порочном городе. Я стану ее ис-

кать, но не найду. А однажды она сама вернется, но для любви и жизни уже не останется времени, которого теперь непременно должно хватить для того, чтобы поведать обо всем произошедшем с нами.

Одиннадцать раз повторила кукушка свое "ку-ку", и я вышел на улицу, чтобы, как обычно, совершить долгий вечерний променад. Раньше, когда у меня было собственное жилье, я любил сидеть дома и читать. Мои близняшки-дочери спали, моя жена Бэби смотрела телевизор. Меня не прельщал этот ящик с фантомными картинками. Порой, когда выключали электричество или передача становилась совсем тошнотворной, мы беседовали. В те времена я много читал. А позже, когда познакомился с Моникой, полюбил длительные вечерние прогулки. "Тебя прирежут", — говорили мне, однако я не мог отказать себе в удовольствии — одном из немногих, еще остававшихся, — побродить в ночи, в изумительной гаванской ночи. Разве она не хороша?

На меня угнетающе действует замкнутое пространство, и потому я всегда наслаждаюсь простором, воздухом, особенно на берегу моря. Я брел, ни о чем не думая и не выбирая пути, полагаясь на инстинкт, а иногда следовал за бездомной собакой или кошкой, задерживаясь лишь у какого-нибудь прекрасного здания начала века — из тех, что когда-то с таким энтузиазмом возводила гаванская буржуазия и в садах которых — о, кубинское чудо из чудес — все еще цвели красные розы. До чего же приятно видеть, что кто-то до сих пор наслаждается розами, по утрам заботливо их поливает.

Кто это делает? Престарелая сеньора? Красивая молодая женщина? Хорошо бы вот так вместе с ними поливать в саду эти самые розы.

Улицы, как обычно, были темны, изрыты колдобинами. Привлекшее меня старинное здание соседствовало с современным домом — угловатым коробом, откровенной безвкусицей, и я снова и снова поражался тому, каким образом могут рядом сосуществовать прекрасное и уродливое и как они уживаются? Красавица и Чудовище, инь и ян, два лика Януса? И перед ними стоял я и констатировал сей факт, чтобы сохранить его в памяти, я — римский патриций V века, глядящий на конницу варваров возле фонтанов в Риме. Меня всегда забавляли такие сопоставления, нравилось перевоплощаться в Святого Августина, ощущать себя совсем не тем гаванцем, каким я был и каков есть.

Старые и новые дома оставались позади, я шел дальше, вглядываясь в тени, скользя взглядом по окнам, разговаривая сам с собой, — еще один ненормальный в городе ненормальных и неврастеников, — спрашивая себя, что делают в эту минуту там и тут люди в своих жилищах, провожая глазами стаи парней, мчащихся на велосипедах и похожих на вспугнутых птиц, глядя на влюбленные парочки в каждом темном углу. Почти всегда мои блуждания завершались на набережной Малекон, у самого моря. Я люблю море, мне нравится смотреть на приливы и отливы, чередующиеся без отдыха и роздыха, безразличные ко всему, кроме своего исконного предназначения — лизать берег и шлифовать камни. Прибой всегда был и будет после всех нас. Наша жизнь сама как морской прибой с его вечной пляской волн. Приливы и отливы, то радости, то беды. С давних пор и по сей день отхлынувшая волна ко мне не возвращается.

Однажды поздним вечером, когда я в конце своего пути стоял и курил у моря возле отеля "Националь", со мной поравнялась молодая девушка.

Она была очень хороша собой, а мне даже показалось, что на всем свете нет женщины прекраснее и соблазнительнее. Ей пришлось остановиться, чтобы зажечь сигарету, но все ее попытки были безуспешны. Боковой морской ветерок игриво гасил спичку за спичкой. Я шагнул к ней и, предложив зажигалку, помог зажечь сигарету, на мгновение вспыхнувшую огоньком.

– Thanks, – сказала она.

– Пожалуйста, – ответил я, и она обернулась ко мне.

Ее груди походили на две круглые маленькие дыни, в которые мне тут же захотелось впиться зубами. У нее были зеленые глаза, и все в ней напоминало мою супругу Бэби двадцатилетней давности.

Судя по ее внешности, одежде и манерам, я понял, что эта женщина – не для кубинцев. Было ясно, что ей просто предназначено быть с иностранцами.

– Я приняла тебя за иностранца, – сказала она тихо.

– Да, меня обычно принимают за еврея-сефарда, родившегося в Сингапуре и возмужавшего в Маутхаузене.

Ответ прозвучал насмешкой, и с моей стороны было неразумно, даже совсем глупо подобным образом вступать в разговор с этой очаровательной особой, которая выглядела гораздо моложе меня и, понятно, должна была развернуться и уйти, оставив обалдевшего идиота с носом.

– А я думала, что ты индус с Брахмапутры, – сказала она очень серьезно и чуть громче.

Ответила шуткой на шутку?

С минуту мы молча курили, глядя на море. В ее движениях была какая-то напряженная торопливость, словно она хотела поскорее разделаться с сигаретой. Видимо, ее что-то беспокоило.

– У тебя все в порядке? – спросил я, ожидая в ответ нечто вроде "А тебе что за дело?" или "Отвали". Но нет. Она ответила очень вежливо:

– Да. Спасибо.

– Как тебя зовут?

– Моника. Моника Эстрада Пальма.

Когда-то я был знаком с внучкой первого президента Республики Куба. Может быть, она окажется его правнучкой или кем-нибудь в этом роде?

– Ты родственница президента?

– Какого президента?

– Дона Томаса Эстрады Пальмы[1].

Она что-то слышала об Эстраде Пальме, но точно не могла сказать ни кто он такой, ни когда был президентом. Ей были неизвестны и другие президенты, правившие после 1906 года. Она их не знала и знать не собиралась.

Имеет ли она понятие об истории Кубы? Чуть позже я выяснил, что ей знакомы имена Марти, Гомеса и Масео[2], но не более того. Может быть, она вообще нигде не училась? Не похоже.

1. Томас Эстрада Пальма (1835–1908) – первый президент Республики Куба (1902–1906), сторонник сотрудничества с США. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Хосе Хулиан Марти-и-Перес (1853–1895) – кубинский философ, поэт, публицист, один из организаторов освободительной борьбы против испанского господства, национальный герой Кубы; Хосе Мигель Гомес (1858–1921) – президент Республики Куба (1909–1913); Антонио Масео-и-Грахалес (1845–1896) – один из руководителей борьбы Кубы за независимость от Испании.

— Разве в школе тебе ничего не рассказывали о кубинских президентах? — спросил я.

— Думаю, рассказывали, но меня никогда не интересовала история.

Тут Моника впервые улыбнулась, а легкий морской бриз шевельнул ее волосы.

— А тебя как зовут? — спросила она и, получив ответ, задала следующий неизбежный вопрос: — Чем ты занимаешься?

— Домами.

— Архитектор?

— Вроде того, — нагло соврал я. — А ты что делаешь?

— Укрепляю международные отношения.

Ветер с моря усилился, и я швырнул окурок в воду, где он немного поплавал, прежде чем утонуть.

Я не спросил ее, каков род этих отношений. В наши времена лучше поменьше спрашивать.

Мимо проходил торговец жареным арахисом, его монотонные выкрики сливались в заунывную погребальную молитву: "Маní, маní, маní, бери маní, бери маní..." и затихали вдали.

— Когда-нибудь и я займусь решением международных дел, — сказал я.

Она тоже деликатно промолчала, не поинтересовавшись, каких таких дел.

— Ну и как тебе живется? — Мой взгляд снова скользнул по ее груди.

— Да так, не жалуюсь.

— Не хотела бы ты со мной укрепить национальные отношения? — спросил я, постаравшись улыбнуться как можно приятнее, хотя и со значением. Мой опыт общения с женщинами показывает, что иногда надо действовать решительно, даже напропалую, если не хочешь упустить свой шанс.

Она смерила меня взглядом.

— Почему бы и нет? Может, знакомство с тобой мне пригодится.

Эта девушка была прямодушна и чистосердечна и не ходила вокруг да около. Таких не часто встретишь.

— Чудесно! — воскликнул я. — Давай сделаем вместе по глоточку?

Такое приглашение было весьма смелым шагом с моей стороны, ибо долларов в моем кармане явно не хватало, чтобы пригласить ее в нормальный бар, как она того заслуживала. Единственным местом, где мы могли бы выпить, была моя квартирка или какое-нибудь злачное место.

— Который теперь час?

Я взглянул на свои старенькие советские часы, когда-то подаренные дочерьми.

— Часы остановились, но должно быть около десяти.

— Тогда в другой раз. Сегодня мне надо кое с кем поговорить, всего лишь поговорить. Пойдем, прогуляемся еще немного.

— Как хочешь. Прогуляемся. Это я как раз и делаю. Гуляю.

Какое разочарование. При виде маленьких круглых дынь у меня разыгрался аппетит и очень захотелось их съесть. Но, видимо, все шло к тому, чтобы ограничиться одной болтовней, да еще, возможно, с *хинетерой*, а мое мнение об их культуре и интеллекте было не слишком высоким. Впрочем, в тот вечер никаких других, более интересных занятий у меня не намечалось.

Мы неспешно прошлись по Малекону и свернули на Рампу, мило беседуя. Неподалеку от улицы М она протянула мне руку.

— Вот я и пришла, — кивнула она на угловое здание.

— Когда мы снова увидимся? — спросил я с трепетом душевным. Сейчас станет ясно, понравился ли ей собеседник.

— В понедельник. Ты смог бы в десять?

— Где?

— Здесь, на Рампе. Ладно, до скорого... — сказала она и направилась к дверям дома.

— Знаешь, — почти крикнул я ей вслед, — ты самая красивая на свете!

Она обернулась и, улыбнувшись, помахала рукой.

Жить вообще трудно, а жить на Кубе и быть *хинетерой* совсем худо. Правда, и тут есть свои плюсы, например возможность часто бывать в отелях, на пляжах, дискотеках и в других увеселительных местах; получать доллары, позволяющие досыта и вкусно поесть, хорошо одеться, купить аппаратуру (телевизор "Sony" с двадцатью одним каналом, видеомагнитофон, компакт-диски).

Проституция и проститутки — слова древнейшие и всеми так или иначе употребляемые. Однако понятие *хинетера* родилось и вошло в обиход только на острове Куба. Словарь Королевской академии испанского языка в издании 2001 года так толкует это слово: "Хинетера, ж., Куба. Проститутка, клиентами которой являются иностранцы". Правильно, но неточно, ибо это слово бывает и мужского рода, обозначая проституток-мужчин, так называемых *хинетеро*, как обычного обслуживания, так и нетрадиционного.

Причина, по какой *хинетера* имеет дело исключительно с иностранцами, проста и всем известна: у кубинцев нет столько иностранных денег, чтобы оплачивать услуги такой партнерши.

Однако мы поведем разговор не о *хинетерах* вообще. Нас интересует одна из них — Моника. Да еще другая, по имени Малу́.

Все-таки было бы несправедливо и неправильно назвать Монику обыкновенной *хинетерой*. Для кубинца *хинетера* — это та женщина, что идет на улицу, туда, где толкутся иностранцы, и ждет, пока кто-нибудь из них ее снимет. Моника же на улицу не выходила. Со своими иностранными клиентами она знакомилась на дискотеках или с помощью кубинских сводниц, находивших для нее мужчин, которые почему-либо застряли на Кубе и могли регулярно оплачивать ее услуги, иными словами, временно содержать. Они или приезжали к ней на дом, или увозили ее в свои апартаменты либо в отель. Можно сказать, что она была *хинетерой* высшей категории, эксклюзивной *хинетерой* или, точнее, женщиной, меняющей иностранных любовников и позволяющей себе делать выбор. Во времена нашего знакомства она была свободна. Почему? Да потому что устала подчиняться вкусам и капризам иностранцев, которые порой ведут себя грубо и по-скотски. Ей захотелось устроить себе небольшие каникулы, отдохнуть, не думая о будущем. К тому же она скопила немного денег и могла какое-то время безбедно существовать.

Мы познакомились рядом со знаменитым гаванским отелем "Националь", местом любовных авантюр и центром революционных событий. Предложив ей свою зажигалку, я взирал на нее с откровенным вож-

делением, ибо груди Моники, хотя и небольшие, но округлые и упругие, были именно такими, какие мне всегда нравились. Мы беседовали и прогуливались по набережной Малекон, которая, несмотря на тусклые фонари, завораживает ярким светом луны, похожей на большую желтую тыкву, и баюкающим шумом волн, бьющихся о прибрежные камни. Мы говорили о всякой ерунде и распрощались как старые знакомые, а я все продолжал гадать: кто же она такая? По всей видимости, *хинетера*, но хотелось знать о ней больше и — почему бы нет? — приятно провести с ней ночь-другую.

Рассказ идет о женщине по имени Моника, но и о ее новом знакомом тоже не мешало бы кое-что сообщить. Ведь и его жизнь была полна всяких событий и разных напастей. Впрочем, говоря о напастях, трудно сказать, кому досталась худшая доля в этом мире... А потому придется рассказать не только о ней. Сумею ли?

Таких, как я, называли обменщиками, хотя следовало бы называть агентами по обмену жилплощади. В других странах существуют, например, коммерческие или биржевые агенты, агенты по продаже недвижимости, а я был агентом по обмену.

— Чем же все-таки занимается такой человек? — спросила меня одна старая сеньора, которая, видимо, была не в курсе того, что делается в нашей стране. Может, она спала без просыпу все тридцать лет, а может, попросту не высовывала носа на улицу или впала в маразм.

Я терпеливо втолковывал ей, что при сложившихся обстоятельствах у нас нельзя купить дом, а потому, если кому-нибудь срочно захочется изменить жилищные условия, он может обменять свое жилье на другое, прибегнув к моим услугам, услугам посредника. Если, например, у вас есть квартира из двух комнат, а какой-то сеньор живет в трехкомнатной квартире, но хочет иметь меньшую жилплощадь, я вас свожу друг с другом, и в итоге обе стороны мне платят за услугу. Не так много, но хватает, чтобы выжить.

Раньше у меня было более доходное занятие — я менял валюту, то есть обменивал песо на доллары и наоборот. Например: доллар за семь песо, за десять — покупаю, за двадцать, за пятьдесят — покупаю, покупаю, доходит до семидесяти, тысячи людей бегут из страны на плотах из автопокрышек, песо падает, доллар растет до ста, ста двадцати за песо — покупаю, падает доллар, растет песо — продаю, правительство объявляет о государственной поддержке экономики — продаю, покупаю...

Валютным обменом я промышлял до тех пор, пока полиция не задержала моего компаньона, и мне пришлось покончить с этой увлекательной нелегальной деятельностью.

Обменщик или валютчик — занятия гораздо более приятные и чистые, нежели могильщик или мусорщик. Освоить эти две профессии мне предложили после того, как выгнали с последней работы. В ту пору моя жена Бэби и мои близняшки-дочки еще заполняли мою жизнь.

— Куда пойдешь работать? — спросила Бэби с некоторым беспокойством.

— Могилы рыть или мусор собирать, — пробормотал я, еле ворочая языком.

— Могилы, мусор! — Ее беспокойство сменилось удивлением. — Ты же блестящий журналист!

— В Министерстве труда для меня больше ничего не нашлось, — выдавил я из себя. — Только это или рубка тростника в Камагуэе.

— Что ты будешь делать? — В ее голосе уже слышалась явная тревога. — Если не пойдешь работать, тебя могут засудить по закону о тунеядцах. — Тревога уступала место ужасу.

— Не пойду никуда, и пусть делают, что хотят, — твердо сказал я.

— Как же мы будем жить? Моей зарплаты не хватит. — Ужас перешел в отчаяние.

— Что-нибудь найдется, — сказал я не слишком уверенно. Мне тут же вспомнился доктор Томас, персонаж Милана Кундеры, который в Чехословакии был вынужден стать мойщиком витрин. И гулял себе доктор по Праге, отмывая до блеска стекла и заводя знакомства с прекрасными дамами. Я бы не глядя согласился на такую работу, да вот сотрудник министерства ничего подобного мне не предложил. Наверное, потому, что в Гаване нет обычая мыть витрины в торговых заведениях.

Однако случается и везение. По ходатайству моего прежнего шефа Алехандро Рохаса меня направили в один старый книжный магазин. Прекрасных дам я там не встретил, но нашел массу никчемных африканских, советских, болгарских, киргизских и других авторов, славных бумагомарателей, которых мне надо было осилить, равно как и понять все эти цифры и опыты по химии в книгах для чтения.

Разочаровавшись в подобном занятии и стремясь улизнуть из-под надзора невежды-администратора, сообщавшего начальству, что, мол, я во время рабочего дня читаю не то, что надо, и недостойно комментирую события нашей жизни, я перебрался на другое место, потом опробовал второе и третье на государственной службе, но всякий раз натыкался на ту же никчемность и безалаберность. Наконец, когда мне опостылело слушать всех, кому не лень командовать, и когда Бэби с двойняшками, увы, осталась в прошлом, я покончил с карьерой государственного служащего и стал помощником одного старика, который вместе со своим сыном занимался частной перевозкой вещей на разбитом допотопном грузовичке. Старик перевозил по всему городу мебель, холодильники и телевизоры. Узнав о моей исконной профессии, он стал называть меня поэтом. "Давай пошевеливайся, поэт!" — кричал он с балкона четвертого этажа, когда я, пыхтя, старался сдвинуть с места огромный дубовый стол, чтобы накинуть на него ремни подъемника. Когда стол поднимался вверх, он представлялся мне животным с четырьмя лапками в цепких когтях орла. "Давай!" — повторял старик, и мы с его сыном под беспощадно палящим солнцем приспосабливали для подъема белые стулья, которые, болтаясь в воздухе, напоминали корабельные паруса. "Эй ты, поэт! Не спи!" — кричал старый капитан со своего мостика, и я, спотыкаясь, из последних сил двигал к подъемнику очередного мастодонта — тяжеленный, отслуживший свой век советский холодильник. Позже, к вечеру, у меня гудели ноги, ломило все суставы и ныла спина. Я долго и упорно растирал себя мазями, чтобы умаслить, ободрить свое перетруженное тело.

Каторжный труд пошел мне на пользу. Я окреп и натренировался для долгих хождений в поисках обменных жилищ. Такие поиски увенчивались не только успехом в делах. Одна приятная сеньора, чей муж слишком часто бывал в отъезде, выказала желание сменить не только квартиру. И мы с ней вступили в бурные интимные отношения, кото-

рые, однако, ограничились двумя или тремя встречами, поскольку передо мной замаячила угроза душевно привязаться к сеньоре. В моем же положении мне нельзя было ни к кому привязываться. То, чему мы часто и с радостью предаемся, то, что доставляет удовольствие и превращается в привычку, очень не хочется терять.

Моника стала исключением из правила, за что я дорого заплатил.

Иной раз на новой работе мне приходилось испытывать неприятные минуты, когда клиент, искавший себе другое жилье, вдруг оказывался бывшим сослуживцем, который сделался большим начальником, или однокашницей, которая стала известным доктором. "Карамба! — восклицали они при виде меня. — Ты — обменщик?!" Ибо ни для кого не было секретом, что так называемые обменщики занимают не слишком высокую ступень на кубинской социальной лестнице. В ту пору (теперь уже — нет) они стояли вровень с уличными торговцами и таксистами. Я свыкся с обстоятельствами и при таких милых встречах отшучивался: "Да вот, сколачиваю капиталец", а сам думал: "Да пошел ты... Зато я — свободный человек, а ты пляшешь под дудку начальства и просиживаешь штаны на работе". Впрочем, подобные мысли — лишь глупый способ самоутверждения. На самом деле я тоже не был свободен, а мои старинные приятели жили (теперь уже — нет) значительно лучше.

Так вот, в тот день, когда я познакомился с Моникой, я спал допоздна и проснулся разбитым, в ужасном настроении. Чтобы поднять дух, мне пришлось пропустить стаканчик рому и слегка перекусить, затем я отправился в свой обычный поход. Первый визит был в один обшарпанный особняк на улице Линеа, где меня встретил хозяин, старик неопределенного возраста, и предложил сесть в кресло с ободранной спинкой.

Внезапно пошел дождь. Не иначе как климат серьезно испортился, ибо дождь шел теперь почти каждый день.

— Взгляните на мой дом, это просто чудо, вы убедитесь сами, — сказал он, и смотрины начались.

В комнатах на потолках зияли огромные дыры, как темные дупла в гнилых зубах, стены были в струпьях, как спина прокаженного, а вместо стекол в окнах красовались картонные заплаты.

— Ну как, а? Потрясающий дом. Раньше он принадлежал маркизе Тургуано, моей бабушке, царствие ей небесное. — Старик был явно навеселе.

На этот раз случай свел меня с аристократом.

— Да. Дом неплох. Мне встречались и похуже, — подтвердил я, но старик, казалось, меня не слушал. Рядом с ним на маленьком столике стояла открытая бутылка рома. Заметив мой взгляд, он взял бутылку и предложил выпить.

Ах, ром! Бесшабашный сын сахарного тростника, самый лучший в мире друг и приятель.

Я с удовольствием принял приглашение. Старик налил себе и аккуратно наполнил мой стакан. Я отпил с наслаждением. Разговор, видно, предстоял трудный и долгий, и оттого еще больше хотелось выпить. Чудесный напиток, под стать старику-аристократу, который видел свой конец, но благородства не терял. Спустя какое-то время в бутылке уже просвечивало донышко, а старый хозяин завершал рассказ о своей бабушке, сеньоре маркизе, и о всей своей семье.

Его родные уехали в Соединенные Штаты после того, как на пляжи и в другие увеселительные места и заведения был открыт доступ неграм.

Уехали все, кроме этого старика, который в те годы был безумно влюблен в одну прогрессивно настроенную сеньориту, горячую защитницу расового равноправия, с охотой оставшуюся на родине. Ее единственным условием было то, чтобы он из страны не уезжал. Спустя несколько лет она сама уехала, но аристократ, заметно постаревший и перенесший два инфаркта, пожелал доживать жизнь здесь, в отчем доме, который, к сожалению, ветшал и разрушался. Хозяин одряхлел и нуждался в деньгах, чтобы еще пожить в свое удовольствие.

Старик сделал последний глоток, бутылка была пуста.

— Видите ли, мне нужна хорошая квартира и приличная доплата, — сказал он.

— Постараюсь вам помочь, — ответил я, вставая, и глубоко вздохнул. Когда я вышел на улицу, дождя уже не было. Голову покруживало и не хватало воздуха, но вместо свежести в легкие ворвалась тяжелая волна тумана. Мне надо было посетить еще несколько мест и взглянуть на кое-какое жилье, но идти никуда не хотелось.

А надо ли? — вот в чем вопрос.

"Придет или нет?" — спросил я себя в тот понедельник около десяти вечера и взглянул на часы. На Рампе было полно народу, люди болтали, глазели по сторонам или просто прогуливались. Я пошел по левой стороне Рампы, вниз к морю, поглядывая на правый тротуар. Немного задержался возле дома, где мы расстались в прошлый раз. Там ее не было, и я двинулся дальше. Дойдя до Малекона, повернул обратно и пошел по правой стороне улицы, повторяя себе, что это дурацкая, бессмысленная затея. Ясно, что она не придет. Ну, случилось наше странное свидание — у нее других дел не было или просто захотелось поиграть со мной. Чего ради ей приходить? Что я мог ей предложить, кроме разговоров, а разговорами сыт не будешь. Я не был в состоянии пригласить ее ни в "Тропикану", ни даже в "Ла Сорру" или "Эль Куэрво", куда стали захаживать иностранцы. Я не мог сказать ей: "У меня есть для нас комната в отеле 'Сен Джон'" или "Пойдем в ресторан". У нее, конечно, отбоя нет от тех, кто водил бы ее в кабаре, рестораны, отели. Обескураженный невеселыми мыслями, я ускорил шаг, миновал Меркадо[1], пересек улицу М и потоптался возле отеля. Ее нигде не было.

Вечер пропал, пошел псу под хвост, а я, идиот, поверил на слово первой встречной мерзавке, первой дряни, лживой твари, попавшейся мне на пути. Нет, со мной у нее этот номер не пройдет. Если она мне еще раз встретится, ей не...

Красный глазок светофора на улице Л прервал мой страстный внутренний монолог. Мимо шли люди, и не было им никакого дела до моего скверного настроения, до севшего в лужу солидного мужчины, которого обвела вокруг пальца юная красотка. Мимо брели парочки, взявшись за руки, счастливые и довольные; продефилировал рослый смазливый трансвестит в узких джинсах, за ним — три хинетеры, потом — старик, две старухи, двое педиков и книжник Ремберто, не заметивший меня; и еще какие-то туристы в шортах и шлепанцах, толстая женщина с собачкой-сарделькой, которая помочилась тут же на углу, презрев прохожих;

1. От *исп.* mercado (рынок) — барахолка в центре Гаваны.

уличный музыкант Танганьика со своими барабанами, да и сам Кабальеро де Парис проковылял бы мимо, если бы не скончался десять лет назад в психушке. Не было здесь только ее, зло надо мной подшутившей...

— Олá, — раздался голос за моей спиной, и я чуть не подпрыгнул, как ошпаренный кот.

Да, это была она, еще более прекрасная, чем при той нашей встрече; это были ее зеленые глаза и неотразимая улыбка. Я вдруг почувствовал себя страшно счастливым и довольным, как ребенок, получивший заветную игрушку.

— Ты здесь давно? — спросила она.

— Только что пришел.

— Вот и хорошо. Я тут прогуливалась, но тебя не видела.

— Да, только что пришел.

Несмотря на всю свою многоопытность в общении с женщинами, я растерялся. Что делать дальше? Ко мне она не захочет пойти, а податься еще куда-нибудь — нужны доллары. Честно говоря, у меня не было никакого плана действий.

— Что будем делать? — спросил я нерешительно.

— Погуляем.

Мы довольно долго гуляли по улицам, а когда устали, она предложила пойти в бар какого-нибудь отеля. Наступил самый жуткий момент.

— У меня нет долларов, — сказал я и взглянул ей прямо в лицо.

— Я сама тебя приглашаю, пойдем, — она взяла меня за руку, и я ощутил тепло ее пальцев.

Иногда я веду себя как рыцарь без страха и упрека, предпочитающий славную смерть бесчестью. Конечно, в том мире, где мы живем, следовало бы сказать: "Ладно, сегодня платишь ты, а завтра я", — и все были бы очень довольны, хотя это самое "завтра" никогда не наступает. Тем не менее я ответил иначе, весьма мелодраматично, ибо по мелодраматизму ("по идиотству", как говорит мой друг Франсис) мне нет равных:

— Ни за что на свете.

Она улыбнулась и взяла меня за обе руки, и была прекрасна до невозможности.

— Тогда пойдем ко мне. Я приготовлю коктейль "дайкири", и мы послушаем битлов. Тебе нравятся битлы?

С этого дня мы стали встречаться, и вскоре я был в курсе ее так называемых международных отношений, а она узнала, что такое бизнес обменщика. Так было лучше. Мы сбросили маски и сравнялись по положению.

Наконец, после одной из прогулок, мы забрели в мое жилище, где, как обычно, царил страшный беспорядок. На скорую руку я привел комнату в божеский вид, открыл бутылку рома и наполнил два стакана: свой наполовину, ее на треть.

— Закусить нечем, — извинился я.

— Не важно, — сказала она и подняла стакан: — За тебя.

— За нас.

Моника сделала большой глоток, и я тоже. Ром пришелся нам по душе, и скоро мы осушили бутылку. До чего же мне было хорошо. Все мое тело — кожа, нервы, кости, мускулы — радовалось и плясало. Невольно моя рука дотронулась до ее правой груди, потом до левой.

Она вздрогнула и напряглась, вытянула ноги, прикрытые короткой юбкой. Моя рука робко скользнула вверх, от щиколоток к бедрам.

Она закрыла глаза и не противилась моим ласкам. Вдруг встала, подошла к окну, распахнутому в бесконечный мрак моря, и высунулась наружу. Юбка обтянула ягодицы, требуя и соблазняя.

Не помня себя, я бросился к ней, приподняв свой гарпун (гарпун Жака де Соре, коварного пирата, грабителя и насильника, когда-то покорившего благородную Гавану, великий гарпун, пронзивший не одну дюжину жертв), повернул ее лицом к себе, сорвал бикини и погрузил в нее раскаленное живое железо. Она обхватила меня ногами и начала целовать.

Непередаваемо чудесные мгновения. Передо мной — Моника, ставшая единым целым со мной, а там, дальше — безбрежное море, слившееся с темным горизонтом.

Единство двух тел, скрепленных мостом жизни — железным брусом и цепями. Наконец я ее отпустил, и она снова повернулась ко мне спиной.

Я долго несся вскачь, вскачь на ней, пока она не вскрикнула и не вонзила ногти в мои бедра. Во мне взорвалась бомба, я стиснул ее в объятиях и яростно впился зубами в ее затылок. Потом рухнул на пол и почувствовал, что мое тело парит в воздухе, вылетает в окно и устремляется куда-то далеко-далеко, в бесконечность, где нет ни забот, ни хлопот.

Моника устроилась рядом со мной, положив мне руку на грудь. Я притянул ее к себе и нежно поцеловал в губы.

— Спасибо, — пробормотал я ей на ухо. — Спасибо.

— Ты очень ласковый, — сказала она и погладила мои волосы. Ее большие зеленые глаза блестели.

Таким был тот первый раз в моем жилище.

Девять часов. Наступило самое обычное утро — задолго до того, как Моника познакомилась с упомянутым обменщиком. Она спит в своей квартире на улице Рампа, в когда-то великолепном, а ныне обветшалом доме. В этом же доме, кроме Моники, обитают Шалая Кета, гадалка Маруха, толстая сеньора Пьедад Крус с десятью собаками и хинетера Юмалайди.

Квартира Моники не требует ремонта и выглядит вполне прилично, ибо Моника зарабатывает достаточно, чтобы содержать ее в порядке и обставлять.

Квартира совсем маленькая (столовая, спальня и ванная комната), но очень уютная. В столовой стоит стеклянный столик, а на нем — большая ваза с красными розами. Моника очень любит цветы и всегда покупает свежие у уличного цветочника, едва заслышав его вопли: "Цветы, цветы, кому цветы!" Четыре стула с высокой спинкой и два кресла украшают столовую. На стенах большое изображение Пречистой Девы из Кобре, две репродукции картин знаменитых кубинских художников: "Стул" Вильфредо Лама и "Похищение мулаток" Карлоса Энрикеса[1]. И еще полки с книгами. В углу — дорогой музыкальный центр и телевизор с большим экраном.

1. Вильфредо Лам (1902–1983) — кубинский живописец; Карлос Энрикес (1901–1952) — кубинский живописец и писатель.

Когда-то это было не ее жилье, но теперь она считается его хозяйкой. Квартира принадлежала актеру Рохелио, с которым Моника одно время жила, — этому, наверное, единственному человеку, давшему ей спокойную жизнь. И мебель, и картины приобрел Рохелио. Моника познакомилась с ним, когда бросила университет, задумав стать актрисой. Ему было за пятьдесят, он предложил: "Живи у меня", — и она согласилась. Прожив с ней год, он решил отправиться в Соединенные Штаты, "потому что все здесь — дерьмо, и театр — дерьмо, и вообще — один сплошной фарс", — сказал и уехал с Кубы, оставив Монике квартиру, которую по закону должен был отдать государству, поскольку Моника обитала там всего один год, а требовалось прожить минимум пять лет, чтобы получить на нее право. Но она оттуда не выехала. Надо было лишь иметь деньги: кое-что сунуть адвокату, кое-что дать нотариусу, а что-то и расторопным чиновникам — и в итоге на свет появилась бумага, подтверждающая, что Моника племянница артиста и прожила с ним десять лет. Потом она стала получать из Майами длинные письма от Рохелио, который снял тесную квартиру в Малой Гаване, купил старую машину, часто играет с другими престарелыми кубинскими актерами в домино в баре на Восьмой улице и с грустью ей сообщает: "Все здесь — дерьмо, театр в Майами — дерьмо, и все тут — один сплошной фарс".

В одно из наших свиданий Моника за стаканчиком текилы призналась, что ее настоящая фамилия Родригес, а Эстрада Пальма — это фамилия мамы. Имя у нее тоже было другое, что-то вроде Каридад де лос Долорес, которое она сменила на Монику.

— Смешное и затасканное имячко, — сказала она и смущенно захлопала ресницами, "как пташка крыльями", подумалось мне.

— У меня не лучше, — сказал я.

Моросил дождик, мы уютно устроились в моей каморке, попивали текилу и разговаривали, всего лишь разговаривали, ибо у нее были критические дни. Я пригубил текилу и поцеловал ее в переносицу.

— Ты такой притягательный, — пробормотала она.

Притягательный? Что значит — притягательный? Привлекательный? Раньше да, был, теперь уже нет.

Богатый, удачливый, перспективный? Тоже нет. Тогда почему она положила на меня глаз, несмотря на разницу лет? — спрашивал я себя.

— Ты притягиваешь, потому что ты хороший и меня понимаешь, — сказала она.

Такое определение мне не слишком понравилось. Значит, ни физически, ни интеллектуально я ее не устраиваю, а ценится моя так называемая хорошесть. Вроде как добрый папа. Но я помолчал и спросил:

— А где твои родители?

Развелись. Отец еще не раз женился, и все на девчонках, а потом уехал из страны и только через год прислал свое первое — и последнее — письмо, как раз перед инфарктом.

Мать, бывшая модель, работала в большом туристическом центре и целиком была занята собой и своими любовниками, важными дядями, с которыми проводила на курортах уик-энды и свободные дни.

— Знаешь, — Моника состроила рожицу и поцеловала меня в кончик носа, наверное, уже захмелела от текилы, — моя мать и ее дружки ненавидят битлов. Только один, предпоследний, этот рыжий детина, их любил.

— Рыжий хорошо к тебе относился?

— Просто замечательно. Подарил мне все записи битлов, когда вернулся из-за границы. Как-то вечером мы их заслушались на пляже и... переспали.

Мне нравилось, что она не скрывает от меня подробностей своей прежней интимной жизни и не говорит "кинуть палки, трахнуться, перепихнуться", не употребляет других таких словечек, вошедших в обиход на Кубе взамен классического глагола или выражения "заняться любовью". Когда мы говорили о сексе, она предпочитала выражение "утешаться любовью". Каждый из нас и вправду утешал другого любовью, мы любили друг друга во время наших частых совокуплений, которые могли совершаться и четыре, и пять раз за ночь.

Что касается других скверных слов, то Моника их избегала, ибо еще хранила остатки домашнего кубинского воспитания, старого воспитания.

Я тоже был неплохо воспитан, но с тех пор, как превратился в обменщика, в торговца, мою лексику расцветил жаргон гаванского порта и всех портов мира.

Я допил остаток текилы, тряхнув бутылку. Великолепная текила, выдержанная "Сауса". И сказал:

— Странно, что тебе нравятся битлы. Эта музыка не твоего поколения. Тебе должны нравиться певцы более грубого стиля, агрессивные горлодеры.

— Значит, я устарела, — улыбка, чуть растянувшая ее губы, придала лицу детское выражение. — Нет, главное то, что они — романтики и потому мне так близки, так...

— Рыжий тоже тебе так?.. — прервал я и легонько погладил ее бедра, уже чувствуя, как лихо, если бы ситуация позволяла, распорядился бы мой победный гарпун.

— Постой, дай сказать, — воскликнула она. — А вот моя драгоценная мама и ее дружки обожают только танцевальные ритмы, дансон и болеро.

Ей, видно, захотелось свести счеты с мамашей и ее приятелями. Перед моим мысленным взором сеньора мама вдруг заплясала дансон на пляже в компании обрюзгших мужчин с обвислыми трясущимися животами. Отвратное видение, пляска голых толстяков вмиг свела на нет мой пыл. Таков уж я есть: мне претит всякая пошлая картина, всякий эротический китч.

— А старик Рэй Конифф и знаменитый Нэт Кинг тебя не устраивают? — спросил я, меняя тему.

— Сойдут. Правда, они больше для таких старичков, как ты, — сказала она сладким голоском.

— Большое спасибо, — сказал я и поцеловал ее в лоб. Ни дать ни взять любящий папа.

А ей понравилось.

— Ты очень нежный, — сказала она.

Моника, подвыпив, впадала в романтизм, но я от текилы, великолепной выдержанной текилы "Сауса", становился обидчивым и задиристым, как мексиканский чарро[1]. Сначала она сказала, что я хороший и понятливый. Потом заявила, что я нежный, а это мне уже совсем не по-

1. Ковбой, мачо (*исп., мекс.*).

нравилось. Звучало слишком слезливо и слащаво, я всегда считал себя мужчиной твердым и суровым.

— Ты несешь чушь. Кому сейчас нужны нежности? Мне или тебе? — спросил я сварливо.

— Твоей бабушке, — ответила она вдруг совсем иным тоном, резким и язвительным.

Мы на какое-то время замолчали, возможно думая каждый о своем, перебирая в памяти тех немногих, кто нас любил. Скоро мое раздражение улеглось. Я был уверен, что она нечасто встречалась в жизни с настоящим чувством. И тут мне вспомнилась ее близкая подруга Малу.

— Расскажи мне о ней, — примирительно сказал я.

— Малу? — В ее голосе послышалось удивление.

— Она тебе друг? Хорошо к тебе относится?

— Таких друзей поискать, — и быстро добавила: — Хотя она немного вздорная и настырная.

— Как вы познакомились? — продолжал я без нажима, пытаясь осторожно заглянуть в запретную зону, которая, как мне казалось, еще разделяет нас.

Моника потерла лоб.

— Очень давно, — ответила она тихо. — Когда учились в школе. Она приехала в Гавану из деревни и, хотя жила в коммунальном доме, была совсем наивной дурочкой, но потом освоилась. С тех пор мы и дружим.

— А когда она стала *хинетерой*? — вдруг вырвалось у меня вопреки намерению действовать поделикатнее; хотелось узнать, что за человек эта Малу.

Но Моника не пожелала продолжать. Однако позже она мне рассказала, словно обращаясь к самой Малу, кое о чем из жизни подруги. Прежде чем мне довелось услышать эти рассказы, должно было пройти много дней и много дождей.

Ты, Малу, зовешься Мария Луиса, но еще в детстве твоя мать прозвала тебя этим именем под впечатлением от бразильского телесериала "Малу", произведшего на Кубе фурор.

Ты и в самом деле очень смахиваешь на популярную телегероиню, которую сыграла Реджина Дуарти. Как все, родившиеся под знаком Овна (Моника — Лев), ты нетерпима к несправедливости, всегда добиваешься своего и выручаешь других в беде, не любишь, чтобы тобой командовали и помыкали. Но на этом сходство с актрисой кончается и следует множество расхождений. Малу из мыльной оперы — социолог с университетским дипломом, а ты не получила высшего образования; та живет в комфортабельных апартаментах в Рио-де-Жанейро, а ты до недавнего времени ютилась в комнатушке в Старой Гаване; у той — солидные и состоятельные родители, а ты даже не знаешь своего отца (потому-то после твоего имени стоит фамилия матери — Лопес, а затем следует унизительный довесок — Боф, то есть "без отцовской фамилии"), а твоя мать до самой смерти так и осталась прачкой-негритянкой. К тому же у тебя есть сестрица — женщина своенравная, истеричная, которая заткнула бы за пояс и бразильскую Малу и саму Реджину Дуарти. И, наконец, самое главное: Малу-Реджина — особа уважаемая в обществе, а ты всего лишь проститутка-*хинетера*, многими презирае-

мая, воюющая с другими шлюхами за место под солнцем, преследуемая сутенерами, а иногда и полицией.

И все же — почему ты стала хинетерой? Странный вопрос, на который нелегко ответить и который не следовало бы задавать, поскольку я тебя и так хорошо знаю. Однако кое-кто нуждается в разъяснениях. Почему девушки идут в проститутки?

"Я — *хинетера*, потому что имею от этого прямую выгоду и обожаю мужчин", — ответила ты своей сестрице, когда та узнала о том, что ты освоила древнейшую профессию.

Шел дождь, и обе сидели перед старым телевизором в комнатушке, по углам которой сочилась вода, слезами падая в подставленные ведра. Со стены на них с грустью взирал бумажный Христос, приложив руку к сердцу. С маленького алтаря у другой стены внимательно глядела святая Барбара, явно не понимая, из-за чего сестры ссорятся.

"Ты — наглая грязная шлюха", — кричала твоя сестра.

Нет, обе ошибались. Малу — не бесстыжая проститутка и пошла на улицу не просто из желания знакомиться с мужчинами. Если бы было так, она не гнушалась бы кубинцами, но ей нужны только иностранцы.

Иностранцы — обладатели долларов. Доллары позволяют Малу покупать продукты.

"Не те, что мне дают по карточкам, а те, что и полезней и вкусней, — сказала ты одному из своих первых клиентов. — Не хочу риса и кукурузы". Вот мяса — да, в любом виде, и сыра, молока, пива, спагетти, а еще — одежду, туфли, духи. Мне нужны доллары, чтобы выкинуть старый телевизор и купить новый, последней модели; доллары, чтобы приобрести мебель, отремонтировать комнатушку, а в ближайшие двенадцать месяцев найти на черном рынке квартиру, маленькую, но приличную, в хорошем районе, а не в обветшалой Старой Гаване.

Потому-то ты стала *хинетерой*, а еще для того, чтобы хоть немного, думаешь ты, насладиться этой проклятой жизнью, которая у тебя одна и уйдет с первыми морщинами; и чтобы побывать на дискотеках, в отелях, на дорогих пляжах, в фитнес-клубах, куда без долларов не попасть и самому папе римскому.

"Да, а взамен подставлять задницу любому жирному иностранцу", — кричит твоя сестра, нацелив на тебя свои близорукие глаза в очках с треснутыми стеклами. Она не может спокойно сидеть и не дергаться, и в такт судорожным рывкам на голове ее из стороны в сторону мотается толстый пучок черных кудлатых волос. При каждом слове она взмахивает руками, а кожа и тело у нее гораздо темнее, чем у тебя.

Ты смотришь (мы смотрим) на сестру скорее насмешливо, нежели зло или укоризненно, хотя в твоем взгляде угадывается и то и другое. Ты не помнишь дня, начиная с самого детства, когда бы твоя измотанная заботами и не знающая радостей сестра не старалась бы во всем потрафить тебе, но теперь ты смеешься над ее словами, потому что — и это сразу видно — у нее нет задницы, на которую можно польститься, уже не говоря о зубах, гнилых и кривых, или о преждевременно обвисшей груди, за которую никто не даст ни полцента.

Никуда не годится твоя сестра, потрепанная жизнью, рано постаревшая, иссохшая.

"Знаешь, душка, тебе просто нечем похвастаться", — хочется сказать ей, но ты сдерживаешься. В прошлый раз ваша ссора завершилась исте-

рикой сестры: она вопила, набрасывалась на тебя с кулаками и топала ногами и в результате пробудила любопытство соседей. Тем не менее ты не можешь не попрекнуть ее: "А ты сама-то на что способна? Мы бы уже с голоду подохли, на твой заработок в цветочной лавке (семь долларов в месяц) и неделю не проживешь".

Сестра встала, походила по комнате и остановилась перед святой Барбарой. Скульптурка не из роскошных, но с томными стеклянными очами и доброй улыбкой.

"Как ты такое допускаешь, святая Барбара?" — восклицает она, еле сдерживая слезы. Взывая к святой Барбаре, твоя сестра обращается не только к ней одной. Святая дева воплощает в себе и Чангó, сказочного бога сантерии[1], бога, укрывшегося под мантией этой католической святой, самого Чанго, любящего обоюдоострые мачете и спелые бананы. Ты тоже смотришь на Чанго-святую Барбару и стараешься мысленно отгородиться от своей полоумной сестры. Ты всегда так делаешь в трудные минуты, вспоминаешь и представляешь себе Чанго, дарящего тебе силы и энергию.

В истории о Малу, услышанной от Моники, не было сказано о том, что Чанго для Малу — самый истинный бог, а она — его дочь, его служительница, потому как она восьмилетней по велению матери прошла обряд посвящения и стала принадлежать большому божеству.

Однако Чанго не в состоянии воздействовать на твою сестру, которая продолжает стенать и жаловаться на плохую жизнь, на то, как трудно жить без мужа с распутной младшей сестрой.

Кудахтанье этой наседки, этой клуши становится невыносимым, и, схватив сумку, ты распахиваешь дверь. Выходя, слышишь вопль сестры: "Иди, иди, блудливая дрянь!"

Ты молчишь, захлопываешь за собой дверь и выходишь. Справа из других дверей уже торчат головы дотошных соседок, которые, конечно, услыхали вопли сестры.

"Не поздороваются со мной", — думаешь ты, но соседки здороваются, встречая тебя самыми приятными своими улыбками. Не успеваешь ты сделать пару шагов, как за твоей спиной уже слышится шепот, достаточно громкий, чтобы разобрать слова:

"Подстилка". — "Зато на улице знает себе цену". — "Ну и пусть делает, как хочет". — "Дела-то она умеет делать". — "Сейчас главное — доллары уметь делать, а там и ладно". — "Да, умения в этом ей не занимать..."

Ты выходишь из своего коммунального дома. Дождь кончился, и на тебя наваливается удушливая жара, сырая жара кубинского лета, заставляющая волочить ноги, будто никто никуда не торопится.

Куда сегодня пойти?

"Сначала надо повидать Монику, потом — на Малекон, как обычно, а позже на дискотеку. Немного поразвлечься. Жизнь — карнавал, и нечего свое упускать", — говоришь ты себе.

В пятницу мне пришлось высунув язык побегать по городу под дождем, прежде чем удалось заключить пару сделок. Поздним вечером я как подкошенный свалился на кровать, не переставая думать о Монике, кото-

1. Сантерия — афрохристианский культ на Кубе, в котором соединяются элементы негритянских верований и католицизма.

рую не видел целую неделю. Но в три часа на рассвете меня разбудил визг телефона, резанувший по сердцу.

"Моника, наконец..." — подумалось в полусне, а звонки тем временем сменились в поднятой трубке быстрым лепетом вперемешку с моим именем. Голос знакомый, но нет, это была не Моника.

Моя кузина Соледад, рыдая, не переставала повторять: "Папа умер, папа умер..." Оторопев, я только и смог наконец пробурчать: "Карамба! Дядюшка Себастьян..."

Из аппарата в мои бедные уши снова хлынул поток рыданий, прерываемый охами и вздохами. Я не выношу плач и слезы и с удовольствием повесил бы трубку, гаркнув "Ошиблись номером" или хотя бы попросив кузину взять себя в руки. Но я этого не сделал, а она все плакала и плакала. Наконец всхлипы затихли и я смог вставить несколько слов.

— Где с ним будут прощаться? — спросил я и зевнул.

— В морге на улице Кальсада. В два часа.

— Непременно буду, — сказал я, положил трубку и опять лег спать.

Проснулся я поздно, чувствовал себя совсем разбитым, ноги еще гудели от бешеной беготни тех дней и не желали подчиняться даже ради Себастьяна. К тому же должен признаться, что я его недолюбливал с тех пор, как он при всей семье заорал на дядю Модесто: "На кой черт тебе, идиоту несчастному, нужна эта заграница?"

Растерявшись, Модесто молча опустил голову, и этот знак покорности еще больше распалил Себастьяна; вены у него на шее вздулись канатами, лицо перекосилось от ярости, и он прорычал: "Засранец ты, вот ты кто, засранец".

Роса, его жена, и кузина Соледад тотчас увели Себастьяна от греха подальше, так как во гневе с сангвиниками всякое может случиться. Этот эпизод произошел многие годы назад, так давно, что никто уже и не вспоминал об отъезде Модесто, но зато как не вспомнить приезд дядюшки на Кубу спустя несколько лет в качестве туриста — сияющего, с кучей подарков для всех и для Себастьяна, который уже не ходил в начальниках, ибо его сместили даже с последнего поста, с поста директора фабрики по изготовлению матрацев, обвинив в том, что пять матрацев он утащил домой, столько же преподнес друзьям, а два подарил Летисии, своей секретарше и последней любовнице.

Себастьян тогда протестовал, кричал. Мол, матрацы ему выдал его бывший начальник в качестве премии за хорошую работу, и этот подарок он просто поделил с другими. Секретарша получила две штуки за усердие, а остальные он отдал вовсе не приятелям, а нужным людям с соседней прядильной фабрики, у которых надо было срочно получить очесы для набивки матрацев. Если дожидаться, говорил он, поставок по линии министерства, то план выпуска тюфячной продукции наверняка был бы сорван. Такие доводы привел Себастьян в свое оправдание, но никто и ухом не повел, и он только навредил самому себе. Секретарша вскоре его покинула, а полезные люди, получившие в награду матрацы, не только не встали на его защиту, но избегали с ним даже встречаться. Устроившись в конце концов разнорабочим на другую фабрику, он совсем опустился и впал в глубокую депрессию, из которой его порой выводило только спиртное. Вскоре он заработал первый инфаркт, а затем его настиг и второй, последний.

"Такие вот дела. Вчера — начальник, сегодня — куча дерьма. С десяток лет в раю, и навек в гробу", — сказал я себе, начиная одеваться и с не-

которым сомнением поглядывая на красную рубашку с короткими рукавами. По традиции, конечно, следовало облачиться во все черное, надеть черный пиджак (хотя черного пиджака у меня не было), но жара стояла такая, что ни покойного, ни вообще кого-либо не шокировала бы моя красная рубаха. Кроме того, я всего лишь буду присутствовать на панихиде, дабы соблюсти приличие. В этот день у меня оставалось очень мало свободного времени, так как надо было еще купить ром и кусок свинины по карточкам.

Мысль о роме напомнила мне, что следует позвонить в лавку, но я никак не мог дозвониться. Ни с того ни с сего аппарат онемел и не подавал признаков жизни, хотя я колотил по нему трубкой. Но телефон не отзывался и молчал, как убитый. Обессилев, я зажег сигарету и глубоко вдохнул благовонный дым, всегда наполнявший меня невыразимым чувством покоя и уверенности.

Что это за чудо — курить! Глотать дым, будто впитываешь энергию Вселенной; щекотать дымком свое нутро, выпускать дым медленно-медленно, подобно скряге, расстающемуся с сокровищем; смотреть, смотреть, как плывут вверх диковинные завитки, похожие на привидения, и растворяются в воздухе мыльными пузырями, обращаясь в ничто. Такова жизнь, думалось мне. Дуновение энергии в бренном теле, а потом — ничто. Ничто?

А разве за последней дверью не открываются новые пути? Куда теперь вознесся Себастьян? Или он так и не покинул своей отжившей плоти, которая вскоре достанется прожорливым червям?

"Философствуешь, старик, слишком много философствуешь", — сказал бы мой друг Франсис, услышав мои сентенции. Моя бывшая жена Бэби высказалась бы, как всегда, категорично: "Ты — идиот, философствующий идиот".

Нет, я был не философствующим идиотом, а просто мыслящим человеком, который отчаянно хотел понять окружающий мир, понять, почему моя жизнь и жизнь других проходит именно так, а не иначе.

"Вот, вот, — смеялся Франсис, — опять ударяешься в философию, Платон кубинский".

"Идиот-философ, зануда, горемыка", — повторяла Бэби голосом с треснутой патефонной пластинки.

Хватит, сказал я себе, завершая утренний туалет и стараясь отогнать лезшие в голову гнетущие мысли.

Позавтракав и заперев дверь на большой висячий замок, я вышел на улицу, где катили редкие машины и стаи велосипедистов. Глядя в оба, чтобы не попасть под колесо, я направился на панихиду по дяде Себастьяну.

Десять часов утра. Моника выходит на балкон своей квартиры и смотрит вниз, на улицу 23, на Рампу, сердце города, пропускающее через себя всю кровь Гаваны, большое сердце Гаваны, ее подлинный центр. Пам-пам — отдаются в сердце гудки и звонки автобусов, машин, грузовиков, велосипедов, велотакси, тележек и даже повозок, запряженных лошадьми и едущих к морю или с моря. Рам-рам — стучит сердце, когда толпа срывается с места и бежит к автобусу, который затормозил в двадцати метрах от остановки, а две женщины уже орут в голос и дерутся, сталкивая друг друга с подножки. Та-та-та — задыхается сердце, когда проезжает другой автобус, облепленный людьми, которые цепляются

за окна и двери и охотно вскарабкались бы на крышу, если бы туда еще можно было влезть.

Моника зевает и потягивается. Люди на тротуарах бредут не спеша, словно им не надо никуда торопиться, хотя многие опоздывают на работу в учреждениях и министерствах, находящихся поблизости, таких, как Кубинское телевидение, Министерства сахарной промышленности и народного здравоохранения, Агентство Пренса Латина или — немного дальше — Министерства труда и внешней торговли, авиационные агентства. В маленьком парке по другую сторону улицы, как раз напротив дома Моники, уличные торговцы устанавливают на Меркадо легкие ларьки и раскладывают в них свой нехитрый товар, как то: кустарные поделки, погремушки-мараки, ожерелья, куколки-негритянки, обувь, женская одежда, книги. В глубине этого марокканского базара продавец книг Ремберто, знакомый Моники, открывает чемодан и извлекает экземпляр "Мира иллюзий", посвященный Рейнальдо Аренасом[1] своему последнему кубинскому возлюбленному, издание начала 1967 года, за которое книжник просит двадцать пять долларов, но в конце концов отдаст Монике за пятнадцать. Бережно (это дорогая вещь) он ставит книгу на видное место, а потом вынимает из чемодана сочинение "Сто дней Содома" маркиза де Сада, которое Моника купит за пять долларов. Далее из чемодана на свет появляется первое издание "Спящего хлеба" Хосе Солера Пуига[2], классика кубинской литературы, неизвестного за границей, которого и на Кубе почти никто не знает. "Вот беда-то", — причитает книжник, не надеясь получить за эту книгу больше трех долларов, если она вообще продастся. Совсем рядом другой продавец, Маркос, нежно поглаживает трех породистых щенят, которых предлагает взять соответственно за тридцать, пятьдесят и триста долларов.

Почти в центре базара Чина, миловидная, с восточными глазами девица в узких шортах, предлагает миниатюрные деревянные кораблики, у которых по борту красуется надпись "Куба". Толстый лысый турист вертит в руках кораблик, но больше пялится на бедра Чины, чем на сувенир. Немного дальше, прислоненные к стенке или разложенные на земле, ждут покупателей типично кубинские картины (Кафедральный собор, маяк Морро, мулатка). Качества они обычно невысокого, но иногда встречается и что-нибудь стоящее.

У самого входа на Меркадо худой и высокий негритянский парень стучит пальцами по карману, где спрятана пачка сигарет с марихуаной, которые он продаст в этот же день. Парня зовут Пачка из-за этих сигарет, которые всегда при нем, а его настоящее имя никого не интересует. Может, он зовется Александр Македонский, Марциал или Антоний, кто его знает. Теперь он озабочен тем, что марихуана приносит мало денег, а доставляет много опасных хлопот. "Будь это порошок, имел бы потрясные деньги", — вздыхает он и представляет себе, как выходит из шикарной машины где-нибудь на нью-йоркской улице с чемоданом чистейшего кокаина в руках.

Как во всяком фарсе, здесь каждый выдает себя не за того, кто он есть на самом деле. Книжник — это инженер-электрик, ставший продавцом книг; Маркос, тот что торгует щенками, в них совершенно не раз-

1. Рейнальдо Аренас (1943–1990) — кубинский писатель; в 1980 г. эмигрировал в США.
2. Хосе Солер Пуиг (1916–1997) — кубинский писатель.

бирается и до последнего года изучал греческую литературу; Чина по фамилии Гонсалес Перес совсем не китаянка[1] и не имеет к деревянным корабликам никакого отношения, кроме разве того, что торгует ими и смотрит, как они уплывают от нее вдаль по набережной Малекон. Кораблики вытачивает ее любовник, старый дантист, человек с золотыми руками и огромным терпением. Сейчас она глядит в упор на своего иностранного покупателя и думает, что с удовольствием прилегла бы с ним где-нибудь на яхте. "You like bot?" — спрашивает она, а ее улыбка — верх искусства обольщения и соблазна. "Bot?" — иностранец не понимает. "Yes, bot, boty", — Чина смущается и указывает на сувенирный кораблик. "Oh, yes, ship", — турист смеется и смотрит на ее грудь. "Вы — канадец... Canadian?"

Моника переводит взор с Меркадо на Телевизионный центр и видит, что оттуда выходит известная актриса и шествует так, будто весь мир лежит у ее ног и все взирают только на нее. "Разве она еще не окочурилась?" — думает Моника.

Актриса переходит улицу, не удостаивая вниманием светофор, и направляется к базару. К счастью, зажигается красный свет, автомобили останавливаются, и люди глазеют на актрису, уже усохшую от старости и похожую на попугая какаду, но все еще популярную, а в свое время бывшую действительно красивой женщиной.

С восхищением глядит на нее Моника, мечтавшая тоже стать великой артисткой и купаться в славе. "Ну и красотка, другую такую не сыскать, говорили бы про меня", — шепчет она.

Но случилось иначе. Моника актрисой не стала, а эта еще будоражит людей. "Но она уже старое чучело, я же молода и хороша, — думает Моника и улыбается. — Да и кто знает, что будет дальше. У меня еще много лет впереди".

У Моники есть логика мышления, но нет силы предвидения. Она, к примеру, не знает, что жить ей осталось не так уж и много.

Актриса подходит к базару, по рядам торговцев тотчас пробегает шепоток, и все головы поворачиваются в ее сторону. В эту минуту на улице останавливается роскошная машина, из нее выходит маленький лысоватый человечек и тоже направляется к базару.

— Гляди! Гляди! — кричит женщина с соседнего с Моникой балкона. — Я знала, что он все-таки сюда придет! Знала! — продолжает вопить женщина в сильнейшем возбуждении.

Это Кета, соседка Моники; она радостно смеется и хлопает в ладоши. Еще нет и десяти утра, а на ней уже узкая мини-юбка, на ногах высокие сапоги, на лице толстый слой косметики. Ее можно спутать с *хинетерой*, ибо так одеваются ночные *хинетеры*, гуляющие по Малекону и Кинта-Авениде в ожидании иностранных похитителей. Кета не из них, но иной раз ей хотелось бы быть такой, хотя бы с виду. На самом же деле она всего лишь одна из тысяч безумных в этом безумном городе. Точнее сказать, она — шизик, шизофреничка, которая время от времени попадает в психбольницу в Масорре. После курса лечения врачи отпускают ее домой, поскольку она не буйствует, если ей не говорить, что она уродина, страшила и тому подобные вещи. В этих случаях и когда психотропные средства прекращают свое действие, она бывает аг-

1. От *исп.* china — китаянка.

рессивна и опасна. Кета ненормальна, но вовсе не глупа и живет припеваючи, сдавая свою квартиру на короткий срок *хинетерам*, которым некуда податься со своими клиентами.

Сегодня Моника не расположена ее слушать и собирается уйти с балкона, но Кета продолжает говорить.

– Мони, ты только взгляни, какой он красавчик, – захлебывается она, тыча пальцем в певца, и Моника согласно кивает, чтобы только ее не злить. Для болезни Кеты характерны два симптома: гипертрофированная сила воображения и приступы галлюцинаций. Она, например, уверена, что через Меркадо проходят все самые важные личности Кубы и прочих стран. По ее словам, они ночами, пританцовывая, покидают базар, и эта длинная карнавальная вереница катится вдоль по Рампе, устремляется, извиваясь, подобно огромной змее, к улице Инфанта, забрав иностранцев из отеля "Националь", и плывет дальше по Малекону до Гальяно, где в нее вливаются туристы из отеля "Довиль", и докатывается до замка Морро, прихватив по дороге несколько дюжин прохожих у перекрестка Пасео-дель-Прадо.

– Така-така-та... – припевает Кета и лихо вихляет бедрами, словно сама участвует в карнавальном водовороте.

Когда она входит в раж, лучше ее не трогать и не обрывать разговор... Впрочем, в Гаване много безумцев, подобных Кете, болтающих о волшебном карнавале, а кое-кто утверждает, что видел его воочию и принимал в нем участие.

– На Меркадо 23-го числа побывали все, кроме Волдемора, – поясняет Кета.

Моника, впервые услышав сообщение, не поняла, о чем речь.

– Неужели ты не читала Гарри Поттера? – лукаво спрашивает Кета, заметив растерянность Моники. – Надо обязательно прочитать, – говорит она и дает Монике книгу о приключениях знаменитого английского мальчика. Тогда-то Моника и узнает, что именем Волдемор мальчик Гарри Поттер и его друзья называют Дьявола.

Присутствие популярной актрисы и прибытие именитого певца взбудоражило базар.

"Мать их... Когда они отсюда выкатятся, паразиты", – говорит про себя книжник Ремберто, видя, как замерла торговля. Однако Чина в полном восторге от лицезрения выдающихся соотечественников и пальцем указывает на них иностранцу, который ничего не понимает и продолжает таращить глаза на острые груди продавщицы. Актриса и певец едва не столкнулись лбами, но не здороваются и не замечают друг друга. Она подходит к щенкам, которые поднимают такой лай и визг, что продавец с трудом их успокаивает, а певец роется в картинах.

В конце концов звезды удаляются, ничего не купив, и на базаре все возвращаются к своим делам. Кета уходит с балкона к себе в квартиру, а Моника еще остается на балконе. Она любит там стоять под ласковыми лучами утреннего солнца, ни о чем не думая, ничего не вспоминая, просто глядя на жизнь улицы. Люди, спешащие к началу работы в министерства и прочие учреждения, почти рассеялись, пешеходов на тротуарах тоже осталось мало. Вот идет массивный мужчина средних лет с довольно заметным брюшком и несет тяжелую сумку. Это Франсис, большой друг нашего обменщика, но Моника об этом еще не знает, ибо познакомится с ним несколько недель спустя. А вот идет Малу, закадычная подру-

га Моники, быстро приближается к парню, торговцу марихуаной, и что-то шепчет ему на ухо. Моника не успевает ее заметить, так как минутой раньше зазвонил телефон в комнате и надо было поднять трубку.

— Ола́, — говорит она и ждет ответа.

Звонит ее мать, а когда она звонит, обе всегда начинают спорить и пререкаться. Они уже целый месяц не разговаривают, и сегодня, как видно, тема беседы не из приятных, потому что Моника хмурит брови и насупливается.

— Нет, мама, я этого не сделаю, — сердито бросает она обычные фразы. — Это мои проблемы, и тебя они не касаются... Ты, как всегда, занята только собой... Нет, я не стану этого делать... Я тебя о том не просила. — Затем следует сухое "Пока!", и трубка хлопается на аппарат.

Рассерженная Моника возвращается на балкон, но Малу уже нет на базаре. Наверное, бежит куда-то по важному делу, иначе непременно поднялась бы поболтать со своей лучшей подругой.

Группа туристов, высоких, светловолосых, в шортах, рубашках и шлепанцах, выходит из ближайшего отеля "Абана либре" и берет курс на базар, где продавцы готовятся оказать им достойный прием. Туристы переходят улицу и идут мимо двух мужчин и женщины, ведущих оживленный разговор.

Взгляд Моники рассеянно скользит по туристам и останавливается на этих двух мужчинах и женщине. Она сразу их узнает. Это Леандро, известный под кличкой Мексиканец, и Эрмес со своей женой Милагрос. Они обсуждают предложение одного настоящего мексиканца по фамилии Инфанте, который хочет купить Милагрос или какую-либо другую привлекательную кубинку с зелеными глазами, чтобы увезти ее с собой в Мексику.

В морге тихо шелестела людская речь. Порой тишину взрывал чей-то смех, но возмутитель благочестия тут же осекался, и снова слышалось лишь слабое журчание голосов. Миновав залы А и Б, я добрался до С, где лежал Себастьян. Неподалеку с кем-то разговаривал Франсис. Я обнял друга, а его собеседникам отвесил нарочито вежливый поклон. Войдя в зал, я увидел возле гроба жену Себастьяна Росу и своих кузин Луису и Соледад. Поцеловал их, и они всхлипнули у меня на левом и правом плече. Мягко высвободившись из их объятий, я подошел к гробу — Себастьян хранил торжественный и важный вид человека из ушедших времен. В свой последний путь он отправился в вульгарном красном галстуке, затянутом на шее, как петля на удавленнике, и в потертом костюме из серой фланели, который в свои лучшие дни он надевал, отправляясь в командировки туда, где климат много холоднее.

"Бедняга Себастьян, законченный ты неудачник", — подумал я, глядя на него, облаченного в старый теплый костюм и смешной галстук. Шумок за моей спиной вернул меня к действительности, и я увидел двух человек, тащивших огромный венок из красных роз.

— Чудесные цветы, — сказала Соледад, — их прислал Перес.

— Перес?

— Да, Перес. — В голосе Соледад не слышалось радости, когда она называла имя министра, выгнавшего Себастьяна с работы. — Это очень уважаемый человек.

— Какая честь для семьи, — сказал я.

Глазами грустной собаки поглядела Соледад на своего покойного отца.

— Бедный папа, всегда жил только для других.

Если бы эти слова были сказаны не на панихиде и не моей кузиной, я бы рассмеялся, потому что, когда бы мы ни встретились в последние годы, он был либо в доску пьян, либо, в лучшем случае, навеселе.

— Да, он всегда жил по совести и пострадал ни за что.

Оставив Соледад, я присел на скамейку. Вдруг захотелось побыть одному, вспомнить Себастьяна, Модесто, Соледад, воскресить в памяти далекое прошлое. Нервно покачиваясь на скамье, я вспоминал, какими мы были в ту пору, когда Себастьян и Модесто работали водителями автобусов, я был мальчишкой, а Соледад — хорошенькой девушкой, не то что теперь — постаревшая, усталая женщина. Эх, а ведь мы были счастливы, несмотря на все лишения. Потом началась борьба против диктатуры Батисты[1], потом были мой арест, пытки, помощь и поддержка всей семьи, мужественные выступления Себастьяна против зверств полиции. Себастьян был достойным, честным человеком, неподкупным профсоюзным вожаком. А потом пришла победа: апофеоз, безумный восторг, вся наша семья собралась 24 декабря за одним большим столом во главе с Себастьяном. Прошло немного времени, и разгорелись споры, обрушились ушаты холодной воды на наши головы, воды, заливавшей, как в половодье, всё и вся; начались стычки между Себастьяном и Модесто, между Соледад и Луисой, между мной и моими друзьями.

— Приятель, не грусти понапрасну. Делу не поможешь, только душу разбередишь. — Франсис хлопнул меня по спине и сел рядом. Лицо у него было багровое, в его толстый, круглый, как бочка, живот врезалась пряжка широкого кожаного ремня.

Я с некоторым усилием переключился на Франсиса, который, как все знают, большой любитель поговорить.

— Мне сказали, ты процветаешь. — Ножища Франсиса качнула скамью.

— Кто сказал?

— Знаешь, когда река шумит...

— ...быть грозе. — Мне нравилась эта поговорка Модесто.

— Только пусть гроза не дождем, а ромом прольется. — Франсис прижал ко рту кулак, словно бутылку. — Я сух, как кирпич. Со вчера ни капли в глотке.

Мы умолкли, мимо нас спешили в зал две женщины, там они обняли Росу, которая снова принялась рыдать. Затем все трое пошли к гробу и осенили себя крестным знамением.

— Слушай, а не вспороть ли нам живот Себастьяну? Ему уже один черт, а рому в нем хоть залейся. Бутылки три наберем. — Франсис громко хохотнул, и кое-кто на него обернулся.

Я было хотел сказать, чтобы он смеялся потише. Но уже появилось несколько человек, одетых в серое и толкавших перед собой высокую тележку. Присутствующие оживились, Роса и дочери заплакали.

— Сейчас будут выносить тело, сейчас будут... — прошелестело шепотом по залу.

— Держись, крепись. — Две женщины старались успокоить Росу.

Люди в сером подошли к гробу и одним рывком положили его на тележку.

1. Рубен Фульхенсио Батиста-и-Сальдивар (1901—1973) — кубинский государственный и политический деятель, президент (1940—1944 и 1954—1958), организатор военного переворота и диктатор (1952—1959).

— Ой, боже мой! — кричала Роса, вцепившись в гроб. — Господи Боже, за что? За что?

Я тоже встал, собираясь увильнуть от поездки на кладбище, но при выходе из зала меня перехватила Соледад.

— У тебя есть машина поехать на кладбище? — спросила она.

Я оторопел. С ума, что ли, она сошла? Или не знает, что автомобиля я давным-давно лишился?

— У нас только два такси. Больше заказать не удалось. Если хочешь, можешь сесть во второе. — И, не оставив мне времени на ответ, она присоединилась к матери и сестре, и все три нырнули в первое такси, следовавшее сразу за катафалком.

Нехотя втиснулся я вместе с Франсисом в машину, где уже сидела одна наша дальняя родственница.

Что еще можно сказать о тебе, Малу? Ты — молодая мулатка двадцати с небольшим лет, кубинка с налитыми круглыми ягодицами, которые так и хочется ущипнуть; вчера студентка, а нынче *хинетера*, то есть проститутка. Но это еще не все. Ты — лучшая подруга Моники, возможно (почему бы и нет?), лесбиянка и гетеросексуалка, третий персонаж нашей истории, персонаж самый мятущийся, которому следовало бы быть более твердым, ибо очень сурово обходилась с тобой жизнь с тех самых пор, когда ты девчушкой уехала из Пуэрто-де-Гольпе (из деревни, где ты росла и где за тобой захлопнулась дверь твоего детства) и попала в прекрасную и абсурдную Гавану, город волков и овец, погонял и лошадок, вольнодумцев и приспособленцев, молотов и наковален, насильников и мудаков.

Ты оказалась в городе, куда твоя мать, ныне покойная, привезла тебя вместе со старшей сестрой, своенравной и упрямой, в комнатушку коммунального дома, иначе сказать, в *фавелу* или в *вилья-мизерию*[1], с туалетом (одним на всех и всегда грязным), с душем (всегда без воды) и умывальником на десять семей. Тем не менее у тебя, как и у других, была возможность посещать школу, которая запомнится тебе тем, как орала на детей учительница в начальном классе: "Заткнитесь, или я оторву вам головы!" Ты имела возможность посещать и среднюю школу в прекрасном новом здании, где преподавали добрейшая учительница Гуадалупе, которая многому тебя научила, и Марсело, учитель литературы, в которого ты безумно влюбилась, едва тебе исполнилось двенадцать лет. Затем, благодаря своим прекрасным оценкам, ты получила право учиться (разумеется, бесплатно) в университете. Тебе надо было бы посвятить себя какой-нибудь иной деятельности, но нет, ты стала *хинетерой*.

Со своего балкона Моника наблюдает за Леандро, Эрмесом и Милагрос.

Леандро Мексиканец, низкорослый, с широкой спиной и большими сильными, как у боксера, руками, что-то говорит, глядя в землю. Нет в нем ничего мексиканского, кроме клички, которой его наградили потому, что он все свое время проводит с мексиканскими туристами. У него есть старая машина, и он показывает им город, возит в *паладаресы* ("Частные рестораны, где кормят лучше и гораздо дешевле, чем в государственных", — объясняет он с усмешкой), во "Флоридиту" выпить коктейль "дайкири" и в ночные увеселительные заведения. Он парень сим-

1. Названия трущоб, бедняцких поселков.

патичный, исполнительный и за услуги много не берет. Поэтому по возвращении в Мексику клиенты рекомендуют его другим мексиканцам, которые, приезжая на Кубу, к нему и обращаются. Он им находит жилье в частных домах, где можно снять подешевле, чем номер в отеле, и куда иной раз можно привести кубинок, не рискуя нарушить гостиничные правила и запреты и не давая взяток служащим отеля. В качестве вознаграждения хозяева квартир и *паладаресов* выделяют ему десять процентов от суммы счета, оплаченного гостями.

Самой доходной услугой из многих, которые он оказывает, является поставка мексиканцам местных женщин: тут ему платят обе стороны — и кубинская, и мексиканская. Теперь он озабочен одним делом, сулящим большие деньги.

Мексиканец Инфанте, владелец кабаре в столичном районе Зона-Роса (так он представился), желает привезти в Мехико красивую кубинку. Сам он женат, но хочет иметь возлюбленную, чтобы "по-отцовски нежить ее и холить", ибо жена у него таких чувств не вызывает, поскольку она толста и страшна, как болотная жаба. Последних слов Инфанте вслух не сказал, но, скорее всего, именно так и подумал. Инфанте сформулировал свое пожелание: "Красотка, рост примерно метр восемьдесят, с большой грудью и задницей и, главное, с зелеными или голубыми глазами. С черными не годится". Он достанет ей визу, оплатит багаж и для начала даст тысячу долларов. Пятьсот при отъезде из Гаваны и пятьсот по прибытии в Мехико. Там у нее будет своя квартира, бесплатное питание и тысяча долларов в месяц. Испытательный срок — шесть месяцев. Она, понятно, должна быть ласковой, угодливой, страстной и еще обязана выполнить следующее условие, сказал Инфанте, пощипывая свои густые усы: "Прожить со мной два года. Если обманет и сбежит, это ей дорого обойдется, ох как дорого". За хлопоты Леандро получит от него пятьсот долларов — двести после ее отъезда и триста через полгода.

Мнимый мексиканец Леандро улыбается настоящему мексиканцу Инфанте, прикидывает "за" и "против" и думает, что не все в этом деле ясно и понятно, например, если вдруг клиент захочет сделать кубинку проституткой в Мехико... И кто гарантирует, что он отдаст остальные триста долларов, когда она отсюда уедет. Так думает Мексиканец, слушая другого мексиканца, но о своих опасениях помалкивает и наконец, улыбаясь, говорит: "Решено, по рукам, — все будет в порядке". Что с ней потом случится, ему наплевать, а двести долларов задатка очень неплохие деньги за такую ерундовую услугу. "Тогда по рукам", — говорит настоящий мексиканец без тени улыбки. Маленький толстый мексиканец с большими усами а-ля чарро и с массивными золотыми часами на левом запястье.

Того, о чем говорили Мексиканец Леандро и мексиканец Инфанте, Моника не знает и никогда не узнает. Она не может знать и того, о чем сейчас толкуют Мексиканец и супружеская пара, но позже ей об этом расскажет Малу, которая дружит с этим кубинским сводником.

Мексиканец полагал, что поручение иностранца окажется легко выполнимым, да не тут-то было. Женщины, с которыми он затевает разговор, недоверчиво молчат, побаиваются, а те, что согласны, совсем не блондинки и не с голубыми или зелеными глазами. В конце концов он вспоминает о Милагрос, жене Эрмеса, сутенера при собственной супруге и, кроме того, устроителя подпольной лотереи.

Он назначает им свидание на углу отеля "Абана либре", где проживает клиент, и деловито, не переставая улыбаться, излагает условия сделки. Говорит о состоятельности иностранца и о его в общем серьезных намерениях. "Он человек денежный и у себя там очень влиятельный, я головой за него ручаюсь", — говорит он и смотрит в сторону дома Моники, но ее не видит, потому что солнце слепит глаза. Она же их видит отлично. Эрмес стоит нем и недвижим, как статуя, а Милагрос, напротив, машет руками, расспрашивает, интересуется подробностями: в каком, мол, районе Мехико предоставят жилье. "Да, да, конечно в центральном районе". — "Надоело тут в дерьме сидеть, в Гаване. А дом-то будет хороший?" — "Лучший из лучших, классный, со всеми игрушками и удобствами". Милагрос спрашивает, не псих, не извращенец ли этот человек, не из тех ли, кто любит всякие непотребства и даже охоч до скотоложества, но в этот момент стайка воробьев срывается с деревьев возле базара и, чирикая, проносится над их головами к отелю. Они смотрят вслед птицам.

"Паразиты воробьи, только и знают, что пищат да гадят", — говорит Мексиканец. "Ладно, а мне-то какой прок от всего этого?" — вдруг кричит Эрмес и машет руками, как веслами. Конечно, он не столь литературно выразился. Скорее всего, он сказал: "А мне с этой хрени что обломится, а?", потому как Эрмес вышел из портовых низов, где речь отличается (ненамного) от речи, скажем, инженера, но это в целом не столь важно. Главное то, что Эрмес выражает недоверие к сделке и хочет знать, чем сам он тут может поживиться.

Со своего балкона Монике не узнать, как закончился разговор, который вели ее знакомые. Она видит лишь стайку воробьев, вспорхнувшую с деревьев, и энергичные жесты Эрмеса, но тут раздается телефонный звонок в ее квартире.

Звонит Малу: "Иду к тебе". Малу не говорит "Ола́, привет, как живешь, это я". Эти слова, начинающие всякую телефонную болтовню, тут не нужны, и Моника ограничивается ответом: "Давай, жду", потом опять выходит на балкон, но Леандро и его друзья уже ушли.

Вскоре является Малу, как всегда будто чем-то встревоженная, чмокает Монику и садится с ней рядом.

— Хочешь кофе? Бразильского? — спрашивает Моника и после кивка Лу идет на кухню, варит крепкий кофе, оставленный ей астурийцем Альваро, и наполняет две фарфоровые чашечки, подарок немца Герберта, который купил их за сумасшедшие деньги.

— Esse cafeciño esta muito bom, — говорит Лу по-португальски. Род ее деятельности требует знания разных языков, и теперь она может сказать "Какой хороший кофе" по-английски и по-французски и даже воскликнуть "Како харочи кофи". Последнюю фразу она выучила в свои студенческие годы с помощью Владимира, стройного и красивого, как Адонис, русского парня, который был не любовником, а просто другом-сокурсником и которого она обучила двум вещам: наслаждаться крепким черным кофе из маленьких кофейных чашечек и пользоваться дезодорантом, так как в сыром и жарком климате Гаваны, где бывает сорок и более градусов в тени, от русского разило, как от скунса.

Лу вдыхает аромат кофе и потягивает его маленькими глотками, медленно-премедленно, будто боится допить до конца.

Допив, ставит чашечку на стол и, моргая, смотрит на Монику.

Моника ее хорошо знает, и если та вот так смотрит и молчит, значит, сейчас сообщит что-то важное.

– Должна тебе кое-что сказать, – говорит Малу.

– Что?

– Один мой друг хочет сделать плот и отвалить отсюда. Он может взять нас с собой. – Малу выпаливает залпом все слова, как продавец, хвалящий товар, и умолкает.

– Нас?

– И меня, и тебя.

Моника оцепенело смотрит на Лу. Потому что ей открывается перспектива величайшей важности, и от принятого решения зависит очень многое, даже, возможно, жизнь.

– Здесь нам ничего не светит; как жили, так и будем тянуть до старости, если раньше нас не пришьют или не засадят в тюрьму. А там мы заживем, как захотим и с кем захотим. – Лу говорит все взволнованнее, все горячее.

Моника зажигает сигарету – скорее для того, чтобы прийти в себя и осмыслить услышанное.

"Нет, не вынести мне тамошнюю жизнь, – думает она. – Уж лучше снова пойти учиться, получить диплом, выйти замуж, родить детей..."

– Когда намечено?

– Скоро. Мой друг уже взялся за плот.

– Не знаю, не знаю, – говорит Моника с сомнением. – Надо подумать.

– Долго не раздумывай, такой шанс дается раз в жизни, потом будешь жалеть. – Лу встает, целует Монику и идет к двери. – Я пошла, у меня еще много дел.

Оставшись одна, Моника садится и зажигает вторую сигарету.

Ей жутко представить себя в открытом море, на плоту из автомобильных покрышек. Она боится моря и страшится смерти. Единственный человек, которого она по-настоящему любила, ее жених, погиб в студенческую пору – утонул при попытке эмигрировать из страны. А кроме того, ей неплохо живется и на Кубе, она ни в чем не нуждается.

Еще долго сидит Моника, куря одну сигарету за другой, но так и не может на что-либо решиться.

До чего же неприятно ходить на похороны, да еще нести гроб на своих плечах, слушать, как толкают пустопорожние прощальные речи, а потом взирать на этот чертов ящик, на эту идущую ко дну лодку с Себастьяном на борту. Если бы не собачья жизнь, доконавшая его в последние годы, Себастьян прожил бы еще много лет и не рухнул бы вдруг от проклятого инфаркта, побагровев и выпучив глаза.

Пока меня одолевали подобные мысли, траурный кортеж, сопровождаемый гомоном птиц на ближайших деревьях, потихоньку пришел в движение. Мы пересекли авениду Президентов, где рядом, на аллее, детишки играли в мяч. Картина напомнила мне о моих дочках и о Бэби. На этой самой аллее я впервые поцеловал ее, а спустя годы мы играли тут с нашими девочками.

Неторопливый кортеж въехал на кладбище и остановился у эспланады, изрытой узкими могильными ямами, похожими на глубокие борозды. У одной из ям стояли наготове могильщики.

Все вышли из машин, шофер открыл заднюю дверь катафалка и махнул рукой стоящим поблизости, среди которых оказались Франсис и я.

— Давай, бери, — сказал шофер и вытолкнул гроб наружу. Мы подставили плечи и засеменили к могиле.

— Осторожно, осторожно! — вскрикнул кто-то, когда шедший впереди Франсис споткнулся, а человек, следовавший за ним, наскочил на него, и гроб едва не грохнулся наземь.

Пока женщины голосили, мы изо всех сил старались удержать упрямо кренившийся гроб. Наконец общими усилиями зафиксировали его в горизонтальном положении. Мои плечи ныли от тяжести, но я заставил себя дошагать до могильщиков, которые обвязали гроб толстыми веревками и стали опускать в яму. Я провожал глазами тихо тонувшую лодку.

На дне ямы уже покоился чей-то гроб, новенький, поблескивавший под солнцем, как огромный черный жук. На него взгромоздился гроб дяди Себастьяна. Могильщики разложили венки вокруг могилы. Два покойника оказались в одном захоронении. Что сие значит? Я хотел было задать вопрос, но в это мгновение Роса и Луиса разразились рыданиями, и я промолчал. Но могильщики, положив цветы, не двигались с места, будто еще чего-то ждали.

— Почему они не кидают землю, не кладут плиту и не уходят? — спросил я Франсиса.

— Ждут еще одного гостя.

— Еще одного покойника?!

— Эту могилу сообразили на троих, — Франсис явно веселился. — Третий прибудет в течение получаса, никуда не денется.

— Не может быть. Шутишь.

— Последнее изобретение, экономия кладбищенских мест. Гениальная идея. — Порыв ветра растрепал шевелюру Франсиса, который напрасно старался пригладить свои лохмы. И оттого он походил на клоуна в огромном парике.

— Погребальный кондоминиум, АО. — Глаза моего друга были подняты к небу, голубизну которого рассекал далекий крохотный самолет. — Можно было бы запихнуть туда и пятерых. Я был бы не против полежать в компании, особенно если соседи попадутся именитые, скажем, генерал или министр. Даже можно и героя труда — от него наверняка потом не пахнет.

— У них свои мавзолеи, а кроме того, они тебя в свою компанию не возьмут, — сказал я.

— Возьмут, возьмут. На могильной плите напишут: "Здесь покоится Франсис Вилья, народный герой питейных сражений".

— Нет, я не уйду, пока здесь не будет могильный холм, — кричала Роса.

— Пойдем, мама, пойдем, папа уже упокоился, — повторяли дочери и, взяв мать под руки, потащили ее к такси.

Небо, затянутое плотными темными тучами, скрывшими солнце, предвещало дождь.

Наконец, однажды вечером, когда мы, насладившись любовью, умиротворенно потягивали ром, Моника рассказала мне еще кое-что о себе и о Малу. Правда, я не услышал и не сумел увидеть ничего нового. Слишком много подобных историй я уже знал.

Малу первая стала встречаться с иностранцами. Сначала за хороший обед в шикарном ресторане или за роскошное платье. Потом — за деньги. Получив первые доллары от какого-то туриста, она запрыгала от радости и стала регулярно заниматься доходным промыслом. А потом надумала увлечь этим делом и Монику.

"Очень большая разница, — говорила она, — лечь с грубым и полумертвым от голода кубинским студентом, да хоть и с преподавателем, тоже голодным, к тому же женатым, который задаром хочет урвать кусок радости, или с иностранцем, который дает доллары, чтобы жить и веселиться и, главное, ни от кого не зависеть". Малу облизнула губы и продолжала: "На что ты будешь жить? На деньжата, которые тебе мамочка подкинет, когда ей вздумается? На зарплатку паршивой служащей? Ведь тебе все равно не закончить университета, а если и закончишь, будешь иметь ту же самую зарплатку. У меня есть знакомая в нашей округе, Гладис, — она на это пошла, и теперь живет, как принцесса, и все имеет".

Моника не отвечала.

"А если выйдешь замуж за кубинца-голодранца, чего от него ждать? Будешь рожать ему детей, стирать штаны, ездить на работу и с работы на двухколесном драндулете, а по субботам смотреть идиотские телесериалы. А потом — греть друг друга, если с гороха да риса сил хватит. Нет, подружка, такая жизнь не по мне. Лучше пойду с солидным иностранцем, который поможет мне забыть всю эту мерзость и будет давать доллары, доллары". — "Иностранцы тоже мерзость", — покачала головой Моника. "Если и так, то ведь с ними не век жить". Малу взяла Монику за руки. "Посмотри, как нуждается твоя бабушка. Ведь на ее пенсию ноги протянешь, а твой папа — паразит — посылает ей всего несколько жалких песо к Пасхе да к Сан-Хуану".

— Твоя бабушка? — прервал я Монику.

— Бабушка по отцовской линии, — ответила она и продолжала рассказ.

Моника тогда не приняла предложение Малу, но как-то вечером побывала с подругой на дорогой дискотеке, куда их пригласил Ханс, любовник Лу. Там она познакомилась с одним испанским импресарио, с которым немного погодя стала жить. Позже, когда испанец уехал, появились другие иностранцы, как правило, люди обеспеченные. Бедной Малу никогда так крупно не везло, как Монике.

— А семья Малу, твоя семья, мать — как на это смотрели? — этот вопрос задал не я, жилищный обменщик, а упертый моралист, у которого слишком живо работало левое (рассудочное) полушарие. Не мешало бы поуменьшить его активность.

— Смотрели на что?

— На то, что вы *хинетерите.*

— Я не *хинетерю.*

— Да, просто гуляешь с иностранцами.

Моника пригубила ром и на минуту задумалась.

— Лу — сирота, а ее старшая сестра — ненормальная истеричка. Я — единственная дочь, нет у меня ни братьев с сестрами, ни теть с дядьями. Бабушка живет далеко, и вижу я ее очень редко. — Моника запнулась и нехотя добавила: — А мать живет отдельно, думает только о себе. Я для нее не существую, дочь — kaput... Она...

— Тебе не грустно жить без любви? — снова вырвался у меня идиотский вопрос, и мне вспомнились мои дочки. Моралист никак не мог заткнуться.

— Любовь, ха-ха, любовь... — пропела она, пародируя популярную песенку. — Любовь здесь не существует. Она где-то в другом месте.

— Где?

— Ты как настырный учитель истории. Тебе всегда нужна точность. Как, когда, где, почему? Не знаю, где она — на небесах, на другой планете. Где-нибудь у эскимосов, но не в этих джунглях с хищными рыбами, где большая жрет среднюю, а средняя — маленькую рыбешку. У них только одна любовь — к собственной утробе.

— Правильнее было бы говорить о рыбах в море, а о зверях — в джунглях.

— Нет, о рыбах в джунглях. Море, оно всегда прекрасное, прозрачное. Джунгли — мрачные, темные. Мы живем в джунглях.

Страшные вещи надо пережить, чтобы так думать. Вещи, о которых она мне никогда не рассказывала, а я и не расспрашивал. Это теперь мне все ясно, но тогда я легкомысленно заметил, усмехнувшись:

— Не могу понять, как это ты, бедная беззащитная девочка, ухитряешься жить в темных джунглях.

— Да пошел ты...

Не обратив внимания на лаконичную отповедь, я привлек ее к себе. Какая у нее была нежная бархатистая кожа, а большие зеленые глаза сверкали, как изумруды в раскрытом сундуке с драгоценными камнями. Как она была хороша. Как меня к ней тянуло. Любил ли я ее? Да, любил. Сейчас я это точно знаю. Я ее очень любил, хотя порой у нас были маленькие стычки из-за моего несносного характера.

— Ты не обижайся, — говорил я. — Любовь все-таки существует, ведь я же люблю тебя.

— Лгун, — в ее голосе слышались и радость, и сомнение.

— Нет, я тебя очень люблю. Просто ты этого не знаешь.

— Лгун, — повторила она, обняла меня и поцеловала так крепко, словно прощалась навсегда.

Моника возвращается на балкон и с удовольствием подставляет лицо под свежий ветерок, дующий с берега. Солнце жарит еще не сильно. Пройдет несколько недель, и космический лучник обрушит на Гавану тучи огненных стрел, а люди станут обливаться потом и проклинать страшную жару. Таково здешнее солнце. Всем известно, что солнце на Кубе совсем не такое, как во Франции, России или Новой Зеландии.

Монике нравится стоять на балконе под ветерком, под синим небом, не думая ни о чем, не вспоминая о предложении Малу.

Снова звонит телефон, и она идет к аппарату.

В трубке слышится хриплый голос Манолито по прозвищу Бык, женщины, что много лет тому назад предпочитала зваться мужским именем Маноло. В молодости, когда Гильермо Кабрера Инфанте[1] сделал ее героиней своего романа, она была известной лесбиянкой в Ведадо, где живет всю свою жизнь. Старость поубавила ее энергию, но при-

1. Гильермо Кабрера Инфанте (1929–2005) — кубинский писатель; в 1965 г. эмигрировал в Испанию, затем жил в Лондоне.

дала солидности, и теперь она не позволяет называть себя не только Манолито, но даже Маноло, и вместо того чтобы самой развлекаться с женщинами, подыскивает их для своих иностранных клиентов. Теперь она сводня и, кроме того, спекулянтка, знающая, как дешево купить и дорого продать товар — главным образом драгоценности, которые отдают за бесценок те, кто срочно отбывает за границу и нуждается в деньгах для оформления выездных документов.

— Мони, детка, лапочка, у меня есть для тебя кое-что интересное... — голос сводни прерывается кашлем. Эмфизема легких, заработанная тридцатилетним курением — по две пачки сигарет за день, — не дает ей произносить более десяти слов подряд. Говоря по правде, одно из ее легких упорно и прожорливо съедает рак, который покончит с ней через шесть месяцев и двадцать шесть дней, несмотря на сложнейшую операцию, которую сделает ей лучший онколог Кубы. Но это случится позднее, а сейчас она продолжает: — ...кое-что сногсшибательное, суперзаманчивое для тебя... — снова кашель и одышка.

Моника начинает терять терпение, но бедная женщина (впрочем, не такая уж бедная и, в общем, не женщина) никак не может договорить.

Наконец Манолито, Маноло, Маноль сообщает, хрипя и кашляя, что в Гаване нашелся один мексиканец по фамилии Варгас, страшно богатый, сгорающий от желания познакомиться с красивой кубиночкой, но — высшего сорта, не с какой-нибудь дешевкой, шлюхой с Малекона, сказала Манолито и зашлась кашлем, а с такой, у которой не только внешность броская, но и иностранные словечки в ходу. И потому я сразу подумала о тебе.

И снова приступ кашля. Моника отстраняет трубку от уха, словно боясь заразиться. А Манолито у себя дома старается, будь проклята эта жизнь, унять кашель, но захлебывается до тошноты. Ее сострадательная подруга хочет положить ей руку на грудь, но она со злостью ее отстраняет и кричит:

— Не тронь меня, стерва!

— Что? — спрашивает Моника.

— Это я не тебе, — хрипит Манолито. — Значит так: по сто зеленых в день и оплачивает все расходы, включая Варадеро.

Моника молчит, смотрит на балкон, откуда доносится плач ребенка, наверное девочки из четвертой квартиры, и раздумывает.

— Нет, мне не подходит, — наконец отвечает она. — Я сейчас очень занята. Может быть, позже. А с Малу ты говорила?

Из трубки доносятся короткие смешки, переходящие в кашель.

— Лу совсем сдурела. Поссорилась с клиентом, которого я ей послала, и замахнулась на него ножом. Мне нужна девушка помягче, повоспитаннее, такая, как ты. Подумай. Гудбай.

Трубку заполнила тишина, а ребенок перестал плакать, словно только и дожидался, чтобы разговор закончился. Моника опустилась на софу напротив "Похищения мулаток", любимой картины Рохелио, который в эти минуты в Майами, сидя в кресле, глядел на голую голубую стену и с тоской вспоминал свою картину, свою квартирку и людской гомон на Рампе. А здесь, в Гаване, Моника, знать не знающая о ностальгических воспоминаниях Рохелио, обдумывает полученное предложение.

С деньгами дело сейчас обстоит неплохо. Альваро, ее последний приятель, высокий светловолосый испанец, оставил ей достаточно,

чтобы покамест жить без забот, но лишние средства не помешают. Деньги есть деньги, и не знаешь, куда деваются, говорит Малу. Однако пора и отдохнуть. Монике хочется побыть дома, постоять на балконе, послушать музыку, почитать или побродить по улицам, пойти в кино, на пляж или на дискотеку и не подчиняться ничьим капризам, вкусам, похоти. Ей надо серьезно подумать о том, что сказать Малу и что ответить Манолито-Быку, решить, что делать дальше, ибо не всегда же жить вот так, говорит она себе, — быть проституткой. Да, *хинетерой*, очень дорогой, не рядовой проституткой, но все-таки — проституткой. Живется ей неплохо, живется-то неплохо, но...

А сколько волнений, переживаний, попыток обмануть полицию, которая так и норовит зацапать, подкараулить, как паук муху: да как тебя звать, да где живешь, что тут делаешь, тебе тут не место, кончай врать, пошли с нами; сплошные неприятности и со служащими отелей и ночных развлекаловок тоже, с этими спесивыми, нахальными вымогателями, да и с соседями, которые ухмыляются тебе в лицо, мол, видели тебя вчера с иностранцем, а одежка-то на тебе заграничная, небось дороговато обошлась.

Этим список передряг в жизни Моники вовсе не исчерпывается, ибо сюда надо прибавить жадность и наглость таких людей, как Манолито-Бык, домогательства мужчин, навязывающихся в сутенеры, тупость и пошлость знакомых, грубость служащих в государственных учреждениях — в общем, все то, чем одаряет каждодневный осточертевший быт. Но страшнее всего одиночество, в котором приходится жить, даже, бывает, веселясь в шумной компании, ибо постоянно напоминаешь себе, что надо быть начеку и никому не доверять. В конце концов все это не так ужасно и не хуже того, что терпят другие, но эти проблемы, как ни старайся, ей не разрешить, и оттого на душе совсем невесело.

Моника идет в спальню и смотрится в большое трюмо рядом с кроватью. Зеркало ей подарил Герман, немец, с которым она жила почти год, обожавший, как почти все мужчины, видеть свое отражение во время акта любви. Зеркало, воспроизводя плоть, делает ее более желанной и соблазнительной, словно бы самое большое удовольствие состоит не в прикосновении, а в созерцании отражения — третьего участника постельной сцены, который удовлетворяет желание стать с партнерами единым целым и в то же время остаться самим собой.

Герман любил, чтобы Моника ложилась в постель обнаженной и мастурбировала перед большим зеркалом, а он, сидя в кожаном кресле, глядел не на нее, а на ее отражение. Но не только это нравилось Герману. Особое удовольствие ему доставляли игры с наручниками, искусственным фаллосом, удушливыми масками и всякого рода возбуждающими игрушками, увиденными не иначе как в эротических ужастиках.

— Что мне делать? — спрашивает себя Моника вслух, словно актриса у невидимой публики, только вместо публики на нее из зеркала смотрит она сама. Наверное, именно так могла бы произнести эту фразу знаменитая старая актриса, недавно посетившая Меркадо. Но Моника не актриса, она просто молодая девушка, отдающаяся иностранцам за деньги и за кое-какие материальные блага и нуждающаяся в благополучии духовном, которого ей никак не найти.

— Что мне делать? — повторяет Моника. — Самое лучшее — это... — отвечает она все так же вслух и с пафосом, но прерывает себя на полуслове.

В зеркале шевелятся ее губы, а так как в зеркале все отражается наоборот, ей представляется, что отражение ее передразнивает: "Отэ эшчул омас..." Она усмехается и невольно вспоминает мать, которая тоже иной раз громко разговаривает сама с собой и вообще любит всякие словесные игры, особенно скороговорки (Карлос-краб у Клары-крали украл красные кораллы).

Моника возвращается в столовую, и отражение в зеркале исчезает, но образ матери маячит перед глазами, овладевает мыслями. "Сколько же времени я ее не видела?" Она ясно слышит, как мать говорит: "Я поздно вернусь. Возьми что-нибудь из холодильника, сделай домашние дела и ложись спать". Далее, как фото из альбома, перед ней мелькают новые картины, одно воспоминание сменяется другим, вот мать кричит: "Ты, соплячка, еще мала, чтобы учить меня жить!", взмахивает рукой, как саблей, и влепляет ей пощечину.

Моника прикусывает губу и отправляет мать в самый дальний закуток своей памяти.

"Эй, цветы, кому цветы?!" — слышит она крики продавца цветов, наверное, возвращающегося после своего дневного обхода домой, где жена его спросит: "Все розы продал?" — а он, смеясь, покажет ей несколько смятых банкнот. А может быть, нет у него ни дома, ни жены и, оставив где-нибудь свою корзину, он пойдет в бар и скажет: "Двойной ром", потому что без стаканчика рому невозможно стряхнуть страшную усталость и шагать по улицам дальше.

Монике не пришлось целый день торговать цветами, и она вовсе не устала, но, невольно вспомнив слова матери, идет к холодильнику, открывает, берет бутылку виски с этикеткой "Джонни Уокер" и наливает немного в стакан, бросив туда два кубика льда. Где-то, неизвестно где, ее мать поднимает сейчас свой стакан, в котором поблескивают два кубика льда, и чокается с молодым холеным мужчиной. "За тебя, дорогой", — говорит она, а стаканы с виски звякают: чин-чин.

Не произнося никаких тостов, Моника медленно потягивает виски, стараясь навсегда отделаться от воспоминаний о матери, которая, вопреки всему, часто всплывает в памяти.

Вместо матери теперь вспоминается Малу и ее предложение бежать из страны на плоту из автопокрышек.

"Нет, я еще с ума не сошла, — говорит себе Моника. — А может, мне дается шанс в жизни? Но зачем уезжать? Тут совсем неплохо живется. Хотя..."

Она бы еще долго раздумывала над этим вопросом, взвешивая все "за" и "против", ибо страх был велик и этот жуткий страх сковывал душу и мешал на что-нибудь решиться, но зазвонил телефон, мысли лопнули, как мыльные пузыри — пам, — надо брать трубку.

— Алло, бабушка! Как ты там?.. Да, да, не волнуйся... Слушай... Тебе нужны деньги?.. Но... Этого не хватит... Ладно, постараюсь скоро завезти... Как себя чувствуешь, бабушка?... Ну, пока, — говорит она и быстро вешает трубку.

Монике больше не хочется говорить ни о себе, ни о Малу, и она переводит разговор на другие темы.

— Скажи, почему такой культурный человек, как ты, дошел до такой жизни? — Ее взгляд скользнул по весьма скромной обстановке моего жи-

лища: старое бюро, стол со сломанной ножкой, три потертых стула, софа, старинные настенные часы, советский черно-белый телевизор на деревянном ящике.

– Заблудился в дремучем лесу, – шутливо ответил я, перефразируя Данте, одного из моих любимейших классиков.

– И, как видно, до сих пор оттуда не выбрался, – сказала она, встав с постели, и начала одеваться. – Я пойду. Завтра с утра у меня деловое свидание, а я никогда не опаздываю на заранее назначенные встречи.

Я не стал спрашивать, что это за деловое свидание, и ограничился вопросом: "Когда теперь увидимся?" Глупый вопрос. Я знал, что мы увидимся, как обычно, в следующий понедельник, но мне было приятно еще раз об этом спросить и быть абсолютно уверенным, что она никуда не исчезнет. Из моей жизни много чего поисчезало, и не хотелось лишаться того малого, что оставалось. Я готов был защищать этот остаток, как дикий зверь кусок мяса.

– Если она тебе так дорога, почему не живете вместе? – спросил меня Франсис.

– Нет, нет, – в голосе Моники слышалась некоторая нерешительность. – Пока лучше ты у себя, а я – у себя.

У Моники была уютная квартира в центре города, где она иногда принимала своих "друзей", и мое присутствие, сказала она, ей бы мешало. Моя же голубятня на крыше была явно мала для двоих.

Эта каморка не годилась для постоянного проживания, но мы шли туда, встретившись на улице в понедельник или в другой день по настроению, чтобы заниматься любовью или просто поговорить за бутылкой рома, под музыку битлов, Рэя Конифф а и Нэта Кинга Коула.

– Когда мы увидимся? – повторил я.

– В понедельник.

– Где? – Этот вопрос был частью неписаных правил игры, очень забавлявшей Монику. Обычно она отвечала: "Там".

Это означало, что, если не идет дождь, я встречал ее на вечерней прогулке в парке близ улицы 21 или на Рампе, где она выгуливала Сэра Чарльза.

Ей-богу, мы и вправду словно рехнулись, ибо достаточно было телефонного звонка, чтобы договориться о встрече, но нам доставляла удовольствие игра, которую мы затеяли.

Видимо, мы начитались нашего старого друга Хулио Кортасара, и она, наверное, видела себя Магой, а я (почему бы нет?) представлял себя Оливейрой с его мистическими встречами или не-встречами в Париже[1]. Конечно, у Маги был сын и не было иностранных любовников, то есть она не была проституткой, а Оливейра мог часами сидеть в Клубе Змеи и попивать мате, не изнуряя себя поисками обменного жилья, как я.

Несмотря на некую неопределенность нашего места встречи, мы ни разу не разминулись, возможно улавливая непостижимые любовные флюиды, а может быть, просто потому, что если один не находил другого в условленном месте, то уверенно шел в начало Рампы, к парапету Малекона. Оттуда мы направлялись в мое жилище, где все уже было приготовлено: обед на плите и ром на столе.

1. Речь идет о романе аргентинского писателя Хулио Кортасара "Игра в классики".

Мы могли любить друг друга и не притронувшись к рому, но после нескольких добрых глотков все шло намного лучше.

Алкоголь заставлял меня отвлечься от тяжких дум, молотом бивших по темени, а ее доводил просто до исступления. Она со стонами металась по постели, целиком отдаваясь дикой страсти, а меня в мои годы это возбуждало до крайности. Я совсем терял рассудок, и мы вместе падали в бездну. Но на сей раз на мой вопрос "Где?" она ответила: "Здесь, у тебя, в восемь".

II

Ты торопишься к своему другу, который мастерит плот. Идешь, чуть покачивая бедрами и задом, плотно обтянутым узкими джинсами. Солнце уже стоит высоко в голубоватом безоблачном небе, с моря дует ветерок. Проходишь мимо группки мужчин, которые отпускают в твой адрес сальные комплименты или просто слова восхищения. А там навстречу идут три парня и, понятно, будут приставать к тебе, но ты, не сбавляя хода, умеряешь их пыл ледяным взглядом и резким жестом. Они продолжают бормотать фривольные любезности, но отстают.

Ах, Гавана, ах, Малу!

Что должна чувствовать женщина, к которой постоянно цепляются на улице? Что чувствуешь ты, Малу?

"Мне это нравится. Мне нравится обольщать, знать, что я хороша, ой как хороша и желанна. Это дает мне уверенность, веру в себя. Красивой женщине подвластно все, а я красива", — говоришь ты себе и потом добавляешь: — "Тут, если не будешь красивой, — замордуют".

Последнее утверждение очень спорно, ибо есть и некрасивые женщины, добившиеся многого в жизни.

"Четыре или пять, не больше, — ты бы так ответила. — В этой стране главное иметь большую задницу. Ну, и немного ума, конечно, не помешает".

Ах, Гавана, ах, Малу, ничто с тобой не сравнится!

Но ты привлекаешь не только мужчин. В дверях обшарпанного дома стоит старуха. Это — Манолито-Бык. Завидев тебя, она улыбается и машет левой рукой в знак приветствия. Ты с улыбкой машешь в ответ.

— Малу, детка, поди сюда, у меня есть для тебя кое-что интересное, — говорит она.

Ты спешишь, но знаешь, что нельзя злить Манолито, женщину очень влиятельную в твоем мире. Ты подходишь к ней, целуешь в щеку и слушаешь то, что она тебе сообщает.

Манолито говорит хриплым шепотом, все время оглядываясь по сторонам, словно чего-то опасаясь, а ты согласно киваешь в такт ее словам.

— Ладно, договорились, — заканчивает Манолито. — Обязательно пойди к нему. Да, самое главное, не забудь о моих комиссионных.

Распрощавшись с Манолито, ты навещаешь своего приятеля, который под большим секретом говорит тебе, что дело с плотом покамест откладывается. От него ты выходишь в плохом настроении и направляешься на Малекон.

Мой друг Франсис жил один в ветхом доме с потрескавшимися потолками, до отказа забитом всякими вещами, которые он покупал для пере-

продажи. Когда мы после похорон к нему зашли, в большой комнате царил жуткий беспорядок: на софе валялись штаны и трусы, на стульях — рубашки и футболки, а носки и платки — на столике возле тарелки с объедками, рядом с вилкой и ложкой.

И не подумав наводить порядок, Франсис усадил меня в кресло и достал из шкафчика полбутылки рома. С удовольствием потряс ею у меня перед носом.

— "Абана Клаб", самый лучший ром, — сказал он и наполнил два стакана.

— За твое здоровье, братец.

Я пригубил ром, а Франсис выпил залпом.

— Ты вроде бы доволен жизнью, — сказал он. — Рад за тебя.

— Бывает хуже.

— Видел тебя на улице с красивой девочкой. Проезжал в автобусе, а вы шли в обнимку и ворковали как голубки.

— Это моя невеста. Скоро обвенчаемся в церкви по всем правилам. — Мне доставляло удовольствие рассказывать ему всякие небылицы.

— Твоя невеста? Поздравляю, старик. В твоем возрасте тебе пора остепениться и взяться за ум, потому что голова у тебя, в общем, неплохая, разве что рожки на лбу торчат. — Франсис умел ответить на шутку.

— Не трепись попусту, — ответил я с деланым безразличием.

Губы Франсиса плотно сжались.

— Недавно я видел ее в компании иностранцев, но отнюдь не в роли гида... — Франсис запнулся. Обмену шутками, кажется, пришел конец. — Вроде бы эта твоя невеста...

— ...иногда их сопровождает, — докончил я спокойно: мол, это меня мало касается.

— *Хинетера*! Я так и подумал. — Его живот колыхнулся от смеха.

— Она не *хинетера*. Всего лишь иногда встречается с каким-нибудь иностранцем.

— А ты, значит, ее сутенер.

— Ничего подобного. Я ее жених. И не беру у нее денег.

— Тебе нравится жить с *хинетерой*? — Франсис приложился к стакану.

Наверное, я ему казался большим чудаком, кем-то вроде вегетарианца или хуже — человеком, который по два раза в день прыгает с парашютом или мчит на машине со скоростью двести километров в час, иными словами — недоумком с явно нарушенной психикой.

— А тебе нравится быть жирным? — огрызнулся я.

У Франсиса было огромное пузо и толстые щеки, как наливные красные яблоки. К счастью, рост его не подвел и мускулами он тоже мог похвастаться. Когда мы были студентами университета, он занимался греблей и выглядел настоящим атлетом. Теперь он ел все без разбора, пил, как верблюд в пустыне, и курил столько, что всегда был окутан облаком серого удушливого дыма от своих дешевых сигарет. Хотя спортивную форму Франсис и потерял, успехом у женщин продолжал пользоваться.

— Тебе нравится быть жирным? — повторил я.

— А при чем тут жир? — сказал он, нежно поглаживая стакан.

— Кто-то отращивает себе живот, кто-то находит свою женщину — это всего лишь два образа жизни в ряду многих других. Форма существования не играет большой роли. Разные способы жить насчитывают ты-

сячелетия. — Я приложился к стакану. — А кроме того, я не живу с ней, только гуляю и сплю.

— В этом-то все дело. — Тут во Франсиса влилось немного рома и из него вышло немного дыма. — Ты с ней спишь, говоришь, что любишь ее, и тебя не колышет, что ее берет другой мужчина?

Вопрос в самую точку. Я сделал затяжной глоток, чтобы успеть обдумать ответ. Волнует ли меня то, что Моника спит с другими?

— Не имеет значения, — соврал я.

— Ты циник.

Нет, я не был циником. В действительности я страдал при мысли, что до меня Монику лапал какой-то грязный иностранец, который слюнявил ее сверху донизу. Мне не хотелось признаваться в этом Франсису, но без содрогания я не мог представить себе Монику с кем-то другим. Тем не менее приходилось мириться. Мне было не по силам изменить положение вещей. Где взять доллары, которые ей нужны, чтобы жить по-человечески? Я, увы, сам не знал, как буду жить завтра. Что можно было ей предложить?

А готова ли она сама бросить все ради моей особы? У меня не хватало мужества спросить ее об этом. В конце нашей истории я узнал, что да, готова, но было уже слишком поздно, чтобы изменить жизнь. Ничего нельзя было изменить. Реки впадали и всегда будут впадать в море, волны всегда будут биться о берег, а луна всегда будет играть прибоем.

— Поговорим о другом, — сказал я сухо.

Мы выпили в полной тишине, а когда "Абана Клаб" закончился, Франсис достал бутылку без этикетки.

— Что за штука? — спросил я, а голова моя уже кружилась, как детская карусель.

— Лучший ром, самогон, чистый спирт, сок грейпфрута с сахаром. Искра божья.

— Искра божья?

— Да. Голова твоя так заискрит, что позабудешь все горести и заботы. Давай выпьем, братец.

— Стой. За что пить будем?

— Да, за что бы?.. — Стакан в руке Франсиса застыл у самых губ. — Есть тостик. Выпьем за всех сволочей, которые испоганили нам жизнь.

— За них?! — не смог я сдержаться.

— Да, чтоб их повесили за яйца вниз головой. — Франсис захохотал.

— Такого никогда не будет, — отрезал я.

— Не скажи!

— На всех веревки не хватит.

Франсис снова захохотал и шлепнул меня по плечу, но я сидел с каменным лицом, моя голова-карусель кружилась все сильней.

— Тогда вышвырнем сукиных сынов в море с гирями на ногах, вместе с их матерями.

— Тоже не пойдет... — Карусель вдруг остановилась, и я уставился на стакан с ромом.

Франсис взглянул на меня с интересом.

— Не пойдет... потому что у мрази нет матери.

— Верно, ох верно. — Франсис с жадностью приник губами к полному стакану, выплеснув немного рома на пол.

Мы пили, пока не опорожнили всю бутылку. Франсис схватил ее за горлышко и, потрясая, как флагом, заорал:

— Как это поется... "Песни пой и слез не лей..."

— "...с песней дохнуть веселей!" — пьяно подхватил я, а он, уже ничего не соображая, рухнул на пол.

Три часа пополудни, солнце палит во всю мочь, а жизнь на Рампе кипит. Дела у продавцов на базаре идут неплохо. Книжник Ремберто за хорошие деньги продал "Смерть Нарцисса" Лесамы Лимы[1], хотя ни "Безумный мир", ни "Сто дней Содома" сбыть пока не удалось. Чина продала четыре кораблика с надписью "Куба", а толстый лысый покупатель-иностранец пригласил ее пообедать. Чина очень довольна, но еще надо придумать, как обмануть бдительность своего любовника, старого дантиста — резчика корабликов, с которым у нее назначено свидание. Из трех щенков Маркос продал двух, и на руках у него остается только один, беленький с черным пятнышком на лбу, тихий и грустный, наверное тоскующий по исчезнувшим братьям. Как только является полиция, продавец марихуаны исчезает в толпе. Сегодня ему не везет, почти ничего не удалось сбыть. Завтра отыграюсь, говорит он себе в утешение и бредет по Рампе к морю. А Леандро Мексиканец идет прямо к отелю "Абана либре" сообщить клиенту-мексиканцу, что почти выполнил его просьбу. По правде сказать, он не смог договориться с Эрмесом и его женой Милагрос и решил продолжить поиски. Тут-то он и вспомнил о Монике.

Моника, как всегда, ограничивается легким обедом (фрикадельки, спагетти) и, перекусив, садится в кресло выкурить сигарету и выпить холодного "дайкири" под песни битлов. Только что звонила Малу и, не входя в детали, передала, что у ее приятеля возникли трудности и затея с плотом пока откладывается. Под мелодичную грустноватую музыку, льющуюся с пластинки, Моника размышляет о предложении Манолито-Быка. "Пожалуй, сразу-то не стоит отказываться", — говорит она себе. Манолито не раз ей находила стоящих клиентов (испанца Альваро, канадца Ричарда, немца Германа), людей солидных, денежных и вполне воспитанных. Все обходились с ней хорошо, за исключением дикаря Германа, любившего всякие мерзости (хотя кому дано судить — мерзость это или нет, ведь Герману, например, все эти извращения казались верхом удовольствия), из-за чего и пришлось ей с ним распрощаться.

Звонок в дверь прерывает ее думы. Открывать она не торопится. Нет, не потому, что боится, она даже не спрашивает "кто там" и не смотрит в глазок. Известно, что на Кубе не врываются в квартиру средь бела дня, в три часа пополудни. Тем не менее в последние месяцы случались нападения на одиноких женщин в их собственном жилище, и Монике следовало бы быть поосмотрительнее. Но она не из породы робких. Идет к двери и открывает.

Смеркается, но до полной темноты еще далеко. Тебе по душе долгие вечера гаванского лета, когда светлое время тянется так медленно, что, кажется, никогда не будет ему конца. Один знакомый швед сказал, что у него на родине, да и в других северных странах летом не бывает ночей. Кто зна-

1. Хосе Лесама Лима (1910—1976) — кубинский писатель и поэт, творчество которого не во всем отвечало требованиям революционной власти.

ет. Тебе хотелось бы побывать в таких местах, где всегда светло, где можно совсем не спать и любоваться солнцем. Ты любишь солнце, умеешь им насладиться, жить не можешь без него и не понимаешь, как люди в состоянии переносить долгие холодные зимы, о чем тебе рассказал все тот же швед, зимы, когда светает в девять утра, а в четыре часа дня уже наступает мрак. Ты бы там сошла с ума, умерла бы. Ночная темень наводит на тебя тоску, ты готова впасть в отчаяние. А вот солнечные безоблачные дни вызывают желание танцевать, петь, болтать без умолку.

В этом ты отличаешься от Моники, любительницы похандрить, взгрустнуть, послушать битлов. Ты не такая, нет. Ты — дочь Чанго и солнца, поклонница музыкантов "Ван Ван". Когда у тебя будет дочь, ты обязательно назовешь ее Солнышко, Соль, или, лучше, Мари Соль, потому что твоя вторая любовь — это море, Карибское море, светлая синь, темная синь, изумрудная синь, море всевозможных оттенков и красок, бесконечное и неохватное.

Тебе нравится сидеть на парапете Малекона, глядеть на море и на заход солнца, бессмертного бога, который медленно нисходит в воды.

"Солнце погружается в воду, чтобы омыться, очиститься", — говорила тебе твоя мать, полуграмотная, но очень умная негритянка. Это она научила тебя наслаждаться созерцанием моря и солнца с набережной. Каждый день, если было не дождливо и не очень холодно, она к вечеру шла туда с тобой погулять. Твоя старшая сестра была равнодушна к таким прогулкам и оставалась в комнатушке своего коммунального дома. Наверное, потому она, не видя солнца и не дыша чистым морским воздухом, и стала такой ненормальной, истеричной и злой, говоришь ты себе. А вот тебя эти прогулки по Малекону, которые ты не прекратила и после смерти матери, сделали сильной духом и спасли от голодной смерти в годы Абсолютной Нужды, и заронили в тебя желание — при виде толпы жирных сытых иностранцев с полными карманами долларов — стать хинетерой, при виде этих чужеземцев, которые ходили вокруг да около, поглядывая на тебя, как на богиню, родившуюся из пены морской, как на богиню Йемайю, вышедшую из моря навстречу солнцу. И не все они были жирными. Встречались среди них и спортивного телосложения, и довольно приятной внешности. Таким был (или казался) тот швед, который однажды заговорил с тобой очень уважительно и пригласил в ресторан пообедать. Как же отказаться от приглашения, если за целые сутки ты съела только горстку риса с бобами и выпила стакан воды с сахаром. Как отвергнуть его, если за обедом он вел себя как приличный мужчина и настоял (не надо было и настаивать), чтобы ты перепробовала почти все блюда из меню, а под конец, когда вы расставались, дал тебе двадцать долларов, хотя ты ему ничем не отплатила.

Двадцать долларов! На них можно прожить целый месяц. Как же было с ним снова не встретиться и не переспать, говоришь ты себе. Ты всегда будешь благодарна Хансуту (так он назвался), который обходился с тобой по-доброму, был ласков и щедр. В каждый свой приезд в Гавану, где он представлял одну скандинавскую фирму, производящую резиновые изделия, в основном презервативы, швед привозил массу подарков для тебя, а потом в городских магазинах накупал тебе всякой одежды, электроприборы, духи. Благодаря ему у тебя появился первый вентилятор, который сделал сносной жизнь в тесной комнатушке, благодаря ему ты отложила первые доллары для приобретения маленькой квартиры, но

главное, он позволил тебе ощутить могущество женской красоты, способной покорить сто́ящих мужчин. Никогда ты его не любила, никогда не хотела, но дарила ему всю свою нежность. Отдавала всю себя без остатка, заставляла исходить страстью, доводила в постели до безумия, показывала ему, что значит тропический секс с мулаткой восемнадцати лет.

Ханс не был профаном в любовной технике, но ты научила его таким выкрутасам, что он вопил от наслаждения. Немаловажно и то, что ты была ему абсолютно верна во время его посещений Гаваны и отказывала десяткам богатых и достойных мужчин. Для Хансута ты была девочка, его кубинская блажь, его "мулаточка", а не женился он на тебе и не увез в Швецию потому, что его жена, норвежская богачка с острым носом, хозяйка фирмы, которую он представлял, тут же бы его уволила. В конце концов Ханс со слезами на глазах простился с тобой навсегда, поклявшись в вечной любви и пообещав вернуться, и теперь ты снова одна, но не без средств, потому что он опекал тебя до последней минуты и оставил тебе кучу долларов, которых хватит на несколько месяцев, и к тому же он время от времени присылает тебе денег.

Поэтому, гуляя по Малекону, ты вспоминаешь Ханса и смотришь на то место, где вы познакомились, недалеко от конной статуи кубинского героя Антонио Масео, который со своей бронзовой лошади, нахмурив брови и подняв мачете, наблюдает, как мимо идут люди и проходит время. "Увидимся ли мы еще?" — ностальгически, с грустью спрашиваешь ты себя. Кто знает. Жизнь так переменчива и непредсказуема. Мечтаешь (мечтать не запрещается) о том, как когда-нибудь он вдруг предстанет перед тобой на Малеконе, занесенный сюда ветрами и волнами из далекой Швеции, приплывший по холодному Балтийскому морю, по бескрайнему Атлантическому океану и Мексиканскому заливу, а может, верхом на дельфине.

Похоже, что мечты твои не скоро сбудутся, ибо, как в последний раз сообщил Ханс, он теперь трудится в Непале, распространяя там, хотя и не очень успешно, свои презервативы.

Сегодня ни Ханс здесь не возникнет, ни волшебный дельфин. Зато скоро явится рыба-меч по прозвищу Кэмел, по роду занятий *чуло*[1].

Мертвецки пьяный Франсис спал на полу. Однако, как бы он ни был пьян, ему придется в семь утра подняться и начать свой всегдашний обход города в поисках предметов искусства, картин, ваз и антикварной мебели. Он пойдет в любое место и на любое расстояние. Надо всюду искать товар, который можно с прибылью перепродать иностранцам. Добытые деньги он тратил на женщин и алкоголь, выручал безденежных друзей и легко проматывал. А жил в полуразвалившемся доме. Такое он и вел существование с тех пор, как несколько лет назад его выгнали из министерства, обвинив в нанесении телесных повреждений начальнику. Вскоре после своего увольнения Франсис рассказал мне эту историю.

— Мы с директором ездили по делам в Испанию, а по возвращении домой директор настучал начальству: мол, я разговаривал по телефону со своим братом. — Франсис умолк и закурил сигарету. — Да, с братом Луисом, который теперь живет в Испании. Еще он обвинил меня в том, что я обедал в ресторане с Мирандой.

1. От *исп.* (Куба) chulo — сутенер.

Я знал Миранду, под его началом мы с Франсисом участвовали в подпольной борьбе против Батисты, а позже Миранда уехал в Испанию.

В Гаване Франсиса пригласил в свой кабинет большой министерский начальник, бывший, как и мы, в подчинении у Миранды во время восстания, наш старый соратник и друг.

— Расскажешь что-либо интересное о своей поездке? — спросил наш старый друг и налил из термоса кофе в две чашки — одну себе, другую Франсису.

— Ничего интересного не было. А что?

"Чем вызвано такое любопытство?" — удивился тогда Франсис. Я, слушая его, тоже был заинтригован и ждал, чем кончится дело.

— Ты ведь разговаривал недавно с одним своим знакомым?

— Да, вчера встречался с Рохелио. — Франсис не понимал, куда клонит наш старый друг.

— Нет, я имею в виду там, за границей. Ты случайно не общался с каким-нибудь нашим бывшим товарищем, а ныне врагом?

Тут-то Франсис и уразумел, о чем речь. О его встрече с Мирандой. Он, Франсис, вышел, значит, из доверия. В нем начал закипать гнев.

— Ах вот ты о чем! Чтобы добыть такую информацию, нечего колесить вокруг да около.

— Франсис!..

— Я не помню, о чем с ним болтал. Можешь себе такое представить?

Большой начальник заговорил другим тоном:

— Значит, не помнишь, да? Для чего ты обедал с Мирандой? Ты ведь знаешь, что он — враг. О чем вы толковали? О чем ты говорил со своим братом?

— Откуда ты знаешь, что я обедал с Мирандой и разговаривал с братом?

— Мы всё знаем.

— Мне сто раз наср... на то, что вы знаете. — Франсис вскочил и угрожающе склонился к самому лицу начальника. — Какая сволочь принесла тебе на хвосте эти сплетни? Выкладывай.

Тот отшатнулся, открыл ящик письменного стола и достал три машинописных листка.

— Твой директор. А теперь сознайся, чего тебе наобещал Миранда и о чем ты беседовал с братом. Признание в твоих интересах. Выкладывай.

Франсис ответил спокойно, даже с издевкой, но его голос подрагивал от ярости:

— Знаешь, когда ты еще в пеленки мочился, Миранда уже работал в подполье против Батисты, а когда в 1958-м этот паразит-директор ходил и посвистывал, у Миранды кости трещали в полицейском участке, но он не выдал ни тебя, ни меня. Тогда нам некогда было попусту языки чесать, а теперь мне захотелось с ним просто пообщаться. Что касается моего брата, то сам знаешь, если, конечно, у тебя есть мать, что родной брат всегда останется мне родным братом, где бы я его ни встретил и что бы он ни делал. Но оба они, и мой брат и Миранда, сказали мне, что ты подонок, а директор — мудак и мерзавец.

— Хамить не позволю!.. — и большой начальник схватился за пояс, где под рубашкой был заткнут револьвер.

— Иди ты в задницу.

Хлопнув дверью, Франсис вышел из кабинета и у дверей лифта нос к носу столкнулся с директором.

— Привет, Фран... — огромный кулак Франсиса заткнул директору рот.

Через некоторое время Франсис был уволен и с тех пор не мог никуда устроиться, потому что, куда бы он ни обращался, путь ему отрезал телефонный звонок директора с самым нелестным отзывом.

— Кретины! — только и оставалось ему рычать себе в утешение.

— Чем будешь промышлять? Надо же как-то жить, — сказал я ему тогда.

— Буду здесь, у себя в патио, делать то, что делали мой отец и мой дед — мастерить обувь на деревянном ходу.

Шлепанцы на деревянной подошве вышли из употребления с той поры, как правительство национализировало частные мастерские. А сначала эти изделия Франсис продавал соседям, потом — кому придется.

— Как жисть, красавица? — говорит Монике Леандро-Мексиканец и, улыбаясь, сверкает тремя большими золотыми зубами, как и полагается состоятельному человеку, ибо золото есть золото и три, пять или больше коронок из этого металла всегда будут внушать уважение, придавать в обществе вес. — Как жисть? — повторяет Мексиканец, хотя, чтобы сойти за подлинного мексиканца, надо бы сказать "Как делишки?", но он говорит так, как говорит, и его золотые клыки поблескивают, словно пиратские кинжалы.

Моника не питает к нему симпатии, но поддерживает знакомство, потому что порой приобретает у него неплохие вещи. Мексиканец — человек деятельный, предприимчивый и, как многие другие персонажи нашей истории, тоже занимается куплей и перепродажей. Но, в отличие от Манолито-Быка и Франсиса, его товар (мясное филе, лангусты, дорогие телевизоры, одежда, обувь) попадает к нему из валютных магазинов, так сказать, через вторые руки, от воров и других умельцев.

— Чего надо? — сухо отвечает Моника.

— Пришел предложить тебе жирный кусочек.

Моника впускает его в комнату, и он неторопливо садится в кресло, ибо, когда захочет, ведет себя как воспитанный человек.

— У тебя зеленые глаза.

— Ну и что?

Пиратские кинжалы выскакивают из ножен, берутся за дело, начинают атаку. Моника слушает.

Мексиканец заканчивает свою горячую речь, молчит, и в комнате, куда не долетает шум с Рампы, воцаряется полная тишина, будто все затаилось в ожидании ответа Моники, которая, пригладив волосы, в упор глядит на Мексиканца.

Сегодняшний день, кажется, полон сюрпризов; это уже не первое предложение, которое надо как следует обмозговать, но Моника, не сдержавшись, выпаливает в лицо Леандро:

— Какого хрена ты ко мне с этим дерьмом лезешь?

Моника читает Кортасара, Аренаса и Карпентьера[1], но может быть груба и агрессивна, ибо иначе не прожить в том мире, в каком она живет.

— Ты что? Считаешь меня уличной шлюхой? Дешевой подстилкой?

Она взорвалась, кричит, и тотчас извне возвращаются все привычные шумы и звуки. Мексиканец ерзает в кресле, он немного смущен и машет руками, будто мух отгоняет.

1. Алехо Карпентьер Вальмонт (1904—1980) — кубинский писатель.

— Тихо ты, не ори, — говорит он. — Я только хотел предложить тебе выгодное дельце.

— Хрень, а не дельце. Хочешь пенки снять, а меня в дурах оставить. Если я поеду в Мексику — а я туда не поеду, — кто поручится, что мне там будут платить и хорошо со мной обойдутся? Ясно, что этот козел-мексиканец хочет поставлять кубинок в Мексику и делать из них проституток.

Мексиканец отправляется восвояси в самом дурном настроении, думая о том, что вполне может сорваться выгодное дельце, но откуда же взять красавицу-кубинку, да еще с зелеными глазами? Его клиент на днях уезжает и требует немедленного ответа.

"Ишь чего надумал", — размышляет Моника, захотел снять ее как уличную девку, которую можно туда-сюда таскать, как собачонку. Нет, хуже того, как рабыню. "Ишь чего надумал". Ни за что на свете она на это не пойдет. Ехать в Мексику с каким-то поганым козлом, а там сразу попасть в публичный дом или куда похуже, потому как эти сказки про любимую компаньонку пусть рассказывает детям. Надо ухо востро держать при таких предложениях, с виду заманчивых, а на поверку куда как рисковых и опасных.

Моника продолжает размышлять и задается вопросом: не тот ли это мексиканец, о котором ей сообщила Манолито-Бык? Она тут же звонит Манолито, но нет, та говорила о другом мексиканце, который никого никуда не собирается везти, а просто хочет познакомиться с прекрасной кубинкой здесь, на Кубе. Манолито настаивает: мол, это человек надежный и серьезный, ему можно верить, а если желаешь, я тебе его представлю, ты сама решишь, и кроме того, еще неизвестно, понравишься ты ему или нет, и давай устроим встречу завтра же около четырех в "Национале", о'кей? Моника вдруг вспоминает недавнюю просьбу своей бабушки о деньгах. Ладно, о'кей, гудбай, дорогая, бай.

Манолито вешает трубку и думает, что ей вполне могут перепасть хорошие комиссионные, обещанные клиентом.

Моника кладет трубку и говорит себе, что не надо было соглашаться на свидание, хотя что она теряет: если он ей не понравится, всегда можно от него отделаться.

Она зажигает сигарету, встает, идет к холодильнику, берет бутылку виски, наливает на дно стакана, пьет залпом, жадно затягивается и тут же с шумом выдыхает серые кольца и смотрит, как они медленно тают в воздухе.

Ей осточертела вся эта публика. Ей хочется иметь рядом человека хорошего, доброго, который помогал бы ей материально и — а почему бы нет? — понимал бы ее с полуслова. Да, всего лишь, чтобы немного ее понимал. И не обязательно, чтобы помогал, а только чтобы понимал.

"Я круглая дура, — говорит она себе и снова прикладывается к виски. — Такое бывает только в кино. А в жизни кому надо тебя понимать? Пошли они все..."

Моника прохаживается по комнате и вдруг решает прогуляться. Потом, вечером, она пойдет в кино и на диско.

Чуло Кэмел получил свое прозвище по марке североамериканских сигарет, которые он обычно курит. Его настоящего имени не знает никто, да он и сам его, наверное, забыл или пожелал забыть, дабы вытравить из памяти то тяжелое время, когда он был не внушающим страх и уваже-

ние сутенером, а просто мальчишкой, которого отец, портовый грузчик, нещадно драл ремнем.

Кэмелу дают и тридцать лет, и двадцать, и все сорок. По его физиономии с толстыми чувственными губами, тяжелым взглядом, приплюснутым носом и квадратным подбородком боксера очень трудно судить о возрасте. Он всегда одевается во все темное: черная рубашка или футболка, черные джинсы, черные башмаки. На руках — кожаные амулеты и часы, тоже черные, как и очки, которые он почти никогда не снимает, хотя зрение у него отличное. Единственные не черные в его наряде предметы — это распятие на золотой цепи и коралловое ожерелье (в честь бога Чанго) на шее, а также серебряный браслет на левом запястье в знак почитания бога Оггуна. Во рту — два золотых зуба, которые он с удовольствием демонстрирует. Цепь, распятие, браслет и зубы гармонируют с его очень белой, позолоченной на солнце кожей и рыжей шевелюрой.

Как полагается в романах и кинофильмах, Кэмел коварен и злобен, ибо где найти доброго *чуло*.

Кэмел занимается не только сутенерством, но, если требуют обстоятельства и пахнет хорошими деньгами, может выступить в роли хинетеро, то есть активного педераста, что привлекает некоторых немцев. В то же время он собирает деньги с участников подпольной лотереи и, как говорят злые языки, еще служит осведомителем в полиции.

У Кэмела находятся в рабстве две женщины, вывезенные из деревни. Он предоставляет им жилье, кормит, одевает и, как пастух своих овец, пасет в злачных местах, где охраняет от бандитов и куда не пускает других *хинетер* и *чуло*. Недавно у дверей дискотеки он стал избивать одну из своих рабынь. Моника вступилась за нее, подоспели другие защитники, и после небольшой потасовки ему пришлось ретироваться. В ярости он пригрозил Монике, что она дорого заплатит за свое заступничество.

Ты, Малу, уже не помнишь, когда и где с ним познакомилась, но знаешь, что сделала это на свою беду. Кажется, знакомство произошло в отеле "Комодоро" в ту пору, когда дела твои были плохи, деньги кончились, полиция не давала шагу ступить, а грек Димитрис, сменивший Хансута, уже уехал. Кэмел ссудил тебя деньгами и неплохо пристроил. Вскоре сам хорошо на тебе нажился, но остаток долга потребовал отработать в постели, а за отказ грозил не только поколотить, но даже убить. Однако ты не захотела оказаться у него в рабстве.

И теперь тебе совсем ни к чему встречаться с Кэмелом, которому ты не отдала свой должок.

Спустя некоторое время Франсис стал владельцем небольшой, но прибыльной мастерской по изготовлению обуви, метелок и швабр. В ту же пору директор, закадычный друг высокого начальника и замминистра, был назначен генеральным директором, хотя вскоре и смещен с этого поста, поскольку неделей раньше был уволен замминистра, который позже бежал с Кубы. Этого высокого начальника обвинили в халатности, злоупотреблении служебным положением и отправили работать в какую-то дыру.

— Я ведь говорил тебе, говорил, — с удовольствием сообщил я Франсису о низвержении его врагов-чиновников. — Рано или поздно эти твари свое получат.

Но Франсис недолго радовался добрым вестям, ибо скоро добрались и до него и арестовали, обвинив в организации частного обувного производства.

Мы с Себастьяном постарались помочь ему, поговорили с влиятельными друзьями. В конце концов Франсиса выпустили на свободу, но конфисковали и мастерскую, и все накопления.

Я зашел его навестить. Франсис сидел в старом кресле с толстой сигарой-самокруткой во рту и лениво пускал темные облачка дыма, плывшие к потолку. Он тихо покачивался из стороны в сторону, монотонное поскрипывание кресла в тихой комнате походило на чьи-то шаги в пустынном переулке.

Я пришел к нему с советом: мол, пора забыть обиды и заняться делом, плюнуть на частное предпринимательство и подыскать нормальную работу. Благодаря хлопотам одного моего приятеля со связями я нашел для него теплое местечко.

— Какое же? — недоверчиво спросил Франсис.

— Будешь заместителем начальника по планированию удоя молока в провинции Пинар-дель-Рио.

Франсис дернулся в кресле.

— Предлагаешь подчиняться какому-то мастеру доильных дел где-то у черта на куличках?..

— Не совсем так. Ты сам будешь ответственным лицом, станешь участвовать в выполнении государственного плана по животноводству, сможешь начать все заново. Ты, понятно, станешь передовиком, и тогда тебе дадут работу в Гаване. Да кто знает, вдруг тебе и в деревне понравится и ты останешься там навсегда.

— Мне на-чи-нать с нуля? — Франсис произнес слова по слогам, вскочил и, бурно жестикулируя, излил гнев на обидчиков. Стыд и позор, кричал он, что одного из первых борцов с Батистой, ветерана, которого трижды арестовывали, пытали и гноили в батистовских застенках, теперь втаптывают в грязь по доносу какого-то вшивого выскочки, дают коленом под зад, сажают, а потом милостиво прощают и предлагают стать молочником, доить коров, которых он в глаза не видывал, разве что изредка ел мясо.

— Видишь ли, ты сломал директору нос, когда его саданул. А кроме того, сейчас тебя никто не унижает и не преследует. Ты наделал глупостей, полез на рожон... — говорил я.

— Ага, значит, по-твоему, я сам кругом виноват...

— Тебя наказали. Правда, несправедливо, но всего лишь наказали, а теперь стараются восстановить справедливость. — Его упрямство начинало меня раздражать.

— Тогда почему не восстанавливают меня на прежней работе? — Франсис сел и снова закурил. Он выглядел очень расстроенным.

— Сам знаешь, что это невозможно. Место уже занято. Если бы всех восстанавливали на их старой работе, в стране воцарился бы хаос. — Мне никак не удавалось переубедить друга, ибо в ту пору я искренне считал, что всему виной его упрямство и озлобление. Беседа начинала меня утомлять, но я все еще пытался его уговорить. — Не будь таким злопамятным. — Я вытащил из рукава последнюю козырную карту. — Тех, кто тебя травил, уже нет и в помине. Самое главное, что ты парень толковый и постепенно обучишься всему новому. Со временем станешь тем, кем был раньше.

— Иди ты к...

— Сам иди туда! — взревел я. — Ты неблагодарная, обидчивая скотина. Вляпался когда-то в дерьмо и не желаешь отмыться.

Франсис снова встал, его лицо побагровело, брови сомкнулись на переносице.

Я тоже поднялся и направился к двери. Разговаривать было больше не о чем.

— Тебе остается только у церкви со шляпой в руках стоять, — обернулся я к нему с порога.

— Лучше милостыню просить, чем задницы лизать, как ты.

Я было ринулся к нему, но сдержался.

Мы расстались чуть ли не врагами и перестали здороваться. Потом долго еще не виделись, мне тоже пришлось хлебнуть горя, пути наши однажды пересеклись, мы поплакались, пожаловались друг другу на свои беды, которые, в сущности, оказались нашей одной общей бедой. В итоге крепкое дружеское объятие скрепило дружеское примирение.

Моника переходит улицу 23 и задерживается возле базара. Совсем рядом, на углу улицы М, здоровенный негр, оборванный и лохматый, по имени Танганьика, окруженный туристами и зеваками, вращает большие металлические бидоны, пустые и без крышек.

Цилиндры крутятся, бьются о тротуар и гулко, басисто постукивают — там-там-там, — как барабаны под руками умелых музыкантов. Вращение бидонов все убыстряется, ритмичный перестук становится громче. Толпа любопытных растет, Танганьика пританцовывает в такт своим "барабанам", которые вдруг замолкают. Танганьика кланяется и кричит: "Аплодисменты!" Зрители охотно аплодируют, и Танганьика протягивает к ним руку с бумажным кульком. Некоторые иностранцы кидают монеты и даже бумажки.

"Сенк ю, сенк ю", — говорит уличный музыкант и собирается снова пустить в пляс свои бидоны, но замечает приближающегося полицейского и застывает на месте. "Проходите, проходите", — приказывает полицейский, и публика начинает рассеиваться.

Моника в числе других бросает несколько монет музыканту и направляется на базар. Там она не спеша прохаживается, оглядывает ряды с товарами, останавливается наконец у лотка книжника Ремберто и берет в руки "Селестино перед рассветом" Рейнальдо Аренаса. Этот популярный кубинский писатель когда-то мальчишкой приехал из провинции Орьенте в грешную Гавану, чтобы выучиться на счетовода для сельских кооперативов, и звался тогда просто Фернандес. Книжник рассказывает Монике, что сам тоже учился на курсах счетоводов, где и познакомился с Фернандесом, который скоро заделался писателем и превратился в Аренаса, может быть потому, что песок[1] ласкает взор, а вода ласкает песок; а может быть, из-за того, что песок все время в движении — куда волна кинет, туда и катится, как сам писатель, а возможно, из-за того и другого вместе. Моника — постоянный покупатель книг — берет у Ремберто "Селестино перед рассветом" и "Сто дней Содома" за двадцать долларов. Продавец предлагает ей "Спящий хлеб", но она отказывается, не нужно ей и первое кубинское издание "Игры в класси-

1. Аренас от *исп.* arena — песок.

ки": "Эта вещь у меня уже есть", — говорит она с улыбкой. Когда покупательница уходит, книжник думает: "Бывают же странные женщины: *хинетера*, а деньги на книги ухлопывает".

Моника с двумя книгами под мышкой обходит весь базар, не видит для себя ничего интересного и уже собирается уходить, когда вдруг слышит тихое поскуливание. Оглянувшись, она замечает Маркоса, продавца собак, с последним непроданным щенком, который глядит на нее из клетки и жалобно тявкает. Когда Моника к нему подходит и гладит, щенок — весь белый, с черной звездочкой на лбу — от радости вертит хвостом. "Очень ласковый и преданный", — говорит продавец. "Наверное, часто болеет?" — "Нет, порода выносливая. Ты ему, вижу, приглянулась". — "Да, но что мне с собакой-то делать?" — "Должен же кто-то такую красотку, как ты, охранять. Я бы и сам продался тебе в охранники", — улыбается продавец. "Ну, я умею постоять за себя, — отвечает Моника и бормочет задумчиво: — Да, но на что мне собака? Хотя он такой славненький и глаза грустные... Ведь погибнет же, если его не купят". Щенок снова начинает скулить и вилять хвостом. "Видишь? Рвется к тебе". — "Сколько?" — "Сто". — "Дороговато, я же не какая-нибудь туристка-миллионерша". — "Ладно, такой красавице отдам за пятьдесят". — "За пятьдесят?" — "Бери. Вон как на тебя глядит". Щенок встает на задние лапы и норовит лизнуть руку Монике, которая все еще терзается сомнениями. Ей нравится песик, но как управиться с кутенком, которого надо кормить, выгуливать... Зато он будет преданным другом, гораздо более преданным, чем любое существо человеческой породы. "Когда бываю одна, смогу с ним поговорить. Да и денег сейчас на покупку хватит". Она гладит щенка по голове. "Я его беру". — "Правильно делаешь, это породистый кобелек, аристократ. Можешь оставлять на него все свои наряды и ожерелья, считай, что я их тебе дарю". Моника платит и берет щенка на руки. "Как его зовут?" Продавец пожимает плечами. "Мы его называем Белянчо".

"Белянчо? Белянчик? Такое имя не для породистого пса. Раз уж ты аристократ, то и зовись по-благородному". Тут ей почему-то вспоминается наследный принц Великобритании. "Ты будешь называться Сэр Чарльз".

Моника уходит с базара с книгами в одной руке и Сэром Чарльзом в другой. Она возвращается домой, не сделав того, что задумала, когда выходила из дому. Такова жизнь, по крайней мере жизнь в Гаване, где знаешь, с чего начать, но не ведаешь, чем дело кончится.

Сэр Чарльз весело вертит хвостом. Отныне он станет сопровождать и радовать Монику до тех пор, пока будет жив, ибо через какое-то время он сдохнет, так и не познав собачьей любви, подхватив какую-то собачью заразу, даже названия которой никто не знает.

Утром на Малеконе рядом с пиццерией "Ла Пирагуа" сидят на парапете четыре девчонки и звонко щебечут. В нескольких шагах от них яростно целуется пара влюбленных, а три светловолосые туристки, осаждаемые мальчишками, клянчащими жевательную резинку и монеты, фотографируют набережную и море.

Ты идешь по набережной. Можно подумать, что ты, Малу, живешь на Малеконе, так часто сюда приходишь. Ничего удивительного. Ты любишь это место и находишь здесь многих своих клиентов. Идешь и дума-

ешь о Варгасе, твоем новом знакомом мексиканце, владельце плантаций перца чиле — "чиле мексиканского" и "чиле гаванского" (этот — более пикантный, по его словам). Он приятель Манолито-Быка, которая свела его также и с Моникой.

Тебе хочется поговорить о нем с Моникой, обсудить создавшуюся ситуацию, ибо, кажется, ему не терпится переспать с тобой. А ведь он с Моникой уже почти месяц. Кого из вас он теперь предпочтет? Не иначе как надумал управиться с той и другой заодно. Насчет такого варианта он уже высказался ("Мне бы хотелось приласкать вас обеих, вы обе — совсем-совсем рядышком, и, думаю, нам будет ох как уютненько"). Представляя себе эту картину, ты улыбаешься. Ты и Моника в постели с одним мужчиной, который, в общем-то, собой недурен и просто лопается от пикантных и сочных чиле-долларов. Интересно, которую из двух он первую попотчует своим гаванским чилеником (или чиленищем)? Тебя? Или ее? Ты хорошо знаешь тело своей подруги, у нее маленькие груди, не такие, как твои — наливные, сочные, в которых можно спрятать мошонку какого-нибудь мачо; у нее — темные соски, тугой живот без капли жира и очень белый; лобок с редкими светлыми волосами, не как у тебя — весь в черных густых завитках, как подлесок в сельве. Что будешь делать, если этот индеец из Мехико, этот мехиндей, вырастивший мексиканский и гаванский перец чиле, сначала займется ею? Станешь терпеливо ждать, пока очередь дойдет до тебя? Чушь. Ты не из тех женщин, которые смотрят и ждут. Наверное, ему понравилось бы, как нравится многим норвежцам, если бы ты сама бросилась в атаку на них обоих, сначала сзади на него, а потом, отодвинув его, склонилась бы над Моникой и стала бы целовать ее грудь, потом губы — так, как умеешь целовать только ты, медленно, нежно, пока вы обе не вздрогнули бы в мгновенном едином порыве...

Воображаемая сцена так тебя распалила, что все твое тело покрылось испариной. Ты останавливаешься, наваливаешься грудью на парапет набережной и смотришь на море, пока не утихнет твоя разыгравшаяся фантазия. Конечно, с Моникой у тебя не произойдет ничего такого, того, о чем тебе мечтается, и ты это прекрасно знаешь, хотя не признаешься себе в этом. Ваши отношения были определены давным-давно и самым решительным образом. "Подруги, сестры — и больше ничего", — сказала Моника в студенческом лагере, и ты никогда не нарушала ваш уговор, ибо, ко всему прочему, ты очень любишь ее как человека, как подругу.

"Моника, ох, Моника", — повторяешь ты, а морской бриз ласкает тебе лицо.

— Красуля, вот ты где, а я тебя обыскался, — хрипло говорит кто-то, и грубая сильная рука хлопает тебя по заднице. — Угадай, кто я?

Близится ночь, уже прошла не одна неделя со дня приобретения Чарльза, а Моника все еще не познакомилась с обменщиком. Встреча приближается, ибо чему быть, того не миновать.

Вечером она поздно приходит домой. Едва переступает порог, как Сэр Чарльз бежит к ней навстречу, виляя хвостом. Моника берет его на руки, а он так и норовит лизнуть ее в лицо.

— Чарльз, погоди, Чарльз, — мягко отстраняется она и садится на кровать. Сбрасывает туфли и начинает раздеваться.

Чарльз молча смотрит на нее, она гладит его по голове. После душа и ужина закуривает, ставит кассету с битлами и достает толстую тетрадь в красной обложке.

Уже многие годы, почти с ранней юности, она ведет дневник. Теперь не часто встретишь тех, кто беседует с дневником, тем более если жизнь не заладилась, как у Моники, но это вошло у нее в привычку.

Дневник помогает ей лучше разбираться в своих чувствах, легче переносить одиночество и минуты депрессии, которая порой ее одолевает; даже Малу не может развеять ее хандру.

Она пишет:

"Вчера порвала с Варгасом, мексиканцем. Разошлись мирно, но с меня хватит. К счастью, ему надо возвращаться в Мехико. Он — коварный мерзавец, воспитанный и учтивый, но законченный подлец — хотел меня оставить в дурах. Манолито-Бык тоже хороша — собралась меня надуть, да не тут-то было.

Сейчас, как никогда, хочется облегчить душу, поделиться своими горестями. А с кем? С матерью? Нечего и думать. С Малу? У бедняжки своих забот полным-полно, недостает еще со мной возиться. К тому же сейчас она сама не своя, извелась в поисках травки. Ее приучила к курению одна канадка, которая любила накуриться перед сном. Канадка уехала, а травку ей стал давать колумбиец, но он тоже уехал, и Лу просто сходит с ума и готова подставить ягодицы кому попало, лишь бы добыть марихуану, но добыть зелье нелегко, да притом ее все облапошивают, начиная с того негра, который взял с нее двадцать зеленых за сигареты с какой-то трухой, и кончая немцем, который наобещал ей не только горы марихуаны, но даже порошок, белый порошок, а сам ничего не дал и исчез, как глюки после наркоты. "Когда травка меня забирает, у меня крылья растут, я — в полном улёте, я где-то там на небесах", — говорит Лу.

А я — в кайфе от музыки битлов. Если затянусь травкой, мне плохо, я совсем дурею. А когда слушаю битлов, мне кажется, будто с Малекона любуюсь заходом солнца или утешаюсь любовью с кем-то, кто мне очень дорог, — испытываю дикое наслаждение, когда хочется кричать, вонзать ногти в любимого, а потом чувствовать себя страшно счастливой и умиротворенной.

Но у меня нет любимого человека и я совсем одна. Единственный мужчина, которого я любила и который любил меня, погиб в море.

Так хотелось бы, вопреки всему, иметь настоящую семью (не такую, как у моих родителей), иметь детей, одного-двух. Но от кого? Не могу же я сама по себе забеременеть, а все мужчины — подонки, им только и надо что тобой попользоваться.

"И не только мужчины, все люди — дерьмо, и верить никому нельзя", — сказала Лу. "Но мы же верим друг другу", — ответила я. "Мы исключение. А общее правило одно: спасайся как можешь. Сама знаешь". — "Все-таки есть еще люди..." — ответила я ей, правда не слишком искренне, а скорее чтобы ее позлить. Пусть думает, что я еще дурочка. "Да, есть — на дне морском", — и Лу засмеялась.

В общем-то она права, кругом — джунгли, темный лес, где непролазная грязь, корысть, деньги. Вокруг одни паразиты, которые только и хотят что залезть на тебя. Но все-таки должен же быть кто-то не такой, как моя мать, как Лукас, старый хрыч, который спит со своей дочкой; не такой, как Кэмел, поганый сводник, который пригрозил разделаться со

мной, когда мы сцепились на дискотеке, где он избивал больную Росу. Да, должен же еще кто-то быть на свете".

Моника гасит окурок в пепельнице и продолжает писать дневник.

"С матерью больше не видимся. Иногда становится грустно оттого, что она меня не любит. Как плохо, когда тебя не любит собственная мать. Я все же ее люблю, на свой лад, но люблю.

Бабушке я так и не позвонила. Надо, обязательно".

Моника зевает, откладывает ручку и смотрит на часы: два часа ночи.

Снаружи, с улицы, слышится чей-то голос. На соседнем балконе стоит Шалая Кета, кричит "Мони, Мони!" и машет руками. Моника выходит на балкон. Полная луна (луна сумасшедших) скрыта облаками, вокруг темень и тишина. На улице никакого движения. От Дома телевидения, возле которого собираются гомосексуалисты для бесед и знакомств, они расходятся парами или поодиночке. "Моника, Моника", — настойчиво повторяет Кета и тычет пальцем в сторону базара, погруженного в полную тьму. "Смотри!" — говорит она, но Моника ничего не видит: "Где?" — "*Конга*, карнавальное шествие, *конга* выходит с Меркадо!" У Кеты, видно, очередной приступ помешательства, она хлопает в ладоши и смеется. "Я тоже пойду с ними, пойду туда!" Моника снова глядит в темноту, но ничего не видит и только слышит какой-то глухой стук — не то барабанов, не то железа, будто Танганьика, негр-плясун, бьет по своим "барабанам". "Кета, я ничего не вижу", — говорит Моника, а когда оборачивается, соседки уже нет на балконе. Кета внизу, выходит из дому и, пританцовывая, не глядя по сторонам, пересекает улицу. На углу у Дома телевидения несколько задержавшихся здесь гомосексуалистов смотрят в сторону базара, а другие туда направляются.

Монике вдруг захотелось одеться и спуститься — посмотреть, что происходит, но она лишь машет рукой. Наверное, топчутся там гомики да психи, а чтобы смотреть на гомиков и психов, не стоит бежать на улицу, говорит она себе, закрывает дневник, идет в спальню и ложится спать. Чарльз, встав на задние лапы, тянется к перилам балкона, глядит туда, где раскинулся Меркадо, и виляет хвостом.

III

Пьяный Франсис остался лежать, где лежал, а я пошел домой. Улицы были темны, фонари не горели, окна в домах не светились.

"Ох уж эти отключки, мать вашу..." — бормотал я, взбираясь во мраке по лестнице к своему жилищу. Ввалившись в комнату, не раздеваясь рухнул на кровать. Голова трещала и раскалывалась. Я тер виски, но боль не проходила. "Удружил мне Франсис своим самогоном, в рот больше не возьму это зелье, у меня еще хватает денег, — бурчал я, — чтобы купить 'Джонни Уокер' с черной этикеткой или — а почему бы и нет? — 'Чивас регал'".

"Опять несешь всякую чушь, фантазер непутевый. Потому и сидишь на мели", — зудела Бэби мне в ухо. Она и была тут и не была.

"Купим ром, купим ром", — бубнил Франсис, которого здесь тоже не было, хотя я его прекрасно слышал.

"Ладно, пока обойдусь тем, что есть, — сказал я себе, вспомнив, что ром, как и кусок свинины, уже можно получить по карточке. — Возьму

завтра". Но назавтра меня ждало срочное дело по обмену жилья в провинции Пинар-дель-Рио.

С трудом дотянулся я до телефона и хотел набрать номер Моники, но аппарат не подавал признаков жизни. На кой черт он мне вообще нужен? Опять не работает.

"Пошли они все... и ром, и телефон, и Моника", — сказал я и, засыпая, слышал, как по крыше застучали тяжелые капли дождя.

Если говорить о вере, то можно сказать, что Моника верит во все: в Бога, в святых и особенно в Пречистую Деву из Кобре, покровительницу кубинцев; верит в богов сантерии, а Малу уговаривает ее поклоняться богине моря и всех вод Йемайи. "Ты дочь Йемайи, и она тебя призывает, — говорит ей Малу. — Если хочешь, поговорю с доном Хенаро, и он все устроит".

Моника верит астрологии и гороскопам, которые регулярно передает радио Майами, а также в спиритические сеансы, на которых Рохелио, актер, с которым она жила, вызывал разных духов по четвергам в девять вечера в своей квартире на Рампе. Наконец, верит она в хиромантию и в гадание на картах, в том числе на таро.

Не верит только в майобе, потому что воочию не видела ни одного члена этой секты, а также боится сатанизма, поскольку это — плохой, страшный культ, а она, безусловно, добрая и хорошая женщина.

Подобно своему отцу, она суеверна и много читала об оккультных науках в книгах, которые втридорога покупает у Ремберто и других торговцев, ибо книги по эзотерике на Кубе очень дороги — наверное, потому, что все необычное и трудно достижимое всегда дорого ценится.

Не так давно у нее был любовник-англичанин, член масонской ложи Йорка, который рассказал ей о масонстве. А потом один кубинский йог, с которым она случайно познакомилась, пригласил ее на свои занятия с учениками и дал пару книг о буддизме. На занятия йогой Моника не пошла, поскольку медитация едва ли помогла бы ей обрести душевный покой, но обе книги читает.

И вот Моника поднимается по лестнице своего дома к гадалке Марухе, которая живет этажом выше. Идет к ней, ибо не может справиться со странным ощущением, будто вот-вот с ней случится что-то недоброе, и ей хочется узнать свое будущее.

Марухе лет тридцать, она высока и худа, с длинными, распущенными, как смоль черными волосами, придающими ей вид зловещей вороны, этакой тропической колдуньи, каковой и следует выглядеть предсказательнице судеб человеческих. Злые языки и завистники называют ее не Маруха, а Ма-вруха.

Это она распустила слух о видениях Кеты, о том, что на базаре в ночи полнолуния происходят странные вещи, оттуда выходит карнавальное шествие, конга. Но в отличие от Кеты она верит, что Волдемор уже посетил базар и скоро вернется. Втайне от всех Маруха его почитает и обожает. "Царь земной, отец всех людей, я тебя призываю", — говорит она и бросает зерна маиса в очаг, где вспыхивает и рассыпается искрами пламя.

Познав тайны тонких материй, Маруха знает, как заговаривать зубную боль и облегчать бремя налогов, как предсказывать судьбу по кофейной гуще и по страницам книг, как уберечь себя от обжорства и доносов, как заполучить хорошего мужа, и еще много чего знает и может Маруха, а если она не гадает по крови, желчи и черепу, то исключитель-

но из-за отсутствия нужного материала и необходимых условий. Больше всего предсказательница любит гадать по руке и на картах.

Она пользуется широкой известностью не только в Ведадо, но и во многих других районах Гаваны, откуда приезжают самые разные люди и сидят в очереди, чтобы попасть к ней на прием и узнать, что их ожидает в этой жизни. За короткий разговор и простые вопросы типа "Выйду ли я замуж?" она берет один доллар или двадцать кубинских песо. За ответы, требующие большего напряжения, плата более значительна и может достигать пяти долларов.

Порой слава идет ей во вред и ее деятельность становится предметом осуждения со стороны особо недоверчивых людей, которые обзывают ее ведьмой, шарлатанкой, мошенницей и даже антисоциальным элементом. Последнее обвинение самое тяжелое, потому что слыть антисоциальным элементом в любой части света значит быть чем-то вроде врага народа, кем-то вроде катаров[1] в XII веке или еретиков-гугенотов, которых в XVI веке преследовала инквизиция. В словаре Испанской королевской академии так и сказано: "Противник, человек, идущий против интересов общества, против социального порядка".

Посему Маруху дважды навещала полиция, но, в отличие от святой инквизиции, истреблявшей еретиков, не смогла ни в чем ее уличить и обвинить. Кубинский уголовный кодекс не преследует ни увлечение эзотерикой, ни гадание на картах. Да, антисоциальность антисоциальных элементов наказуема, но в случае Марухи эта статья неприменима. Она ни скандалов не устраивает, ни аморальными делами не занимается, не напивается и никого не ругает — одним словом, ничем не нарушает общественный порядок. Правда, покупает, как и все, ворованный товар (мясо, молоко, яйца, бензин), но если задержать ее за это — значит надо задерживать и многих других. Возможно, когда-нибудь ее обвинят в неуплате налогов, ведь она ничего не отчисляет в казну из того, что получает за свои предсказания и советы, но пока ее оставили в покое.

Последний полицейский, который у нее побывал, был даже рад, что ее не потревожил. "Так-то лучше, — сказал он себе, — а то еще нашлет несчастий на мою голову".

Когда Моника входит в ее квартиру, там нет ни одного клиента: Маруха отвела ей для беседы целый час.

В большой комнате с окнами, завешенными шторами, царит приятный полумрак; плошки с курящимся фимиамом распространяют сильный дурманящий запах. На Марухе китайский цветастый халат и красные туфли.

Они сидят друг против друга за столиком, на котором стоит маленький гонг. Когда Маруха ударяет в гонг серебряной палочкой, он производит дрожащий резкий звук, от которого Монике становится не по себе.

Гадалка берет правую руку Моники и мнет ее пальцами, щупает, поглаживает, жмет, словно оценивает.

— Рука у тебя хорошая, податливая, — полушепотом говорит она, — очень ясная, душевная, но нервная. Большой палец невелик, добр, дружелюбен, но говорит о склонности к унынию. Ты иногда поддаешься тоске и печали.

1. Катары (XI–XIII вв.) — приверженцы еретического учения, согласно которому мир есть порождение дьявола, земные блага следует отвергать.

Моника молчит, а Маруха продолжает медленно разглядывать ее руку, так медленно, что кажется, будто она обозревает какой-то шедевр мирового искусства.

— Вот твоя линия жизни, — говорит она, и ее ноготь скользит по дуге почти от указательного пальца мимо большого к запястью. — Линия прерывается. Затем идет дальше.

Моника смотрит и видит короткую веточку, не доходящую до запястья и сломанную где-то посередине.

— Что это означает?

Маруха щурится, глубоко вздыхает и, не отвечая, рассматривает ладонь.

— Натура у тебя сильная, но тонкая, беспокойная. Девочкой или совсем молодой девушкой ты перенесла удар, горе тебя изменило.

Моника молчит. Вспоминает.

— Вот и линия головы. Берет начало очень высоко, почти под указательным пальцем. — Маруха показывает. — Ты порвала с семьей. Это плохо.

"Да, порвала", — думает Моника.

— Тут вижу перемены, дороги и любовные переживания... А куда же ведут остальные тропки? — Маруха проводит пальцем по разветвлениям на ладони Моники, по линиям сердца, судьбы и Солнца, по холму Меркурия.

— Линия головы устремлена книзу, проходит рядом с линией судьбы. Это хорошо. Радость и исполнение желаний.

"Радость, исполнение желаний?" — мысленно повторяет Моника.

— Но линия сердца разрывается в нескольких местах.

Маруха закрывает глаза и начинает шептать что-то вроде заклинания или молитвы, которую завершает словами "Слава тебе, Господи".

Монике становится жарко в душной комнате, у нее слегка кружится голова. Скорее бы закончился сеанс, но интересно, что же ее в конце концов ожидает?

Гадалка открывает глаза, пристально смотрит на Монику, потом бросает взгляд на образ святой Барбары, стоящий в углу комнаты на маленьком столике возле сосуда с водой и желтым цветком в вазе.

— Тут есть еще крест между линией жизни и большим пальцем... — вдруг произносит она словно бы нехотя. — Посмотрим, посмотрим. А линия Солнца пересекается с линией судьбы... — Маруха ерзает в кресле.

— Что, что? — настораживается Моника.

— Нет, нет. Ничего, — спокойно отвечает Маруха и сосредоточенно продолжает: — Линии говорят, что ты переживаешь тяжелый период в жизни, не находишь успокоения, иногда печалишься, но скоро ты встретишь человека, который будет с тобой рядом, станет тебе опорой. Тебя ждут важные, хотя и трудные решения и большие перемены. Но ты должна быть очень осторожной, взвешивать каждый свой шаг... — голос Марухи хрипнет и напоминает скрипучее карканье вороны.

— Трудные решения? — Моника поднимает голову.

— Да, но в конце концов все будет хорошо и ты обретешь покой. Тебя ожидает дальняя дорога, — тут Маруха впервые улыбается, но улыбка получается натянутой, невеселой.

Монику бросает в жар от неясной тревоги, покалывает в висках. Она встает и протягивает Марухе деньги, но та отмахивается: мол, ни в коем случае, мы друзья и соседки.

Моника спускается по лестнице к своей квартире, спрашивая себя, какие могут ее ждать неожиданности и великие перемены и чего ей следует опасаться.

Понятно, что нельзя полностью верить словам Марухи, этой тропической колдуньи, чьи предсказания могут основываться на заранее полученной информации, на анализе интересов клиента (если это молодая женщина, то логично предположить, что речь пойдет о любви), а также на непосредственной реакции посетителя на слова гадалки. Так, Маруха от самой Моники знает кое-что о роде ее занятий и вполне может вещать о том, что ей грозят опасные связи и всякие сюрпризы. А близкие отношения с иностранцами позволяют говорить о возможных путешествиях.

Оставшись одна, Маруха без сил падает на софу и закрывает глаза. Сеансы берут много энергии, и надо дать отдых уму и воображению. Увы, как раз в эту минуту все десять собачек сеньоры Крус, ее соседки, принимаются отчаянно лаять.

Кэмел смотрит на тебя сквозь черные очки. Никто не встречался с ним взглядом, но взгляд этот, должно быть, беспощаден, как у всякого беспощадного сутенера. Он пожирает тебя тонированными стеклянными глазами, и его рука снова скользит по твоим ягодицам. Ты резко отстраняешься и яростно на него косишься. Тебе отвратен этот наглый насильник. Говорят, он сидел за бандитизм в колонии строгого режима на "Седьмом Кило", но ты его не боишься, говоришь ты себе. Ты и вправду никого и ничего не боишься, за исключением своей сумасшедшей сестры и ее истерик.

— Вот ты где, красуля! Может, поцелуешь своего папочку?

— Сам целуй себя в... Ты мне не папочка и не мамочка, — отвечаешь ты и делаешь шаг в сторону.

В нескольких метрах от вас на тротуаре ты замечаешь Батона, подручного Кэмела. А немного дальше, возле пиццерии, стоит полицейский.

Кэмел ухмыляется, щеря свои золотые, острые, как у Дракулы, клыки.

— Да уж я знаю — такая сука, богатая шлюха, как ты, не хочет знаться с парнем из народа, с таким бедняком, как я, — медленно и насмешливо произносит Кэмел, растягивая слова.

— Мать твоя сука, — говоришь ты, сжимая кулаки, готовясь отразить нападение. — Какого хрена тебе надо?

Лицо Кэмела искажается, рука взлетает вверх, но тут же опускается. Полицейский оборачивается к ним, и раздается предупредительный свист Батона. Этого полицейского, совсем еще мальчишку, ты никогда не видела — наверное, новенький и тебя он тоже еще не знает.

Чуло снова ухмыляется, как сделал бы в такой ситуации каждый уважающий себя сутенер.

— Я ищу одну милашку, Моникиту, с которой мы столкнулись на диско, — говорит он, приглаживая свои короткие светлые волосы.

— Зачем?

— Нам с ней надо одно дельце закруглить, — Кэмел стреляет плевком в сторону моря. — Мне сказали, она — твоя подружка и ты знаешь, где она живет.

— Я тоже ее ищу и не знаю, куда она подевалась.

— Жаль. Если б ты помогла мне ее найти, я бы уважил тебя подарочком.

Кэмел расстегивает пуговицу на рубашке. Ты видишь там белый пакетик, прижатый поясом к телу.

— Что это? — спрашиваешь.

— То, что ты любишь, да не имеешь. — Кэмел выдерживает паузу, ухмыляясь. — Травка первый сорт, только что из Колумбии, из Баракоа. Дружки мне привезли.

"Ох ты, моя марихуана, травка моя золотая", — думаешь ты, ибо давно и страстно ищешь дурман, уносящий тебя далеко-далеко, до самого солнца, через моря, до Тибета, где обретаются Ханс, дельфины и счастье.

— Дай мне, — по-детски молишь ты.

— Как не дать. Дам, — ласково отвечает Кэмел, — но на двух условиях.

— Каких?

— Во-первых, ты будешь доброй и хорошей с моим другом Батоном. Высосешь его до капли...

Заслышав свое имя, Батон приближается. Ты оцениваешь его взглядом. Он высок, здоров и страшен, как Франкенштейн. Его лицо рассекает — от косого глаза до толстых губ — лиловый шрам. Батоном его прозвали, как говорят, потому, что его мужской инструментарий не помещается в пакет для хлеба. Занимается он тем, что сбывает туристам пачки табака, ворованные на фабриках. Он растягивает рот в улыбке и похотливо щурится, глядя на тебя. Ты снова его обозреваешь.

"Ну и кобель", — говоришь ты про себя.

— ...а когда оближешь его досуха и сможешь слово вымолвить, сообщишь мне, где находится Моника. — Кэмел, застегнув пуговицу на рубашке, ждет твоего ответа.

Тебе ох как нужна травка. Просто жить не можешь без нее. С этим Батоном можно быстро управиться. В таких делах ты мастерица и можешь быстрехонько, за несколько минут довести любого мужчину до кондиции. Только бы не захлебнуться... Но ты уверена, что выдержишь, справишься, как ранее справилась с тем двухметровым верзилой из Рейкьявика. Но что делать с Моникой?

Кэмел снова показывает тебе белый пакетик.

— Пошел ты!.. — кричишь ты ему в лицо.

Это совсем другой день, но он как две капли воды похож на вчерашний, на те, что так медленно идут в Гаване, не изменяясь и повторяясь, будто бы день нынешний уже был полгода назад и словно ничего нового не произошло, хотя в действительности все же что-то происходит, случаются всякие события и неожиданности. Для Моники этот день будет иметь важное значение.

Солнце жарит вовсю, люди обливаются потом, идут на пляж, а в пекло порой прорывается дождик. К счастью, вечерний бриз всегда приносит прохладу. За прошедшие месяцы произошли изменения, правда небольшие, в жизни Моники и тех, кто ее окружает.

Сэр Чарльз вырос и стал веселым игривым псом. Манолито-Бык не раз зазывала Монику к себе, чтобы познакомить с новыми клиентами, но Моника больше не хочет иметь никаких дел "с этой наглой старой бандиткой". Милагрос уехала в Мексику с Инфанте, настоящим мексиканцем, ибо ее муж Эрмес ничего не имеет против того, чтобы получать от нее

ежемесячно триста долларов и ждать, пока она ему выправит визу для въезда в страну ацтеков. На базаре жизнь идет по-старому, все на своих местах, за исключением Чины, которая отправилась в Канаду с новым канадским другом. Ремберто мечтает о том, чтобы продать первое издание "Цыганского романсеро" Гарсиа Лорки, но не находится покупателя, готового заплатить желанные пятьсот долларов, и надо ждать, пока на Кубу приедет известный испанский книготорговец Абелардо Линарес, который по любой цене берет все, что относится к испанскому Поколению 27 года. Собачник Маркос уже успел продать не одну дюжину щенков, подобных Сэру Чарльзу, и заработал неплохие деньги, которых почти хватает, чтобы заплатить за визу в США, Испанию или даже в Мексику, хотя в Мексику он не очень рвется, ибо, как пишет оттуда его брат, преподающий литературу в Коулиакане, "здесь свирепствует кризис и дела мои не блестящи".

Моника все так же страдает от одиночества и томится жизнью, хотя никаких видимых причин для плохого настроения нет. У нее прекрасная квартира в центре Гаваны, денег в избытке, она молода и хороша.

К вечеру этого дня она идет прогуляться по улице 21 до Пасео, а потом возвращается и переходит улицу Л, где гудящая от нетерпения толпа уже минут пятьдесят ждет автобуса, который медленно, как бегемот на суше, выползает из-за угла. Внимание Моники привлекает женщина неопределенного возраста с совсем маленьким ребенком и другим малышом постарше, которого она держит за руку. Женщина с трудом протискивается вперед, чтобы влезть в автобус. Моника видит ее усталое лицо, плотно сжатые губы и полные тревоги глаза: вдруг не успею? Малыш, которого мать держит за руку, не поспевает за ней, и она тащит его за собой чуть ли не волоком, а автобус, это народное средство передвижения, уже совсем близко. Остервеневшие от ожидания люди оттирают женщину, готовясь к штурму автобуса.

Монику вдруг охватывает желание помочь женщине, схватить на руки второго ребенка, прорваться сквозь живой заслон. И она кидается через улицу к месту столпотворения.

— Куда лезешь, дура! — вдруг режет ей слух истошный крик, слышится визг тормозов. Оглянувшись, она видит в двух шагах от себя машину и физиономию водителя, орущего: "Смотри, куда прешь, сволочь!"

На улице тотчас образуется пробка, набегают любопытные, но тут автобус распахивает двери, и людская масса, давясь и толкаясь, устремляется внутрь.

Ошарашенная Моника возвращается на тротуар и быстро идет в сторону отеля "Националь". Сзади остаются крики бедолаг, не попавших в автобус, и гомон сотен людей, стоящих в очереди в кафе-мороженое "Копелия", дабы охладиться пломбиром.

Дойдя до ресторана "Ла Рока", она входит в бар и просит двойное виски. Пока пьет, выкуривает сигарету. Там в полумраке, под шелест голосов старается прийти в себя, успокоиться.

Высокий, седоватый, хорошо одетый мужчина подходит к ней.

— Можно приглашать вы на рюмка? — спрашивает он с улыбкой.

Моника холодно оглядывает его.

— Нет, thanks, — отвечает, платит и выходит из бара.

На улице уже темно, и только мигает огнями отель "Националь", этот видавший виды приют, соучастник любовных историй и социальных трагедий.

К подъезду подкатывает новое шикарное такси, из которого выходят двое светловолосых мужчин. Тотчас к ним приближаются две женщины в плотно облегающих тело платьях, белая и мулатка, и просят огонька. Мужчины смеются и затевают с ними разговор.

"*Хинетеры*", – думает Моника и переходит на другую сторону улицы. Впереди, слева от отеля, открывается вид на Малекон, а справа – великолепие и красота моря. Моника теперь идет не спеша и замечает у парапета одинокую, неподвижную фигуру мужчины, созерцающего море. Он высок, статен, серебристые виски. От него, отмечает невольно Моника, веет печалью и сиротливостью. Это первое, что она в нем видит.

"Кто бы это мог быть?" – задается она вопросом и останавливается неподалеку, чтобы зажечь сигарету. Чиркает одной спичкой, второй, третьей, четвертой, однако морской ветерок их гасит. Она начинает нервничать, но тут мужчина подходит, достает из кармана рубашки зажигалку и, загораживая рукой огонек от ветра, подносит к сигарете.

– Thanks, – говорит она.

– Пожалуйста, – отвечает он.

За окном кропил нудный дождик, наводя тоску и уныние. В моей мансарде в одном из старых кресел сидела Моника и листала зачитанный роман "Игра в классики", а я, растянувшись на постели, курил и смотрел на нее. Мне ничего не хотелось делать, только лежать, курить и смотреть на нее. Она была удивительно хороша со своими волнистыми волосами, прикрывавшими высокую красивую шею. Мне припомнились строки из поэмы "Ресницы и пепел" большого кубинского поэта Фаяда Хамиса, недавно погибшего от страшного недуга, и я тихо продекламировал: "Молчание ресниц печальных и тревожных, // а в зеркале пустынном и квадратном // застыла ночь".

Моника отложила книгу.

– Ночь застыла для тебя?

Хороший вопрос. Спустилась ли ночь моей жизни? Или остановилась сама жизнь? Я не ответил.

– Мне нравится ночь, – продолжала она. – Так чудесно бродить по городу ночами. А день всегда будет сменяться ночью?

Еще один забавный вопрос. До каких пор судьба будет одаривать нас такой радостью? Я задумался, поглядел на мокрую крышу и опять промолчал.

Она подняла на меня свои большие зеленые глаза.

– Ты здоров? Я тут уже целых два часа, а от тебя только стих услышала. Что-то ты сегодня хандришь.

Я в самом деле хандрю? Мне захотелось ей ответить, но слова не находились. Возможно, я хандрил, но и она была не в лучшем настроении.

В целом мы походили друг на друга и были едины в осознании собственной ненужности на этом свете. Если бы мы вдруг исчезли, ничего бы не изменилось и никто не стал бы горько плакать. Если бы умерла она, горевал бы один только я.

Не сдержавшись, я поделился с ней этой мыслью.

– Ничего подобного. Малу тоже бы горевала.

– Возможно, но очень недолго. А вот по мне вообще никто не заплачет, – как-то устало, по-стариковски промямлил я. Хандра и вправду меня одолевала.

— Я-то уж конечно не заплачу, — сказала она с деланым равнодушием, — но ты забыл о Франсисе.

— О да, Франсис, мой старый добрый друг, мой брат по несчастью. В день моей смерти он хорошо напьется, и его скорби хватит на целую неделю.

— И твои дочки тоже будут горевать.

Я вспомнил о своих дочках-близнецах, Марии Исабель и Марии Фернанде. Сколько же времени я их не видел? В водовороте собственных жизней они наверняка забыли отца.

"Где-то они теперь живут? — подумалось мне. — В Майами, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе?" Из их последних писем, полученных несколько месяцев назад, я узнал, что Мария Исабель отправляется в Нью-Йорк со своим вторым мужем, а Мария Фернанда работает в Сан-Франциско и хочет переехать в другой город, в Майами или в Мехико, где обитает Бэби со своим четвертым мужем, богатым мексиканцем.

— Ты всегда был такой хмурый? — Моника села рядом со мной, обняла за плечи. — Каким ты был раньше? — Ей очень хотелось проникнуть в мои лабиринты. — Ты очень мало рассказал мне о своем прошлом, о Бэби, о дочках. Я так много говорила о себе, а ты все секретничаешь, — ласково шепнула она.

Однако я, когда был трезв, закрывал рот на замок, и она это прекрасно знала.

О чем мне ей рассказывать? О том, что жизнь моя вдруг превратилась в одно сплошное болото, которое при каждом движении затягивает меня все глубже и глубже? Нет, никогда. Разве что рассказать о чем-нибудь маловажном, мимоходом — кое о чем. Но не более того.

Однако первое и главное, о чем надо было бы знать (ей и немногим моим читателям), это о том, что я был когда-то счастлив и полон иллюзий. Теперь все иначе. В какой же такой момент настоящее разминулось с прошлым?

Кэмел звереет, хватается рукой за пояс, и в руке у него сверкает нож. Ты в какую-то секунду это замечаешь и одновременно видишь, что полицейский возле пиццерии не смотрит в вашу сторону.

— Вспорю тебе брюхо, сука, — хрипит Кэмел.

Ты отскакиваешь от него и вопишь во все горло:

— Помогите! Помогите!

Крик парализует Кэмела и заставляет обернуться полицейского, который переходит улицу и направляется к вам. Иностранные туристы глядят на вас во все глаза, влюбленные парочки перестают целоваться, а загорающие на парапете девочки оборачиваются на шум.

— Гляди, драчка, — говорит одна из них.

— Помогите! Грабят! Меня грабят! — кричишь ты, понимая, что теперь Кэмелу несдобровать: если он будет задержан и обыскан, то у него найдут марихуану.

— Эй, что у вас там? — подает голос полицейский.

Кэмел опускает нож и, взглянув на полицейского, понимает, что вляпался в дрянную историю. Нельзя было прилюдно нападать на Малу. С криминальным прошлым и с марихуаной в кармане срок ему дадут лет пять. Он больше ни минуты не медлит и пускается наутек, но успевает тебе крикнуть: "Кишки выпущу, сука".

— Пошел к... — бормочешь ты и принимаешься театрально рыдать.

— Эй, стой, остановись! — вопит вслед Кэмелу полицейский.

Батон, завидев опасность, тут же смешивается с зеваками, тихо выбирается из толпы, переходит Малекон и исчезает за углом.

— Que c'est-il passé? — спрашивает одна из туристок, видимо француженка.

— Un voleur, — отвечает другая.

— Mon Dieu[1], — восклицает третья и в испуге прижимает сумку к сердцу.

Полицейский бросается вдогонку за Кэмелом, с головы у него слетает фуражка, а когда он видит, что чуло вот-вот от него ускользнет, выхватывает револьвер, стреляет в воздух и орет: "Стой, стреляю!" Заслышав выстрел, Кэмел останавливается.

Ты наблюдаешь сцену погони и видишь, что Кэмел не сопротивляется. Вот-вот его схватят и устроят вам очную ставку.

"Нет, мне этого не нужно", — говоришь ты и бросаешься в другую сторону. На Малеконе собралось множество любопытных, и ты легко растворяешься в толпе. "Мне совсем ни к чему связываться с этим гадом, — думаешь ты. — Марихуана и так его повяжет на хороший срок, и теперь можно не волноваться".

Ты еще не знаешь, что Кэмел, удирая, незаметно выбросил нож и заветный пакетик через парапет в море. Потому-то он и позволил себя задержать, а коль скоро ты не обвинила его в нападении, он вообще выйдет сухим из воды, останется на свободе и продолжит преследовать Монику и тебя.

Весело улыбаясь, Бэби и обе дочери-близняшки пели мою любимую песню, а дядя Модесто им подпевал, когда вдруг вошел Франсис. Все смолкли, и он сказал: "Вы готовы? Пошли". — "Куда?" — спросил я. Мне никто не ответил, и мы, понурившись, куда-то потащились. Бэби и близнецы вытирали слезы платочком, а Модесто плакал навзрыд. "Что случилось?" — хотел я спросить, но не мог. Язык меня не слушался, зато тело было необыкновенно легким. Я чувствовал, что могу взлететь и смотреть на всех с высоты.

Мы вступили на какую-то большую эспланаду, и я вдруг понял, что мы находимся на кладбище, рядом с открытой могилой Себастьяна, куда уже положены три гроба. На них начали громоздить четвертый.

"Хватит, больше не надо!" — кричал снизу Себастьян, хотя как он мог кричать, если был мертв?

Меня охватил ужас.

"Взгляни сюда", — приказал мне чей-то голос. Я посмотрел в могилу и увидел в последнем, четвертом гробу свой собственный труп, уже порядком разложившийся.

Я закричал или, вернее, хотел закричать — и проснулся, обливаясь потом. Была ночь. В комнате, залитой тусклым лунным светом, царил полумрак. "Опять кошмары", — подумалось мне, и рука потянулась к портативному радиоприемнику. Голос диктора сообщил: "Четыре часа утра" — и стал вещать о достижениях сборщиков риса в провинции Пинардель-Рио. Я выключил радио и попытался заснуть, хотя страшился, что

1. "Что случилось?" ... "Грабитель"... "Боже мой" (*франц.*).

кошмарный сон снова вернется. Идиотский сон, в котором кто-то внушал мне, что я уже покойник. Видимо, что-то сдвинулось в моем мозгу.

"Бред!" — громко сказал я, но еще долго вертелся в постели, прежде чем заснул. Накануне вечером я вернулся в Гавану из Пинар-дель-Рио, куда ездил на несколько дней по своим обменным делам. Там я каждый день напивался до чертиков, обратный долгий путь еле-еле вынес, а приехав домой, почувствовал себя вконец разбитым и свалился в постель.

Проснулся я поздним утром, после того как упрямо жужжащая муха несколько раз ткнулась мне в лицо. В комнату сквозь раскрытое окно пробивалось солнце, а внизу чей-то бодрый голос кричал в рупор: "Вперед, вперед, шагаем в ногу!"

Я отмахнулся от настырной мухи и захлопнул окно.

Во рту у меня пересохло, и надо было глотнуть молока, чтобы осадить перегар, но последняя чашка молока, купленного на черном рынке, была давно выпита. Оставалось поклониться соседке: может, угостит или продаст немного, думалось мне.

Напрасные хлопоты. Ее сынишке исполнилось семь лет, и ему больше не полагался талон на молоко. "Какого черта, — сказал я, — какого черта разрешили детям достигать семилетнего возраста? Надо было бы задержать их развитие, остановить на шести годах и дать им возможность пить молоко".

"Престранная мысль", — сказала бы в ответ на мои стенания Моника, не всегда по достоинству ценившая мое чувство юмора.

"Речь ведь не только о детях. Мне тоже не мешало бы впасть в сон, заснуть, как Рип ван Винкль[1] или Спящая красавица, на то время, пока молоко и по карточкам-то не всегда дают", — ворчал я.

"А в те времена, когда не было продуктовых карточек, сотни нищих вообще ничего не имели, — заметила Моника, когда мы однажды заговорили на эту тему, — теперь нет нищих и все мы что-то едим".

"Кому какое дело до нищих, — думал я, когда, вспоминая этот разговор, заваривал себе кофе. — Кому какое дело до прошлого. Ничего нет важнее дня нынешнего, особенно если у тебя нет молока на завтрак и масла для хлеба. Даже если на ужин сумеешь раздобыть кусок свинины".

Отогнав никчемные мысли, я перекусил тем, что нашел дома. Вечером ко мне должна была прийти Моника, и мне хотелось купить немного ветчины у Конрадо и ром у Мигеля, заведующего магазином, который сбывал налево часть алкогольной продукции, предназначенной для продажи населению. Он оптом продавал ром людям вроде меня, а они (то есть мы) распродавали ром бутылками.

Надо было спешить, Мигель не любил заниматься такими делами во время отоваривания карточек. К тому же вырастала большая очередь, и приходилось ждать часами. Я торопливо оделся и вышел на улицу.

Увы, от магазина длиннющей змеей уже вилась очередь. Первым стоял какой-то худой старик, за ним — молодая женщина с двумя детьми; один ребенок сладко спал в коляске, а другой надрывно и без умолку плакал у нее на руках. Когда мать прикрикивала на него "Замолчи, или выпорю!", он орал еще громче. "Дай ему соску", — посоветовала стоявшая за ней пожилая, с виду интеллигентная женщина с огромным буль-

1. Герой новеллы Вашингтона Ирвинга "Рип ван Винкль" (1818), который проспал двадцать лет.

догом на поводке, который с удовольствием мочился на тротуар, не обращая ни малейшего внимания ни на людей, ни на душераздирающий визг теперь уже обоих малышей и отчаянные вопли матери: "Замолчите, или я убью вас!"

Истеричные мамаши всегда действовали мне на нервы, и я уже собирался сделать замечание молодой маме, когда сеньора в треснутых очках, стоявшая за интеллигентной сеньорой, нашла соломоново решение: "Знаешь, милая, пойди прогуляйся с детишками, а потом вернешься. Мы сохраним твою очередь".

Молодая женщина со своими ревущими отпрысками ушла, сопровождаемая игривым бульдожьим поскуливанием, адресованным тощей дворняге, рывшейся неподалеку в мусорном контейнере, над которым вился рой мух. В эту минуту в окошко высунулся Мигель, жилистый мулат, и стал пересчитывать покупателей.

— Мы уже два часа тут торчим, давай, пошевеливайся, — кричали ему из очереди.

Торговля пошла веселее, и минут через двадцать, когда ожиданием томились всего несколько человек, Мигель, оставив вместо себя помощника, отправился в пристройку к магазинчику, где нам можно было пообщаться без свидетелей.

Золотой зуб блеснул во рту мулата, когда он запросил у меня пятьсот песо за флягу рома. Я предложил ему четыреста.

Мы поладили на четырехстах пятидесяти, но полную флягу он обещал отдать мне только в пятницу.

— Пока дам тебе три бутылки, — сказал Мигель и быстро сунул мне в руки звякнувший пакет.

Я взял добычу и направился к выходу. Снаружи у самых дверей со мной столкнулся какой-то человек.

— Ох, извините, — раздался хрипловатый голос, и я тотчас узнал его. Карамба! Вот так сюрприз.

Подталкиваемый в спину револьвером, Кэмел идет к подъехавшей полицейской машине. "Марихуаны у меня нет, а если Малу и захочет меня подставить, то ничего не докажет", — наверное, думает он.

От мыслей его отвлекает офицер, человек средних лет, крепкого телосложения, прибывший на место происшествия.

— Что тут за шум? — спрашивает он, зло глядя на Кэмела.

Полицейский в деталях докладывает о случившемся.

Кэмела в наручниках заталкивают в машину, которая и отправляется куда следует.

— Я ничего не сделал, ничего не сделал, — повторяет *чуло.*

Смеркается. Моника сидит дома, слушает битлов и читает потрепанный экземпляр романа "Селестино перед рассветом", купленного у книжника Ремберто. Читает до позднего вечера и наконец, отложив роман, идет приготовить себе ужин. "Ох, какая же тяжелая жизнь была у Аренаса", — думает она, готовя себе яичницу с беконом. Кладет яичницу на тарелку, отрезает кусочек желтого сыра, открывает баночку кока-колы и не спеша принимается за еду. Потом кормит Чарльза и варит кофе, покуривая сигарету. Когда сигарета истлевает до окурка, зажигает другую и берется за тетрадь в красной обложке, за свой дневник.

"Познакомилась я с человеком, который мне очень нравится и выглядит не таким, как остальные. Надо рассказать о нем Малу. Пока мы с ним только гуляем и разговариваем.

У него самое простое, обычное, обычнейшее имя. Лучше бы он звался Раймундо (вроде бы от слова "рай") или Монтеро, Романо Рохас или Хавьер Валье[1] — как герой моего любимого романа, но он зовется совсем не так, а потому я буду называть его просто Он, как в детской игре "Я, ты, он, выйди на балкон".

Не имеет значения, где мы с Ним познакомились. Конечно, лучше, если бы это случилось где-нибудь в университете. Я, например, спускаюсь по лестнице под сильным дождем. Он поднимается. Увидев, что я промокла, предлагает мне свой зонтик, и мы вместе идем до отеля "Колина". Там Он приглашает меня в бар, мы выпиваем по рюмочке и слушаем "Hello Good-bye", "Yesterday" и "Let it be"[2]. Когда мы выпивали и слушали битлов, Он прикоснулся к моей руке, и я ощутила тепло Его тела. Потом Он проводил меня до дома, и мы распрощались у дверей.

На самом же деле я познакомилась с Ним на Малеконе. Он стоял там, высокий, видный, с сединой на висках, погруженный в себя, и показался мне самым одиноким человеком на свете. Конечно, я тут же заметила, что Он кубинец. Его манеры могли бы ввести в заблуждение, но поношенная одежда, ужасные башмаки, наверное купленные где-то в провинции и немало отшагавшие по полям, сразу говорят, кто Он таков. Куборванец, кублюдок, кубаноид из этого сумасшедшего города, ничем не похожий на элегантного и всемогущего иностранца, делающего и швыряющего свои доллары. Несмотря на это, Он мне понравился, и мне захотелось узнать Его поближе, хотя такое знакомство мне ничего не сулило. Потому-то, когда Он со мной заговорил, я Его не отшила и согласилась с ним прогуляться. И вправду, не знаешь, где найдешь, где потеряешь, потому что, кажется, я встретила стоящего мужчину. Может, я ошибаюсь? Все бывает. Уже столько раз в жизни я нарывалась, столько раз обманывалась, что боюсь новых разочарований. Неужто опять?.."

Моника зевает, закрывает дневник и ложится спать.

"Увидимся ли мы еще?" — мерцает мысль и тонет в крепком сне.

В двух шагах от меня в очереди за ромом переминался с ноги на ногу мой старый преподаватель, профессор Кандидо Наранхо. Лицо, перепаханное морщинами; рубаха, словно изжеванная верблюдом, и старые брюки, истертые на коленях. Как же он постарел с тех далеких университетских времен. Я его уважал, но мне совсем не хотелось встретить его в этом месте, как, наверное, и ему меня тоже. Однако встреча состоялась, и пришлось пожать друг другу руки.

— Вот, — показывая пустую бутылку, смущенно сказал Наранхо, — надо получить ром. С тех пор как вышел на пенсию, занимаюсь домашним хозяйством.

— Правильно. Если ром сегодня не выкупить, пропадет талон на этот месяц.

1. Герой романа Хулио Травьесо Серрано "Пыль и злато" (1993).
2. Песни группы "Битлз" "Привет-Прощай", "Вчера" и "Пусть будет так".

– И Мария, моя жена, тоже так говорит, – Наранхо смутился еще больше. – Нет, я не пью, но Мария считает, что одну бутылку можно обменять на два куска мыла.

– На целых три, – поправил я.

– Да, на три. У нас еще есть мыло, но...

– Никто не знает, что будет завтра...

– Вот и Мария так говорит. – Наранхо растерянно заморгал. – Конечно, жизнь улучшается...

Мимо проехал битком набитый автобус. Профессор взглянул на него и умолк.

– А вы все там же работаете? – спросил он через секунду.

Или Наранхо с луны свалился? Или не знает ничего? А может быть, издевается? Нет, он шутить никогда не любил. Скорее всего, с тех пор как вышел на пенсию и заперся дома в четырех стенах, ни о ком ничего не знает.

– Нет, я уже не там, – сказал я и приготовился дать ответ на следующий вопрос: "А где вы сейчас работаете?", но очередь заметно продвинулась, профессор оказался у окошка. Мигель взял у него бутылку и наполнил ее славным тростниковым напитком.

– Вот и ром у нас есть. – Профессор Наранхо прижал к груди бутылку, как трофейный кубок. – Я уж боялся, что мне не хватит, но все в порядке, все хорошо...

– Да. Ром – это сила, которая может горы сдвинуть и реки вспять повернуть, да еще если это слово заглавными буквами написать: РОМ, то есть РОдственник за Морем, нам доллары присылающий.

– Вы, я вижу, все такой же шутник. Мне надо идти, меня жена ждет.

Наранхо весь светился радостью.

– Не забудьте ей сказать, что одну бутылку рома можно обменять на три куска мыла.

– Скажу, скажу обязательно. Был счастлив вас встретить.

И профессор, сгорбившись, засеменил прочь, крепко обнимая бутылку, а в мыслях, наверное, блуждая, как в ту далекую университетскую пору, по темным философским джунглям в поисках определения таких понятий, как истина и реальность.

"Скажите, что такое истина? – спрашивал профессор Наранхо у своих внимательных учеников, а я в это время клевал носом в последнем ряду. – Истина бывает абсолютной и относительной, но прежде всего она объективна, – слова профессора снарядами били по нашим головам и заставляли еще ниже склоняться к столам. – В настоящее время буржуазные идеалисты положили отрицание объективной реальности в основу своей реакционной утилитаристской философии..."

Там, на улице, глядя вслед удалявшемуся Наранхо, я спрашивал себя: в чем же сейчас заключается истина? В вожделенной бутылке рома за пазухой? И какова в данный момент эта самая истина – она относительная, абсолютная или объективная?

Может быть, правы заевшиеся буржуазные идеалисты, утверждая, что истина – это всего лишь осознанная жизненная необходимость?

Разве ром не нужен нам для того, чтобы жить, обменивая его на рис, мыло, спагетти, или просто для того, чтобы опорожнить бутылку и заснуть? Спать и отключаться. "Черт его знает", – сплюнул я и пошел к автобусной остановке, чтобы наконец добраться до торговца свининой.

Едва я сделал несколько шагов, как услышал крики. Обернувшись, увидел лежащего на земле профессора, а рядом с ним велосипедиста, который склонился над своим тут же валявшимся велосипедом.

— Профессор, профессор! — закричал я и бросился к нему.

— Старик, ты за это заплатишь! Колесо мне погнул! — орал в бешенстве велосипедист и готов был вцепиться в Наранхо.

Их окружили несколько прохожих.

— Сеньор, вы не ранены? — спросил кто-то.

— Нет, нет, ничего, ничего, — бормотал профессор и, обернувшись к велосипедисту, робко спросил: — Надеюсь, машина не повреждена?

Не отвечая, велосипедист оглядел велосипед, удостоверился, что колеса не пострадали, вскочил на седло и умчался.

Вместе с другими я помог Наранхо подняться на ноги. Он, видно, ушибся, но все так же прижимал бутылку к груди.

— Самое главное... — пытался он улыбнуться, — главное, что она не разбилась.

Тут раздался многоголосый вопль "Идет, идет!", и окружавшие Наранхо люди бросились к автобусной остановке, где уже собралась немалая толпа.

Я было хотел остаться с профессором Наранхо, помочь ему, проводить до дома, но следующий автобус должен был подойти только через полчаса или вообще неизвестно когда, и, не попрощавшись, я сломя голову помчался к остановке, преодолел упорное сопротивление молодого мулата и толстой женщины и протиснулся в заднюю дверь. Следующий визит мне предстояло нанести хозяину свиного окорока.

Ты быстро идешь к улице Г. "Вот ужас-то, — говоришь ты. Если бы ты вовремя не сообразила, что делать, Кэмел мог пырнуть тебя ножом и изуродовать лицо. — Сучье отродье, хоть бы сдох в тюрьме".

На сколько лет засадят Кэмела? С наркотиком не меньше пяти лет дадут, а в общем, кто знает. До сих пор ни один *чуло* на тебя руку не поднимал, но теперь никто тебе не страшен. Отныне у тебя с собой всегда будет оружие — шило в сумке. "Для острастки разных кэмелов, батонов и для какого-нибудь наглого туриста", — думаешь ты.

Всей грудью вдыхаешь легкий морской бриз. Постепенно успокаиваешься и, отойдя подальше от Малекона, садишься на скамейку в парке на улице 21. Поблизости нет никого, кроме пары влюбленных, целующихся в тиши, да птиц, щебечущих в листве деревьев.

Ты снимаешь туфлю и с удовольствием потираешь ногу.

— Ага, попалась! — говорит кто-то сзади и закрывает тебе глаза руками.

Ты вскакиваешь, как подброшенная пружиной, и готова тут же дать тягу.

Нет, это не Кэмел и не полицейский. Это Моника, которая радуется своей проделке и чмокает тебя в щеку, не замечая твоей нервозности. Моника шла к улице 21 и решила над тобой подшутить. Ты тут же приходишь в себя и нежно целуешь подругу, которая сегодня, как ты замечаешь, особенно хорошо выглядит: на ней декольтированное платье без рукавов, которое ты ей подарила ко дню рождения, а длинные шикарные волосы, откинутые назад, очень красят ее. Одета она и причесана, как первокурсница, как совсем юная девушка.

"Кем бы она могла стать с ее красивым лицом, с белой кожей, с ее манерами и знаниями?" — наверное, мелькает у тебя в голове, и ты невольно проводишь рукой по волосам Моники, когда она присаживается рядом с тобой. Юная парочка с ближайшей скамейки уходит, и теперь никого поблизости нет.

— Знаешь... — начинает Моника.

И ты тоже произносишь:

— ...Послушай, что я тебе...

— Говори, говори, — улыбается Моника.

— Ладно, — и ты собираешься рассказать ей о своей встрече с Кэмелом.

Но тут несколько мальчишек вдруг рассаживаются рядом на скамейках и поднимают несусветный галдеж.

— Мне надо чего-нибудь выпить. Лучше пойдем в бар, и я тебе там спокойно обо всем расскажу, — говоришь ты, и Моника не возражает.

Обмениваясь редкими словами, вы минуете несколько перекрестков и доходите до отеля "Виктория", где в полупустом баре царит сумрак, который так нравится Монике. Бармен Мануэль приветствует вас легким кивком. Пианист Серхио начинает играть песенку битлов "Эй, Джуд!", видимо, желая угодить Монике. Вы садитесь за столик в глубине зала и просите два коктейля "дайкири".

— У меня проблемы с Кэмелом, — говоришь ты и делаешь большой глоток.

— Проблемы? С этим подонком? — Моника настораживается. — В чем дело?

Ты описываешь случившееся и завершаешь рассказ предупреждением об опасности.

— Он тебя ищет, хочет свести с тобой счеты. Со мной тоже.

Моника молча слушает.

— Я умею постоять за себя, — говорит она и отпивает "дайкири". Ледяной напиток студит горло, разливает по телу прохладу.

— Конечно, потому и получаешь по шее, — говоришь ты и видишь, как в бар входят двое плюгавых светловолосых мужчин, по виду иностранцев, в сопровождении трех высоких красивых мулаток. Один о чем-то рассказывает, а женщины хохочут во все горло и размахивают руками. На пианино Серхио наигрывает "Мертвые листья".

Моника зажигает сигарету, жадно затягивается и прислушивается к музыке.

— Кэмел затаится на какое-то время, но может послать Батона или кого-нибудь из дружков разделаться с нами. — Малу тоже закуривает. — Вот что, подруга: нам надо быть очень и очень настороже.

Обе молча глядят, как в коктейле медленно тают кусочки льда.

В бар входят два парня, по виду гомосексуалисты, и ты легким движением руки отвечаешь на их приветствие.

— Мне надо кое о чем тебе рассказать, — улыбается Моника.

— Только о хорошем. Дурных вестей мне хватает.

— Я познакомилась с одним интересным человеком, который мне очень нравится. — Моника подносит к губам стакан.

— Кубинец? Интересный? Небось работает в иностранной фирме?

— Нет, вроде бы из бедных и зарабатывает на жизнь чем придется. Но очень умный и культурный.

— Культурный, умный, бедный... — Ты пожимаешь плечами. — Хорош букетик. Сколько же лет этому голодранцу?

— Больше, чем нам.

— И что ему от тебя надо? — говоришь ты и расплющиваешь окурок в аляповатой пепельнице.

Моника медлит с ответом. А правда, чего он от нее хочет?

— Не знаю... Наверное, ничего.

— Ничего?! Не хочет ни потискать тебя задаром, ни приятелю перепродать, ни денег попросить?

Пианист Серхио, закрыв глаза, наигрывает мелодию "Касабланки". Моника тоже закрывает глаза, стараясь припомнить свои с ним разговоры.

— Не думаю... Он вроде бы приличный человек.

Тут ты впервые смеешься и закуриваешь третью сигарету.

— Знаешь, — говоришь ты, — "приличные люди" дохнут в молодости от инфаркта. Берегись таких мужиков. Эти твари не клеются без цели.

Моника замирает с поднятым стаканом, секунду глядит на тебя и опускает глаза. А если Лу права и он козел, она снова окажется в дурах, думается ей. Остается молча покачать головой и, сложив губы трубочкой, выпустить струйку дыма, который смешивается с дымком твоей сигареты.

В бар входит молодой негр, ты встаешь и идешь ему навстречу, что-то говоришь, но он тут же уходит, а ты с недовольным видом возвращаешься к Монике.

— Что случилось? — спрашивает та.

— Ничего. Как обычно — травка. Опять ничего не удалось достать, — и ты залпом допиваешь "дайкири". Моника с сочувствием смотрит на тебя и похлопывает по руке. — Не знаю, что с собой сделаю, если не достану, — тихо говоришь ты.

— Надо бросить, — Моника поглаживает твою руку.

— Хотела бы, да не могу, — отвечаешь ты и провожаешь взглядом двух иностранцев с мулатками, уходящих из бара.

К полуночи из бара уходите и вы и, переговариваясь, идете по улицам до Ведадо. Там, поблизости от дома Моники, ты останавливаешь такси, чтобы доехать до своей квартиры.

— Тебе какое-то время не стоит выходить из дому, — говоришь ты Монике и, поцеловав ее, садишься в такси.

— Чао, Лу, — говорит Моника. — Береги себя.

— Ты тоже... — отвечаешь ты, и машина исчезает в уличной тьме.

Когда я тем вечером вернулся домой, стояла удушающая жара, и первым делом захотелось включить вентилятор и распахнуть окно, в которое вместе со слабым дыханием свежести ворвались крики соседки и оглушительная музыка запущенного на полную мощь магнитофона.

Надо было как следует подготовиться к предстоящей ночной встрече с Моникой. Мы с ней из-за моей поездки в Пинар-дель-Рио не виделись целую неделю, и я не мог дождаться свидания.

Дел было немало: постелить чистые простыни, нарезать ветчину, подготовить лед, сахар и лимон для рома. Моника предпочитала коктейль "дайкири", но мой миксер давно сломался, и ей приходилось довольствоваться ледяным ромом, которым ей нравилось кропить меня после огненных объятий, а потом нежно, как конфетку, слизывать сладкие капли с моего живота.

Я аккуратно нарезал хлеб и положил ломтики на газовую плиту. У меня еще были оливки, желтый сыр и две коробки сардин в масле, "made in Soviet Union", купленные еще в ту пору, когда Советский Союз был непобедимой Матерью Родиной. Чего еще не хватало? К счастью, воду в душе не отключили, в комнате было сравнительно чисто, "битлы" лежали рядом со старым проигрывателем, готовые услаждать слух Моники своими меланхоличными голосами. Не хватало только ее самой. И она всегда являлась — с улыбкой, со своим "Вот и я!", звучавшим как "Да будет свет!", и всегда с каким-нибудь даром, будь то коробка шоколадных конфет, пачка печенья или еще что-нибудь на десерт.

— Попробуй это печенье, — сказала она мне как-то ночью в постели, и я ощутил во рту что-то сладкое и ароматное, как манго.

— Ты сама как печеньице, — сказал я, — сладкая и нежная.

— И ты хочешь меня разжевать и проглотить. — Ее губы прикоснулись к моим глазам легким поцелуем.

— Нет, жевать тебя не хочу, но ты всегда будь во мне, со мной. Не уходи.

Она уселась мне на ляжки и возвышалась надо мной дивной обнаженной скульптурой.

— А что ты сделаешь, если я исчезну? — спросила она.

Это была еще одна ее излюбленная игра. Что я сделаю, если такое случится? Что со мной будет, если это произойдет?

Великое множество последствий могло возыметь любое наше действие. Однако раньше она никогда не произносила слова "исчезну". Скрывалось ли за этим шутливым вопросом серьезное намерение? Нет, такого быть не могло.

— Это попросту невозможно. Ты никогда не исчезнешь. Мы всегда будем вместе.

— Всегда будем вместе — хорошее название для романа. Ты никогда не пробовал написать роман?

Теперь она села на меня верхом, ее упругие бедра и розовый пупок, оказавшиеся неподалеку от моего рта, приводили меня в страшное возбуждение.

— Замечательный был бы роман. О любви зрелого мужчины и девочки, — сказал я и, вытянув шею, поцеловал ее бедро.

— Знаешь, а ведь все на свете исчезает. Все исчезнет — я, ты, человек, Земля, Галактика.

Я опешил. Что за дикие мысли в такие изумительные минуты? Да, Моника была непредсказуема, загадочна.

— Ну, так кто же из нас пессимист? — спросил я, словно продолжая один из наших прежних разговоров на подобные темы.

— Ты ошибаешься. Я не пессимистка. Я реалистка. Реалистка, живущая в некоем реально пессимистическом мире. В мире конца тысячелетия.

Я мягко привлек ее к себе и поцеловал одну и другую грудь.

— Пусть так, но теперь давай займемся реально оптимистической любовью, чтобы успеть до окончания тысячелетия и до того, как ты исчезнешь, — сказал я ей тогда в постели.

Она крепко прижалась ко мне.

— Ты сам не исчезай, — сказала она. — Не уходи никогда.

— Мне некуда уходить. — Я ласково пригладил ей волосы. — А ты никогда не говори о всяких исчезновениях. Мне это не нравится.

Конец тысячелетия еще не подошел, но мои настенные часы уже прокуковали девять раз, а Моника не появлялась. Я хотел ей позвонить, да мой телефон, как обычно, не подавал признаков жизни.

На сей раз мы заранее договорились о свидании у меня, без всяких встреч на улицах. "В восемь я приду к тебе", — сказала она, но был уже одиннадцатый час, а она не приходила. Мне всегда помнилась одна ее любимая фраза: "Я никогда не опаздываю на свидания".

Из угла с диска на меня печально поглядывали битлы, видимо недоумевая, почему им не дают петь в этот вечер.

В одиннадцать часов я уже не на шутку забеспокоился — в любом случае она предупредила бы меня.

У нее, конечно, могли измениться планы, пришлось пойти с иностранцем или... Нет, Моника не могла так поступить. Она непременно поставила бы меня в известность. Мое волнение росло, я не отрывался от окна. Гавана, понятно, не Мехико, не Каракас и не Нью-Йорк, но и тут преступлений хватает. Все слышали об убийстве и ограблении двух *хинетер* и какого-то иностранца. Я старался отгонять черные мысли.

Подожду до половины двенадцатого и лягу спать.

Но когда она и в половине двенадцатого не пришла, я отправился на улицу к телефону-автомату, который находился в нескольких кварталах от моего дома. Звонил раз, два, три раза, но никто не отвечал. В тревоге я побрел домой. Что могло с ней случиться?

Хотя ты и побаиваешься Кэмела с дружками, тебе не перестать прогуливаться по Малекону. Не перестать, не только потому, что там можно встретить клиента и заработать деньги, которых тебе вечно не хватает, но и потому, что ты не выносишь сидеть взаперти в своей квартире в районе Ла-Вибора, уставившись в идиотский телевизор и изнывая от летней жары. Тебе необходимо подышать морским воздухом, с кем-нибудь поболтать, пойти на танцы. Ты всегда озираешься, нет ли тут Моники. Сегодня ее не видно.

Машины на Малеконе не задерживаются, но на этот раз одна тормозит и останавливается рядом с тобой.

— Не хочешь прокатиться? — Голос самый обычный, без всякого акцента. Но что-то в нем заставляет тебя насторожиться и помедлить с ответом. Мужчина пристально смотрит на тебя через окошко. Его пышные усы, похоже, призваны компенсировать скудную растительность вокруг лысины.

— Тебе не нравится кататься?

— Может, и нравится. Смотря как.

— А на что смотреть-то? — В голосе нарастает раздражение.

— А на то, далеко ли поедем.

— Хватит хрень разводить. Сколько? — Голос становится хамски грубым.

— Пятьдесят.

Мужчина высовывает голову в окошко, и ты смотришь ему прямо в глаза, мутные и красные.

— А кто ты есть? Мадонна? — Слова плевками вылетают у него изо рта. — Дерьмовая кубинская шлюшка с такой дерьмовой задницей, как у тебя, и двух долларов не стоит. — Из окошка летит брань, несет перегаром.

— А сам ты, паразит, кто? Рэмбо? — отвечаешь ты и наливаешься яростью.

Мужчина пытается открыть дверцу, ты отступаешь и замахиваешься на него сумкой. Он убавляет пыл, мотор ревет, и машина срывается с места.

— Пьяная сволочь, твою мать!.. — кричишь ты ему вдогонку.

В полицейском участке Кэмела заперли в каморке без окон и почти без воздуха. Он мечется там, как загнанный зверь. У него отобрали часы, пояс, бумажник, кожаные браслеты, цепь с распятием и ожерелье Чанго.

— Глядите-ка, белый, а негритянскими цацками увешан, — сказал полицейский, снявший с него амулеты.

Святая Барбара-Чанго — его двойная заступа. Без ожерелья и распятия Кэмел чувствует себя слабым, беззащитным. К счастью, ему оставили "идé" — узкий браслет, посвященный богу Оггуну, еще одному покровителю Кэмела. Он чуть ли не на коленях выпросил этот амулет у полицейских ("Нет, пожалуйста, пожалуйста, не отбирайте"). "Оггун мне поможет, — утешает себя Кэмел, — хотя он и не такой сильный, как Чанго, самый могущественный бог-ориша́".

"Что со мной будет?" — размышляет Кэмел со страхом. Ведь если полицейский видел, как он швырял марихуану в море, и если пакетик не попал в воду, а застрял в камнях, там его могут найти. "Святая Барбара, помоги!" — молит он. По правде говоря, Кэмел не так храбр и смел, как кажется. Он обычный бахвал. Его одолевает страх, смешанный с ненавистью и злостью. Поэтому он повторяет для собственного успокоения — пока не засыпает на полу в каморке, — повторяет одно и то же: "Как выйду отсюда, размажу по стенке эту Малу вместе с Моникой".

На этом пока распрощаемся с Кэмелом. Он еще встретится нам в дальнейшем.

IV

Поздняя ночь, вокруг тишина. Пузом кверху крепко спит Сэр Чарльз. Осторожно, чтобы не разбудить пса, Моника достает тетрадь в красной обложке и пишет:

"Давно я не брала в руки дневник. Это даже не дневник, а еженедельник, исповедальник или нечто подобное.

Лу сказала мне, что ее друг продолжает мастерить плот, но я в этой затее не участвую.

Я ей так и ответила: во-первых, море внушает мне страх, а во-вторых, мне пришло письмо от Ричарда, который сейчас живет в Монреале. Он пишет, что не может меня забыть, и я тоже о нем вспоминаю. В Гаване он вел себя со мной вполне достойно. Я была его "обожаемая девочка", и он не женился на мне только потому, что уже был женат. Дела у него идут хорошо, он занимается экспортом и импортом. Месяц назад умерла его жена. Но самое главное то, что Ричард приглашает меня в Канаду. Готов выслать мне приглашение, оплатить проезд, помочь там устроиться...

Пречистая Дева Милосердная, я — в Монреале! Wonderful! Чудо из чудес.-Вся жизнь моя изменится. Хорошо бы.

Он о моих планах ничего не знает, все это пока одни разговоры, и болтовней делу не поможешь. Но если уеду, потом смогу и Его отсюда вызволить.

Только удастся ли уехать? Не будет ли так, как всегда? Сколько раз мне обещали выслать приглашение, а потом забывали.

Отец тоже обещал взять меня с собой за границу, хотя я чувствовала, даже знала, что это пустые слова. Так и вышло. Сеньор Родригес спутался там с молодой стервой, которая его женила на себе и всячески мешала мне к нему приехать. Папа Родригес побоялся, что я могу испортить ему его долгосрочный медовый месяц и даже разрушить брак с этой бандиткой. В общем, нашел какой-то предлог, и я осталась с носом, а мой дорогой папочка уже отдыхает в могиле.

А вдруг со мной случится что-то такое, что помешает уехать? Ничего не знаешь наперед.

Может быть, Ричард и не обманет (да, не обманет, я знаю), но я сама не смогу поехать, если со мной произойдет что-нибудь нехорошее. Меня уже давно что-то тревожит. Но что? Не могу понять.

Я не очень-то поверила гаданиям Марухи. Потому и пошла к дону Хенаро, к старому колдуну, который живет в Парраге и дружит с Малу. Я ему не говорила, что меня беспокоят дурные предчувствия, а просто сказала: "Хочу вас послушать, дон Хенаро".

Ни о чем не спрашивая, дон Хенаро покатал кокосовые орехи, а потом молча уставился на меня.

"Плохо, очень плохо, — сказал он. — Дух предвещает ошобо". — "Что это значит?" — спросила я. "То, что Ику́ может прилететь". — "Ику?" — "Смерть, — сам вздохнул и добавил: — Лучше посмотрим, что нам скажут раковины".

Он бросил на пол несколько ракушек, которые завертелись у него под рукой, а старик причитал на каком-то непонятном языке. Я закрыла глаза, скрестила два пальца и просила Пречистую Деву из Кобре спасти меня и поддержать. Открыв глаза, я увидела, что дон Хенаро шепчет молитву, обхватив себя за плечи и склонив голову. "Чего мне ждать?" — спросила я. Он глядел словно сквозь меня, будто видел что-то за моей спиной. Я в жизни не встречала (могу поклясться) такого пронизывающего неподвижного взгляда. "Пока ничего, — медленно заговорил он. — Но можно ждать". — "Чего?" — спросила я. "Чего-то дурного. Чтобы уберечься, храни нутро от всякой жидкости, не пей ни напитков никаких, ни рома. Только воду и фруктовые соки".

Если бы я так не волновалась, не нервничала, то, конечно, при всем своем уважении к дону Хенаро возразила бы ему: "Не могу я сидеть на воде и на соках". "Какое-то время, — продолжал старик, — ты не должна выходить из дому при луне". Я кивнула, но подумала, что это тоже не для меня. Могу ли не выходить по вечерам на улицу, отказаться от своих вечерних прогулок? "Кроме того, ты должна принести в дар одного цыпленка Элеггуа́, чтобы он оставил тебя в покое, а второго — Оруле, чтобы он отвел от тебя Ику".

И еще много чего наговорил мне дон Хенаро. Я выходила от него в полной уверенности, что нет, не зря бывает у меня так тяжело на сердце.

Однако в последующие дни я обо всем забыла. Пила, как раньше, выходила гулять под луной и не отнесла цыплят в дар божествам.

Ему я, конечно, рассказала о своем посещении дона Хенаро, но умолчала о том, по какой причине туда ходила. Сказала, что всего лишь хотела узнать свое будущее. И допустила большую ошибку. Зато Его узнала намного лучше.

Ехидный, всегда готовый все и всех высмеять. В общем, такой человек, как многие из Его поколения, — ко всему относится очень трезво и по-деловому, ни во что не верит, уповает только на науку да на хваленый прогресс. А к чему это привело? Думается, все эти премудрости и дурацкие теории ни черта не стоят. Мне осточертели всякие там физика, химия и сказки про Красную Шапочку, которые загнали нас в эту паршивую жизнь. Но я отвлеклась от главного.

Выслушав меня, Он стал надо мной смеяться. Мол, лучше бы этих цыплят я принесла Ему и зажарила на ужин, мол, одни дураки верят в предсказания негритянских колдунов, мол, скоро они совсем задурят мне голову, а Ику уже ждет меня за дверью с распростертыми крыльями.

Расстались мы в обиде друг на друга. Не виделись целую неделю, но потом я сдалась и сама пришла к Нему.

Пришла, потому что Он мне нужен, я Его люблю (звучит, как в дешевом романе, но это правда). Да, люблю. Несмотря на все наши маленькие стычки, на Его насмешки и колкие шутки, я нашла в Нем то, чего не находила ни в ком, — искреннюю нежность, заботу, бескорыстие.

Со мной Он очень ласков и словно оттаивает. Оживает Он и тогда, когда рассказывает о своих дочках, но кроме разговоров о них и наших свиданий его ничто не радует и не трогает. Мне иногда кажется, что в Нем что-то угасло.

Почему Он стал таким? Кое-что (но далеко не все) Он рассказал мне, в том числе дикую историю об увольнении с работы и последующем разрыве с Бэби. Дрянь эта Бэби и сволочи все эти начальники. С удовольствием надрала бы им задницу (и Бэби, и начальникам).

Наверное, раньше Он был другим. Да и почти все теперь (я — нет) душой окаменели — одни совсем, другие наполовину.

Я — нет, не окаменела. Хочу жить, жить полной жизнью, здесь или в Канаде, все равно где и хорошо бы с Ним. Поеду в Канаду, а там вскоре и Его туда перетащу. Все будет хорошо, говорю я и стараюсь не падать духом.

Но все-таки не могу отделаться от непонятного беспокойства.

Надо будет поднести цыплят Оруле и Элеггуа. Не стоит откладывать. Завтра же схожу. Орула и Пречистая Дева из Кобре охранят меня от всякой беды".

Моника долго смотрит на висящее на стене изображение Пречистой Девы Милосердной из Кобре и продолжает писать:

"Мама мне давно не звонила. Ну и ладно. У книжника Ремберто купила за два доллара "Здравствуй, грусть" Франсуазы Саган. Я давно хотела прочитать этот роман, но не могла достать. Еще Рохелио мне его рекомендовал, но сказал, что тут эта книга запрещена. С завтрашнего дня в кино начинается показ картины "Четыреста ударов"[1]. Надо пойти посмотреть. Господи Боже, сколько же на свете хороших фильмов, но нет никакой возможности их увидеть.

Юмалайди, моя соседка-*хинетера*, попросила у меня двести долларов взаймы. Она хорошая, надо дать".

1. Фильм французского режиссера Франсуа Трюффо (1959).

Моника ставит точку, встряхивает кисть и потирает пальцами лоб. Потом закуривает, ходит по комнате, берет из холодильника бутылку виски, наливает и быстро пьет. Сэр Чарльз просыпается и умиленно смотрит на нее. Она гладит его по голове, докуривает сигарету, бросает окурок, берет вторую и снова наливает виски. Из соседней квартиры, из жилища Кеты, через стену доносится глухой стук, будто кто-то двигает мебель. Видно, Кета в эту ночь, как уже бывало не раз, переставляет мебель в своих комнатах, чтобы Волдемор не узнал ее квартиру и не вперся, объясняет она, когда Моника начинает расспрашивать о ночных шумах. Поэтому Моника не обращает внимания на стуки и собирается допить виски, но прежде достает из аптечки таблетку диазепама и глотает с последними каплями алкоголя. Без помощи барбитуратов ей не заснуть. Она было снова берется за дневник, но минут через пятнадцать ее смаривает сон — остается только добраться до постели и лечь.

Я плохо спал, как всегда. Снились кошмары. За мной гонится дикий жеребец, вот-вот раздавит меня копытами. Я бегу что есть сил, но попадаю прямо под ноги какому-то чудовищу.

Проснулся, обливаясь жарким потом, словно и впрямь долго бегал под солнцем. Некоторое время лежал в постели, возвращаясь к событиям минувшей ночи. Снова стал мучить вопрос: где же Моника? Может, с ней что-то стряслось, а я спокойно лежу себе полеживаю.

Да, я ипохондрик. Но старался как мог утешить себя: с Моникой все в порядке. Просто не состоялось наше свидание, только и всего.

Упрямая муха, севшая мне на нос, вывела меня из раздумья, и я смахнул ее рукой. Тут же позвонил Монике, но никто не ответил. После того как разделался с насущными "обменными делами", отправился к ней на квартиру.

Дверь была заперта, а Кета, ее соседка, к которой я обратился, уставилась на меня оловянными глазами и сказала, что, кажется, видела, как Моника выходит на улицу с чемоданчиком в руках и в сопровождении Малу. "Когда? В понедельник, в среду, в воскресенье?" — "В ночь карнавала на базаре". Кета захохотала, обнажив щербатые зубы. "Карнавал? Какой карнавал?" — "Такой. В понедельник". Я ей не ответил и пошел прочь. Ясно, что разума у этой женщины осталось намного меньше, чем можно было ожидать. Другие соседки, которых я расспрашивал, тоже ничего не смогли сказать.

В мокрой от пота рубашке, устав от дурацких разговоров, я вернулся домой очень поздно. Первым делом позвонил Монике, и снова в ответ молчание. Принял душ, что-то сунул в рот и свалился на кровать. Но заснуть не смог, ибо в голове крутились самые разные мысли — то о Монике и профессоре Наранхо, то о дяде Себастьяне и Франсисе. Я старался сосредоточиться на Монике и согнать остальные фигуры со сцены своего театра абсурда. Но они, не внемля моим приказам, продолжали метаться на подмостках.

Ну уж нет. Кто тут хозяин? Или заставлю их убраться, или придушу всех до единого, сказал я себе, пошел на кухню и приник к горлышку бутылки с ромом. Потом, не выпуская бутылку из рук, включил телевизор и впустил к себе участников громового оркестра народной музыки, способных любого оглушить своими дудками и барабанами.

Быстро переключив канал и сбежав от музыкантов, я наткнулся на диктора, строго и проникновенно сообщавшего мне, что работники мо-

лочной фермы, которая в настоящее время не дает продукции по причине падежа скота, обещают в ближайшие месяцы работать не покладая рук, чтобы добиться самой высокой производительности труда в своей провинции. "Этот замечательный почин... – тут диктор сделал паузу и взглянул на меня, – был немедленно подхвачен работниками соседней фермы, которые дали обещание намного повысить надои молока и стать передовым коллективом по производству молочных продуктов не только в своей провинции, но во всей стране".

Я отхлебнул немного рому, и диктор со своими удоями растворился в темной глуби телеэкрана. "Привет доярам и дояркам", – сказал я, а ром сделал свое благое дело, погрузив меня в сладкий сон.

Очнувшись поздним утром, я увидел, как в снопе солнечных лучей плавают мириады частичек пыли. Я смотрел на яркую картину и думал, что эти пылинки видны только тогда, когда их высвечивает луч солнца. А в остальное время они, плотно окутывающие, окружающие нас, не видны даже самому острому взору. Так вот и с нашими бедами, думалось мне, которые невидимками окружают, подстерегают нас, а потом вдруг становятся зримыми.

– Опять ты дурью маешься, – сказал Франсис.

Меня, видно, снова одолели галлюцинации, ибо я увидел его, сидящего у меня в комнате в моем единственном кресле, хотя ему неоткуда было взяться: никто не мог войти ко мне без стука и без ключа, даже сам Франсис. Наверное, мой друг всегда был рядом, как те пылинки, а теперь каким-то неведомым образом сделался видимым. Только так оставалось думать.

– Со мной тоже такое бывает. – Франсис тихо пригладил усы.

– Что бывает?

– Ум за разум заходит.

– У меня ничто никуда не заходит, – сказал я и плеснул немного рома себе в стакан. Что может лучше укрепить натощак дух и тело, чем ром?

– Понятное дело, – сказал Франсис из облака пыли. – От такой кучи проблем любой трёхнется.

После следующего глотка алкоголь с моих губ соскользнул в желудок, легко растворился в крови и быстро привел в движение мозговые извилины, которые приказали моим губам растянуться в улыбке.

– Дурацкое словечко. Надо сказать "тронулся". Или "рехнулся".

– Я тоже совсем трёхнулся, когда меня всего лишили. Так всегда бывает. – Франсис пропустил мимо ушей мой языковой корректив.

"Или вправду с ума схожу? – соображал я. – Нет, просто меня немного волнует исчезновение Моники".

– Да, волнует. Потому как Моника ушла и увела с собой твоих близняшек. – Слова Франсиса снова привели в движение дикую карусель в моей голове.

– Пьянь! Сволочь! Твою мать!.. – кричишь ты вдогонку человеку в машине, забыв, что тут же, на Малеконе, недавно сцепилась с Кэмелом. Ты в самом деле не можешь сдержаться, и если бы в руках у тебя оказался револьвер, ты всадила бы в него пулю.

И вдруг машина тормозит и дает задний ход, да на такой скорости, что ты не успеваешь убежать. А машина уже рядом с тобой, и из нее вылезает мужчина с тяжелым гаечным ключом в руке.

— Ну-ка, повтори, шлюха! — рычит он и наступает на тебя. Красные глаза безумца или алкоголика горят, рука потрясает ключом.

Ты отступаешь на два шага, но знаешь, что тебе не убежать. Он может подскочить и ударить по спине. Быстро достаешь из сумки шило, которое носишь с собой после стычки с Кэмелом. Сжимаешь в кулаке шило и прикрываешь грудь сумкой, как щитом.

— Я научу тебя уважать матерей... — И гаечный ключ взмывает в воздух.

— Мудак! — кричишь ему ты.

— Драчка, гляди, драчка! — вопит один из мальчишек, шляющихся по Малекону, а на тротуаре уже толпятся прохожие.

— Да что же это такое, — охает какая-то старушка. — Остановите его, он убьет девчонку. Зовите полицию.

— Не вмешивайтесь, сеньора. Не вас бьют. Сами разберутся, — говорит худая, бедно одетая мулатка.

— Что тут происходит? — вдруг слышится чей-то властный голос.

Ты не сводишь глаз с мужчины, но тем не менее замечаешь, что высокий здоровый мулат в гражданской одежде пробирается к тебе, расталкивая зевак.

Кто это? Полицейский в цивильном?

Мужчина тоже видит направляющегося к нему мулата.

Проезжая часть набережной заблокирована стоящей машиной, и водители, попавшие в пробку, громко орут и сигналят.

Мужчина, все еще сжимая в руке ключ, пятится к своей машине, садится за руль и включает мотор, успевая зло бросить:

— Грязная шлюха, я тебя запомнил, и, если встречу, убью.

— Быстро идем отсюда, сейчас *фианы*[1] нагрянут, — мулат подхватывает тебя под руку.

Взглянув на него, ты видишь, что вовсе не полицейский вызволил тебя из беды, а Пичи, *чуло*, пасущий двух *хинетер*, твоих подруг.

— Посторонись! — кричит Пичи прохожим и уводит тебя от греха подальше.

Хинетеру, живущую этажом выше Моники, зовут Юмалайди, потому что в последние годы ни закон, ни старые традиции не мешают давать ребенку любое имя по вкусу. Появилось уже целое поколение девушек, которые носят имена Яймари, Юселида, Юданка, Ёоринка и т. п. вместо того, чтобы именоваться Хуана, Кармен, Марта или Луиса. Есть даже Юснэви, ибо один сельский житель, ежедневно наблюдая в небе самолет с надписью "U.S.Navy" на фюзеляже, нарек так свою дочь.

Юмалайди хотелось бы, чтобы ее называли Лейди, вроде как Леди Ди, но всем она известна только под именем Юма, хотя кубинцы наградили этим прозвищем Соединенные Штаты Америки. Отец Юмалайди, первоклассный плотник, и мать, скромная домашняя хозяйка, были в шоке, узнав, что их девочка, их единственная ненаглядная дочка — *хинетера*. Дом сотрясали скандалы, брань, любимую дочь едва не выгнали на улицу, но, поразмыслив, родители поняли, что уже ничего не изменишь, и решили хотя бы отговорить ее заниматься этим делом в чужих домах и сомнительных отелях. Лучше, сказали они, пусть приводит своих клиентов в родительский дом, и приготовили для дочери уютную

1. Прозвище полицейских на Кубе.

комнату, которую отец сам отремонтировал и обставил. Кроме того, если клиент того желал, мать подавала пиво и прохладительные напитки и даже стала угощать домашним обедом. Таким образом, благодаря заработкам Юмалайди и прекрасному обслуживанию, семейные доходы увеличились во много раз, и можно было уже подумывать об открытии своего небольшого ресторанчика.

Юмалайди не любит Кету и дружит с Моникой, у которой недавно взяла в долг двести долларов на срочные домашние нужды. Сегодня Юма рано поутру спустилась к Монике, отдала часть долга и стала уговаривать подругу поехать на пляж, ибо нельзя все время трудиться в поте лица, да и кто откажется поплескаться в море и понежиться на песке.

Юма пускает в ход свое красноречие и говорит, что берет на себя все расходы: они поедут туда на такси за доллары, а не на грязной развалюхе-автобусе за песо, пообедают — тоже за доллары — в лучшем отеле на пляже, где служит управляющим один из мимолетных иностранных любовников Юмы.

Моника колеблется, ей хотелось бы позвонить ему, но он занят своими обменами, да к тому же Юма приглашает только ее одну.

В конце концов она живет в таком напряжении, что можно немного расслабиться и поддаться искушению поваляться в песке и окунуться в парные волны.

И вот Моника и Юма уже на пляже и надевают свои мини-купальники, так называемые *танга*. Идут по песчаному пляжу, еле-еле покачивая бедрами, а мужчины провожают их похотливыми взглядами, расточают им приторно сладкие похвалы, а они идут не отвечая, только посмеиваясь. Некоторые мужчины следуют за ними, пытаются заговорить. Юма порой бросает им короткое словцо, но до разговоров не снисходит. "Эти кубинские сопляжники не только места на кладбище не имеют, где бы с ними прилечь, но даже на обед в ресторане не могут раскошелиться". Моника молчит и наконец бросается в воду, плывет, делая энергичные взмахи руками. Усталая возвращается на берег и растягивается на песке, подставляя тело жгучим ласкам солнца. Закрывает глаза и думает о нем, о том, как хорошо было бы, если бы он был рядом и натирал бы ей спину маслом или занимался бы с ней любовью в море, где так сладка страсть среди волн, льнущих к сомкнувшимся телам.

Моника засыпает с этими мыслями и этими ощущениями, а когда просыпается, солнце, могучий Зевс, уже стоит высоко, господствуя над всем вокруг: над морем, небом, песками, людьми, над ее горячим и расслабленным телом. Затем обе идут в ресторан, где управляющий самолично их обслуживает, улыбается Монике и даже вручает ей свою визитную карточку на случай, если она захочет с ним встретиться. Они едят суп из шпината, салат с великолепным лангустом "Термидор", запивая блюдо холодным пивом, ибо при такой жаре можно выпить целую бочку пива, хотя тут они допускают гастрономическую оплошность, ибо к лангусту обычно подается благородное белое вино (лучше всего — французское), а не плебейское пиво, но можно ли требовать от Юмалайди, дочери плотника, изысканного вкуса. Моника знает некоторый толк в столовом этикете, но какой кубинец в силах отказаться от возможности насладиться пивом "Атуэй" или чешским Плзеньским.

На десерт они пьют крепкий черный, специально приготовленный для них кофе. Конец пирушки оборачивается приятным сюрпризом: оказывается, счет уже оплачен Марселем, управляющим, который при

прощании целует каждую в обе щеки и шепчет Монике на ухо: "Обязательно позвони мне, у меня есть для тебя кое-что интересное". – "Конечно, дорогой", – отвечает она, хотя не имеет ни малейшего желания когда-нибудь увидеться с этим французом. Она думает о нем, о том, как было бы чудесно пообедать вместе. Надо пригласить его, решает она, но тут же вспоминает, что он не позволяет ей платить по счетам.

Позже они берут такси за доллары и к вечеру возвращаются в Гавану усталые и расслабленные. "Бай-бай, пойду приму душ и буду одеваться. Сегодня ночью придется потрудиться", – говорит Юмалайди и целует Монику в щеку. Моника входит к себе в квартиру, где ее визгом встречает обезумевший от радости Чарльз. Она идет в душ, переодевается и звонит ему, но, как всегда, телефон у него не работает.

"Пойду навещу его", – говорит она и выходит на улицу.

Призрак Франсиса ошибся. Не Моника увела моих близняшек, а Бэби, только Бэби, которая глядела на меня из зеркала комнаты, большой комнаты в доме на берегу моря, в том доме, где я жил.

Это случилось как-то летом, в один из обычных жарких и душных вечеров, который, однако, оказался вовсе не таким обычным. К нам нежданно-негаданно нагрянул гость, перевернувший всю нашу жизнь – мою, моих дочек, Бэби. Если бы не тот визит, я теперь не рассказывал бы историю о Монике, не сидел бы в этой комнатушке, беседуя с привидением и вспоминая бывшую жену. Я жил бы в своем (или каком-нибудь другом) доме на берегу моря со своими дочками и с Бэби.

Моя жена раздевалась в спальне, когда настойчиво и тревожно зазвонил звонок входной двери, нарушая вечернюю тишину. Девочки уже легли, и мы, притомившись за день, готовились ко сну.

– Кого несет в такое время? – сказала жена, хотя было еще не так поздно, часов десять.

Накинув халат, я открыл дверь – там стоял Луис Мальдонадо, мой друг и товарищ по работе.

"Мальдонадо[1]. Ну и имечко. – Губы Франсиса растянулись в беззвучной улыбке. – Очень ему подходит".

Мальдонадо извинился за поздний визит. Был он с виду очень взволнован.

– Отчего-то он нервничает, – сказала Бэби, возясь на кухне, так как с гостем следовало немного выпить и закусить. – Что с ним такое приключилось?

На террасе, где мы расположились, было прохладно и вполне комфортно, мы с Бэби излучали радушие, но наш друг сидел с вытянутым лицом. После нескольких тостов Мальдонадо оживился. Я, забыв о всякой усталости, чувствовал себя превосходно, наслаждался хорошим ромом и морским ветерком, вел легкую беседу с Мальдонадо, который поглядывал на Бэби, красивую, как всегда. Мне было грех жаловаться на судьбу. У меня имелись чудесные дочки, Бэби и этот дом на побережье, о котором можно было только мечтать; кроме того, в самом скором времени меня ждало повышение по службе, даже, возможно, работа за границей.

– Сегодня Рохас подтвердил, что меня скоро продвинут и даже, может быть, пошлют за границу, – сказал я, радостно делясь с другом хорошими вестями.

1. От *исп.* maldonado – приносящий несчастье, нежеланный.

Мальдонадо заморгал, приложился к четвертому стаканчику рома и с минуту молчал. Затем, поставив стакан, заговорил.

— Тебе везет, тебе на редкость везет. — В его голосе слышалась ирония. — А вот меня задвигают.

— Как так? — воскликнули мы с Бэби.

— Велят проявить себя в провинции.

— Не может быть. Ты же тут вкалываешь как проклятый.

— Да, но начальнику пришелся не по нраву. Он давно решил от меня отделаться, я только сейчас узнал об этом. Случайно. Со стороны. Потому и пришел к вам. Чтобы вы об этом тоже знали. — Мальдонадо ласково погладил холодный стакан. — Рохас большая сволочь, держит возле себя одних подхалимов.

Бэби посмотрела на нас обоих, и мне захотелось сказать: "Неправда, вот я не подхалим, а он мне доверяет", — но я не успел, ибо в этот самый момент Франсис так захохотал, сидя в кресле в моей городской каморке, что затрясся его жирный живот. "Врет! — заорал он. Но ни Бэби, ни Мальдонадо Франсиса не слышали. Только я его понимал. — Этого парня выгоняют за то, что он не отчитался за деньги, выданные ему на служебные расходы за границей и растраченные им на шмотки и рестораны". Не имело никакого смысла обращать внимание на слова Франсиса. Он уже не один год враждовал с Мальдонадо, с тех пор, как последний обвинил его в беспробудном пьянстве.

— Настоящая сволочь этот Рохас! — почти кричал Мальдонадо.

— Тише, успокойся, тебя могут услышать. — Бэби бросила взгляд на дверь.

Мальдонадо шумно втянул последние капли рома из почти сухого стакана. Его лицо налилось кровью, а бледные пальцы потряхивали стакан, где гремел кусочек льда.

— Знаете, что я вам скажу? — Мальдонадо понизил голос до шепота, что отнюдь не уменьшило его ярость, приумноженную алкоголем. — Если меня попрут, я уеду. Да, найду лодку и смотаюсь, смотаюсь к...

Я не нашелся что возразить, но подумал, что он здорово набрался и собой уже не владеет.

— Не болтай глупостей, — сказал я.

— Схожу принесу еще выпить, — пробормотала Бэби и встала из-за стола.

— Нет, хватит. Пойду домой. — Мальдонадо поднялся, едва не опрокинув стул, и, пошатываясь, направился к двери.

— Как ты себя чувствуешь? Сможешь вести машину?

— Без проблем, — качнулся Мальдонадо.

— Почему бы тебе не переночевать у нас? — попытался я его удержать, не представляя себе, как он сядет за руль.

— Нет, нет, я пошел, бля, уже пошел.

Проводив его за ограду, я вернулся домой к Бэби. На террасе моя жена убирала со стола, вопросительно поглядывая на меня.

— Нализался он до чертиков, — сказал я.

— Похоже. — Бэби пошла на кухню, я — за ней.

— Жутко расстроился из-за увольнения, но он парень умный и свое возьмет, — сказал я.

Глаза моей супруги снова встретились с моими.

— Ну и что ты думаешь теперь делать? — нерешительно произнесла она.

— Делать? В каком смысле? Не мне же отменять решения Рохаса.

— Я не об этом, а о том, что он сказал. — Бэби сцепила пальцы рук.

— Сказал — что?

— То, что хочет уехать. — Бэби раскинула руки в стороны.

— Нес ахинею. Спьяну. Не стоит принимать всерьез.

— Не будь ребенком. — Бэби воздела руки к небу. — Ты можешь нажить большие неприятности. Пойдешь проинформируешь об этом?

"Ха-ха-ха, — глумливо смеялся Франсис. — Проинформируешь... звучит куда симпатичнее, чем настучишь".

Внезапно на меня нахлынула усталость, но нервы напряглись, как в предчувствии беды.

— Никуда я не пойду. Он мой друг. — Я смотрел Бэби в лицо. — Не надо обращать внимания на пустую болтовню. Он пьян и завтра забудет о том, что говорил сегодня.

— Мальдонадо никому не друг и способен на любую подлость. — Глаза Бэби сузились, а меня поразили ее слова, ибо с Мальдонадо она всегда была на дружеской ноге. — Я бы на твоем месте поостереглась. Ты прекрасно знаешь, что за нелегальный выезд дают три года тюрьмы, а мы должны их об этом информировать. Иначе нас сочтут за сообщников.

Я промолчал. Что я мог ей ответить?

Приуныв, мы отправились в спальню, и она стала раздеваться перед зеркалом. В последнее время между нами будто кошка пробежала, и нас не тянуло заниматься любовью, но на этот раз ее двойная нагота — наяву и в зеркале — пробудила меня, обдала волной желания.

И только я вознамерился ее поцеловать, как образ Бэби исчез, а я снова оказался у себя в комнатушке, наедине со своими рефлексиями, и подумал, что, наверное, Франсис прав: от всех этих образов и видений вполне можно "трёхнуться".

Как бы теперь снова не привиделись мне мой дядя Себастьян или уже далекая Бэби, сбежавшая от меня за границу с моими девочками.

Нет, к черту все эти галлюцинации. Чтобы вконец не "трёхнуться" в одиночестве, мне следовало уйти из своей каморки. Да, надо было отсюда уйти и отправиться на поиски Моники.

V

Трое сеньоров играют в карты.
Зачем три сеньора играют в карты?
Что хотят выиграть сеньоры в карты?
И что такое карты?
И кто эти сеньоры?
Трое сеньоров играют в карты.

Элисео Диего[1] *Игра в карты*

Снова поздний вечер, но еще не тогда, когда Моника исчезла, а он начал ее искать, хотя эта пора должна была вот-вот наступить.

Как обычно, она ставит пластинку битлов и садится за свой дневник.

"Мне хочется жить по-другому. Материально я не нуждаюсь, могу помогать бабушке, но так жить мне стыдно. Не знаю почему, но стыдно.

1. Элисео Диего (1920—1994) — кубинский поэт.

Раньше, в самом начале такой жизни, мне было наплевать на то, что говорят другие. Хотелось поквитаться с матерью, доказать, что ни от кого не завишу, что могу поступать, как хочу, и выбраться из осточертевшей идиотской обыденности, отгородиться от грубости и хамства (на улице, в очереди за хлебом или в автобусе), а для этого нужны доллары, много долларов. Хотелось также не быть никем и ничем связанной, познавать что-то новое, знакомиться с разными интересными людьми, которые рассказали бы мне о других местах. А на деле получилось, что я повторила и повторяю то, что делает моя мать, только она знается с кубинцами, а я с иностранцами. Те мужчины, с которыми она якшается, мне совсем не интересны, даже омерзительны.

Теперь кое-что изменилось. Да, изменилось после того, как я познакомилась с Ним.

Все-таки что Он думает обо мне? Хинетера, да, хинетера, которую берут, используют и бросают. Если Его жизнь когда-нибудь переменится, Он не станет валандаться с такой женщиной, как я.

Нет, я не права. У меня нет повода так думать. Он никогда меня ни в чем не упрекал и ни к чему не принуждал.

Но мне стыдно не только из-за Него. Представляю, как на меня могут смотреть мои старые друзья и сокурсники. Что могут говорить обо мне?"

Тут Моника прерывается, так как Чарльз лает и тычется носом ей в коленки.

— Да, да, вижу — хочешь погулять; подожди, скоро закончу.

И она продолжает:

"'Друзья-то и сами не промах, каждый здесь вертится как может, чтоб с голоду не подохнуть и урвать свой кусок', — говорит Малу, но я с ней не согласна.

Многие мои сокурсницы окончили университет и работают по профессии. Некоторые вышли замуж и родили детей. Лу говорит, что все равно они всего лишь полуголодные прислуги у своих дерьмовых мужей, которые за месяц не зарабатывают столько, сколько мы за один день. Она права, если иметь в виду деньги и в известной мере личную свободу. Тем не менее многие из них довольны жизнью и даже счастливы.

Правильно ли я строю свою жизнь? Верным ли путем иду?"

Здесь надо прервать чтение дневника Моники, чтобы разобраться в причинах ее колебаний и сомнений. Дело в том, что о той жизни, какую она ведет уже года два, ее сокурсники ничего не знают. Конечно, некоторые из них видели ее в компании иностранцев, но вовсе не ставят ей это в укор. Напротив, они полагают, что она просто умеет устроиться, а иные открыто завидуют ее, по всей видимости, благополучной и шикарной жизни. Что касается друзей и подруг, то из них осталась только Малу. Одни уехали из страны, а другие куда-то делись — то ли живут не близко, то ли работают далеко, и поддерживать отношения не удается.

Ясно, что Моника влюблена, а всякая влюбленная особа хочет выглядеть в глазах любимого человека существом совершенным и непорочным, не думая о том, что сам он может оказаться отнюдь не совершенством.

Чарльз скулит и царапает лапой дверь, но Моника, занятая своим делом, не обращает на него внимания.

"Сколько же мне так жить? Приглашения от канадца нет, на мои письма не отвечает. Чего мне ждать? Или он раздумал?"

Пес упрямо и вдохновенно скребет дверь.

— Нет, Чарльз, одного я тебя не отпущу. Ты недавно подрался с соседской собакой. Подожди, — говорит Моника, не отрываясь от писания.

"Малу снова завела разговор о путешествии по морю на автомобильных покрышках, но теперь, оказывается, мы должны дать денег на постройку плота.

— А Его возьмем с собой? — спросила я ее. — Без него я не поеду.

— На плоту нет лишнего места, а ты не должна губить свою жизнь из-за какого-то козла, — набросилась на меня Малу. — Поехали — и всё тут!"

Моника откладывает ручку и поглаживает подбородок. Потерявший терпение Чарльз прыгает вокруг нее и бешено вертит хвостом.

— Ладно, пошли. Потом допишу, — говорит она псу.

Они выходят на пустынную улицу, Чарльз мчится к кустам и поднимает лапу. Потом начинает деловито обнюхивать фундаменты домов, траву на газонах, стволы деревьев, стараясь уловить запахи своих сородичей. Его мохнатый хвост веером покачивается из стороны в сторону. В какой-то момент мимо проезжает машина, и громкий лай Чарльза разрывает тишину улицы.

— Чарльз, — Моника останавливается, и пес подбегает к ней, — замолчи! — Она треплет его за уши, и собачий хвост начинает вертеться еще сильнее. — Люди устали, спят, а твой лай всех разбудит. — Моника грозит ему пальцем. — Лучше давай поговорим. — И они идут дальше — Моника вдоль домов, Чарльз по краю тротуара. Сворачивают к авениде Л и идут по безлюдной улочке. — Знаешь, Чарльз, — говорит Моника, — Лу предлагает мне нечто такое, что может в корне изменить мою жизнь. Я подумываю о ее затее, но не знаю, что делать. Если решусь, ты, конечно, поедешь со мной.

Чарльз поднимает к ней морду и переводит взгляд куда-то вдаль, к небу, где, как большая медная монета, сияет луна.

Из уличной тьмы вырывается пронзительный свист, Моника замирает на месте возле строящегося дома и сверлит глазами мрак.

От темной стены отделяются три фигуры и направляются к ней.

Где же мне искать Монику? Я заглянул к Малу, но ее квартира оказалась запертой, и никто ее не видел уже несколько дней.

Тогда я решил зайти к матери Моники, но и ее жилище на замке, а соседи сообщили только то, что сеньора неделю назад уехала в Варадеро. О Монике им ничего не известно. К полудню я вернулся домой, принял душ и решил сменить носки — они уже продырявились, несмотря на то, что Моника их хорошо заштопала. Да, заштопала, хотя я ее об этом не просил.

— Эти носки никуда не годятся. Купи себе новые, — говорила она мне не раз, но я отвечал ей одно и то же:

— А можно ли в этой стране купить носки за песо? Кроме всего прочего, Иисус Христос ходил без носков.

— Наверное, ноги у него все-таки пачкались, а потом, ты ведь не Иисус из Назарета, — сказала она и вздохнула.

— Я из Серро и тоже могу читать проповеди, — ответил я насмешливо.

— Неправда, ты родился в Ла-Виборе, да и что ты можешь проповедовать?

— Свою правду: братья, пожирайте друг друга. Вы живете на крокодильем острове, а крокодилы кушают своих сородичей. — И я молитвенно сложил руки.

— Глупый, — сказала она и коснулась пальцем моей коленки. — Так и быть, куплю тебе пару.

— И не подумай, не смей тратить свои драгоценные деньги, — сказал я в шутку и всерьез.

Итак, я натянул носок. Большой палец выскочил в дырку и стал похож на головку младенца, торчащую из пеленок. Я с нежностью посмотрел на него и сказал:

— Дружище палец, чего ты ждешь? Сколько тебе еще бродить по миру в рваном носке? Что с тобой будет, если я тебя покину? Наверное, умрешь с горя.

Палец шевельнулся вправо, словно бы возражая. Я с сочувствием глядел на него.

— Понимаю, ты думаешь, что я неисправимый пессимист. Моника тоже так думает. Чушь. На самом деле я оптимист, но верю только фактам. Сейчас, например, они мне говорят, что дела у меня — хуже некуда.

Палец не шелохнулся, замерев, как охотничья собака на стойке, а я продолжал рассуждать или, возможно, не рассуждать, а просто размышлять вслух:

— Себастьян, а теперь и Франсис дошли до ручки. А какие беды еще могут свалиться на мою голову?

Палец прогнулся назад, желая укрыться под ступней, но я был начеку и заставил его слушать меня.

— Хуже того, что со мной случилось, уже не будет. Разве что засадят в тюрьму, если поймают на спекуляции ромом. Да и попасть под машину, протянуть ноги от инфаркта или от рака тоже не проблема.

Невеселые мысли заставили меня быстро обуться.

Конечно, все это может произойти, но я был абсолютно уверен, что больше не сделаю глупости, как в случае с Мальдонадо, ибо такое можно сделать только раз в жизни.

А Моника? Может, ей сейчас совсем худо, может быть, она ранена, а я здесь разглагольствую, дурака валяю.

Позавтракав, пошел к выходу. Уже открывал дверь, когда затрещал телефон.

Звонил Франсис, я торопливо сообщил ему об исчезновении Моники.

— А Малу? — спросил он.

— Тоже исчезла.

— А где мать Моники?

— Ее нет в Гаване. Наверное, в Варадеро.

— Не хочу тебя пугать... — зловеще звучавшие слова Франсиса падали тихо и тяжело, — но я на твоем месте обратился бы в полицию.

— Не будь идиотом, Фран. Я пойду в полицию и заявлю, что, мол, ищу одну пропавшую *хинетеру*. Кроме того, неизвестно, в какую переделку она попала; как бы ей не навредило вмешательство полиции.

— Va bene, va bene[1]. — Франсису порой нравилось блеснуть иностранными словечками, хотя других языков, кроме испанского, он не знал. — В таком случае нам надо объехать морги.

1. Ладно, ладно (*итал.*).

— Морги?! — Меня охватили ужас и злость. — С Моникой ничего такого не может случиться!

— Извини, но надо проверить. Ее нигде нет уже несколько дней, и ничего нельзя исключать. — Франсис говорил властно и безапелляционно. — Если хочешь, я пойду с тобой.

Я не знал, что сказать. В конце концов согласился, и мы договорились встретиться в два часа дня в парке на улице 21.

Так, Малу, ты оказалась вместе с Пичи в баре одного злачного места в Старой Гаване. Подопечные хинетеры прозвали его Пичи по имени героя одной игривой испанской песенки ("Не перечь ты Пичи-чуло, на тебя наставит дуло"), но поскольку все участники нашей истории обладают и настоящими именами, сообщим, что его зовут Русмеселидо Перес Пантоха и что, в отличие от многих сутенеров, человек он в целом неплохой.

Пичи с удовольствием всем сообщает о том, что когда-то хотел стать летчиком или инженером, но лишения и трудности жизни заставили его выбрать другой путь. Он не видит в таком повороте судьбы ничего противоестественного, ибо, судя по его прежним жизням и по его карме, ему предназначено быть сутенером в городе Гавана конца двадцатого века. До того как стать сводником, он был валютчиком (менял песо на доллары), а еще раньше — вором-карманником. Он только что вышел из тюрьмы, где отсидел год с лишним.

Теперь он пригласил тебя выпить с ним пива, и ты рассказываешь ему о своих стычках с пьяным хамом и с Кэмелом.

Пичи потягивает пиво, оставляющее белую полоску пены вокруг губ, и ласково на тебя посматривает. Ты прекрасно видишь. что в его взгляде светится давнее желание переспать с тобой. Хотя он тебе нравится, ты не уступишь, потому что знаешь: тогда быть ему твоим *чуло.*

Пичи внимательно тебя слушает и, когда ты упоминаешь о Кэмеле, ударяет кулаком по столу. Они не один год ненавидят друг друга и совсем недавно снова сцепились не на шутку.

Слизнув пену с губ, Пичи вплотную приближает свое лицо к твоему: "Отныне не опасайся ни Кэмела, ни Батона..." Он сам ими займется и тебя защитит.

Два часа ночи. Моника, как известно, любит допоздна бродить по улицам Гаваны. Вот и на этот раз, выгуливая Сэра Чарльза, она как-то незаметно попала на пустынную улицу и слышит свист.

Вздыбив шерсть, Чарльз отчаянно лает на трех парней, вышедших из темноты и преградивших дорогу Монике.

— Эй, детка, поди сюда, — говорит один из них, высокий малый с длинными, до плеч, волосами.

— Давай, поговорим, — раздается сиплый голос другого парня.

— Какого хрена с тобой говорить! — Моника пятится к дому.

Длинноволосый делает шаг вперед, расстегивает ширинку и показывает пенис.

— Погляди какой. Может, приласкаешь? — говорит он, а двое других заливаются детским смехом.

Моника быстро хватает с земли здоровенный камень и изо всех сил швыряет в длинноволосого. Удар приходится по лицу, нос разбит в кровь.

— Помогите! — кричит Моника и пускается бежать, таща Чарльза за поводок.

Она даже не знает, преследуют ли они ее, и старается не оборачиваться. Добегает, запыхавшись, до своего дома. Несколько прыжков по лестнице — и она у порога своей квартиры. Врывается туда и запирает за собой дверь на задвижку.

Едва дыша, Моника прижимает ухо к двери и прислушивается, но извне долетает лишь хор собачек сеньоры Крус. Чарльз забивается под кресло.

Не зажигая света, она подходит к окну и оглядывает улицу, но там все тихо — Меркадо еще в полумраке и на дороге нет ни одной машины.

"Куда подевались эти подонки?" — думает она, идет на кухню и залпом осушает стакан холодной воды. Берет бутылку виски, но виски кончилось, приходится открыть бутылку рома и глотнуть для успокоения.

"Гнались за мной? Знают, где я живу? Чего им надо? Обворовать? Изнасиловать? Гады".

Снимает туфли и на цыпочках снова подходит к окну. Немного успокоившись, начинает раздеваться. Джинсы скользят по ногам вниз, блузка взлетает над головой и падает на кровать. Туфли уже стоят у постели.

"Надо быть очень осторожной, очень..." — повторяет она и расстегивает бюстгальтер. Обнажаются маленькие округлые груди с темными сосками. Она, слегка их погладив, сбрасывает трусики. Смотрит на себя, нагую, в настенное зеркало.

Чарльз подходит и тычется ей в ноги.

— Чарльз, пожалуйста, не лезь, не приставай.

Моника ласково его отталкивает.

Чарльз шмякается на пол, поджав лапы. Моника, совсем успокоившись, накидывает халат, садится за стол и принимается писать дневник.

С улицы в комнату вдруг врывается долгий пронзительный свист, как сигнал тревоги. Погасив свет, Моника медленно крадется к окну и смотрит в щелку между гардинами.

Из тени, окутывающей базар, выходят два парня, стоят и смотрят на дом.

"Они это или нет?" — спрашивает себя Моника, но в полумраке ничего не может разглядеть.

Франсис запаздывал, и я ждал его, присев на ту же скамейку, где однажды вечером, пару недель назад, сидели мы с Моникой. Она склонила голову мне на плечо, и, держась за руки, мы о чем-то рассеянно переговаривались. На скамейке напротив яростно целовались влюбленные. В те минуты мне очень хотелось последовать их примеру. Не важно, что позже, у меня дома, мне будет позволено целовать ее сколько угодно. Страшно хотелось поцеловать Монику сию же минуту, словно впервые в жизни. Целовать и целовать, приникая к ее губам, чувствуя, как поцелуи вливают в меня нежность и любовь; целовать, закрыв глаза, став слепым и глухим, отрешившись от всего, кроме дикого наслаждения. Это было счастьем: слияние губ, горячее сплетение пальцев. Ничто иное уже не имело значения. Ни убогость обыденной жизни, ни тупость бытия. Значимым был только этот миг, наши чувства и наши поцелуи.

Но в парке, на виду у всех, я не мог позволить себе ничего подобного из боязни, что меня поднимет на смех какой-нибудь прохожий, глядя,

как мужчина в летах, с седеющими висками целует девушку, которая годится ему в дочери.

Тем вечером, посматривая на влюбленную пару, она теснее прижалась ко мне. Наверняка ей хотелось, чтобы я ее поцеловал.

"Ты меня любишь? Всегда будешь любить?" — Ее пальцы скользнули по моей руке. Конечно, я ее любил. Обожал, но ничего не ответил. Она всегда меня упрекала за неумение выражать свои чувства.

Мне надо было бы ответить: "Я тебя боготворю; ты самое лучшее, что у меня есть, без тебя я пропащий человек" или что-либо в том же роде, но я совсем зачерствел в этой жизни и ограничился одним сухим словом: "Разумеется". — "Такую, какая есть?"

Почему она меня об этом спросила?

Внезапно она сама прижала свои губы к моим и поцеловала с такой страстью, будто вложила в поцелуй всю себя. Я ответил ей так же горячо, и мы стали целоваться, не видя никого и ничего вокруг, целиком отдаваясь любви, забыв о стыдливости, о паре влюбленных на соседней скамейке, о прохожих, обо всем на свете.

Когда наши поцелуи слились в одну бурную, вышедшую из берегов реку, а желание опалило нас вселенским огнем, она отодвинулась и положила голову мне на колени.

"Ты чудесный", — сказала она, а я осторожно пригладил ей волосы. Так мы сидели несколько минут, не произнося ни слова, погрузившись в свои чувства. Потом она подняла голову и посмотрела мне в глаза. — "Давай бросим все это и уедем", — сказала она. "Куда?" — последовал мой глупейший вопрос. "Куда-нибудь, и начнем новую жизнь..."

— Ничего нет нового. Да? — Голос Франсиса грубо оборвал мои воспоминания. Франсис был явно встревожен, я утвердительно кивнул.

— Ладно. Вставай, пошли.

С трудом втиснувшись в автобус, мы доехали до унылого серого здания. Старик в белом халате и потертых джинсах, спросив наши фамилии и фамилию пропавшего лица, привел нас в большой зал, где царил жуткий холод.

— Тут немного холодновато, но мы привыкли, — устало заметил старик.

— Кто "мы"? Вы или те, кого здесь против их воли морозят? — спросил Франсис.

Не ответив, старик направился к той стене, в которой помещались ниши с металлическими ящиками, как в картотеке.

— Постарайтесь держать себя в руках, — сказал он, открывая один из металлических ящиков. — С непривычки может стать плохо.

Я не впервые оказался в морге и был способен держать себя в руках.

Тридцать с лишним лет назад мне довелось побывать тут в поисках своего товарища, революционера, арестованного полицией и, вероятно, убитого полицейскими. В ту пору здешний служащий — помоложе этого старика — показал мне голый труп юноши с разбитым лицом и множеством дырок на груди, залитой уже запекшейся кровью. "Это он! — воскликнул я и чуть не разревелся. — Он! Мой друг".

— Это она? — спросил старик-служащий, показывая нам девушку с обожженным — без бровей и ресниц — лицом, с обгорелыми полосками губ.

Нет. Это была не Моника. Старик равнодушно кивнул и назидательно пояснил:

— Тут побывало много таких, кончающих с собой. Что ни день, то хоть одну да привозят.

При виде обезображенного лица Франсис содрогнулся и, едва удерживая рвоту, кинулся к выходу.

— Я предупреждал... — Старик открыл следующий ящик, где лежал труп старика. Потом продемонстрировал поочередно пожилую женщину, парня и девочку. Я отрицательно качал головой, втайне радуясь, что не нахожу здесь Монику.

— Да, я знаю, вы ищете молодую девушку, но на всякий случай представляю вам всех. Они, бедняги, скучают в одиночестве и рады любому посетителю. — Старик радушно улыбался.

"Смеется надо мной или просто не в своем уме?" — подумал я и облегченно вздохнул, распрощавшись со всеми обитателями морга.

— Жаль, что не смог вам помочь, — приветливо говорил старик. — Заходите в любое время.

Мне захотелось ответить, мол, едва ли сюда вернусь, но я сдержался. Старый служитель морга был всего-навсего вежлив, и мне не стоило огрызаться.

— Большое спасибо, — сказал я и вышел.

На улице меня ждал Франсис, заметно смущенный своим бегством от малоприятного зрелища.

— Ее тут нет, — пробормотал я, и мы молча пошли дальше. Впереди какая-то девушка переходила улицу.

— Моника! — заорал я и бросился к ней.

Испуганная девушка остановилась. Нет, это была не Моника, хотя и очень похожа.

— Извините, — сказал я, убедившись в ошибке.

Не ответив, она продолжала свой путь, но я успел заметить на ее лице досаду вперемешку с сочувствием.

— Тебе надо успокоиться, — сказал Франсис.

— Ну куда она подевалась? Не могла же она вот так, ни с того ни с сего, исчезнуть. Не провалилась же сквозь землю? — И вдруг я чуть не поперхнулся, в голове мелькнула страшная мысль.

— Знаешь, я подумал... — Франсис колебался.

— Говори.

— Может, она уплыла на лодке...

— Никогда! Это невозможно! — вскричал я. — Она бы меня предупредила!

— Никогда? Правда и Честь давно сдохли от инфаркта по причине сильных стрессов. Остались только Обман да Хамство, и потому все возможно. — Франсис презрительно скривился.

— Но если она туда добралась, почему оттуда мне не написала? — говорил я.

— В этом все дело, кто знает... Может, она и не добралась, утонула.

Через полуоткрытое окно Моника оглядывает улицу и Меркадо. Два замеченных ею человека, не выходя из тени, разбредаются в разные стороны — один идет к морю, другой к отелю — и растворяются во тьме. Улица снова становится безлюдной, и только большие, темные, лохматые собаки возятся на тротуаре.

"На меня хотели наброситься три парня, но я успела убежать. Мне удалось разбить одному нос и удрать. Кто они такие? Откуда взялись? Никогда их не видела в нашем квартале. А тут еще какие-то двое стояли около базара. Не знаю, те или другие.

Я побаиваюсь таких нападений. Могу дать отпор всякому и каждому, если заранее знаю о враге, если предвижу западню, но все внезапное, неожиданное меня пугает.

Если бы существовали привидения, я умерла бы со страху при их появлении. Наверное, еще не отделалась от сильного детского испуга, когда моя мать однажды ночью ушла и оставила меня одну, думая, что я сплю. В темноте мне чудились голоса на улице, шаги возле дома, шепот за дверью. В диком ужасе я, завернувшись в простыню, обмочившись, заперлась в ванной.

Став взрослой, я уже не писаюсь в постели и не запираюсь в ванной, но при случайной встрече с опасностью все еще теряю голову. Однако сегодня, кажется, я одолела детские страхи. На этот раз сделала все как надо.

Может, я этому подонку не только нос, но и башку разбила? Хорошо бы. Будь у меня револьвер, всадила бы в него пулю. В него и в других двух гадов.

Интересно, знают ли они меня? Неужели именно за мной охотятся?

Вряд ли они так скоро отстанут, мне надо быть начеку.

Больше не буду ходить гулять по ночам".

Снаружи слышится протяжный жуткий вой. Собаки прекратили свои игры, и одна из них, задрав морду, завыла, не залаяла, а завыла на полную луну, похожую на человечье лицо, обращенное к собакам, которые теперь все вместе воют, глядя на небо. И вот уже со всей Рампы сбегаются к Меркадо другие собаки и завывают на разные голоса, а на их вой отвечают лаем и визгом все десять собак сеньоры Крус, вылезшие на балкон. Однако Чарльз голоса не подает.

Монику не трогает собачий концерт. Она слишком взволнована встречей со странными людьми. Ей больше не хочется писать дневник, и, налив себе немного рома, она настраивается на безмятежный лад.

Мы тоже забудем про четвероногих. Всем известно, что Гавана — город бездомных собак, и если дюжина тварей соберется к рассвету на центральной улице столицы и завоет на луну, это никого не встревожит.

Моника отодвигает стакан и зажигает сигарету. Курит и ложится в постель, но знает, что заснуть не сможет. Она очень старается отключиться от дурных мыслей, однако сон не идет. Она встает, отправляется в ванную к аптечке и принимает диазепам. Ждет минут пятнадцать — все впустую. Считает овец, медленно дышит животом, как учил Рафаэль, преподаватель йоги с улицы 17, — увы, ничто не помогает. Заснуть не удается, а потом она и вовсе забывает про сон, думая о своей жизни, о матери, о нем, о том, как надо жить, да вот не получается. Снова встает, берет колоду карт и начинает раскладывать пасьянс. Медленно кладет одну карту на другую, десятку пик на валета треф, королеву червей на короля пик, четверку пик на...

Карты не складываются, и пасьянс начинается заново. На этот раз семерка червей ложится на восьмерку пик. И бубновый туз поднимается выше. Но и к трем часам утра ничего не получается, сон никак не

идет, и опять королева червей натыкается на короля пик, а бубновый туз все старается подняться вверх.

"Не доплыла, утонула". Эти слова Франсиса меня потрясли. Нет, не может быть. Неужели мне так жутко не везет, что после стольких лет маеты, едва найдя близкого человека, я могу потерять эту толику счастья, скрасившего жизнь, отбившего желание повеситься?

Повеситься. Это слово вызвало тяжелые воспоминания. Однажды, вскоре после того как мои дочери навсегда уехали от меня и все пошло прахом, я пытался покончить с собой в какой-то роще, густой и безлюдной, чтобы мне никто не помешал. Именно так, думал я, можно лишить соседей удовольствия глазеть на мой жалкий труп с веревкой на шее, когда его будут выволакивать из комнаты под оживленные комментарии кумушек.

К счастью (или к несчастью), веревка, привязанная к ветке дерева, оборвалась под тяжестью тела. Я упал к подножию камня, на который влез, чтобы с него спрыгнуть. От падения в голове помутилось, от удара о камни болело плечо, по виску текла кровь.

Я с трудом встал на ноги, твердо решив довершить начатое дело. Взял длинный кусок лопнувшей веревки и стал набрасывать петлю на сук. Ничего не получалось. Раз, другой, третий бросал веревку, но она, как дохлая змея, бессильно падала к моим ногам. Разъярившись, стуча зубами, я искал сук пониже, но не находил. Хотел влезть на дерево, но не смог. Нервы сдали, плечо ныло, я сел на землю и заплакал.

"Будь проклята эта сволочная жизнь, даже хорошей веревки не найти, чтобы повеситься", — закричал я и хлопнул себя кулаками по ляжкам. К горлу подкатила тошнота, дикая рвота вывернула меня наизнанку. Голова разламывалась от боли, когда я наконец выбрался из чащи, забыв обрывки веревки под злосчастным деревом. Пошел сильный дождь, но я едва брел, подставляя лицо под очистительные струи...

— Да очнись ты, дурень! — голос Франсиса снова вернул меня к действительности. — Хватит терзать себя всякой всячиной.

Франсис хлопнул меня по спине, и мы некоторое время шли молча.

Пройдя несколько уличных перекрестков, мы уселись на низкую садовую ограду какого-то полуразвалившегося пустого дома. Вокруг — сплошная тишина, которую оживлял лишь птичий гомон в деревьях. Я поднял голову. Небо было пронзительно-синим, я уставился на него, ища умиротворения.

— Море, конечно, вещь опасная, но управиться с ним можно. — Ноги Франсиса легонько постукивали по земле.

Я взглянул на него с любопытством.

— А что ты знаешь о море? Только и можешь глазеть на него с Малекона да плескаться у берега.

— Ошибаешься. — Ступни Франсиса замерли без движения. — Был случай, когда и я пытался переплыть море на лодке. Только никому и никогда об этом не рассказывал.

Мое любопытство сменилось изумлением.

— Когда же?

— Вскоре после того, как меня арестовали и конфисковали мою мастерскую. По правде сказать, у меня не всё сумели отобрать. Удалось спрятать пять тысяч песо у двоюродного брата, но жить тут стало невмоготу. Сил не было терпеть, и я решил отчалить, даже если бы это

стоило мне жизни. — Франсис глубоко вздохнул и тихо, почти бережно выдохнул воздух.

Вместе с братом они втайне от всех купили старую лодку. Это была такая дряхлая посудина, что один плотник, который тоже хотел уехать, несколько недель старался вернуть ей мореходные качества. На покупку лодки и ее починку ушли почти все пять тысяч. Оставшиеся деньги Франсис обменял на доллары и приобрел у какого-то иностранца небольшой лодочный мотор и кое-какие консервы. Наконец все было готово к отплытию.

"Выходим в воскресенье на рассвете, ровно в два", — равнодушно бросил Франсис. У него уже не было сил для проявления эмоций, одолевала усталость, сказывалось дикое нервное напряжение последних недель подготовки к бегству...

— Почему в воскресенье и ровно в два? — Меня захватила эта история, отвлекавшая от собственных треволнений.

"Откуда отчалим?" — спросил плотник. "От Гуанабо. В воскресенье будет темь, наступает новолуние, а пограничный патруль начнет береговой обход в два тридцать. — Франсис помолчал. — Мы всю неделю отслеживали время обхода". — "Опасное дело", — сказал плотник.

— Опасное было дело, — заметил я.

— Жить тоже опасно, а мы живем себе и живем. — Франсис шел к лодке.

Хватило бы у меня храбрости принять подобное решение? Уехать, все бросить! Правда, у Франсиса мало что тут оставалось. Ветхий дом, полуслепая собака и собственное прошлое. Ничего не стоивший дом был теперь лишь средоточием всего пережитого, собаку кому-то отдали, а прошлое, страшное недавнее прошлое было зарыто в прибрежный песок до того, как он сел в лодку. Далекое же прошлое всплывет в памяти тогда, когда им станут дорожить.

А что делал я в те самые годы? Был молодым, подающим надежды журналистом, который заботился о семье и мечтал о блестящем будущем и о доме на берегу моря. А потом? Когда у меня уже не было ни семьи, ни будущего, а дом сгорел в пламени несбывшихся надежд, я принял решение, пожалуй еще более дерзновенное, чем то, которое принял Франсис. Не плыть по морю в утлой лодке к другой стране этого света, а с петлей на шее прямиком рвануть на тот, совсем неведомый свет.

Так какое же из двух решений требует большего мужества? Мое или Франсиса?

— Как вы доставили лодку на побережье? — спросил я.

— Тайком, в небольшом грузовике.

"Желаю удачи", — сказал шофер грузовичка и, получив деньги, умчался прочь. Предстояло сделать самое опасное и самое главное: подтянуть лодку к морю, спустить ее на воду и отплыть подальше от берега. Стоило патрулю явиться пораньше, а кому-нибудь донести в полицию — и все пропало.

Ночь над морем разрывалась всполохами молний, когда Франсис с братом тащили на плечах лодку к воде. За ними шел плотник, несший корзину с провизией и весла. Они шли, а их как резкими ударами бича подстегивал далекий собачий лай, рассекавший глубокую тишь побережья.

Франсис, согнувшись под тяжестью лодки, шел против ветра, сжимая в правой руке мачете.

— Зачем тебе мачете? — невольно вырвалось у меня. — Если бы подоспел патруль, ты все равно ничего бы не сделал.

— Патруль — да, а вот если вдруг высунется какой-нибудь дотошный болван... — Франсис произносил слова с трудом, тяжело дыша от натуги.

На секунду он остановился перехватить воздуха, но тут же снова потащился дальше, вспахивая ногами мокрый песок. Я слышал его прерывистое дыхание, ощущал его воодушевление и его страх.

Могла ли Моника пойти на такое? — подумалось мне. Нет, она никогда бы не решилась, она слишком боязлива. Впрочем, может быть, я ошибаюсь.

Франсис с братом дошли до моря и спустили лодку на воду. Царило полное безмолвие, даже злосчастная собака затихла. Только монотонно шуршал прибой, накатывая на песок. Вдали над морем молнии продолжали стегать темное небо.

"Ну, пошли", — приказал Франсис. Плотник, по колено в воде, остановился в двух шагах от лодки. "Я не пойду". — "Что?!" — Франсис увидел, как того трясет. "Ты что говоришь?" — воскликнул брат Франсиса.

— Что с ним случилось? — спросил я.

— Страх одолел, — сказал Франсис.

Взгляд плотника был устремлен к горизонту, где молнии все яростнее кромсали темь. "Гроза надвигается", — сказал он. "Через полчаса кончится", — успокоил брат. "Мы утонем". — "Лучше сразу в море утонуть, чем в болоте захлебываться". Брат Франсиса угрожающе поднял весло. "Если хочешь остаться, оставайся, а мы отправляемся. Сейчас патруль заявится". — Франсис толчком двинул лодку с места.

И тут он увидел человека. Тот стоял метрах в двадцати под сосной, укрытый мраком ночи.

— ...да еще был черен, как струя кальмара, — рассмеялся Франсис и стряхнул муравьев с каменной ограды, на которой мы сидели. Быстрая цепочка муравьев выбиралась из полуразрушенного дома и исчезала где-то в саду.

Замахнувшись мачете, Франсис подступил к негру. "Кто ты, мать твою?.." — рявкнул он, забыв о приближающемся патруле.

— Кто это был? — спросил я.

— Один из тех бедолаг, которые по ночам рыбачат. — Франсис снова засмеялся, а птицы в деревьях подняли тревожный писк. — Притаился за соснами и все видел, а мы его проморгали.

"Какого хрена тебе надо?" — "Уйти с вами". — "С нами?!" — "Возьмите меня". — "Через пять минут придет патруль", — сказал Франсис и, повернувшись к негру спиной, шагнул к лодке. "Возьмите! Я знаю море, я вам пригожусь".

— Видно, ему еще больше, чем вам, приспичило уехать, — сказал я.

— Удачу надо хватать за хвост, а в ту минуту мы стали его удачей. — Муравьи деловито ползали по ботинкам Франсиса.

"Если уж так хочешь, влезай". Франсис с братом продолжали толкать лодку подальше от берега.

Негр им помог, и в то время как плотник бежал обратно к дороге, они втроем запрыгнули в лодку и взялись за весла. Молча гребли до тех пор, пока огни города не потускнели вдали. Когда они запустили мотор, лодка рванулась вперед. А движок заурчал, как довольный кот.

Мр-мр-мр — урчал мотор.

"Из Гаваны я ушел, из Гаваны!" — пел Франсис, сидя на корме и глядя, как один за другим гаснут городские огни.

Зза-зза-зза — поскрипывала лодка, одолевая волны.

"И я ушел, и я ушел!" — вторил ему брат. "Мы еще не ушли от опасности", — сказал негр. "Почему?" — спросил брат Франсиса. "Береговой радар может нас засечь, а кроме того..." — Рука негра метнулась в сторону горизонта, где зарницы уже сливались в огненные взрывы, бесновались чаще и мощнее. "С этим дьяволом никто нас не догонит, никакая буря не возьмет. — Брат Франсиса кивнул на мотор и сплюнул в море. — Ты, негр, — кроличья душа. Черная мокрая курица. Трясешься, как овечий хвост. Зря мы тебя взяли".

"Ушел я из Гаваны, иду я на Майами", — пел Франсис.

Ро-ро, зас-зас... — подпевали мотор и лодка.

"А что чувствует человек, когда покидает свою страну, даже, может быть, навсегда?" — Бэби из кухни взглянула на входную дверь. Понятно, она имела в виду Мальдонадо, а не Франсиса. Через несколько лет, уехав отсюда с близняшками, она получит ответ на этот вопрос.

— Что ты чувствовал? — спросил я Франсиса.

Франсис пожал плечами, а его башмаки снова стали постукивать по земле, где хлопотали муравьи.

— Не знаю, да и некогда было о том думать, — ответил он.

Франсис вытащил из кармана бутылку рома, несколько раз приложился к горлышку и стал что-то напевать. Он совсем захмелел, но нить рассказа не потерял.

— Нас промочило насквозь, до самой печенки. Волны, как бешеные псы, кусали нас за все места. — Франсис обхватил себя руками за плечи, прикрывая грудь, словно тут, рядом со мной, его так же пронизывал холод, как тогда, на море.

Рассвело, низкие тяжелые тучи, казалось, грозили опуститься еще ниже и раздавить все, что было на воде. А потом налетел настоящий ураган, высокие волны нещадно колотили деревянную посудину.

"Гроза", — сказал негр и перекрестился. "Если ты знал, что идет гроза, чего поперся с нами?" — закричал брат Франсиса. Тому не пришлось ответить: гигантская волна швырнула его об борт. "Держитесь, — крикнул Франсис, которого второй вал, ударив в спину, свалил на дно лодки. — Ой, мать вашу..."

На них обрушилась третья, пятая и еще много волн, которые кидали и били лодку, заставляя ее плясать и вертеться, как сумасшедшую.

Франсис не знал, сколько времени он лежал на дне лодки под ударами стихии, уцепившись за канат, стараясь высовывать голову из воды, заливавшей суденышко.

Он понял, что нет больше сил сопротивляться и пора отдавать концы, но тут ветер стал слабеть и волны поутихли. С трудом приходя в себя, кряхтя от боли, опираясь о борт окровавленной рукой, Франсис встал на колени. Рядом отплевывался от соленой воды его брат, потирая голову. "Ты как? Жив?" — спросил Франсис. Брат кивнул, не переставая откашливаться. "А негра смыло на хрен..." — "Бедняга, мы даже имени его не знаем", — вздохнул Франсис.

Когда мне представилось, как негра снесло за борт, как он отчаянно боролся с волнами, хватая ртом воздух, я тут же подумал о Монике. Я не желал верить, что она погибла подобным образом. Судьба не могла быть

так жестока. Но почему несчастный негр-рыбак мог утонуть, а белая девушка-проститутка не могла? Что, она лучше негра? Разве не все равны перед морем, перед судьбой и перед лицом смерти? Ответа я не знал, да и знать не хотел. Моника — это Моника, а другие — это другие.

Пусть помирают два, три, тысяча негров, белых, красных, голубых, зеленых, но Моника должна спастись, а остальные — пропади они пропадом.

— Того негра следовало бы объявить без вести утонувшим, а на том берегу поставить памятник ему и всем утопленникам, погибшим в море вместе с лодками. — Франсис покачал головой.

— А дальше что с вами было? — мне не терпелось узнать конец истории.

Крак-крак... — скрипнул мотор, когда брат Франсиса хотел его запустить. "Да заводись ты, гад", — бормотал брат в ярости. Все усилия были напрасны, мотор заглох навеки, и его вышвырнули за борт, чтобы облегчить лодку. На море снова воцарились тишь да гладь. Солнце наваливалось на беглецов всей своей знойной тяжестью.

На лодке осталось лишь одно весло, на дне было по колено воды, которую они вычерпывали руками. "Надо плыть к земле", — сказал брат.

— Теперь-то нам с тобой легко обо всем рассуждать, — криво усмехнулся Франсис, — а тогда, в открытом море, в полузатопленной посудине с одним веслом, без еды, с одной фляжкой воды, было совсем паршиво. Мы не знали, где болтаемся, где север, где юг.

Два дня молотили они одним веслом по волнам и пытались ориентироваться по звездам, которые, по утверждению брата Франсиса, он умел читать, а, как оказалось, не знал ничего.

На третий день, когда кончилась вода, полумертвые от голода и жары, они, бросив весло, отдались на волю волн.

— Мне захотелось тогда кинуть в море бутылку, — задумчиво сказал Франсис. Как ни странно, пустая бутылка еще валялась в лодке, а в карманах у него обнаружились кусок бумаги и шариковая ручка.

И он написал: "Сегодня скончались Франсис Вилья и его брат Израэль. Нас доконали невезение и море. Тот, кто найдет эту бутылку, пусть известит..."

Одеревеневшие пальцы Франсиса вдруг замерли. Кого известит? Кто о нем вспомнит? Для чего кого-то извещать? Зачеркнув последнюю фразу, он засунул бумагу в горлышко, закупорил бутылку и бросил в море. "Пусть плывет. Если кто-нибудь ее выудит, узнает, что я помер", — сказал он. Франсис смотрел вслед удалявшейся бутылке, которая то ныряла, то всплывала, то кружилась на волнах.

— Вот так и мы. Тонем, всплываем, кружимся, — бормотал он.

— Ты что там бурчишь? — спросил я.

— Да так. Нас самих, как бутылки в море, швыряет. Одни выходят на берег, другие напарываются на камни, а иные так и плавают без руля и без ветрил... — По его рукаву бежал муравей, а первый уже дополз до плеча, но Франсис и пальцем не шевельнул, чтобы их согнать.

В лодке брат, упав на колени, молился. "Пречистая Дева, спаси нас", — шептал он. "Господи Боже..." — еле двигал губами Франсис. Мертвая зыбь чуть покачивала лодку, но к вечеру налетел ветерок, и посудина тронулась с места — сначала медленно, потом быстрее. "Куда нас не-

сет?" — едва слышно произнес брат. "Все равно куда. Лишь бы выбраться". Франсис учуял слабый запах земли.

Через какое-то время вдали замерцали огни города.

— Гавана? — спросил я.

Да, это была Гавана, и, к счастью, они пристали к пустынному берегу, откуда смогли добраться до города.

— Значит, вы не совсем обессилели? В больницу не пошли?

— В какую там больницу. Нас бы сунули в тюрьму на три года. Попили мы водички, натерлись маслом, проспали сутки — и хоть снова в бой. Нам повезло. Никто не прознал про наше путешествие, — вяло проговорил Франсис.

— А что с твоим братом?..

— Вскоре он снова повторил попытку, но денег у него на лодку не было, и ему пришлось отправиться на плоту из автомобильных покрышек. Никаких известий о нем нет. Может, и сумел доплыть. Скорее всего, дрыхнет в брюхе какой-нибудь акулы, а оттуда письма к нам не доходят.

— А почему ты не попытался еще разок? — спросил я его, хотя адресовал этот вопрос скорее самому себе. Ответ-то у меня был, но хотелось знать, что скажет он.

Франсис отозвался не сразу, видимо, подыскал точные слова.

— Я сказал себе: Франсис, это твоя страна. Здесь ты родился, здесь похоронены твои родители и все твои предки. Здесь ты должен набраться терпения, сесть у дверей своего дома и ждать, пока мимо пронесут твоих сдохших врагов. Этого удовольствия нельзя лишиться. Да и меня самого тоже здесь закопают.

Я его понимал. Наши мысли почти совпадали, хотя жизненные обстоятельства разнились.

— Понятно, — сказал я и встал. На земле длинным темным пятном обозначилась моя тень, дотянувшаяся до полуразрушенного дома, возле которого мы сидели.

Франсис тоже поднялся с места.

— Знаешь, — сказал он, — сердце мне подсказывает, что Моника вовсе не в море, а где-то здесь, в городе.

— Где же?

— Не знаю. Но лучше ее не искать, а подождать, пока она сама объявится.

Если она от кого-то прячется или не хочет тебя видеть, значит, на то у нее есть причины, и ты должен уважать ее волю.

Слова Пичи тебя успокоили, но в то же время и встревожили. Если он защитит тебя от Кэмела и его дружков, тебе придется ему заплатить, и ты знаешь, какой монетой — станешь его любовницей, а он будет твоим *чуло*. Такую цену ты платить не готова. И не желаешь подчиняться никакому мужчине, а тем более его содержать. Что же делать? Нельзя ведь жить в постоянном страхе и бояться встречи с Кэмелом, который уже вышел на свободу, о чем ты недавно узнала. Самое лучшее было бы исчезнуть на время. Да, отправиться к бабушке в деревню, пересидеть там и посмотреть, чем дело обернется. Денег на жизнь у тебя хватит и еще на хороший подарок старухе останется. Мексиканец Варгас, который сначала жил с Моникой, а потом с тобой, на деньги не скупился и на прощание оставил тебе кругленькую сумму в долларах. И обещал при-

гласить тебя в Мехико. Кто знает, может быть, он выполнит обещание и ты туда уедешь. Тогда и будешь такой женщиной, какой всегда хотела быть, — свободной, ни от кого не зависящей.

В эти дни дождь льет как из ведра, но прохладу не приносит — после ливня жара лишь усиливается. Кажется, что дождь и зной вошли в сговор, ибо, как утверждают метеорологи, при жаре часто собирается гроза, но после дождя становится еще жарче. Нет ни ветерка, и люди, обливаясь потом и изнемогая от влажной духоты, злятся на весь белый свет и мечтают только о том, как бы скорее очутиться в прохладной воде, расслабиться и вообще ни о чем не думать, — такой зной плавит всякую мысль. Кубинцы ходят по улице, едва волоча ноги, стараясь укрыться от солнечных лучей на теневой стороне или под листвой деревьев. Туристы в темных непроницаемых очках, с красными, как перезрелые томаты, носами, напротив, лезут в самое пекло, зная, что скоро придется возвратиться под серое небо, к промозглой погоде, и хочется похвастаться там своими поджаренными на пляжах телесами.

Продавцы на Меркадо передвигаются, как при замедленной съемке, и с неохотой роняют слова, ибо при такой жарище лучше поменьше разговаривать и не тратить последние силы на лишние звуки и жесты. Чина уехала за границу, и ее место занял дантист, резчик корабликов, который, однако, будучи толстым уродом, в торговле не преуспевает. Маркос тоже отбыл за рубеж, и собак теперь продает его невеста, которая только и ждет от него приглашения, чтобы уехать в Новую Зеландию. Книжник Ремберто почти процветает: ему удалось продать первое издание "Цыганского романсеро" Лорки и выставить на продажу такие раритеты, как "Стихотворения сеньориты Гертрудис Гомес де Авельянеды" мадридского издания 1841 года и роман "Сто лет одиночества", опубликованный на Кубе и украшенный автографом самого Гарсиа Маркеса, вероятно подарившего книгу какому-то видному кубинскому деятелю.

Моника гуляет по квартире в нижнем белье, так как все ее открытые летние платья поизносились, да и в таком пекле легче ходить полуголой. Поскольку окна и дверь на балкон распахнуты настежь (иначе можно задохнуться), мужчины из соседних зданий, особенно из Дома телевидения, с великим интересом поглядывают на нее из окон, а кое-кто даже вооружился биноклем.

Вчера Манолито-Бык склоняла ее к знакомству с одним испанским менеджером, работающим на Кубе. Мол, у него "полно зеленых и масса полезных знакомств", но она отказалась: "Пусть Лу с ним знакомится". Ей хочется забыть о мужчинах типа Варгаса, этого мексиканского хозяина плантаций перца чиле. Кроме того, ей хотелось бы покончить с неопределенностью бытия и упорядочить свою жизнь. Сегодня Моника, как обычно, делится думами с дневником.

"Нападавшие на меня парни мне больше не встречались. Этим пока все и кончилось.

Я сказала Малу, что на плоту никуда не поплыву. Да она и сама, наверное, тоже не поплывет, потому как ее друг приглашает с собой кого-то другого.

И все же у меня не исчезает дурацкое предчувствие беды, хотя Он старается меня успокоить. 'Дорогая моя, не волнуйся. Ничего плохого не может случиться. Мы всегда вместе, и я тебя защищу', — сказал Он и обнял меня.

Последнее время Он уже перестал подшучивать, смеяться надо мной, как, например, тогда, когда я собиралась поднести цыплят Элегуа́, хотя потом я их все-таки прирезала и отнесла. Хотелось бы думать, что я влияю на Него. Была бы очень рада.

'Вот и поедешь в Канаду', — сказал Он, узнав, что Ричард обещал мне выслать приглашение.

'А ты, то есть мы? Ты позже обязательно приедешь, мне плохо без тебя', — сказала я, а Он молча погладил меня по голове.

Я ведь тоже с Ним изменилась, как уже писала. Особенно за последнее время.

Раньше я ни о чем не задумывалась и ни с кем не дружила. Наверное, с одной только Лу. Хотелось только шикарно жить и брать от жизни все что можно. Жизнь-то у нас одна. Так мне казалось. А теперь — нет.

'Конечно, я постараюсь к тебе приехать', — сказал Он.

Он лжет. Мы оба знаем, что с его оформлением за границу дело затянется на века, а скорее всего и вообще не дадут разрешения на выезд.

Однажды я так Его и спросила: 'Почему бы тебе не уплыть на плоту?'

Мне давно хотелось узнать: подумывает ли Он о такой возможности?

Он молча поглядел на меня, словно пытаясь прочесть мои мысли. 'На плоту почти невозможно уйти от пограничников, а в тюрьму не хочется. Несколько раз я пытался выехать легально, но пока не получается'.

Я так и знала.

'В Канаде, — сказал Он. — ты хорошо устроишься. У меня там живет троюродная сестра, она поможет'.

Так ли?"

Моника зевает, рука застывает на тетради.

— Что-то я устала. Потом допишу, — говорит она, кладет ручку рядом с тетрадью и идет в ванную. Позже, в спальне, прежде чем облачиться в ночную рубашку, смотрится в зеркало.

Руки ласково скользят по груди до самых подмышек. Над правой грудью пальцы натыкаются на плотный бугорок под кожей. Она ощупывает его с любопытством и удивлением. Что-то очень твердое, размером с монетку; даже если сильно нажать, ничуть не больно.

— Совсем недавно тут не было никакого шарика, — недоумевает она: эта чуть заметная выпуклость совсем не нужна ее телу.

Наверное, Франсис был прав: лучше бы подождать, пока Моника не вернется сама. Тем не менее я хотел продолжить поиски. Мы с Франсисом вернулись к дому Моники, но о ней никто ничего не знал, и все соседи судачили только о том, что Кету увезли в дом для умалишенных. Мне рассказали, как Кета разделась догола и приплясывая побежала на Меркадо с криком: "Волдемор пришел на карнавал!" Ничего не узнали мы и о Малу. Под конец заехали к матери Моники, но сеньора еще не вернулась домой. Поздним вечером объехали все крупные отели и дискотеки и уже просто валились с ног от усталости.

— Enough for me, brother[1], поедем-ка к одной моей приятельнице, которая всех и все знает, а заодно пропустим по стаканчику, — сказал Франсис и потащил меня в кабаре "Тропикана". Там в вестибюле мы

1. С меня хватит, брат (*англ.*).

встретились с его подругой, танцовщицей-мулаткой, которой Франсис поведал о Монике и о наших поисках.

Мулатка задумалась на пару секунд, стараясь вспомнить.

Да, на прошлой неделе в одном из отелей Варадеро она видела девушку, похожую на Монику, в компании какой-то пожилой красивой женщины.

– Иностранки? – допытывался я.

– Возможно, хотя это могла быть и кубинка.

Мулатка ни в чем не была уверена, так как видела их мимоходом, когда сама она шла по коридору, а сеньора и молодая девушка входили в лифт.

– Может, это ее мама, – предположил Франсис.

– Не знаю... Ладно, мне надо идти, шоу начинается. – Мулатка поцеловала Франсиса и протянула мне руку: – Бай.

– Все ясно, – сказал Франсис, глядя ей вслед. – Мать пригласила Монику провести с ней недельку в Варадеро.

Мне хотелось бы так думать, но из головы не шли тревожные мысли.

– Во-первых, не факт, что та девушка в отеле – Моника, – размышлял я вслух. – Во-вторых, если Моника и побывала там, она уже должна была бы вернуться.

Франсис поднял брови.

– Не фантазируй. Мать могла отправиться отдыхать в Варадеро на месяц, потом пригласила Монику, а та задержалась у матери.

– Может быть.

– So, all is clear[1], – Франсис поглядел в зал, где начиналось шоу.

– Допустим, – все-таки я не разделял оптимизма моего друга.

– Именно так. Она скоро вернется. Я тебе говорю.

– Не уверен.

– Если не уверен, позвони завтра ее матери на работу и спроси, где та находится.

– Так и сделаю.

– O'key, – Франсис направился ко входу в зал, – давай-ка выпьем и посмотрим шоу.

– Ты забыл, что впускают только иностранцев?

– And what are we? Absolutly extrangers from[2] Ведадо.

– Не болтай ерунды. Кто нам поверит?

– Швейцар – брат моей славной мулатки, а все остальные поверят нам с помощью этих вот сеньоров, – и Франсис вынул из кармана брюк толстую пачку зеленых бумажек, – которых уважают везде и всюду. So, andiamo presto[3].

Перед дверями зала Франсис дружески приветствовал швейцара и сунул одному из официантов долларовую бумажку в карман куртки. Официант посадил нас за столик у самой эстрады.

– Бутылку рома, – приказал Франсис, а затем сам наполнил стаканы. – За Монику, – провозгласил он тост. – За ее скорое возвращение.

Мы выпили, а когда расправились с одной бутылкой, заказали вторую. Позже, когда закончилось первое отделение шоу, к нам присоединилась мулатка и танцевала то с Франсисом, то со мной. Затем мы распили еще бутылку, и к трем часам ночи все трое были вдрызг пьяны.

1. Так, все ясно (*англ.*).
2. А мы кто? Подлинные иностранцы из... (*англ. искаж.*)
3. Так, пошли быстро (*итал.*).

Франсис с мулаткой, обнявшись, пели песни, а мне на дне стакана мерещилось лицо Моники.

– Ladies and gentlemen, – конферансье поднял руки в знак прощания, – that is all for tonight. "Tropicana", the best[1]...

– Я еду в Гавану, я еду... – замурлыкал Франсис.

– Идем, пошли, – сказал я и, покачиваясь, встал из-за стола.

Мы вышли из кабаре, и Франсис перекинулся словом с шофером такси.

– Порядок, – сказал он, с трудом ворочая языком. – Тебя доставят домой, а потом мы с этой малюткой поедем как поедем, то есть поедем куда поедем...

Мы влезли в такси, я сел рядом с шофером, Франсис и мулатка сзади.

В эту секунду мимо проехала машина, и мне показалось, что я вижу Малу с каким-то мужчиной.

– Малу! Лу! – закричал я и замахал руками, но машина удалялась, не сбавляя хода. – Езжай за этой машиной! За ней! – приказал я шоферу нашего такси.

– Что случилось? Что случилось? – всполошился Франсис.

– В том такси – Малу. Надо ее догнать.

– Шофер, follow this car, follow this car[2], – заверещал Франсис, подражая актерам североамериканских боевиков.

Мы сорвались с места, но было уже поздно. Та машина свернула в сторону и исчезла из виду.

Позабыв про преследование, Франсис нежно чмокал мулатку. Я клевал носом и пребывал в дремоте, пока такси не доставило меня до моего дома, до лестницы на мою голубятню. Попав в комнату, я не раздеваясь рухнул на кровать и клялся больше никогда так не напиваться и обязательно отыскать Монику.

VI

Кэмел уже гуляет на свободе. К счастью для него и к несчастью для других, полиция ничего не смогла вменить ему в вину. Задержавшему его полицейскому, правда, показалось, что *чуло* швырнул что-то в море, но ни марихуаны, ни ножа на берегу не нашли. Кэмел твердо стоял на своем, что, мол, он не от полиции убегал, а догонял автобус. Малу тоже исчезла без следа.

– Ничего, скоро сюда вернешься, – говорит полицейский, отпирая дверь камеры.

Кэмел молча и неторопливо выходит из полицейского участка. "И на этот раз Чанго меня вытащил", – думает он, поглаживая амулет. Чанго всегда вызволяет его из самых неприятных ситуаций. Теперь должен защитить от двух грозящих ему опасностей. Во-первых, от наезда поставщиков марихуаны, за которую Кэмел не заплатил. Как положено, хозяева травки (в полном ассортименте) требуют расчета заранее и полностью. Этот крутой и беспощадный народец жестоко карает за не-

1. Леди и джентльмены... на сегодня – все. Тропикана это лучшее (кабаре)... (*англ.*)
2. Следуйте за этой машиной, следуйте за этой машиной (*англ.*).

доимку, а *чуло* не в состоянии расплатиться, потому что до того, как лишился пакета марихуаны, успел продать всего лишь несколько сигарет. Поэтому ему надо на какое-то время уйти в подполье, поглядеть, как сложится обстановка, и, если удастся, раздобыть деньги.

Однако прежде чем скрыться, он, несмотря на риск, все-таки решает найти Малу и свести с ней счеты.

Во-вторых, божеству следует охранить его — хотя Кэмел о том еще не знает — от мести Пичи, который, только что выйдя из тюрьмы, ищет его, дабы расквитаться за прежние обиды, а заодно и всыпать ему за Малу.

Поиски Моники вынудили меня забросить дела, и наутро после попойки в "Тропикане" я с энтузиазмом принялся наверстывать упущенное. Но беготня были бесполезной. Многочисленные дома, которые я посетил, были всего лишь живописными руинами: выщербленные стены, треснутые потолки, скрипучие двери на ржавых петлях — как в кинофильмах о Дракуле. Последний мало-мальски заметный ремонт, похоже, производился здесь не один век назад.

— Не иначе как наш город посетил какой-то маг и волшебник, — сказал Франсис, когда мы с ним смотрели на одно здание, выглядевшее в наши детские годы как картинка, а ныне превратившееся в полуразрушенную трущобу, годную для проживания разве что нищего люда из книг Диккенса. — В один какой-то момент, по мановению волшебной палочки, бóльшая часть той Прекрасной Гаваны, которую мы знали, куда-то исчезла, а на ее месте громоздятся развалины чужого города, как после бомбардировки во время Второй мировой войны.

Может, такое и случилось, но, увы, все мои клиенты желали жить во дворцах, а не в лачугах, и, вернувшись поздним вечером в свою комнатушку, не заключив ни одной сделки по обмену, я пребывал в сквернейшем настроении. Принял душ и стал раздумывать о том, как мне найти Монику. С дотошностью следователя, детально, холодно и беспристрастно я строил гипотезы и анализировал факты.

Моника исчезла почти неделю назад. И Малу тоже. Соседи или ничего не знали, или не хотели говорить. Одно из двух: либо она куда-то уехала с иностранцем и тогда скоро вернется, либо бежала из страны на плоту и, если не утонула, должна будет объявиться. Возможно и то, что ее задержали, хотя полиция обычно отпускает *хинетер* через сорок восемь часов или после их разговора с судьей. А что, если ее арестовали за распространение наркотиков? Или ее убили наркобароны? Глупости, на Кубе нет наркобаронов. А вдруг она была агентом ЦРУ или членом какой-нибудь террористической организации и теперь подвергается длительным допросам?

Нет, все эти дедуктивные упражнения были наивны до абсурда. И вдруг в голове мелькнуло одно воспоминание. Монике угрожал расправой какой-то сутенер. Так мне сказала Малу недели три назад, но я не обратил на это внимания, ибо при их профессии подобные угрозы не редкость, хотя обычно не приводятся в исполнение. И тем не менее...

Как звали этого сутенера? Даниэль? Чанель? Камель? Да, Кэмел. Где он жил? Я не знал. Где промышлял? Тоже не знал.

Но верно и то, что в морге Моники не оказалось.

Что же еще? Оставалась надежда отыскать ее у матери, о чем говорила девица из "Тропиканы". Но как установить местонахождение мате-

ри? Там, где она работает, должны знать. Я тут же нашел номер телефона и позвонил.

Мне ответил безразличный голос, сменившийся через несколько минут ожидания голосом раздраженным, который отдал меня во власть голоса хамоватого. В общем, коллекция голосов казалась неисчерпаемой, и я уже устал повторять, что мне надо срочно поговорить с такой-то сеньорой, когда наконец молодой женский голос, менее враждебный, чем предыдущие, сообщил, что эта сеньора в отпуске и находится в Варадеро.

— В Варадеро? А где именно? — робко спросил я.

— Не знаю. Я работаю в другом отделе, — вяло ответила девица. — Может быть, она проживает в нашем пансионате, но возможно, поселилась и в каком-нибудь отеле. Я слышала, что в прошлом году она останавливалась в отеле.

— А в ее отделе кто-нибудь знает, где она сейчас? — спросил я.

— В офисе никого нет. Здесь вообще никого нет. Сейчас все в отпуске. — В голосе зазвучали нотки раздражения.

— А где находится ваш пансионат? — отважился я спросить.

Девица дала мне адрес.

— Как туда позвонить?

— Куда — туда? — в голосе послышалось озлобление: вот привязался идиот.

— В пансионат.

На другом конце провода воцарилось молчание, и я подумал, что ответа мне не дождаться.

— Дом — новый, телефона там еще нет, — наконец устало ответила девушка.

— Как же это нет... — начал было я, но в трубке раздался сухой щелчок, и диалогу был положен конец.

Меня не оскорбило такое обхождение. Чего еще можно ждать? Главное, что мать в самом деле на этом курорте. Но в каком месте? В своем пансионате или где-нибудь в отеле? Мне надо было непременно с ней встретиться. Но как? Сначала я обзвонил те несколько отелей в Варадеро, где можно расплачиваться нашими родными песо.

— Сеньорита, — сказал я, набрав номер междугородной станции, — мне надо связаться с Варадеро.

— Ждите, сеньор, все линии заняты, — ответила телефонистка, не дав мне произнести название отеля.

Прошло полчаса, трубка все еще была прижата к моему уху. Меж тем золото вечернего заката погасло вместе со светилом и на меня надвинулась ночь.

Из окна своей голубятни я видел справа огоньки города, похожие на маленькие свечки на большом юбилейном торте. Слева все тонуло во мгле — казалось, эта часть города вообще распрощалась с жизнью. Чтобы скрасить ожидание, я отхлебнул немного рома.

— Алло, вызываю междугородный, — повторил я в сотый раз и наконец услышал ответ.

— Междугородный слушает.

Я назвал отель, и телефонистка меня с ним соединила.

Аппарат не отзвонил и двадцати раз, как в гостиничном ресепшн подняли трубку.

— Нет, сеньора под этим именем здесь не проживает. Звоните в другой отель.

— Спасибо, — сказал я. И снова начался нудный процесс междугородных соединений, хотя на каждый вызов теперь уходило не более пятнадцати минут.

К десяти часам вечера были проверены уже три отеля, а полбутылки рома переправилось в мой желудок. Я чувствовал себя прекрасно, несмотря на тщетные хлопоты. Оставалось навести справки еще в двух отелях, но я не стал туда звонить: слишком дорогие заведения и только для иностранцев. Мать Моники в них не поселится.

В одиннадцать вечера я вышел на свою обычную позднюю прогулку.

Сильные резкие порывы ветра вздымают и швыряют в лицо уличный мусор. Моника торопится добраться до дома.

Ох, этот проклятый ветер, который просто выводит из себя. Сволочь, говорит она, когда бешеный порыв ветра едва не сбивает ее с ног и заставляет ускорить шаг.

Там, за углом, ее дом. Наконец-то можно будет отдохнуть, принять душ, послушать "битлов", сесть за дневник, лежащий без дела более чем две недели.

Пока ветер беснуется на улицах, барабанит в окна и двери, она напишет, что ей чудится, будто Он потерял к ней интерес, замкнулся в себе, вроде бы охладел. Может быть, с Ним что-то стряслось, а Он от нее скрывает? "Этот человек в тебе души не чает", — говорит ей Малу. Странная все-таки эта Лу. Всегда предостерегает подругу, советует не доверять Ему, как, впрочем, и всем мужчинам вообще, а тут вдруг проявила такое к Нему расположение.

Около дома на деревянных ящиках сидят две соседки — не по возрасту красивая старуха и женщина средних лет — и беседуют, оглядывая прохожих.

— Добрый вечер, — говорит Моника.

— Добрый вечер, милая. — От старухи веет приветливостью и покоем.

— Слыхала про Кету? — спрашивает женщина.

— Про Кету? А что с Кетой?

— У нее опять случился кризис, и ее увезли.

— Господи Иисусе! — Моника входит в подъезд.

— Как твой песик? Здоров? — спрашивает добрая старуха.

— Да, — Моника оборачивается. — А что?

— За весь день ни разу ни тявкнул, ни залаял. Странное дело.

— Любит поспать. — Моника направляется к лифту.

— Очень славная собачка, — говорит ей вдогонку женщина средних лет.

У двери Моника вынимает из кармана ключ и вставляет в замок. В передней темно, а Чарльз не бросается на нее, как обычно.

— Чарльз, Чарльз, — зовет она, включая свет.

Напряжение нарастает. Ей уже кажется, что при свете лампы она увидит сейчас что-то страшное: то ли погром в квартире, устроенный ворами, то ли самих бандитов, поджидающих за дверью.

Однако вся мебель на месте, цветной телевизор и музыкальная аппаратура в порядке, все как всегда. Только Сэра Чарльза нигде не видно.

Моника идет на кухню. Еда, оставленная для Чарльза в миске, не тронута.

— Чарльз, Чарльз, — снова зовет она, направляясь в комнату. — Ты где?

Слабый лунный свет, проникающий через окно, рисует замысловатые узоры на кровати и на полу.

— Чарльз, куда ты запропастился?

Моника нервно щелкает выключателем, комната освещается, ее встречает собственное отражение в зеркале шкафа.

— Что с тобой? Чарльз!

Чарльз лежит возле кровати на боку, вытянув лапы: из полуоткрытой пасти свешивается язык.

Моника тихо до него дотрагивается. Морда пса еще теплая, но тело уже остыло.

— Чарльз! — кричит она и начинает его теребить. Пес не подает признаков жизни. — Что с тобой? Чарльз, скажи, скажи!

Да, Сэр Чарльз скончался. У Моники из глаз катятся слезы, она его бережно приподнимает, как ребенка, и целует в нос.

— Боже мой, Чарльз, Чарльз, — восклицает она, всхлипывая, и закрывает ему глаза. Затем осторожно переносит на софу и сидит рядом, плачет и вспоминает, как они вместе жили-поживали.

Наконец ложится в постель и, сраженная усталостью и горем, все же умудряется заснуть.

Сэр Чарльз умер.

Отчего он умер? Она об этом никогда не узнает. Умер, и конец. Ежедневно умирают тысячи собак, кошек и других тварей, равно как и людей, и никому до этого нет никакого дела. Таков закон жизни, свойство материи — сегодня жив, завтра мертв, потом снова жив. Но сегодня умер Чарльз, пес Моники, которого она любила, баловала и ласкала; словно бы умер сын или брат. Куда же теперь отправится Сэр Чарльз? Согласно буддистскому верованию, его душа переселится в другое тело — собаки, кошки, лошади, возможно человека, но непременно в какое-то еще более невинное существо, чем был Сэр Чарльз в своей чистой и безупречной жизни. По атеистическим представлениям, его тело истлеет, материя исчезнет и ничего от него не останется, разве что память. Самое досадное, что нам никогда не узнать, кто прав — буддисты или атеисты, хотя, по правде говоря, буддистская концепция более красива и приятна, ибо всем нам радостно думать, что там, за порогом смерти, мы еще поживем в свое удовольствие, а не сгинем навеки без следа.

Пока Моника спит, ей снятся кошмарные сны, а проснувшись рано поутру, первое, что она видит, — труп собаки.

В слабом свете утра растянувшийся на софе Чарльз представляется белым мраморным изваянием. Она гладит его по спине.

— Чарльз, что же нам делать? — шепчет Моника и начинает одеваться. Ей бы хотелось подольше побыть здесь одной, наедине с Чарльзом, но это невозможно.

Его надо похоронить. Не выбрасывать же в первый попавшийся мусорный контейнер. Похоронить — но где?

Говорят, что должны существовать кладбища для кошек и собак. Но животные не имеют права на погребение. Для всех они — твари, случайно рожденные, существующие сами по себе и отчего-то помирающие.

Несправедливо, ох как несправедливо. Моника вздыхает. У нее нет ни сада, ни дворика, и нет даже заступа, чтобы вырыть могилу.

"Попрошу Лу помочь мне", – говорит она, но тут же отбрасывает эту мысль. У Лу хватает своих проблем.

Да, Малу не поможет. А вот он смог бы. "Мужчина знает, что делать в таких случаях", – думает она, но вспоминает, что его нет в Гаване: он сейчас в Пинар-дель-Рио по своим делам.

Моника выходит из дому просить кого-нибудь о помощи, но никого поблизости нет, и она, убитая и потерянная, возвращается в квартиру, где над псом уже кружатся мухи.

– Чертовы мухи, – отгоняет она их и смотрит на безжизненное тело Чарльза.

Куда же его нести?

"Да, ты найдешь вечный покой в море, дорогой Чарльз", – шепчет она и изо всех сил старается не разрыдаться. Заворачивает Чарльза в простыню, берет на руки и выходит на улицу.

Сумасшедший ветер еще не утих, и улицы почти безлюдны. Она старается идти побыстрее, но вдруг останавливается. "Если меня увидят с собакой в простыне, подумают, что я спятила. – Но тут же обрывает себя: – Пусть думают, что хотят". Прижимая к себе Чарльза, она снова пускается в путь.

А ветер продолжает свирепствовать, ветви деревьев гнутся и трещат. Из проезжающей мимо машины ей кто-то кричит, но Моника не разбирает слов.

У нижней стенки Малекона море тихо и спокойно, ветер утихомиривает волну. Прислонившись к каменной стенке, Моника смотрит, как легкий прибой, накатывая на камни, оставляет на них кромку пены.

Она целует Чарльза, разжимает руки, и он из ее объятий падает в море.

– Прощай, Чарльз, прощай, – приговаривает она, глядя, как пес опускается все глубже в воду, и не может удержаться от слез.

Тем вечером я не пошел на Малекон, а отправился в другую сторону, к центру Гаваны, надеясь напасть на след Моники. Осмотрел окрестности Капитолия, Парк Братства, Центральный парк и кино "Пайрет", пробирался сквозь толпы хохочущих и возбужденно орущих людей.

С облегчением оставив позади веселящийся народ, я тихо брел, погруженный в свои мысли, когда возле "Погребка Дель Медио" меня кто-то окликнул. В дверях ресторанчика стоял Франсис в компании иностранцев.

– Присоединяйся к нам! – зычно крикнул Франсис и познакомил меня со своими спутниками – мексиканцем, аргентинцем и канадцем. Я даже не поинтересовался, как сложилось это разноплеменное сообщество, и уселся вместе с ними за столик. Уже несколько дней мне очень хотелось хорошо пообедать и выпить чего-нибудь приличного. Платили, разумеется, иностранцы.

– Это мой лучший друг, – сказал Франсис, хлопнув меня по спине. – Опытный профессионал и бегун.

– Сеньор бегать на короткие дистанции? – спросил канадец на довольно понятном испанском. – Я в университете бегать на четыреста метров.

— Никак нет. — Франсис был рад повеселиться.

— Вы — бегун на длинные дистанции?

— Вроде того, — хохотнул Франсис, — только он бегает не по дорожке, а по хорошим домам.

— А! Бегун на биржах?

— Какие там биржи! У нас на Кубе нет бирж, — Франсис радостно продолжал балагурить.

Меня коробило от претенциозного пустословия, и я охотно бы смылся, но ужин был великолепен, а красавица-бутылка гипнотизировала меня, как гипнотизирует кобру дудочка заклинателя. Пришлось призвать на помощь всю свою выдержку и утешиться добрым глотком виски. Непередаваемое наслаждение. Ради подобного волшебного напитка с черной этикеткой на бутылке за пятьдесят долларов стоило выслушивать всю эту идиотскую болтовню, да не тысячу и одну, а тысячу и две ночи. Хороший кусок мяса легко скользнул в мою глотку, вторично смоченную виски.

— Я бегун по жизни, — пришлось сказать мне.

— Бегун по жизни? Это как, че? — удивился аргентинец.

— Бегаю по жизни, а за мной вдогонку трюхают мои враги.

Огненное виски преодолело в моем желудке сопротивление кровавого бифштекса и грозило спалить все нутро. Это ощущение заставило меня воздержаться от четвертого глотка.

— А я бегаю за женщинами, — глубокомысленно заметил аргентинец. Из троих иноземцев он выглядел самым меланхоличным.

— Я тоже бегаю, только за долларами. — Брюхо Франсиса снова колыхнулось от смеха.

— Чудесно. За женщин и за доллары! — Мексиканец поднял стакан.

— Прошу прощения, мне надо идти, — сказал я и встал из-за стола.

— Ну, уж нет. Вы останетесь и будете пить с нами. — Мексиканец заставил меня сесть, шлепнув по плечу. Он уже был под градусом.

— Останьтесь, дружище. — Канадец тоже был сильно пьян.

Я не смог отказаться и остался, стараясь, правда, не спешить упиться, хотя пожар во мне разгорался и, как всегда, заставлял забывать обо всем — о Монике, о близняшках, о прошлой жизни, о нынешней паршивой работе.

"Погребок" закрылся, и мы вышли на площадь: Франсис с мексиканцем горланили песни, сзади шли мы с канадцем в обнимку, а последним, спотыкаясь, тащился аргентинец. У Кафедрального собора за нами увязались две *хинетеры*, но Франсис от них отмахнулся.

— Никаких womens today[1], — сказал он и остановился зажечь сигарету.

Я поднял голову. Небо с его вселенскими звездами было изумительно.

— Ну не чудо ли? — восклицала Моника в такие вечера и, закинув голову, с восторгом взирала на небосвод. Порой даже с открытым ртом.

— А зачем ты рот открываешь? — спросил я, впервые увидев ее восторг.

— Чтобы в меня входила звездная энергия.

1. Женщин сегодня (*англ. искаж.*).

— Астральные флюиды? Глупышка.

— Ты сам глупец. Разве не знаешь, что от солнца зависит вся жизнь на земле? Например, при магнитных бурях и люди, и животные совсем одуревают. А если солнце — это всего лишь небольшая звездочка на небе, можешь себе представить, какую энергию выделяет звезда раз в двадцать больше, например Сириус. Представляешь силу всех этих солнц: Сириуса, Альдебарана, Кассиопеи...

— Кассиопея — это созвездие, а не звезда.

— Я и говорю — созвездия Кассиопеи со всеми его звездами.

Если она заводила разговор о звездах и космических воздействиях, то потом обычно пускалась в рассуждения о гороскопе, непознаваемых силах Вселенной, парапсихологии, Ури Геллере, филиппинских хилерах, Парацельсе и Нострадамусе, а когда я полагал, что репертуар исчерпан, она начинала разглагольствовать о Сведенборге, Алистере Кроули, мексиканских шаманах, спиритизме, бабалао и прочих составных эзотерического набора, отдавая должное также и силе мысли, и китайским инь и ян, и картам таро, и кофейной гуще.

Я потешался над ней, но моя рационалистическая логика была бессильна перед неколебимостью ее убеждений, как бессилен средневековый рыцарь — на коне и в доспехах — перед каменной крепостной стеной. Меня всегда поражало то, что девушка, выросшая в атмосфере голого рационализма и в совсем не религиозной (как мне казалось) семье, могла увлечься иррационализмом магии и оккультных наук.

Меня бы не удивило, если бы однажды она преклонила колена перед алтарем святой Барбары-Чанго. Впрочем, лучше было с ней не спорить, а наслаждаться ее сладостной близостью. Честно говоря, я, если оставить в стороне мистицизм, тоже испытывал нечто вроде экстаза, когда мы вместе глядели на далекое мерцание звезд за окном моей комнатушки или на Малеконе.

— Когда ты смотришь на это удивительное совершенство Вселенной, тебе не кажется, что должен существовать некий ее Творец? — она меня частенько огорошивала подобными вопросами, и порой я не знал, что ответить. Вселенная вовсе не совершенна, в ней царит хаос: миры рождаются, взрываются, исчезают, сталкиваются, но этот космический хаос по-своему четко организован и уравновешен, а это и вправду заставляет предположить наличие какого-то разумного начала. Потому ответы мои бывали уклончивы:

— Кто знает. На нынешнем уровне человеческих знаний я ни во что не верю и верю во всё.

— Отчего ваш друг все время молчит? — спросил Франсиса аргентинец.

— Занят важным делом. Высматривает свою подругу на небесах. — Шуточки Франсиса порой бывали грубоваты.

— Она умерла?

— Нет. Потерялась. И он обращается к звездам. Может, они подскажут, где ее искать.

— Очень его понимаю, — сказал аргентинец, так и не одолевший свою меланхолию. — Со мной тоже такое случается.

— И как ее зовут? — Мексиканец, споткнувшись, ухватился за Франсиса.

— Моника, — ответил я.

— Моника! — Мексиканец застыл на месте. — Ой, чиууа! Она невысокая, стройненькая и хорошенькая.

— Да, — сказал я, вдруг занервничав. Нежданные вопросы всегда выводили меня из равновесия.

— Позавчера в отеле "Ривьера" один мой мексиканский друг ужинал с точно такой красоткой.

— Как ты сказал? — Я замер, пытаясь справиться с вскипанием алкоголя в моем мозгу. — Где сейчас этот твой друг?

— О-хо-хо, да где-то летает.

— Что значит "летает"?

— Вчера он отправился самолетом в Сантьяго-де-Куба, а оттуда махнет в Сингапур, Токио и Сидней. Он тоже всегда в бегах, бегает за брильянтами.

— Как интересно. А я недавно на пляже Санта-Мария тоже познакомился с такой же девочкой. Она сказала, что ее зовут... — Аргентинец очень старался протрезветь. — Марго? Морайма? Моника?

Можно было рехнуться. Еще немного послушать этих хлебнувших лишку болванов, и я отправился бы в психушку. Не могла же она сразу находиться в разных местах.

Разговор зачах, и мы потащились дальше к молу по тускло освещенным улицам, где голодные собаки потрошили мусорные ящики, а одинокие коты, завидев нас, шмыгали за угол. Почему уличные коты и кошки удирают от людей? А вот собаки не прячутся, только косятся с подозрением. Наверное, кошачье племя острее чует людское коварство.

— Почему у вас в городе так мало кошек? — спросил мексиканец. Надо было хорошо набраться, чтобы задавать подобные вопросы.

— Мы почти всех их съели. — Франсис нагнулся завязать шнурок на ботинке. — Многие их ловят на улицах, а мясо продают под видом кроличьего.

— Кушать cat? — канадец брезгливо поморщился.

— Когда жрать захочешь, все съешь. Вы слышали про авиакатастрофу в Андах? Кто там выжил, тот съел погибших. — Франсис завязал шнурок. — В Париже в годы Французской революции крысы в мясных лавках шли по хорошей цене. А кошачье мясо ничем не хуже.

— Ты его пробовал, че?

— Of course[1], и не раз, — соврал Франсис. А может, он когда-нибудь и обглодал котика, только мне не признался? — Чтобы сварить суп, надо взять...

Мне стало тошно, и, ускорив шаг, я пошел вперед. С моря летел влажный ветерок, пахло дождем. Звезды на небе заволакивались рваными тучами, похожими на птиц, клюющих луну.

Постегивавший лицо бриз меня вконец отрезвил. Какого черта толочься с этой компанией допоздна, если завтра утром надо ехать в Варадеро отыскивать мать Моники?

— Я вас брошу. Рано поутру мне надо в Варадеро, — сказал я Франсису.

— В Варадеро? Это зачем?

1. Конечно (*англ.*).

— Надо повидать мать Моники. Возможно, они там вместе.

Франсис взглянул на меня со своей обычной насмешливой улыбкой — мол, парень совсем ошалел — и сказал:

— Поеду с тобой. Сейчас у меня нет срочных дел, а в Варадеро мне давно хотелось побывать.

К полудню мы отправились на автовокзал, но билеты на автобусы в Варадеро, как и на все другие рейсы, были распроданы на много дней вперед.

— Приходите недели через две. Может, будут места, — сказала кассирша, косоглазая мулатка с мясистым носом, которой Франсис подарил одну из своих самых обольстительных улыбок, приберегаемых для уродливых кассирш и для швейцаров.

— Обязательно придем, красавица, — подмигнул он левым глазом кассирше на прощание и сказал мне, вытирая пот со лба: — Давай возьмем такси.

Жарища в тот день была страшная, с посетителей автовокзала ручьями лил пот. Думаю, в тени было градусов тридцать — тридцать пять. Десятки людей толклись в зале ожидания или тащились к остановке со своими тюками, чемоданами, баулами, сумками, коробками, свертками. Счастливцы грузились в автобус, неудачники терпеливо восседали на редких стульях или на своем багаже в надежде каким-нибудь чудом заполучить билет.

Столковавшись с шофером о цене, мы влезли в развалюху сороковых годов, где уже сидели три человека. Я устроился сзади между Франсисом и молоденькой девушкой с соблазнительным бюстом. Впереди, рядом с шофером, сидели тощий насупленный негр и женщина, державшая на коленях потертую матерчатую сумку.

Через полчаса мы отправились в дорогу. Путь предстоял долгий и нудный.

Сколько раз я его уже проделывал? Когда был мальчишкой, отец каждое лето вывозил меня в Варадеро. Молодым парнем я ездил туда на лодочные регаты, и в том же курортном месте мы с Бэби проводили медовый месяц, а позже регулярно бывали там с близняшками, пока я не приобрел дом на берегу моря в пригороде Гаваны.

Минут через двадцать я, к своей немалой досаде, увидел, что машина проезжает как раз то самое местечко Гуанабо, где находился мой бывший дом. Те же самые деревья вдоль тротуара, тот же палисадник, стеклянная дверь.

Внезапно такси затормозило и остановилось.

— Что там такое? — спросила девушка, сидевшая рядом со мной.

— Мотор. Только вчера наладил, да вот заглох, — хмуро объяснил водитель.

— Чего ждать от машины, которой за пятьдесят? Поизносилась, — сказал насупленный негр.

Я взглянул направо. В нескольких метрах от дороги стоял мой прежний дом. У входа двое ребятишек играли в мяч, а изнутри доносился женский голос. Мною овладело щемящее беспокойство. "Какого черта я здесь оказался? — вопрошал я себя. — Какого хрена именно здесь заглох мотор?"

Внезапно вспомнилась дата.

Быть такого не может! Именно пятое августа. Злосчастное пятое августа. День, который когда-то перевернул всю мою жизнь. Сколько лет прошло с тех пор? Кто теперь живет в этом доме? Какой-нибудь амбициозный молодой человек, с надеждой глядящий в будущее. Не выдержав, я вылез из машины и подошел к палисаднику. Девочки перестали играть и с любопытством на меня уставились. В доме незнакомая женщина кого-то о чем-то спрашивала.

"Хочешь пива?" — окликнула меня Бэби из кухни, и я вдохнул запах жареной рыбы.

"Пап, кинь нам мячик", — попросили близняшки.

Я остановился. Приятные видения прошлого оказались западней. Идиллические картины вытеснились страшным воспоминанием, воспоминанием, прямо связанным с моим приятелем Мальдонадо.

У входа в садик росло дерево, и я присел там в тени. Много воды утекло с тех пор, как я тут мирно жил-поживал. Голос незнакомой женщины звенел внутри дома.

Бэби тоже ждала бы меня с вкусным обедом и холодным пивом на столе. Бэби, всегда встречавшая меня улыбкой.

Но в тот раз было совсем не так. Моя жена стояла у порога не улыбаясь и не поигрывая бутылочкой пива.

"Тебя хочет видеть директор", — сказала она, не скрывая волнения.

"Рохас?" — ответил я глупым вопросом. Какой еще другой директор, кроме моего шефа, кроме Алехандро Рохаса, мог вызвать меня из отпуска?

"Просит, чтобы ты к нему срочно приехал".

"Срочно?! — Дрожащий голос Бэби и срочность приказа вселили в меня смутную тревогу. — Как я могу срочно приехать, если моя машина в ремонте?"

Бэби подошла ко мне вплотную.

"Он прислал за тобой свою машину с шофером. — Она кивнула на дорогу, где у тротуара стояла персональная машина директора. — Что ему от тебя надо?" — Бэби плотно сжала губы.

Такие срочные вызовы не предвещали ничего хорошего.

Мы с женой это знали. Это все знали. Добрые вести не слишком спешат радовать. Дурные вести сразу хватают за горло, как пума из засады.

Не иначе как что-то важное, подумалось мне, но я молчал, не желая волновать Бэби. Рохас не присылает свою тачку с водителем по пустякам.

"Наверное, речь идет об одном деле, которое мне не удалось закончить, — сочинял я на ходу. — Рохас предупреждал, что может меня вызвать. Забыл тебе сказать".

Бэби с облегчением вздохнула. Поцеловав ее, я направился к машине.

"Ты не будешь обедать?"

"Некогда. Надо ехать. Не беспокойся, вернусь через часок", — снова приврал я. Самому-то мне было ясно, что такая спешность не могла быть вызвана обычным совещанием и мне на работе придется задержаться.

— Таксист никак не справится с мотором. — Франсис тронул меня за плечо. — Давай тут погуляем. Может, наткнемся на местечко, где можно пива глотнуть.

Мне не хотелось. Я предпочел посидеть там, у садика под деревом, и поглядеть на машину Рохаса, возле которой меня ждал водитель Маноло, добродушный парень, с которым мы были в приятельских отношениях.

"Почему не зашел выпить кофе?" – спросил я его.

"Не могу. Рохас велел ни минуты не задерживаться и привезти вас побыстрей". – Раньше Маноло никогда не обращался ко мне на "вы".

"Что там стряслось?" – попытался я у него выведать.

"Не знаю. Слышал, вроде про поездку за границу. А так Рохас ничего не сказал. Только велел вас найти и доставить. Если бы у вас был телефон, он бы вам объяснил".

У меня дух перехватило. Вдруг вспомнилось, что через пару дней один мой сослуживец должен был выехать на важную международную конференцию в Лондон. Не может быть! Представить себе нельзя такого счастья, чтобы он не смог поехать и вместо него послали бы меня. А почему бы и нет? Может же мой товарищ попасть в аварию или заработать инфаркт (а я сидел на своем морском берегу и ничего не знал. Давно надо было бы пробить себе этот проклятый телефон), во всяком случае, подобное везение не следовало исключать.

Я очень хорошо, пожалуй, даже лучше многих других разбирался в вопросах, которые должны были обсуждаться в Лондоне. И меня вполне могли туда направить. Стал понятен и срочный вызов к директору. Через пару деньков – вылет в Англию. От восторга я блаженно улыбался. Мне давно хотелось побывать в Англии, и вот наконец...

Я, правда, не говорил по-английски, но мог, если слова будут произноситься медленно, понять абсолютно все. Посмотрю смену гвардейского караула у Букингемского дворца, башню Биг-Бен, привезу пару красивых туфель для Бэби, а двойняшкам какую-нибудь из этих электронных игрушек, какими забавляются дети Рохаса.

Понятно, все зависело от того, сколько дадут денег на поездку. Себе бы я купил кожаную куртку. Мне всегда хотелось иметь такую, даже если в Гаване пришлось бы ее надевать не чаще одного раза в год. А еще, коли удастся, побаловал бы себя бутылочкой "Чивас Ригал". Нет. Дороговато. Хватит и "Джонни Уокера" с черной этикеткой, чтобы осушить стаканчик за здоровье Рохаса. А ему надо купить...

Я размечтался и не заметил, как мы оказались в Гаване. Через тридцать минут машина уже стояла у офиса. Я поднялся на лифте, распахнул родную стеклянную дверь и вошел в приемную, где, как всегда, сидела секретарша, свысока взглянувшая на меня и велевшая подождать. Рохас был занят.

Ждать пришлось не меньше получаса. Сначала торопить меня, как на пожар, а потом заставлять плевать в потолок! Не очень-то деликатно, подумалось мне, но Рохас был начальником, а потому имел право, полное право решать, когда и как принимать подчиненных, не считаясь с тем, где и сколько им ждать. Начальники правят, мы подчиняемся. Если бы мне выпала доля стать начальником, поступал бы точно так же, подытожил я свои мысли и невольно скосил глаза на стройные ножки секретарши. Да и вся она была хороша. Когда-нибудь и у меня будет такая, думал я, но на эту куколку Рохаса заглядываться было опасно. Поговаривали, что их связывают не только интересы дела.

Откуда-то донесся неразборчивый сип, секретарша обернулась ко мне и сухо бросила:

"Проходите".

Рохас был в своем кабинете не один. Рядом с ним сидел представительный плотный мужчина.

"Компаньеро Хайме, — сказал Рохас, а рука мужчины ткнулась в мою сторону, как шпага фехтовальщика. — Садись, мы хотим поговорить с тобой".

Я сел и стал ждать. Рохас вынул сигарету из серебряного портсигара и кивнул мужчине.

"Вы знакомы с Хасинто Мальдонадо?" — прозвучал металлический голос.

Смешно. Конечно, я был с ним знаком. Все знали, что мы знакомы. Но как он связан с поездкой в Лондон?

"Да, разумеется. Он мой друг и товарищ. А что?" — ответил я и взглянул на Рохаса. Тот курил, уставившись в облачка дыма.

"Давно ли вы его видели?" — как ни в чем не бывало продолжал голос.

Видимо, с Мальдонадо что-то случилось. Что-то плохое. Не умер ли?

Но стоило ли меня срочно вызывать только для того, чтобы спросить о Мальдонадо? Я почуял неладное и насторожился: что еще за игра в кошки-мышки? Ответил им неопределенно:

"Не знаю. Несколько месяцев назад".

"Когда вы встречались с ним в последний раз?" — вопрос хлыстом стегнул тишину.

Что это? Допрос?

"Тогда, когда его уволили и направили в провинцию", — ответил я.

"Где именно? Вспомните, пожалуйста". — Голос зазвучал мягко и вкрадчиво.

"Точно не помню... — Я лихорадочно рылся в памяти. — Кажется, он зашел ко мне и мы побеседовали".

Губы мужчины искривились в секундной ухмылке.

"Это мы знаем. Вы разговаривали в десять вечера в вашем доме". — Мужчина подался вперед и вперил в меня взор. Такой гипнотический сверлящий взгляд был, помнится, у чудодея Мандрейка, героя комиксов из моего детства. Чтобы не быть просверленным, я обернулся в сторону Рохаса:

"Что происходит? Что с Мальдонадо?"

Рохас сунул недокуренную сигарету в чешскую пепельницу, которую я ему преподнес с полгода назад, дорогую и красивую пепельницу.

"Он... задержан", — произнес, причмокнув губами, директор.

"Арестован?!"

Рохас и представительный мужчина переглянулись.

"За попытку нелегально выехать из страны, — сказал Рохас. — Его задержали при попытке бегства на лодке".

Услышанное всколыхнуло в моей памяти слова Мальдонадо, которые я тогда счел пьяной болтовней.

"Не может быть!" — Более глупый отклик на сообщение трудно было представить.

Рохас взял другую сигарету. Мужчина выпрямился в кресле и вперил взгляд в потолок. Разговор, видимо, уже потерял для него интерес.

"Самое плохое то, — Рохас нацелил на меня указательный палец, — что ты знал о планах Мальдонадо".

У меня в ушах звенели слова Мальдонадо: "Если меня смешают с дерьмом, уеду к... Добуду лодку и уеду..."

"Ты знал и не сообщил, — в голосе Рохаса звучал праведный гнев, — ты скрыл это от меня, от твоего руководителя и друга, которому ты стольким обязан".

"Я ничего и не думал скрывать". — Голова моя поникла.

Мужчина снова проявил ко мне некоторый интерес.

"Мальдонадо нам все рассказал. Это и многое другое".

"Постойте, постойте! — вдруг завопил я в приливе отчаяния. — Не знал я ни о каких планах! Мальдонадо зашел ко мне, напился и молол какую-то чушь. Его слова были просто пьяной трепотней. Мне и в голову не приходило, что он говорит всерьез. А потом я его больше не видел".

Мужчина встал и посмотрел на меня, как на червя земляного.

"Мальдонадо утверждает иное. Он заявил, что тем вечером сделал всего два-три глотка и подробно обсуждал с вами свое намерение покинуть родину. Вы его выслушали и сказали, что он принял абсолютно правильное решение".

Ну и сволочь, ну и стервец! Как только у Мальдонадо язык повернулся на такую ложь?

"Это вранье! Клевета!" — рявкнул я в ярости. Когда меня выводят из себя, мне становится море по колено.

"Потише, — властно приказал мужчина. — Мальдонадо утверждает, что вы разговаривали наедине, а ваша жена все то время была на кухне".

Слава богу, Мальдонадо не оболгал Бэби, только одного меня. Сделав над собой усилие, я постарался мыслить трезво. Ни в коем случае нельзя впутывать Бэби в эту грязную историю.

"Он был совершенно пьян, и я не обратил внимания на его слова, — повторил я уже тихим голосом. — Потому и не информировал".

"Твои слова противоречат его показаниям, а он сказал нам всю правду, как я полагаю. — Мужчина стал мне презрительно тыкать. — Он с самого начала вспомнил все до мелочей, а ты, напротив, целых пять минут не желал сообщать, когда вы виделись в последний раз".

"Дайте мне взглянуть на эту мразь", — хотел было я крикнуть, но сдержался. При очной ставке Мальдонадо мог изменить показания и оклеветать также и Бэби.

"В любом случае, был ли Мальдонадо пьян или нет, ты должен был мне по-дружески рассказать, о чем он говорил. — Печаль в голосе Рохаса, однако, тут же сменилась пафосом. — Ты прекрасно знаешь, что сейчас мы переживаем трудные времена. Нам угрожают, и мы должны уметь защищать себя, быть бдительными везде и всюду".

Странное дело. Какая имелась связь между вражеской угрозой и желанием Мальдонадо покинуть страну?

"При задержании у него обнаружили секретную документацию, которую он намеревался вывезти за границу", — продолжал Рохас ровным голосом.

Мужчина строго взглянул на директора — тот, видимо, допустил оплошность, упомянув о секретных документах.

"Эти сведения сейчас не представляют особой ценности, — заметил он сухо. — Главное, что вы знали о намерениях Мальдонадо и нам не сообщили".

Меня так и подмывало им возразить, снова ввязаться в спор, но я не стал этого делать. Никакие мои доводы не изменили бы ни их мнения, ни, конечно, уже принятого решения о моей участи. Мне было обидно, что мой директор думает, будто я от него намеренно что-то скрыл.

Тут два раза прозвонил телефон, и мы трое разом взглянули на аппарат. Рохас резко поднял трубку, словно взмахнул битой.

"Да? — сказал он. — Передай ему, что буду через пять минут".

Наша встреча подошла к концу. Что же меня ожидало?

"Официально мы ничего не можем поставить тебе в вину, — начал Рохас безразличным тоном. Мужчина слушал, одобрительно покачивая головой. — Хотя твои с Мальдонадо показания расходятся. Что же касается твоей работы... — в голосе зазвучала торжественность, — то всем хорошо известно, что здесь у нас к служащим предъявляются самые высокие требования, главнейшим из которых является лояльность... — пауза, — а ты, к сожалению, наше доверие утратил".

"Но я же..." — начал было я, однако Рохас меня перебил:

"Здесь не место для обсуждений". — Он посмотрел на часы. Видимо, опаздывал на очередную встречу.

"Что же мне делать?" — пробормотал я.

"Пока можешь отправляться домой. Мы тебя известим о твоем назначении". — Рохас сложил бумаги, сунул их в дорогой кожаный портфель, протянул мне руку и вышел из кабинета. Представительный Хайме, не прощаясь, последовал за ним.

Во мне что-то сломалось, где-то в мире рухнуло наземь большое дерево. Мне уже не ехать в Лондон и вообще никуда не ехать, не видеть красотки секретарши. Уже не быть Кем-то. Впредь мне положено быть Никем. Медленно поднявшись, я потащился к двери.

"Что с вами?" — сказала секретарша, когда я вышел из кабинета.

"Что с тобой?" — спросила меня Бэби, когда четыре часа спустя я приехал на автобусе домой. До того я зашел в какой-то бар и опрокинул стакан адски крепкого рома.

"Мальдонадо взяли за попытку уехать из страны, а он им наговорил, что я был в курсе его планов".

— Что с тобой? — толкнул меня в плечо Франсис и сел рядом под деревом напротив моего бывшего дома.

— Вспомнились Мальдонадо и Рохас, — ответил я Франсису.

"Мальдонадо?! Не может быть. Зачем он это сделал?" — Лицо Бэби выражало полнейшую растерянность.

— Мальдонадо был подонком. Я тебе всегда говорил. — Франсис отер пот с лица.

"Не знаю, — ответил я ей. — Рохас меня уволил".

"Вот сволочь паршивая! — И лицо Бэби исказилось от гнева, а я не поинтересовался, кого она обругала, Рохаса или Мальдонадо. — Но ты сам виноват, надо было проинформировать начальство. Я тебя предупреждала".

— Рохас тоже был подонком. — С дерева на Франсиса упали, кружась, три листочка. — Что с ним потом стало?

Я был не в состоянии отвечать сразу им обоим. Поднялся и изгнал Бэби из головы, как изгнал ее из своей жизни. Хотя, по правде сказать, это она изгнала меня из своей.

— Пойдем пройдемся, — сказал я Франсису.

Мы шли по улочке, по которой спешили на пляж купальщики. Мы в рубашках и брюках диковинно выглядели в толпе людей с одними фиговыми листочками на теле.

— Рохас не подонок, — сказал я.

— Вот как. А кто же он тогда? — И Франсис проводил взглядом двух юных дев в купальниках размером с носовой платок.

— Уже не подонок. Умер в прошлом году от инфаркта. — Я тоже скользнул глазами по аппетитным фигурам девушек. — Рохас был неплохим человеком. Он только исполнил свой долг.

Франсис взглянул на меня.

— О благородный покровитель всех праведных идиотов! Прими в свое лоно еще одну святую невинность!

— Ты смеешься, — сказал я, — а ведь ты не прав. Все мы — он, ты, я — знаем правила игры, в какую играем. Рохас был моим другом, и я был обязан передать ему слова Мальдонадо. Только так и не иначе.

— Хорош друг — вышвырнул тебя на улицу, вытер о тебя ноги. Такого друга на первом столбе повесить.

Мне бы ему возразить, но я не мог произнести ни слова, парализованный своими думами о старом, о новом, мыслями, от которых не мог отделаться. Имел ли я право ненавидеть Рохаса? Да, меня выгнали с работы, но за целый месяц мне полностью выплатили зарплату, а я сидел дома и плевал в потолок. Сидел в четырех стенах и сокрушался о своей судьбе, о том, что в друзьях у меня ходил некий Мальдонадо, которого я угощал и поил тем вечером; о том, что Бэби, к несчастью, его впустила, о том...

По дороге к морю нас чуть не сбила с ног стайка ребят, несшихся на пляж. Девочкам, наверное, было столько же лет, сколько было в то время моим близняшкам.

— Эй, вы! — крикнул нам шофер такси. — Давайте сюда, машина в порядке!

Мы вернулись и отправились дальше в дребезжащей колымаге, готовой развалиться в любой момент. Слева от меня необозримым синим, голубым, зеленоватым полотнищем раскинулось море, над которым кружили чайки. Это было море моей молодости, море счастья, оставшегося за спиной. Где меня носило все эти годы после разлуки с морем? Что я смог сделать и чего не смог? С плеч еще не свалился груз пережитого, а печень еще долго будет помнить о всем выпитом роме, ибо я стал зверски пить, напиваться до потери сознания.

Ты собираешься поехать к своей родственнице в Мадругу. Тебе хотелось бы сообщить об этом Монике, но на телефонные звонки никто не отвечает, а ее квартира заперта. Оставить бы Монике записку, но у тебя с собой нет ручки. "Чтоб твою..." — досадуешь ты и решаешь связаться с Моникой уже из Мадруги.

Не застав Монику, ты идешь повидать двух человек. Свою сестру, которая заболела, и Манолито-Быка. Старая сводня хочет сообщить тебе что-то важное о мексиканце Варгасе, хозяине плантаций перца чиле.

"Что там такое?! — задаешься ты вопросом. — Может, речь пойдет о приглашении поехать к нему в Мексику? Или он надумал выслать деньги?"

Но, кажется, сводни тоже нет дома, и, прождав ее минут пятнадцать, ты направляешься к своей сестре. Идти к ней не хочется, но, хотя она и псих, все-таки родня.

Сестра лежит в постели, бледная и исхудавшая. Видимо, у нее какое-то серьезное заболевание и вскоре придется отправлять ее в больницу.

— Ты не могла бы сдать кровь для меня? — спрашивает она слабым голосом. — Если я не представлю справку о доноре, меня в больницу не примут.

— Конечно, смогу, — отвечаешь ты.

Придется побыть несколько дней в деревне, а потом утром вернуться, чтобы натощак сдать кровь.

Сестра улыбается и обнимает тебя. Ты ее целуешь, и тебя вдруг охватывает чувство жалости и нежности к больной.

Оставив ей денег на еду, ты отправляешься в деревню, чтобы сбить Кэмела со следа.

Кэмел пьет шестую банку крепкого горького пива и начинает ощущать свою силу и радость жизни. Уже несколько дней он скрывается в квартире любовницы в Парраге, отдаленном пригороде Гаваны.

Как только любовница подходит и целует его в шею, он ее грубо отпихивает. Ему обрыдла эта надоедливая, болтливая баба с ее бесконечным лизаньем. Но больше всего ему осточертело сидеть с ней взаперти, не высовывая носа на улицу.

Кэмел открывает седьмую банку пива и залпом выпивает до дна.

Нет, хватит прохлаждаться, говорит он себе, отшвыривает жестянку и встает, чтобы убраться отсюда сию же минуту.

Наша старушка-машина не спеша ползла по шоссе, а я продолжал вспоминать Бэби и свою семью.

"Ты слишком много пьешь", — сказала мне Бэби однажды вечером в том доме на берегу, расчесывая волосы.

Ее, к счастью, не сочли замешанной в дело Мальдонадо, никуда не вызывали и с работы не уволили. Отныне я принадлежал к отбросам общества, но Бэби оставалась все такой же прелестной и жизнерадостной, будто ничего и не случилось.

Гребень медленно скользит по золотым шелковистым волосам, падающим на обнаженные плечи; она берет заколку и скрепляет пряди. Затем мажет губы и подкрашивает ресницы. В своей узкой юбочке Бэби вдруг показалась мне необычайно соблазнительной и, когда она отошла от зеркала, очень захотелось ее поцеловать, но она меня отстранила.

"Испортишь макияж, — сказала жена сухо. — А кроме того, от тебя разит дешевым ромом, который ты хлещешь. — И снова посмотрелась в зеркало. — Сегодня я вернусь довольно поздно. На работе мы отмечаем итоги соревнования за третий квартал. Возьми девочек из школы и поешь вместе с ними".

Почему она не берет меня на празднество? Раньше мы всегда ходили вместе. Она гордилась мною, я гордился ею. Вдыхаю аромат ее новых, недавно купленных духов. Как бы хотелось идти с ней рядом, но теперь не то чтобы гордиться — никто не захочет со мной на людях

появляться, даже моя супруга. Я тогда еще не знал, что она не таясь появляется с другим мужчиной, со своим новым начальником.

— А когда ты об этом узнал? — Моника лежала со мной в постели, и я рассказывал ей кое о чем из своей жизни.

— Гораздо позже, — ответил я, — но не это стало формальной причиной нашего развода.

"Ты — пьяница! Жалкий пропойца, который не в состоянии найти приличную работу!" — кричала Бэби.

Она была права. Я превратился в настоящего забулдыгу, от которого отвернулись друзья, в неудачника, который не мог и никогда не сможет устроиться на хорошую работу, да и как не пить, если никто пальцем не шевельнет, чтобы помочь тебе выбраться из ямы. В какую бы дверь я ни стучал, мне давали от ворот поворот, едва узнав о моем грехопадении. Оставалось только пить, напиваться до белой горячки.

"Я ухожу. Подаю на развод. — Бэби мерила шагами комнату. — Нет. Уйдешь ты. Мои дочки и я останемся в этом доме".

Проснувшиеся девочки с испугом выглядывали из двери своей комнаты. Что они могли думать об отце?

— Ну и что ты предпринял?

— Ничего не предпринимал. Кто будет считаться с безработным или полунищим пьяницей, какие у него есть права? Через месяц нас развели. Дом остался за ней, а потом она вышла за своего начальника, которого вскоре командировали на работу за границу. Там они и жили какое-то время.

Мне было очень нелегко вспоминать обо всем этом.

По обочине шоссе, почти рядом с нами ехал какой-то человек верхом на лошади. Еще с пяток километров, и мы прибудем в город Матансас.

— Повезло твоей Бэби, — Моника причмокнула языком. — Мальдонадо молодец, что не впутал ее в историю. Благодаря ему она попала за границу.

Я усмехнулся, не сводя глаз с человека на лошади, который вскоре скрылся за деревьями. Всадник хорошо сидел в седле, и лошадь у него была хорошая. Да, Мальдонадо честно поступил с Бэби и утопил только меня. Именно так должен поступить нормальный любовник с законным мужем.

— Любовник?! — изумилась Моника.

Все это уже в прошлом. Бэби была любовницей Мальдонадо, а когда он исчез, она сошлась со своим новым начальником. Видимо, ей нравилось менять мужчин. Об этом все знали, но я узнал только годы спустя, одним дождливым вечером, когда повстречался на улице с Рохасом. Мой бывший шеф выглядел постаревшим и увядшим, как растение, сохнущее без воды; его некогда энергичное лицо осунулось и окаменело. Он уже был на пенсии и вскоре умер. Рохас сам меня окликнул и крепко пожал руку. Я пригласил его выпить пива, и мы зашли в первую встречную забегаловку, куда в прежние времена он и за порог не переступил бы. Рохас спросил меня о моей семье, я поинтересовался, как поживает его семейство.

Он по-прежнему жил в своем доме с женой и младшей дочерью-медичкой. Старшая уехала из страны, сказал он, и глаза его погрустнели. Как все старые пенсионеры, он ходил за продуктами и возился с внуками. Я почти ничего не знал о Бэби и своих близняшках и смог сообщить

ему только то, что они за границей, живы-здоровы и у каждой уже своя жизнь. Бэби вышла замуж в четвертый раз.

Рохас отхлебнул пива.

"Ты правильно сделал, что с ней развелся, — сказал он. Я молча на него уставился. Тема была слишком щекотливой, чтобы ее обсуждать, но он продолжал, не замечая теперь уже моих помрачневших глаз. — Ее связь с тем человеком была просто постыдной", — добавил он и снова приложился к стакану.

"С каким человеком?" — спросил я, а пиво вдруг сделалось жутко горьким.

Рохас помедлил с ответом:

"Мальдонадо".

Такого быть не могло. Бэби никогда не давала мне повода для ревности. Она даже просила меня донести на Мальдонадо, когда он сказал, что хотел бы бежать на лодке. У Бэби были свои недостатки, но так поступить она не могла.

Рохас рассеял мои сомнения.

"Это тебе так кажется. За несколько недель до того, как Мальдонадо зашел к вам, — рассказывал он, — она с ним повздорила, а потом и порвала, приревновав к кому-то. Даже грозила во всеуслышание разделаться с ним. Мальдонадо в ту пору увлекся другой женщиной. Позже, когда он всерьез решил раздобыть моторную лодку, они помирились. Тебе, значит, ничего об этом не было известно?"

Я мотнул головой. Нет, мол, ничего.

"Мне тоже. Моя секретарша уже потом рассказала про все эти любовные хитросплетения".

Рохас вздохнул.

"Знаешь, — продолжал он, — у меня сложилось впечатление, что, помирившись с Мальдонадо, Бэби уехала бы с ним и забрала бы девочек".

Мне стало совсем нехорошо, и я разом осушил стакан пива.

"Ладно, а что это был за человек, который меня тогда допрашивал? Что с ним теперь?"

"Хайме? Я его мало знал. Где-то слышал, что года два назад он умер от рака".

Я больше не касался этой темы. Мы молча пили пиво, а потом немного поговорили о всякой всячине, но Рохас ни разу не спросил, как и чем я живу.

"Вот так, — сказал он. — Мне пора".

Мы встали, я заплатил за выпивку и в дверях протянул ему руку.

"Все же — почему?" — спросил я.

"Что — почему?"

"Почему ты меня тогда выкинул за борт?" — этот вопрос мучил меня долгие годы.

"Тяжелые были времена. — Рохас на пару секунд задумался. — Видишь ли, мы были осажденной крепостью, и нельзя было допускать ни малейшего послабления, ни единой трещинки, которая могла бы причинить вред. Мы не имели права ни в ком сомневаться, а ты давал некоторый повод для сомнений. В будущем такие трещинки грозили обрушить стены крепости".

Да, Рохас ничуть не изменился. Или — изменился?

"Ты бы и теперь так сделал?"

Рохас посмотрел мне в глаза.

"Кто знает, — сказал он очень серьезно. — Во всяком случае, решение принимал не я. Решали другие. Я всего лишь исполнитель, хотя с решением был согласен". — Его пальцы сжали мою руку, и мы расстались.

Больше мы с ним не виделись, а через год я узнал о его кончине.

— Вот и Матансас, — сказал шофер такси.

— Через сорок минут будем в Варадеро. — Франсис взглянул на часы. — Но найдем ли там мать Моники?

— Хочу надеяться, — ответил я и посмотрел на море.

VII

В зеркале поблескивало тело
Виделось одно, а через миг другое
Облик свой меняя то и дело
Отражение не ведало покоя

Мариано Брулль[1] *Обнаженный*

Немецкая овчарка сеньоры Крус, соседки Моники, заливается лаем, и тут же ей отвечают бульдог и такса, а чуть позже, как в настоящем оркестре, где каждый инструмент знает свой черед, к ним присоединяются фокстерьер, датский дог, борзая, доберман-пинчер, ньюфаундленд и напоследок кубинский сато, самый маленький и невзрачный, но зато самый ласковый и шаловливый пес, за что, наверное, и ходит в любимчиках у сеньоры Крус, которая им всем говорит: "Да, да, мои детки, сейчас ваша мамочка вас накормит". Она идет к холодильнику и вынимает огромную кастрюлю. Собаки тотчас замолкают, но, почуяв запах мяса, собачий хор продолжает лай под управлением немецкой овчарки, которая прыгает от радости.

Каким образом сеньоре Крус удается кормить и содержать десять собак в своей двухкомнатной квартире, никто в доме не знает. Кое-кто полагает, что она — внебрачная дочь Хулио Лобо, кубинского миллионера, хозяина плантаций сахарного тростника, бежавшего в 1959 году в США и регулярно присылающего ей доллары. Другие думают, что она — бывшая прислуга этого самого магната, оставившего ей кругленькую сумму по завещанию. Но все уверены: "Она никуда из страны не уедет, потому что никогда не бросит своих собак". А собаки меж тем скачут в экстазе и лают еще пуще, когда хозяйка начинает перекладывать мясо из кастрюли в отдельные миски. "Тише, тише, детки, вы мешаете соседям", — говорит она, но собаки не обращают на ее слова никакого внимания, ибо, как говорится, не полаешь — не поешь.

Моника, разбуженная собачьим лаем, зевает, потягивается и смотрит на часы. Три часа пополудни. "Ну, я заспалась", — говорит она. Обычно она спит так долго, когда ложится в четыре утра, возвратясь с дискотеки.

1. Мариано Брулль (1891–1956) — кубинский поэт.

В последнее время Моника не ходила на диско, чтобы не наткнуться на Кэмела и желая насладиться домашним покоем. Тем не менее иногда бывает охота попрыгать, посмеяться, зарядиться адреналином, увидеть новые лица и порадоваться жизни, особенно когда приходят хорошие вести.

Как раз вчера у Моники обнаружилось подобное желание. Она наконец получила от канадца Ричарда приглашение в Канаду.

Она прыгает от восторга, выскакивает на балкон, потрясая письмом, как флагом, и вопит: "Пришло, пришло!" На Меркадо никому нет дела до ее радостей, и торговля идет своим ходом, хотя на улице одна машина откликается визгом клаксона, а из другой в ответ доносится что-то нечленораздельное, или, может быть, водитель просто рявкнул от злости, едва не врезавшись в зад первой. "Вау!" — громко радуется Моника, а овчарка сеньоры Крус охотно ей отвечает: "Гау-гау!"

Однако радость Моники вызвана не одним только полученным приглашением. Мало-помалу уходит в прошлое чувство тревоги и страха, мешающее спать спокойно. Да и он тоже ласков, внимателен — грех жаловаться. Как видно, подношение цыпленка богу Элеггуа сыграло свою роль. Видно, исполняется предсказание Марухи, хотя гадалка предрекла Монике тяжелые испытания до того, как наступят покой и счастье, но вот до сих пор ей не пришлось столкнуться ни с одной серьезной проблемой.

— Кета, Кета! — кричит Моника, но соседка не отвечает. Она лежит в больнице, где проходит очередной курс лечения.

"Гау-гау..." — надрывается фокстерьер сеньоры Крус; песик не из видных, но горластый и беспокойный.

Моника идет к телефону и набирает его номер, но там аппарат, конечно, испорчен и никто не отвечает. Она не помнит или не знает, что он уехал в Пинар-дель-Рио по неотложному делу. В Пинар-дель-Рио нашелся денежный клиент, владеющий небольшим помещением и готовый заплатить сорок тысяч долларов за дом в Гаване, а если сделка состоится, он получит свои пять тысяч комиссионных и сможет водить Монику в рестораны и другие приятные места.

Поскольку у Малу нет телефона, Моника звонит ее соседке, но та не имеет понятия, где находится Лу.

"Куда она пропала? — задается вопросом Моника. — Наверное, отправилась на диско. Там ее и найду".

Моника звонит Юмалайди, и они договариваются встретиться в десять вечера.

На дискотеке Юмалайди знакомит Монику с испанцем средних лет, довольно симпатичным и воспитанным. Моника с ним танцует, точнее говоря, скачет, пьет и даже пару раз затягивается марихуаной. К рассвету испанец доставляет ее домой на такси и хочет войти, но она, мило улыбаясь, его останавливает: "Нет, дорогой, я очень утомилась, увидимся в другой раз". — "Ну зачем же так, не гони меня, я очень тебя хочу". — "До свидания, мой хороший, я валюсь с ног от усталости". — "Но..." — "Я сегодня же тебе позвоню, и мы увидимся". — "У тебя есть телефон?" — "Нет". — "Я живу в отеле 'Капри', позвони мне". — "Позвоню, целую, бай".

Моника запирает дверь и, не раздеваясь, бросается в постель, спит допоздна и просыпается от лая собак сеньоры Крус.

Она встает, заваривает крепкий кофе и минут десять занимается аэробикой, ибо, хотя она молода и изящна, очень следит за фигурой; затем принимает душ и одевается. После всех процедур берется за дневник и пишет:

"Я давно не чувствовала себя такой счастливой. Моя судьба в корне меняется. Еду в Канаду. Приглашение у меня в кармане, и есть несколько тысяч долларов на оформление выезда. А потом можно будет вывезти и Его. Скажу Ричарду, что Он мой дядя, и попрошу выслать приглашение. Сейчас ситуация немного изменилась, и, может, Ему разрешат наконец выехать, не копаясь в том, кем Он был или что делал раньше".

Моника откладывает ручку, поднимает голову и смотрит на образ Пречистой Девы из Кобре, стоящий у стены. И снова принимается писать.

"Но захочет ли Он уехать? У Него столько всего намешано в голове, что может и отказаться. Вдруг не возьмет от меня денег или будет цепляться за свою родину, кроме которой, мол, ничего Ему больше и не надо, вдруг... Святая Дева, сколько же всяких препятствий может себе напридумать человек.

Но я Его, наверное, за это и люблю, за всякие хохмы и выкрутасы. Если бы Он был обыкновенным простаком, мечтающим только жить красиво и бежать отсюда при первой возможности, меня бы Он не заинтересовал. Однако каким бы сумасбродом Он ни был, Ему обязательно надо уехать. Здесь Он совсем зачахнет и опустится, помрет с голоду или с перепоя. В следующий понедельник, когда мы увидимся, я постараюсь Его уговорить.

Да, теперь моя жизнь меняется в корне. Я это чувствую. Пречистая Дева и Йемайя мне помогают. Надо обо всем рассказать Лу. Возможно, я и ее сумею вытащить отсюда. Как славно зажили бы мы с ней в Монреале. Нет, нам, пожалуй, надо жить по отдельности. Каждая сама по себе. Кто знает, не захочет ли Лу продолжать там свои здешние занятия, а мне хочется попытаться жить иначе. Поступлю в университет, стану физиком, химиком, литературоведом или кем-нибудь еще. Хорошо бы и Лу чему-нибудь поучилась, но она не станет этого делать, я уверена. Уже больше недели она ко мне не заходит, и я ничего о ней не знаю. Где она шляется? Наверное, как всегда, занята своими делами".

Тут мысли Моники прерывают громкие настойчивые удары во входную дверь, а срывающийся от волнения голос повторяет: "Мони, Мони! Открой, это я, Малу!.."

В Варадеро мы приехали к полудню и, расплатившись с шофером, отправились на поиски матери Моники. Сначала надо было посетить пансионат, принадлежавший ее учреждению.

— Где находится этот дом? — спросил Франсис.

— В центре.

Когда мы туда добрались, то, к своему разочарованию, нашли там всего лишь дискотеку для иностранцев, где никто ничего не слышал ни о каких домах отдыха, ни о министерствах.

— Не может такого быть! — воскликнул я.

— Кто дал тебе этот адрес? — С Франсиса ручьями лил пот.

— Тот, кто подошел к телефону в ее учреждении.

— Надо быть круглым идиотом... Кто теперь верит анонимным ответам по телефону. — Франсис вытер пот. — Ну, а теперь что?

— Будем искать.

— С ума спятил? У нас же нет адреса. И мы даже не можем позвонить в Гавану или разузнать что-нибудь в здешних офисах — сегодня же воскресенье!

— Будем спрашивать прохожих.

— Кого? Вон этих тупорылых иностранцев? — Франсис кивнул на каких-то туристов.

— Кто-нибудь да подскажет.

Мы принялись расспрашивать всех подряд, но это оказалось бесполезным делом. "Мы не здешние", — отвечали нам. Или: "Идите к центру", "К югу", "Да, конечно, метров через сто или двести"...

Прошло часа два, а мы, потные, усталые, все еще бродили в поисках нужного дома.

— I can't more, brother[1], — Франсис остановился и не спеша огляделся, — мне срочно надо смочить горло.

— Позже.

— Не могу. Или сейчас, или я погибну от засухи. — Он стоял на своем, и пришлось бросить его у какого-то пивного бара. — Когда завершишь свои розыски, найдешь меня здесь. Живым или пьяным, — сказал он.

Я и сам был не прочь залить в себя сотню бочек пива, но не мог прекратить поиски. Не зря же мы притащились в Варадеро.

И я стал блуждать наудачу, заглядывая во все здания, походившие на дома отдыха, расспрашивая людей, полагаясь на судьбу. Совсем без сил оказался я наконец на пляже и скинул туфли. Под ногами зашуршал мягкий влажный песок, по телу прошелся морской ветерок. Мне стало хорошо до невозможности.

Я вдохнул воздух полной грудью.

По морю медленно скользила яхта, белая, как голубь. На палубе стояли люди, смотрели на берег и чему-то смеялись. Они выглядели счастливыми — по крайней мере там, на море. Возможно, потом им будет худо, но в те минуты они светились счастьем. Какая-то девушка и маленькая девчушка махали мне руками.

Я с удовольствием помахал им в ответ, и они мне что-то крикнули. Наверное, "Привет!" или "До свидания!" И мне это было как маслом по сердцу.

С каким удовольствием поднялся бы я на яхту, познакомился с девушкой и с малышкой, с их родителями, которые, конечно, пригласили бы меня попутешествовать с ними. Я показал бы им укромные места на побережье, угостил бы морскими деликатесами.

Чтобы совершить с ними путешествие вокруг Острова, я готов был наняться гидом, поваром, матросом, юнгой.

"Совсем сдурел", — подумалось мне, и я поплелся дальше по песку, подставляя свое взмокшее тело солнцу и ветру, вселявшим жизнь. Так шли эти минуты, когда не вспоминалось ни о чем и хотелось смотреть на небо, только на небо.

1. Я больше не могу, брат (*англ. искаж.*).

Как же хорошо стоять под солнцем у самого моря и забыть, кто я таков, откуда пришел, куда иду. Забыть о прошлом, забыть о будущем и отдаться лишь ощущениям момента.

— Берегись! — Крик не успел опередить удара. Волейбольный мяч жахнул меня по лбу. — Ой, простите! Больно? Извините, пожалуйста, — услышал я голос ангела, если предположить, что ангелы умеют говорить. Передо мной стояла женщина, наверное, самая прекрасная и пьянящая из всех, кого мне приходилось видеть. Рыжие волосы ниспадали до плеч, купальник на ней был просто крошечный: нижний треугольник так мал, что я не отер бы им и пот с лица, а верхней полоской материи едва ли прикрыл бы себе глаз кривой пират. Оба лоскутка совсем не мешали обзору ее женских прелестей.

Я быстро выпрямился, потирая ушибленный глаз.

— Нет, нет, все в порядке, — забормотал я, пожирая здоровым глазом великолепное женское тело. Мой взгляд ее вовсе не смутил. Напротив, она расцвела улыбкой. Сколько ей могло быть лет? Отнюдь не девочка, но любой девчонке могла дать фору. От таких женщин я всегда терял голову.

— Как неприятно. Дайте посмотреть. — И ее пальцы прикоснулись к моей глазнице. — Я виновата. Ударила по мячу с такой силой... — сказала она.

Подошла другая женщина и подняла мяч с земли.

— Все в порядке. Ерунда, — твердил я, стараясь не замечать ушиба.

— У вас глаз покраснел, и даже веко припухло. Идите за мной, надо сделать примочку. — В ангельском голосе зазвучали повелительные нотки.

— Ни в коем случае. Не беспокойтесь, — ответил я не слишком уверенно.

Сам-то я был готов следовать за ней куда угодно, лишь бы глазеть на нее.

— Никакого беспокойства. — Она нежно взяла меня за руку. — Пойдемте, это совсем рядом.

— Мне надо идти, меня ждут, — сказала женщина, поднявшая мяч.

— Хорошо. Увидимся позже, — ответила красавица и обернулась ко мне: — Пошли.

Я не заставил себя упрашивать. Куда она меня вела? В поликлинику?

— У меня в коттедже есть лед. Вам полегчает.

Мы медленно побрели по песчаному пляжу, и я честно старался не глядеть на нее.

— Вы не купаться сюда приехали? — спросила она.

— Нет, мне надо кое-кого найти, — ответил я, почему-то смутившись.

— И нашли?

— Нет, пока нет.

Молча дошли мы до коттеджей, прятавшихся среди сосен. Место было изумительное, под стать женщине, шедшей со мной рядом.

— Вот мы и на месте. Проходи. — Она впервые обратилась ко мне на "ты".

Внутри было темновато и пахло свежими цветами. Она зажгла лампу и включила кондиционер. Я с интересом оглядел комнату. В центре на стеклянном столике стояла большая ваза с розами, распространяв-

шими густой аромат. У стены — широкая софа и два уютных кресла, а в глубине комнаты — бар и маленький холодильник.

— Садись, — сказала она и, покопавшись в холодильнике, вынула оттуда кусочки льда и положила их в резиновую грелку.

Бережно приложила грелку к моему ушибленному глазу, а нагнувшись, разлила надо мной благоухание своего тела. Это меня вдруг страшно взволновало, вспыхнувшее желание заглушило боль.

— Скоро тебе будет совсем хорошо. — Ее улыбка была просто обворожительна.

"Спокойно, парень", — сказал я себе, призывая на помощь воспоминания о встречах с сеньорами, которых посещал в ходе своей обменной работы. По опыту я знал, что любая инициатива может потерпеть фиаско, если нет полной уверенности в ответном желании женщины. Чего же хотела от меня эта дама?

"Затащить тебя в постель. Ты ей сразу приглянулся. Это одна из пляжных хищниц, охотница за мужчинами. Сразу видно", — рассуждал Франсис, опустошая пятую кружку пива и начиная обалдевать. Скоро он совсем опьянеет и будет нести всякую чушь. Эта женщина вовсе не казалась такой. Она была изысканна и воспитанна.

Волна светлых волос и зеленые глаза придавали ей вид европейской принцессы. Не оставалось никаких сомнений в том, что это дама высокого полета.

Она снова мне улыбнулась. Я прижимал лед к ушибленному глазу и обозревал окружающее другим. Удивительно, как меняется восприятие мира при одноглазии. Через полуоткрытую дверь виднелась роскошная двуспальная кровать.

Значит, с ней живет муж?

Она закурила сигарету и протянула мне пачку. Пачку "Мальборо".

Эта женщина была не только аристократична. Она была еще и богата. Кто в нашей стране курил "Мальборо"? У кого имелись такие великолепные коттеджи с кондиционером, холодильником, цветами и подобным шикарным ложем?

Я взял сигарету и медленно закурил, оценивая обстановку.

Не говоря ни слова, она вышла из комнаты, закрыв за собою дверь. Через минуту вместе с шумом воды до меня донесся ее голос: "Если хочешь пива, возьми в холодильнике".

Хотя она и дама из общества, но легкомыслия ей, казалось, не занимать. Вот так, запросто, принимать незнакомого мужчину у себя дома!

"Я же тебе говорил, — ворчал Франсис, опорожняя шестую бутылку пива. — Обычная пляжная шлюха, которая закидывает удочки. Теперь она выйдет из душа голой".

Я открыл холодильник. Чего там только не было! Копченый окорок, целый круг сыра, банки пива "Атуэй" и прочие деликатесы. Недолго думая, я схватил по хорошему куску сыра и ветчины и проглотил, даже еще не откупорив бутылку. Пиво, хлынув в желудок, доставило мне высочайшее наслаждение. Хотелось взять еще сыра и ветчины, но я сдержался. Она могла меня застукать за посягательством на то, что мне предложено не было. Отхлебнув еще разок изумительного холодного пива, я уселся в кресло. Все мои проблемы канули в вечность. Вот-вот наступит божественный момент появления этой женщины в костюме

Евы, которая пригласит меня разделить с ней ложе и всю ветчину с сыром и пивом впридачу.

Наверное, она супруга какого-нибудь важного чиновника. Мне было на это наплевать. Она вернулась, но не обнаженной, а всего лишь босой, в облегающей блузе и обтягивающих джинсах, что делало ее еще более соблазнительной. Она молча подошла к холодильнику, взяла бутылочку пива и села в кресло напротив.

— Я боялась, что у тебя поврежден глаз. Сейчас ты выглядишь получше, — сказала она и приложилась к бутылке. — Кого же ты ищешь?

— Одну свою приятельницу. Вернее сказать, мать приятельницы. — Волнение мое нарастало.

— А где живет мать твоей приятельницы?

— Не имею понятия. Хочу узнать ее адрес.

Она допила пиво и встала к холодильнику. Со спины и босиком она казалась страшно соблазнительной.

— Еще пива? — Ее голосок походил на нежное мурлыканье кошки.

Возможно, это было сигналом к началу. Иначе какая женщина, если она ничего такого не желает, предложила бы чужому мужчине продолжить с ней застолье со спиртным?

Меня одолело бешеное желание вскочить, схватить ее и укусить в затылок. Я уже было встал, когда она обернулась и протянула мне бутылочку.

— Как тебя зовут? — последовал вопрос.

Хотя я имел на счету не одну дюжину женщин, меня в такой ситуации почему-то всегда охватывала неловкость. Стараясь этого не показывать, я назвал свое имя.

— Красивое, — сказала она и приласкала меня взглядом.

"Сейчас она ко мне прижмется", — подумал я. Нет. Она очень спокойно опустилась на софу. Я сел рядом.

— А тебя как звать? — сказал я.

— Йоланда.

Удивительное совпадение. Так же звали и мать Моники.

— Йоланда... А дальше?

Она произнесла свою фамилию таким тоном, словно речь шла о какой-то знаменитости.

Нет, такого не могло быть. Поразительно! Нечто подобное случается раз в сто лет.

Передо мной сидела наироднейшая мать Моники. Тот день вообще был полон чудес. Сначала сломалось такси прямо перед моим бывшим домом на побережье. А теперь еще и это. Я не знал, радоваться мне или досадовать. Радоваться, ибо наконец я что-то узнаю о Монике. Досадовать, потому что теперь надо отказаться от сладостной любовной интрижки. И тогда, значит, взбудоражился я впустую. Оставалось только сидеть на софе и покусывать губы. Она заметила перемену в моем настроении.

— Что случилось?

— Вы именно та, кого я ищу. — Мне стало неловко обращаться к ней на "ты".

— Я? Как так? — На ее лице изобразилось крайнее удивление.

— Вы — мать моей... моей приятельницы.

— А ты кто? Что с моей дочерью? — Йоланда вскочила на ноги.

— Ничего страшного, — сказал я, решив не выдавать своей тревоги по поводу исчезновения Моники. Это бы не решило проблемы и только взволновало бы ее. Кроме того, возможно, я и сам преувеличивал свои опасения.

Йоланда снова опустилась на софу.

— Я ее друг, — не уточняя, какого рода "друг", продолжил я. — Уже несколько дней как она куда-то исчезла, а мне надо ее повидать. — И тут я тоже не пояснил, зачем мне требовалось ее увидеть, а Йоланда промолчала. — Мне думалось, что она у вас. — И страшно хотелось услышать в ответ: "Да, дочь купается в море и скоро вернется".

Йоланда отрицательно качнула головой, и мои надежды рухнули.

— Я сюда приехала одна и уже несколько недель сама ничего о ней не знаю. — Голос звучал очень тихо.

Она умолкла и продолжала молчать, а я смотрел на нее, теперь невольно сравнивая с Моникой. Они были очень похожи. Глаза (более живые у Йоланды), подбородок (более волевой у Моники), рот (более чувственный у Йоланды).

— Вы не знаете, где ее искать? — спросил я.

Йоланда пожала плечами.

— Не имею понятия. Последнее время мы мало общались. Моя дочь — трудная девочка.

Трудная. Что значит "трудная"? Скорее сама она — трудная мать, ибо со своим бывшим мужем не баловала Монику любовью и не старалась понять подростка. Но я промолчал. Какое у меня было право вмешиваться в их отношения?

— Значит, теперь моя дочь с вами. — Йоланда тоже стала обращаться ко мне на "вы". Отвечать не имело смысла. — И вы с ней неплохо ладите? — Взгляд Йоланды скользнул по моим серебрящимся вискам. Снова был помянут мой проклятый возраст.

— Думаю, что неплохо. Во всяком случае, ей со мной лучше, чем с вами. — Я впервые позволил себе резкую реплику.

Йоланда не ответила и нервно закурила. На сей раз она не предложила сигарету мне. Мы молчали, она пускала дымок и смотрела на белые кольца, а я смотрел на нее.

— Моя дочь всегда так делает, — проговорила она наконец, — надолго исчезает, а потом возвращается как ни в чем не бывало. Я уже привыкла.

Меня это начинало злить. Кто виноват в их разлуках? Понятно, не Моника. А потом, как к такому привыкнуть? Когда можно услышать, что дочь погибла, что ее изнасиловали, зарезали или она утонула в море при попытке к бегству. Или эта сеньора плохо знала жизнь, какую вела Моника, и то, каким опасностям ее дочь подвергалась? А может быть, знала? Моника об этом не распространялась. Но во всяком случае Йоланда могла поинтересоваться жизнью своей дочери.

А сам-то я интересовался судьбой своих дочерей?

Ведь мог вот так жить-поживать, ничего о них не зная?

Нелепые вопросы. Понятно, я не ведаю, что там поделывают мои дочки за границей, и никак о них не забочусь. Они могут быть проститутками, наркоманками, алкоголичками — да кем угодно, а мне до того и дела нет.

Впрочем, я слишком строг к себе. Мои-то дочки обитают за сотни километров от меня, а Йоланда живет с Моникой в одном городе.

"Типичная пляжная шлюха, – протянул Франсис, опустошая очередную бутылку пива. – За ее здоровье, за здоровье всех шлюх".

– Я ее нежно люблю, но она заставляет меня очень страдать. – Прекрасные глаза Йоланды затуманились слезами.

Во мне проснулось любопытство. Может быть, Моника не вполне к ней справедлива?

– Знаете, мы дали ей абсолютно все, все, что могли. – Слезы на прекрасных глазах просохли.

О, да. Старая и скучная история про то, как родители полностью обеспечили свое родное дитя. На моем лице нарисовалось презрение.

– Да, у нее было все: горы игрушек в детстве и престижная школа; мы одевали ее как куклу, летом возили на морские пляжи, в еде не отказывали, знакомили с интересными людьми...

– Но ты отказывала ей в любви. – Я снова обратился к ней на "ты".

– В любви? – Йоланда удивилась, но тут же ответила: – Ничего подобного. Когда она болела, я была с ней рядом; когда у нее не клеились амурные дела, я была с ней рядом и помогала советом. Когда первый жених ее бросил, я тоже была с ней рядом.

Так-так, я ничего не слышал о первом женихе. Куда клонила Йоланда?

– Я ее утешала, успокаивала словом и лаской, но знаешь, чем она мне отплатила? – Йоланда говорила быстро, взволнованно. Зачем она мне все это рассказывала? Мне, чужому человеку, хотя бы и любовнику ее дочери. Видимо, женщина она темпераментная, и ей надо было выговориться. – Дочь увела у меня человека, которого я любила и за которого собиралась выйти замуж.

Мужчина с пляжа, любитель битлов! – вспомнилось мне. Эту историю я слышал, но в изложении Моники. Кому верить, Йоланде или ей?

Йоланда замолчала и уставилась в пол. Выглядела она очень печальной. Мне стало ее жаль, и я придвинулся к ней ближе. Она вновь показалась мне очень привлекательной.

– Она меня сама же еще и обругала и ушла жить отдельно... Сказала, что меня не любит, месяцами не показывалась, не давала знать о себе, – и слезы вновь покатились по щекам Йоланды. Кожа у нее на лице была как у ребенка, гладкая и нежная.

Я взял ее руки и крепко сжал. Пальцы были теплыми, и мне вдруг захотелось их нюхать, гладить. Сам того не желая, я наклонился и стал их целовать.

– Моя дочь меня не любит, совсем не любит...

– Нет, нет, она тебя любит. Я тоже тебя люблю, – бормотал я, не переставая целовать ее пальцы. Моя левая рука поднялась и уже гладила ее волосы. Внезапно желание горячей волной хлынуло у меня с затылка вниз, сотрясая все тело.

Под своим лицом, под самым носом я видел твердые упругие бедра, обтянутые джинсами. Сдержаться было немыслимо, и я обрушил на них яростные поцелуи, словно собираясь разгрызть ткань и вонзить зубы в бронзовое тело Йоланды.

– Нет, нет, пожалуйста, не надо, – шептала она, вцепившись мне в затылок и с силой прижимая мое лицо к своим ляжкам.

— Надо, надо, — бормотал я, добравшись губами до молнии в ее джинсах и лихорадочно пытаясь ее расстегнуть.

— Нет, нет, мы не должны... — шептала она, распластываясь на софе.

К черту Монику, к черту все на свете, промелькнуло в моей голове, или вообще ничего не мелькало.

В тот момент единственной зримой целью было тело Йоланды, ее плоть, пахнущая морем. Мои пальцы бестолково шарили по застежке джинсов. Ничего не получалось.

— Подожди, — сказала она и ловко опустила молнию. Быстро скинула брючки. На ней не было нижнего белья, и меня поразил вид ее густой сельвы. Потеряв рассудок, я приник к ее длинной широкой реке, жадно пил, лизал, кусал, остервенело шлифовал губами красный рубин.

— Оу, оу, — стонала Йоланда, нащупывая правой рукой мой гарпун, гарпун Жака Сора, и вовсю его теребя.

— Нет, не надо! — заорал я, почувствовав, что гарпунная пушка готова выстрелить.

— Надо, надо, — закричала она, желая нацелить мой гарпун.

— Нет, — зарычал я и стал дубасить ее кулаком по ляжкам.

— Вот так, папочка, так, — визжала она, — бей меня, бей сильнее!

Тогда, вскочив, нагнув ее лицом к софе и схватив за талию, я был готов вонзить свой гарпун, но она меня остановила.

— Подожди. Не торопись.

Мне пришлось подчиниться и минуты три ждать, пока она рылась в сумочке, отыскивая презерватив.

Наконец атака началась. Она шумно дышала, словно задыхаясь, но покорно сносила зверские удары гарпуна и железную хватку рук, сжимавших ее бедра.

Вот он, Жак де Сор, победно вошедший в бесстыжую Гавану по грязному пути Обра Пиа, поработивший и подчинивший ее своей власти.

— Я по вкусу? По вкусу тебе? — вопил я.

— Да, да... Уже тогда, когда лежал на пляже.

"Что я говорил? — смеялся Франсис. — Сразу было ясно".

Когда она почти обессилела, я взял свой гарпун за основание — уже не гарпун, а настоящий багор капитана Абба, — и стал лупить ее по спине, по бокам. Но она была из тех, кто своего добивается. Обернувшись, заставила меня шлепнуться спиной на ковер и села верхом на огромный багор.

И поскакала, часто дыша и опираясь грудью на мои руки, пока наконец не рванулась вперед и не впилась зубами мне в губы. Я не выдержал, поток кипящей лавы вырвался из меня и обжег ей нутро. Она вскрикнула в ту же самую секунду, что и я.

"Матёрая пляжная шлюха", — внятно произнес Франсис.

Кэмел горделиво шагает по улице, позабыв и думать о грозящих ему опасностях. Покинув три дня назад жилище своей любовницы в Парраге и пошлявшись по Гаване, он считает, что ничего плохого с ним не случится. Торговцы марихуаной, которым надо отдать долг, поставлены в известность, что он, Кэмел, человек слова, и деньги будут скоро возвращены. Крутые парни ничего не ответили, но и не потребовали срочной уплаты. Так сообщил посредник, и Кэмелу хочется верить, что конфликт улажен. Другое дело — откуда взять деньги, ибо в кармане всего

лишь сто песо, которые он стибрил у любовницы. На сегодня вполне хватит, и пивом можно упиться, смочить вечно сухую глотку. А завтра надо привести в исполнение давний план: ограбить кассиршу, которая каждый день ровно в два пополудни отвозит суточную выручку магазина верхней одежды в банк. Сумма очень приличная, гораздо больше той, что надо выложить наркодельцам, и упустить случай никак нельзя. Кассирша носит деньги в сумочке и ходит без провожатых. Детская забава, а не грабеж. "Раз, два — и порядок", — говорит себе Кэмел. Пригрозить бабе ножом, вырвать сумку и скрыться. А потом, если все пройдет гладко, должок можно и не отдавать, а обменять песо на доллары, достать лодку и рвануть в США. "Раз, два — и порядок", — повторяет он. Позавчера ему сказали, что у Чео, рыбака из Кохимара, есть лодка и парень готов за наличные переправить кого угодно и куда угодно. Вчера Кэмел уже известил Чео, что намерен отправиться в путешествие, причем в самое скорое время.

Строя планы на будущее, Кэмел заходит за угол обшарпанного дома, где в одной из квартир торгуют пивом, ромом, кое-чем из еды и даже марихуаной. Надо заморить червячка, хорошо выпить и покурить. Он так занят радужными мечтами, что не замечает человека, который, отделившись от стены, переходит улицу и незаметно следует за ним.

"Потрахаться бы с Юмой, — говорит себе *чуло* и улыбается. — Да оттянуться в Майами по полной".

Впрочем, все это может произойти только в том случае, если Чанго, Оггун и другие ориша дадут ему свое благословение на грабеж и побег. Он решает обратиться к ним этим же вечером через колдуна Орестеса, который с ними запросто общается. Однако Кэмел не учитывает других очень важных вещей — таких, как судьба, определяющая наши пути, или случай, решающий, когда и где о нас наша судьба вспомнит.

Судьба же предопределила, что Кэмел умрет молодым, очень молодым, от удара ножом, от СПИДа или утонет в море. Случай же распорядился так, что двое мужчин в один и тот же час — в восемь вечера, — мучимые жаждой и голодом, направились в одно и то же место, в обшарпанное здание на окраине Гаваны.

Кэмел и Пичи почти одновременно оказываются на пустынной темной улочке. Кэмел идет впереди, не замечая другого. Пичи украдкой, осторожно следует за ним.

Пичи, кроме того, что он давно зол на Кэмела и обещал Малу с ним посчитаться, всего несколько часов назад получил наказ дона Сантоса, главного наркодельца, проучить должника за обман, ибо сегодня утром дону Сантосу стало известно о намерении Кэмела купить лодку и удрать, не уплатив долга.

И вот Пичи, обожающий североамериканские фильмы про мафию с Вито и Майклом Корлеоне, на которых старается походить, перебегает улицу и в два прыжка оказывается за спиной Кэмела.

И вот Пичи выхватывает из-за пояса длинный и острый клинок и лихо его всаживает, как положено в таких случаях, в спину врага.

И вот Пичи, верный поклонник "Крестного отца-2", приговаривая: "Привет от дона Сантоса", уже смотрит на бездыханного Кэмела, лежащего у его ног.

Но Пичи, у которого на роду так написано, не замечает верзилу Батона, который как раз в эту минуту выходит из дома и, увидев труп сво-

его друга, обрушивает на голову Пичи обрезок железной трубы: раз, другой... И в лужах крови лежат уже два трупа.

Мы возвращались в Гавану ночью в полном молчании. Франсис дремал, захмелев от пива, а я, приуныв, погрузился в размышления.

"Странная штука жизнь", — думалось мне. Странная и подлая. Такая же подлая, как я сам. Любил Монику, страдал от разлуки с ней, искал ее в отчаянии, проделал путь в полтораста километров до Варадеро в допотопном, медлительном, как старый верблюд, автомобиле, встретил ее роскошную мать, шлюху-мать, и что же? Улегся с ней, позабыв и Монику, и свою любовь, и свои страдания.

"Ну и мерзавец, — говорил я себе. — Свинья, не сумевшая справиться со своей похотью". Не вспомнил о Монике в ту минуту, когда она, возможно, страдала и нуждалась во мне.

Похрапывание Франсиса мешало мне сосредоточиться. Мы были единственными пассажирами в разбитом государственном грузовичке, который вез в Гавану мешки с картошкой. Шофер согласился за двадцать долларов довезти нас до города. На каждой рытвине, на каждом пригорке машина вздрагивала, едва не разваливаясь на части, ревела и шумно пыхтела. При этом храп Франсиса не утихал, а удивительным образом становился еще громче.

Счастливый малый Франсис. Никогда не забуду, как он спал в том грузовике, положив голову на один мешок с картошкой, ноги — на другой, и ничто его не волновало, ничто не тревожило — ни дорожная тряска, ни мои переживания. Меня тянуло поговорить с ним о происшедшем, узнать его мнение, выслушать совет, но он лежал как огромный мешок картошки, и приходилось ехать молча, терзаясь угрызениями совести.

Страшно хотелось выпороть себя. Хотя эпизод с Йоландой сам по себе ничего не значил. Я мог таким же образом развлечься с любой другой женщиной на пляже, и мир от того не рухнул бы.

Да, но все же я сыграл в любовь с ее матерью, с ее шлюхой-матерью.

Взглянул в окошко нашего крытого грузовика. Ночь была ясной и чистой. Впереди маленькими свечами мерцали огоньки Матансаса. В таком вселенском спокойствии даже храпящий Франсис вдруг притих. Мне вспомнились Оливейра и Мага. Были ли они верны друг другу? Кортасар о том ничего нам не сообщает. Думаю, были верны, хотя, если бы у Оливейры имелось кое-что получше пары стоптанных башмаков и потрепанной куртки, едва ли бы ему удалось сохранить свою верность.

Верность, любовь, прощение, вина — это всего лишь абсурдные слова в такой абсурдной жизни, как моя; слова, годные, вероятно, только для романа, который мне всегда хотелось написать, но не для этой повседневной, реальной жизни, какую мне уготовило провидение; не для этого жалкого существования, какое приходится влачить ежедневно и ежечасно.

Притомившись, я закрыл глаза. Когда вновь их открыл, грузовик тарахтел, нет, не по Pont des Arts[1] в Париже, а по мосту через тропическую речку Харуко.

1. Мост искусств (*франц.*).

– Мне надо отлить, – сказал шофер и остановил машину в конце моста.

– Что случилось? Где мы? – спросил, очнувшись, Франсис.

Он не просыпался с самого Варадеро. Его изначальное легкое похрапывание сменилось беспокойным храпом, видимо сопровождавшим кошмарные сновидения, которые затем, судя по уютному посапыванию, уступили место приятным снам.

– Шофер пошел помочиться, – сказал я, вылез из машины и сам помочился у парапета, не обращая внимания на одинокие машины, проезжавшие по одинокому мосту. Мои струи падали вниз, смешиваясь с водами речки, а где-то подальше они растворятся в море. Франсис последовал моему примеру.

– Знаешь, что я делаю? – спросил он.

– Отливаешь.

– Нет. Доливаю. Поднимаю уровень моря.

Я промолчал.

– Если бы все жители нашего Острова, – продолжал он, – одновременно помочились на всем побережье, то море залило бы кое-какие города. Конечно, лучше было бы всем жахнуть единой мощной струей, чтобы нам сорваться с якоря, который увяз в том самом месте, где мы сейчас сидим...

Франсис, сделав свое дело, вернулся на грузовик. Я за ним не пошел и несколько минут стоял, облокотившись о парапет, глядя вниз, на тихие воды реки, которая вроде бы и не течет. Потом сделал несколько шагов к концу моста и прислонился к каменной стенке. Мне страшно захотелось влезть на эту стенку и смотреть на звезды, которые пульсировали, как миллионы сердец. А если еще больше задрать голову или лечь наземь, какими бы они мне виделись?

Нет. Даже если бы я лег на землю, небо продолжало бы мне все так же подмигивать. От смены вертикального положения на горизонтальное ничего не меняется.

"А что, если перегнуться вниз, к реке?" – задался я вопросом.

Надо было всего лишь перебраться через эту каменную стенку, и можно упасть в пустоту, как падают парашютисты, только за плечами не будет спасительного парашюта.

В своем свободном падении – нет, не в эту реку, а в море – я, наверное, услышал бы крики Франсиса, а потом – уже ничего.

Я легко перелез через стенку и сел на нее, свесив ноги над речкой и немного откинувшись назад. Может быть, и Моника сидела вот так же на мосту, красивая, любимая, и смотрела на звезды, ища среди них более уютное местечко, чем эта злобная планета. Но такого места она не нашла и никогда не найдет.

– Эй, говнюк, что ты там делаешь? Давай, слезай оттуда, пора ехать! – Вопль Франсиса ткнулся мне в спину и заставил окаменеть.

Я медленно оглянулся и сполз с парапета. Не спеша подошел к грузовику. Мотор уже стучал, а из включенного радио неслась вкрадчивый голос: "Смугляночка ты моя, уложи да прикончи меня".

Я влез в грузовик.

– Ну, чего надумал? – сказал Франсис.

– Не знаю.

– Наверное, пора заявить в полицию... – Слова Франсиса заглушались радиоголосом, их трудно было разобрать.

"Нет, еще повременю", — решил я про себя, вспомнив, что сказала Йоланда на прощание: "С моей дочкой ничего плохого не случилось. Наверное, отправилась к своей бабушке. Она иногда там отсиживается, когда надо укрыться от кого-нибудь или переждать что-нибудь. Это в Ла-Виборе", — и дала мне бумажку с адресом. Моника почти ничего не рассказывала о бабушке, но много ли она вообще мне рассказывала?

— До того как заявлять в полицию, попытаю счастья в последний раз, наведаюсь еще в одно местечко, — сказал я.

Моника открывает дверь. Перед ней стоит Малу, бледная, дрожащая.

— Наконец-то явилась! Где тебя носит? — воскликнула Моника.

— Надо поговорить, срочно...

— Да что произошло? — Волнение подруги передается Монике.

— Плохо наше дело.

— О чем ты?

— Очень плохо... — И Малу начинает плакать навзрыд.

Всему есть предел. До каких же пор мне искать Монику? Не могут же поиски продолжаться вечно. Если она хотела меня бросить или от кого-нибудь спрятаться, не предупредив, пусть это будет на ее совести. Я слишком долго гонялся за ней. Забросил свою работу по обмену жилья, свои собственные дела. Хватит бесполезной беготни. Подумаешь — цаца! В городе полно красивых женщин, и найдется кому меня утешить.

Да, мне случалось так думать. Хотя подобные мысли были несправедливы и нелепы. Я называл себя отъявленным эгоистом. И при этом глубоко вздыхал. Легкие наполнялись кислородом, и в темных мыслях появлялся просвет. "Нет никаких доказательств, что Моника меня оставила, — говорил я себе и снова повторял то, о чем постоянно думал: — Возможно, ей грозит серьезная опасность, ей плохо, но она не имеет возможности связаться со мной".

Я включал радио, и оркестр Рэя Конифф возвращал мне душевное равновесие. Эх, если можно было бы начать жизнь снова, с самого начала. Женился бы я не на Бэби, а на Монике, и близняшки были бы ее дочерьми, и мы никогда не приняли бы у себя дома никакого Мальдонадо. А потом я усмехался. Какая чушь. Никак не могли мы с Моникой пожениться двадцать лет назад. Она была маленькой девчушкой, а я заканчивал школу. Эх, как часто что-то несбыточное представляется самым важным в жизни.

В концертном зале великий Рэй взмахивал палочкой, и мелодия "Only you" затихала на все медленнее вращавшемся диске в радиостудии, откуда она долетала до моей клетушки.

Я видел себя рядом с Моникой, и теперь мы вместе слушали по радио Кинга с его "Forget my lips"... И вот мы уже танцуем с ней, щека к щеке, слившись телами, дыханием и биением сердец, а кудесник Нэт нашептывает нам, для нас: "forget my lips, forget my heart, forget my fully heart"[1]. Но внезапно наваждение рассеивалось, сменяясь голосом диктор ши: "Радио 'Народная энциклопедия' завершило свою получасовую

1. "Только ты"... "Забудь мои губы, забудь мое сердце, сердце, полное тобой" (*англ. искаж.*).

передачу 'Популя́рные мелодии'". Понятное дело, Моники рядом со мною не было.

На этот раз я быстро оделся и вышел из дому. "Совсем раскис. Да, пора разыскать в Ла-Виборе ее бабушку", — твердил я, запирая за собой дверь.

Путь предстоял неблизкий.

Многие иностранцы полагают, что узнали город, побродив по Старой Гаване, пожив в Мирамаре или погуляв по Эль-Ведадо. Они глубоко заблуждаются. Кто не знает Ла-Виборы, тот не знает Гаваны.

Туристы-лоботрясы в шлепанцах на босу ногу, в шортах, в бойскаутских шапочках с козырьком, разгуливающие по центру города, и не подозревают, к счастью, о существовании этого района со странным названием Ла-Вибора, то есть Гадюка. Откуда оно взялось, если на Кубе нет ни гадюк, ни других ядовитых змей? Названия других районов ясны и понятны: Ведадо в эпоху колонии было "запрещенным местом", Мирамар — "морской вид", Плайя — "пляж, берег", Альмендарес — фамилия, Серро — "холм", Лоутон — еще одна фамилия, Гуанабакоа — индейское слово. А вот почему Ла-Вибора? Непонятно. Но именно там я вырос и обзавелся первыми друзьями.

Пешком идти туда — далековато, на нынешних автобусах можно добраться, лишь прождав часа два этого битком набитого "гуагуа"[1]. Потому-то я не бывал в Ла-Виборе с тех пор, как поселился на своем чердаке, предпочитая ночные прогулки по Малекону. Старался не заводить там и дел, связанных с обменом жилья.

"Ты — лентяй, — упрекал меня Франсис. — Если бы у меня наклевывалось выгодное дельце, я отправился бы на край света, даже в Ла-Вибору".

"А эта твоя колыбель, где она находится? Под Матансасом?" — подтрунивала надо мной Моника, когда я с жаром расписывал ей прелести своей родной местности.

"Уж не во славу ли ее написано это сладкое танго 'Мой милый отчий край'?" — язвила она.

В Ла-Виборе я оказался ранним туманным утром и шел по улице, названной в честь какого-то святого, разыскивая дом под номером 666, номером, который не мог не заинтересовать Монику, любительницу каббалистики и эзотерики. Впрочем, она хорошо знала этот адрес, ибо там жила ее бабушка.

Едва я вышел из автобуса, как бурдюки туч, уже успевшие затянуть небо, были вспороты молниями, и на крыши, дома, улицы и на мою бедную голову хлынул бешеный ливень.

Спасаясь от нещадной головомойки, я забрался под крышу старого сарая, ставшего свалкой для мусора и убежищем для крыс и прочих мелких тварей, где по стенам крупными слезами катилась дождевая вода. Я забился в угол у самого входа, но водяные вихри, плясавшие на улице, стегали по ногам. "Когда только эта свистопляска кончится?" — думал я. Но этого никто не знал, и приходилось покорно ждать, пока тучи себя не исчерпают.

1. Название автобуса на Кубе.

Между тем вода затопила улицу, стала захлестывать тротуары и грозила ворваться в сарай. В один прекрасный день водяные потоки накроют улицы, дома и весь город, и Гавана превратится в тропическую Венецию. И все мы будем передвигаться, вернее, плавать в лодках по городу, превратившемуся в большое озеро, в огромный залив — Гаванский залив.

Тут я постарался обуздать свое ретивое воображение. Возможно, воды затопят лишь первые этажи домов, а погибнет какой-то десяток человек, только и всего. Но в число жертв непременно попаду и я. Так всегда было и будет: самые нежданные и неприятные происшествия не обходятся без моего участия.

Спустя полчаса вода, подступившая к порогу и угрожавшая вторжением, обессилела и успокоилась. Скоро она уйдет в море по земле, по всяким стокам, а также другими, только ей известными путями.

Эх, смыться бы вместе с водой, окунуться в море, утопить бы все свои тревоги со всеми печалями.

Когда я вышел из-под навеса, улица представляла собой болото, покрытое сорванными ветками и мусором, вперемешку со всякой дрянью, принесенной водой. На каждом шагу — бесчисленные лужи, через которые надо было перескакивать. Однако, как я ни старался, мои изрядно поношенные башмаки нахлебались жидкой грязи и пропитались водой, проникавшей внутрь через дырявые подошвы.

"Я тебе говорила, сто раз говорила, — ворчала Моника, — давно пора купить новую обувь". — "Помолчи", — огрызался я, а она, обидевшись, уходила. Позже я раскаивался в своей грубости. Не надо было кричать на нее ни в тот день, ни вообще. Что, если она ушла, не стерпев моих резких реплик и окриков, моего дурного взрывчатого нрава, когда приливы нежности уступают место озлобленности? Три наши последние встречи закончились перепалками, в которых, надо признаться, я один был виноват.

Пройдя по улице квартала три, я увидел дом под номером 666. У самого жилища бабушки мне почудилось, что вот откроется дверь и мне навстречу сверкнет улыбкой Моника. "Это ты!" — воскликнет она в радостном удивлении, и все мои опасения вмиг развеются.

В два прыжка я пересек палисадник, где вместо розовых кустов, как ныне модно, торчали низкие платаны.

— Кто там? — В зарешеченное окошко выглянула испуганная женщина.

— Я ищу Монику, — сходу ответил я, забыв, что это было ее выдуманное имя.

— Монику? Какую Монику? — В голосе женщины явно звучал страх, мол, чего надо этому проходимцу.

— Извините, хотел сказать Каридад. — Как я ни старался, но и у меня от волнения дрожал голос.

Женщина чуть приоткрыла окошко. Несмотря на решетку, она, казалось, побаивалась, что я смогу ее пристукнуть.

— Кто вы такой? Зачем она вам?

— Я ее друг. Йоланда сказала, что она, наверное, у вас.

Страх на лице сменился выражением некоторой успокоенности.

— Каридад здесь? — не сдавался я. — Можно повидать ее бабушку?

— Это я. — Женщина открыла окно и высунула лицо. К своему огромному удивлению, я увидел перед собой настоящую мулатку, смуглую, с темными курчавыми волосами, мулатку, которая вдруг оказалась бабушкой Моники, белой и светловолосой девушки, натуральной блондинки, сплошной блондинки — включая самые укромные места.

— Беба, кто там? Чего они хотят? — послышался скрипучий голос.

Из-за спины женщины показалась согбенная старуха с абсолютно белыми волосами и абсолютно черной кожей. Она тоже казалась изрядно перепуганной.

— Никто, мама, никто. Один сеньор ищет Кари. Иди ложись.

— Скажи, что ее тут нет. Пусть уходит, ее тут нет.

— Мама...

"Мама" — иными словами, бабушка Моники, вернее, прабабушка Моники... негритянка. Это выглядело каким-то недоразумением. Надо было развеять всякие сомнения.

— Я ищу Каридад Родригес Эстраду Пальму, — твердо проговорил я. — Здесь живет ее семья?

— Вам сказано — да, здесь. — Бабушка начинала раздражаться. Из-за ее спины на меня молча глядела древняя старуха.

Значит, Моника — внучка мулатки и правнучка негритянки. В таком случае ее отец должен быть очень светлым мулатом. Она никогда мне не рассказывала о своей родословной, а я не мог и предположить, что у нее такие предки.

Хотя зачем она должна была мне обо всем докладывать? Мол, знаешь, а я из чернокожих.

Впрочем, все это не имело никакого значения.

— Мне надо видеть Каридад. Она мне очень нужна, — сказал я.

— Ее тут нет. — Ответ был категоричен.

— Можно мне войти, поговорить с вами? — почти молил я.

Бабушка, секунду поколебавшись, пошла к двери и стала возиться с запорами и задвижками. В жизни не видел дверей с таким количеством замков — старинных и самых новых, видимо присланных сыном из-за границы. Уже в комнате между делом я насчитал десять запорных конструкций. До сих пор не понимаю, как она меня впустила в дом. Наверное, мой интеллигентный вид внушил ей доверие.

— Говорите, — сказала бабушка, все еще посматривая на меня с некоторым подозрением.

Она молчала, но ее лицо постепенно мрачнело. Прабабушка, сидевшая напротив, беспокойно шевелила пальцами и время от времени вздрагивала.

— Уже несколько недель, — проговорила бабушка, — как Кари сюда не приезжала.

Вообще-то, внучка их навещала примерно раз в два месяца, в дом приходил праздник, потому что она всегда являлась веселая, радостная и привозила кучу подарков, продукты, лекарства, деньги.

Тут бабушка умолкла и совсем погрустнела.

— Вы говорите, что Кари исчезла?

Я кивнул. Мне было жаль огорчать старую сеньору дурным известием. Лучше бы вообще туда не приходить.

— Что случилось с Кари? Что с ней? — прабабушка задрожала сильнее, и все ее тело стало мелко подрагивать, как у нервнобольной. — Где Кари? Что с ней? Кто этот человек? Зови полицию!

Бабушка подошла к ней, обняла за плечи и увела в другую комнату.

— Мама, с Кари все в порядке, — увещевала она старуху. — Сеньор говорит, что Кари скоро приедет к нам.

Вернувшись, бабушка подошла ко мне. В молодости она, видно, была красивой женщиной.

— Когда она слышит плохие новости, то совсем теряет рассудок. Склероз, — сказала она. — Но где же найти Кари?

Мне нечего было ответить.

— Хотелось надеяться, что вы мне об этом сообщите, — растерянно сказал я, глядя в зарешеченное окно. На улице о чем-то жарко спорили парни, до нас долетали их крики и ругань.

Бабушка села в кресло, опустив голову и поджав губы. Олицетворение печали.

— Не знаю, что и делать, — сказала она. — Мне бы надо пойти поискать ее, но я не могу оставить больную мать.

— Не волнуйтесь. Придет. Наверное, гостит у какой-нибудь подруги, — попытался я ее утешить. Бабушка, казалось, меня не слышала.

— А эта Йоланда, бандитка, развлекается в свое удовольствие и совсем не думает о дочери. Если бы мой сын был здесь, все было бы иначе.

Мне не хотелось передавать сеньоре слова Моники о своем отце, о том, каким никчемным родителем он был. Не стоило еще больше расстраивать бедную женщину.

Я пообещал сообщить ей все, что узнаю нового, и распрощался. Уходя, слышал вопли прабабушки: "Где моя Кари? Зови полицию!"

На улице парни от перебранки перешли к драке и били друг друга камнями и палками. Один уже валялся на земле, второй продолжал его дубасить, третий вытирал окровавленную физиономию.

Я было хотел вмешаться, утихомирить хулиганов, но удержался. Какое мне до них дело, пусть сами разбираются. Меньше будет в городе шпаны. Может, именно один из таких что-то сделал с Моникой, покалечил ее, не дай бог.

Уворачиваясь от свистящих надо мною камней, я быстро шел прочь, вконец расстроившись, уже не надеясь найти Монику. Мне тогда и не думалось, что я вскоре снова увижу ее, но эта желанная встреча не доставит мне радости, а ураганом ввергнет в отчаяние и полную безнадежность.

Немало времени и труда отнял у меня обратный путь из Ла-Виборы в Ведадо, но в два часа пополудни я уже был на своем чердаке.

Принял душ, что-то проглотил и растянулся на кровати передохнуть с полчаса, чтобы потом снова начать хождение по обменным квартирам.

Но в тот вечер я не вышел из дому. Сраженный волнениями и усталостью, уснул и спал как убитый, а когда открыл глаза, было уже поздно, опускались сумерки. Хотел позвонить по телефону, но аппарат не работал. За окном по крышам хлестал дождь.

Когда я раскуривал сигарету, огонек спички сверкнул в полумраке падающей звездой. Такова вот и моя жизнь — секундная вспышка звезды, искра, зажегшая сигарету, которая тоже скоро погаснет.

Долгое время я лежал, покуривая и размышляя, слушая шуршание ливня, который вдруг затих. И тогда наступили тишина и покой, и лишь едва слышалось "тик-так" моих старых настенных часов.

Удары во входную дверь, удары сильные, непрерывные, настойчивые, заставили меня вскочить с кровати. Я зажег свет и увидел, что до полуночи остается всего несколько минут. Стараясь приглушить тревогу, пошел открывать.

Моника с беспокойством смотрит на подругу. Малу опустилась на софу, на ее лице беспредельное отчаяние.

— Этого не может быть. Это ошибка. Тебя спутали с кем-то другим, — говорит Моника.

Малу вздыхает.

— Ошибки нет, — говорит она, судорожно глотая слюну, — анализ делали два раза, результат один и тот же. Потом они вышли посовещаться, а я оттуда сбежала. Ошибки нет. — Малу снова начинает безутешно рыдать. — Я пропала, пропала.

Моника гладит ее по голове, обнимает, целует в щеку.

— Это еще не все, — стонет Малу, и ее голова склоняется ниже.

— Не все?!

— Варгас, тот мексиканец, который был с тобой... — бормочет Малу, продолжая всхлипывать.

— Ну и что?

— Не знаю, говорила ли тебе, но я тоже с ним спала... — Каждое слово дается Малу с трудом.

— Ну и?..

— Он инфицирован. Вчера мне звонила из Мехико приятельница и сказала...

— Это значит... — Моника обрывает себя на полуслове.

Малу поднимается с софы.

— Значит, что у тебя тоже может быть СПИД.

Моника едва не вскрикивает, но сдерживается и бросается в объятия Малу. Крепко обнявшись, они стоят и плачут.

Кого черт несет ко мне поздней ночью, да еще под проливным дождем? Разве что кто-то хочет сообщить мне о Монике, может быть даже полиция. Нет, полиции ничего не известно о наших отношениях, и ей не с чего меня искать. Скорее всего это Малу или Франсис. У меня вдруг возникло дурное предчувствие.

Пока я вставал с постели и шел к двери, опасения росли. Что, если вообще не открывать? Пусть думают, что дома никого нет. Ведь полиция может ломиться ко мне не только из-за Моники, а пришла по мою душу, скажем, в поисках контрабандного рома. Мигеля, наверное, уже арестовали, а он заложил своих партнеров. Сюда непременно должна была бы явиться эта говорливая сеньора Флорес со своим псом, но пес уже давно бы залаял, а никакого шума не слышно. Может быть, стало известно, что я покупал краденое масло у администратора супермаркета? На кухне у меня еще стоит несколько бутылок с этикетками. Какое идиотское упущение.

Я остановился на лестнице и прислушался. Вокруг — тишина. Жуткая, тревожная тишина. Слышат ли эту "мою" тишину там, снаружи?

Возможно, даже и не ко мне стучат, а в соседнюю квартиру? Или вообще шум доносится с улицы? Нет. Снова повторились настойчивые, угрожающие, властные удары в мою дверь.

Что за нетерпение у позднего гостя? Я медленно приближался к двери, втайне надеясь услышать удаляющиеся шаги. Отчего мне так страшно?

Не знаю. Я никогда не испытывал подобного страха.

Я отодвинул задвижку, поднял крюк и снял большой висячий замок. Медленно, очень медленно приоткрыл дверь.

Это оказалась не полиция в поисках краденого рома или масла, не сеньора Флорес со своим псом, не пьяный Франсис, не Малу... Это была Моника.

Одним рывком я распахнул дверь.

Там была она, насквозь промокшая от дождя... Красивее всех на свете. Там были ее зеленые глаза, ее светлые волосы, ее лебединая шея.

— Наконец-то явилась. Искал тебя по всему свету. Где ты пропадала? — брюзжал я вместо того, чтобы после долгой разлуки схватить ее в объятия. Она первая рванулась вперед и крепко меня обняла.

Она так сильно ко мне прижалась, будто хотела слиться со мной. Мы стояли, не говоря ни слова, единым изваянием. Но вот она отстранилась и молча на меня уставилась.

— Что случилось? — мягко спросил я ее уже в комнате.

Она не отвечала.

— Да что с тобой? Что случилось? — допытывался я, а она делала усилия, чтобы не разрыдаться, морща заплаканное лицо.

— Беда, случилась беда, — выдохнула она.

— Беда?! — воскликнул я. — Да какая беда может тебя так расстроить? В жизни нет безвыходных положений, — старался я ее успокоить. — Скажи, что произошло?

Она втянула голову в плечи, а потом медленно выпрямилась.

— У меня СПИД.

— СПИД? Что ты болтаешь?

— У меня СПИД, — едва шевельнулись ее губы. Неподвижный взгляд был устремлен куда-то поверх меня.

СПИД! СПИД! У Моники СПИД. Где и когда она заразилась? Идиотский вопрос. Так мне подумалось позже, в одиночестве, а тогда я совсем тихо спросил, будто разговаривая с призраком:

— Откуда ты знаешь?

Она смотрела на старые настенные часы, стрелки которых были готовы сомкнуться: без пяти минут полночь. Скоро выскочит кукушка из своего домика.

— Один иностранец, с которым у меня была связь, оказался болен. Я это узнала от Малу. Она тоже заразилась.

— Малу? — я опять ужаснулся.

— Мы обе заразились от одного, — сказала она.

Возможно ли такое? Могла ли заразиться моя женщина, моя невеста, моя любовь, мой лебедь? Почему? Почему, ответьте вы мне, почему так не везет человеку?

— Постой, иностранец-то, может быть, болен, но совсем не обязательно заболеть и тебе, — цеплялся я за соломинку.

Моника часто-часто заморгала.

— Я не заботилась о презервативах. Он их не терпел, а мне показал справку о том, что здоров, — грустно сказала она.

"Полное идиотство не предохраняться при сексе с иностранцем и верить всему, что написано в бумажонке, неизвестно где добытой", — подумал я.

Часы по всей стране пробили двенадцать, но моя пунктуальная кукушка не выскочила из домика. Дверца не открылась, потому что стрелки остановились на одиннадцати часах и пятидесяти девяти минутах. За минуту до того, как начаться новому дню.

— Почему ты не пришла? Почему не позвонила?

— Куда звонить? Твой дурацкий аппарат всегда сломан, да и самого тебя в Гаване не было. Я совсем голову потеряла, не знала, что делать, куда идти, — Моника говорила с трудом, заикаясь, — думала, что ты еще в Пинар-дель-Рио... не хотела показываться в Ведадо, не знаю, не знаю...

Усилием воли я старался держать себя в руках, но глубокого вздоха не сдержал. Взял полотенце и протянул ей. Она вытерла лицо, а я зажег сигарету и предложил ей тоже закурить.

Когда она щелкала зажигалкой, у нее дрожали руки. Села в кресло, из ее губ вырывалась тонкая струйка дыма, и в серых облачках тихий голос рассказывал о случившемся.

Малу сдала кровь для сестры, которой предстояла операция, и при анализе обнаружилась инфекция. Не желая этому верить, Малу убежала из клиники, но чуть позже узнала о заболевании иностранца. Она тут же примчалась к Монике и уговорила ее спрятаться в доме одной своей дальней родственницы.

— "Сиди здесь со мной и не высовывайся. Нас могут искать. К нему не ходи, могут выследить", — говорила мне Лу, — Моника снова всхлипнула. — Лу как с ума сошла, не ест, не пьет, хочет с собой покончить. Мне надо было побыть с ней, поддержать. Позавчера она уже влезла на кресло с петлей в руках. Хорошо, что я успела отнять веревку. Но больше я не могу с ней сидеть, я ушла оттуда...

— Ты совсем сдурела! Зачем было прятаться! Надо пойти сделать анализ и покончить со всякими страхами, — вскричал я. Услышанное меня потрясло.

Монику вдруг охватила ярость:

— Сделать анализ? Самой явиться в клинику? Ты что — дурак или ненормальный? Не знаешь, где мы живем? Или забыл? Если результат будет плохим, меня тут же запрут... — Моника, задохнувшись от волнения и слез, уткнулась в носовой платок. — Наверное, полиция уже ищет Лу, чтобы отправить ее в "Лос Кокос", ищут и всех ее друзей, которые тоже могли подхватить инфекцию. Тебе бы не очень понравилось сидеть в тюрьме, где тебя день и ночь сторожат, изучают...

— Почему "в тюрьме"? Ты имеешь в виду спидаторий "Лос Кокос", клинику для ВИЧ-инфицированных... Видишь ли, спидаторий совсем не тюрьма. На улицу оттуда, правда, не выпускают, но зато больных лечат специалисты, применяют новейшие препараты, обеспечивают усиленным питанием... — Хотя то, что я говорил, было чистейшей правдой, слова мои, казалось, выскальзывали из уст какого-нибудь чиновника Министерства здравоохранения.

Моника подошла ко мне. Она за время разлуки заметно осунулась и похудела. Горестно поджатые губы ее как-то старили. В голосе слышались боль и гнев.

— Если тебе там так нравится, ты можешь тоже туда отправиться. — Неожиданно жестокие слова резанули мне слух.

— Что? И я заразился? Исключено.

— А ты не помнишь, что раза два-три, когда был совсем пьян, ты не пользовался презервативом? — Гнев Моники снова уступил место полнейшему унынию.

Острый нож, просвистев в воздухе, вонзился мне в спину. Я не знал, что ответить. Картинки из прошлого всплыли перед глазами.

Да, верно, дважды или трижды, будучи во власти дикого желания, в исступлении, в алкогольном тумане, я не предохранялся. Я об этом забыл, но она помнила. А возможно, это было больше двух-трех раз. Да, я тоже мог заразиться. Меня уже, наверное, пожирал изнутри злой, непобедимый вирус. Нет и нет, такого просто не могло быть. Подобную неосмотрительность я допускал только в самом начале, достаточно давно. Хотя кто знает, может, и недавно. Не помню. Но каким же преступно халатным идиотом я оказался. Мне хотелось кричать, бить Монику, бежать сломя голову куда глаза глядят. Но я лишь молча сел на кровать. Моника опустилась рядом и, крепко обняв меня, снова заплакала.

— Я умру, — сказала она, глотая слезы. — Мы с тобой умрем. Сначала я, потом ты.

— Мы умрем? — повторил я, чувствуя, как мурашки забегали по спине.

— По моей вине. — Она еще сильнее прижалась ко мне. — Да простит меня Бог.

Я нежно поцеловал ее в лоб. Надо было забыть собственные страхи и найти слова утешения и ободрения. Нельзя было впадать в отчаяние. Ведь возможно, она и не заразилась.

— Дело совсем не в тебе. С нами всякое могло случиться. Мы могли разбиться в машине. Могли погибнуть в авиакатастрофе... — Я сам удивлялся своим речам. Нежно гладил ее по голове и вытирал ей слезы. Уткнувшись лицом мне в грудь, она казалась маленькой девочкой, какой в сущности и была. — И потом, до того момента, как наступит... — я не смог произнести слово "смерть", — трудная пора, пройдет очень много времени и, возможно, уже получат нужную вакцину или изобретут какое-нибудь лекарство.

— Если такое произойдет, — проговорила она, немного успокоившись, — клянусь, что на коленках доползу до часовни Пречистой Девы из Кобре.

— Мы вместе поползем, — подтвердил я с уверенностью.

— Но сначала мы поженимся. Поклянись, что не бросишь меня, даже если я превращусь в страшенную ведьму, морщинистую и беззубую. Поклянись.

— Клянусь, любимая. Мы поженимся завтра же утром, и у нас народится много детей, и мы будем жить долго и счастливо.

Не знаю, поверила ли Моника моей последней абсурдной фразе, но она перестала плакать и поцеловала меня.

В ту ночь мы были близки как никогда: рука в руке, бок о бок, ее голова на моей груди.

Заразилась ли Моника? Наверняка. Инфицирован ли я? Возможно.

Такие мысли одолевали меня на другой день после того, как Моника сообщила мне страшную новость. Было воскресенье, город обессилел от жары и духоты, в воздухе пахло близким дождем.

Мы рано позавтракали и сели покурить.

— Что будем делать? — наконец проговорила она, вроде бы утешившись или владея собой гораздо лучше меня.

Я тяжело вздохнул, стараясь привести в порядок тяжелые мысли, топтавшие ростки надежды, как стадо буйволов. Стадо диких буйволов, взявших меня в кольцо.

— Надо прояснить ситуацию, сдать анализы.

— А потом прямиком в спидаторий, — ее голос был грустен, очень грустен.

— Другого выхода нет. Откладывать нельзя. Завтра же пойдем.

— Ладно. Пойдем завтра. — В ее взгляде светилось отчаяние. Такое отчаяние во взоре, наверное, бывает у людей на плоту в открытом море.

Остаток дня в то горестное воскресенье, черное воскресенье, мы провели у меня — разговаривали, слушали музыку, стараясь не вспоминать о своей трагедии. К вечеру я что-то приготовил, и мы съели это "что-то" без особого аппетита. Моника сказала, что ей надо проведать Малу.

— Я пойду с тобой.

— Нет, пойду одна. Лу просто не в себе, и неизвестно, как она тебя встретит.

— Но тебя она никуда от себя не отпустит.

— Нет, я сегодня же вернусь. Обещаю. Но ночевать уйду к себе.

— Пожалуйста, побудь со мной. — Меня пугала мысль остаться в одиночестве.

— Мне нужно собрать кое-какие вещи и хочется ночью побыть одной. Надо кое-что продумать, — твердо сказала она. — Завтра утром зайдешь за мной, и пойдем сдавать кровь.

Видимо, она опасалась, что ее тут же запрут в спидаторий, и хотела взять с собой все необходимое, в том числе любимые книги.

— Хорошо, — сказал я. — Завтра в девять захожу за тобой.

Мы распрощались, крепко поцеловав друг друга, и я остался наедине со своими печалями и опасениями.

Я не был уверен, что инфицирован, но точно знал, что боюсь жутко, боюсь гораздо больше, чем накануне, боюсь не просто умереть, а умереть медленной смертью, тихо подступающей ближе и ближе, с болями и мучениями, неуклонно пожираемый страшным вирусом. Как при проказе. Я представлялся себе средневековым прокаженным, брошенным на произвол судьбы.

"Как могло такое со мной случиться? Почему это должно было случиться именно со мной?" — спрашивал я себя.

Я был честным, порядочным человеком, никогда не причинял никому зла, но тем не менее получал от судьбы удар за ударом. Почему жизнь моя сложилась так нелепо, так паршиво? За какие прошлые грехи приходилось расплачиваться? Ох, и велики же, наверное, были эти мои грехи.

Почему Бог, в которого я не верю, распоряжается таким образом, что негодяи, мошенники, идиоты не страдают, не мучаются, живут при-

певаючи и преспокойно испускают дух в собственных постелях, а мне приходится умирать так гадко?

Стоит ли при такой перспективе сокрушаться о всех своих прежних драмах и бедах, о том, что Бэби меня бросила и я потерял дочерей, о том, что какой-то подлец меня оклеветал, а другие подлецы выбили из седла и втоптали в грязь?

Перед глазами промелькнули лица моих дочерей. Красивые, веселые девочки, которых мне больше никогда не увидеть.

Взгляд упал на бутылку рома. Приложился к ней раз-другой, но ром не поднимал настроения. Я был словно пригвожден к месту, и передо мной крутилось, наезжало на меня колесо воспоминаний, которые воплощались в образы, слова, эмоции.

Вот я — честолюбивый мальчишка, всегда норовящий быть лучше других, что мне порой и удавалось. Был первым в классе, удачливым в спорте, всеми хвалимым. Хотел стать пилотом, врачом, астрономом, капитаном дальнего плавания. В юности принял участие в мятеже против диктатуры, и это смешало мои детские планы. Я стал подпольщиком, опасным для властей революционером и каждое утро, просыпаясь, не знал, доживу ли до вечера. Но не страшно сражаться и умереть за дело, которое представляется тебе самым справедливым. За поясом у меня было оружие, чтобы лишать жизни других людей или покончить с собой и не сдаться живым. Последнее оказалось невыполнимым, ибо, как всегда, мне не повезло: меня застигли врасплох, захватили спящим.

Я содрогнулся, когда воспоминание о сорокадневных пытках хлестнуло меня, как тот кнут, которым полосовали мою кровоточащую спину в полиции.

"Нет, нет!" — охнул я, отгоняя страшные видения. И снова потянулся к бутылке рома.

Я видел себя амбициозным, строящим планы и полным иллюзий парнем, но все мечты вдруг лопнули, как детский воздушный шарик, потому что такие шарики имеют обыкновение лопаться, когда их слишком сильно раздувают или когда в них швырнут острый камень. Кто погубил мой шарик? Я сам? Или кто-то сторожащий в темноте, подобно судьбе, что таится во мраке? А возможно, шарику в момент его изготовления, еще до того, как ему попасть в руки ребенка, было уготовлено лопнуть в определенный день и час, но ребенок этого не знал и поэтому льет слезы от горя.

Воздушный шарик моей юности лопнул, но жизнь не закончилась. Мало-помалу, порой из последних сил я надувал другой шарик, рождались новые планы. Я всегда был изрядным циником, но в то же время оставался и остаюсь мечтателем. Каждый человек имеет право на мечты, на иллюзии. Я выжил и живу, хотя кое-кто думает иначе. Мне хотелось любить и быть любимым. Возможно, мой маленький план, моя скромная и зыбкая мечта состояли в том, чтобы где-нибудь начать с Моникой новую жизнь. Наверное, я никогда об этом не говорил, наверное, и она об этом не знала, ибо я давно понял одно: чтобы уберечь свой шарик от порывов ветра и острых камней, надо его замаскировать, сделать невидимым.

И вот моя мечта, мой план, мой шар вдруг снова лопается, разлетается на тысячи кусков от удара неведомой силы или камня, пущенного кем-то, а может быть просто судьбой или Богом.

Я, конечно, не святой. Как и все, во многом я сам виноват; одни мои проступки можно извинить, другие — нет. Как и все, я, бывало, лез вверх, перешагивал через других; какое-то время чурался Франсиса, а позже изменил Монике с ее матерью, потом... потом...

"Хватит, довольно", — заорал я или подумал, что ору, и почувствовал, что у меня перехватило дыхание. Сделал глубокий вдох и постарался утихомирить будоражившие, душившие меня мысли.

"Совсем не факт, что я заразился", — сказал я себе. Сколько же раз мне доводилось забывать про презервативы при свидании с Моникой? Как ни пытался вспомнить, не мог. С какого же времени она инфицирована? И этого я не знал. Ничего не знал. Знал одно: моя дрянная, сволочная, похабная жизнь подходит к концу. Не могло быть, чтобы такому невезучему человеку, как я, выпало счастье не заразиться от зараженной женщины. И мне совсем не верилось в то, что в ближайшем будущем создадут вакцину или какой-нибудь препарат против СПИДа. Этот недуг, название которого пишется большими буквами, неизлечим. И если я плел Монике небылицы, то исключительно для того, чтобы ее утешить и немного успокоить. Эта болезнь ниспослана притаившимся в засаде Богом, дабы заставить человека страдать, жестоко его бичевать и лишать воздушного шарика счастья. Равно как косила людей проказа в Средние века. Ничего нельзя было с ней поделать. Оставалось только ждать смерти. Неторопливой и ужасной. Возможно, лет через двести-триста Богу надоест, как в случае с проказой, ВИЧевать человека, и тот придумает средство спасения.

"Пошли мы оба, и Бог и я, куда подальше..." — сказал я, схватил бутылку, выплеснул в себя остаток рома и швырнул пустую посудину через открытое окно на улицу. Возможно, бутылка ранила или пришибла кого-нибудь, кто проходил под моим окном. Черт с ним, теперь я стал его судьбой, самим Господом Богом, будь этот Бог неладен; я стал той неведомой силой, что швырнула камень, разорвавший его шарик в клочья. Голова моя упала на стол, я захлебнулся рыданиями и рыдал так отчаянно, как, наверное, бывало только в детстве.

В тот вечер я был абсолютно пьян, но до того, как рухнул без сознания на пол, поклялся, что покончу с собой, если узнаю, что болен. Далеко, далеко за окном молния вонзилась в море, и спустя секунду прогремел гром.

Три часа пополудни, за окном свинцовое небо, мелкий дождик, и кажется, наступила зима, но это не зима, а летний день под небом, укутанным тучами. На Меркадо большинство торговцев не стремятся выложить свой товар, опасаясь дождя, а те, что выложили, накрывают его клеенкой. Книжник Ремберто связал свои книги и собирается уходить, ибо погода едва ли скоро изменится к лучшему — похоже, дождик зарядил надолго, а там, глядишь, и ливень обрушится. В последнее время ему удавалось продавать всего лишь по две-три книги в день, да и то дешевых, что позволяет, как он выражается, "заработать на хлеб, чтобы не сдохнуть с голоду". Щенков сегодня в продаже тоже не будет, под дождем они могут заболеть. Невеста Маркоса, продавца собачек, уехала за границу, и собачий промысел лег на плечи его матери, став, как видно, традиционным семейным занятием.

Накрывшись куском клеенки, дантист-резчик корабликов с грустью глядит на свои сувенирные поделки, из которых за последний месяц было продано всего три штуки, и вспоминает Чину, свою партнершу по бизнесу и личной жизни, которая к этому времени уже бросила канадца, вытащившего ее с Кубы, и перебралась в Лас-Вегас. "Если и дальше у меня так пойдет, — размышляет дантист, — придется снова класть зубы на полку". На углу, там, где редкие покупатели входят на базар, стоит светловолосый, очень прилично одетый парень, одаряющий всех улыбкой. Он продает марихуану вместо мулата Пепе и негра Пакета, которых арестовала полиция. Возможно, что все трое, не зная друг друга, работают на сына дона Сантоса, умершего в тюрьме (то ли от инфаркта, то ли от ножа) после того, как его задержали во время полицейской облавы на наркодельцов. Является ли этот светловолосый юнец человеком семьи Сантос, трудно определить, но можно с уверенностью сказать, что ему грозит опасность, ибо в последнее время полиция заметно активизировалась. Возможно, парень еще не осознал степени риска, но, как говорится, жизнь и так не безопасна и, если хочешь иметь большие деньги, какие, скажем, приносит марихуана, надо рисковать головой.

В доме Моники не слышно лая собак сеньоры Крус. От жары, задрав лапы, они спасаются на сквозняке. Одна из них, "сарделька", лежит на мягкой постели, приготовленной сеньорой Крус, и ждет своего конца. Ветеринар сказал, что шансы на спасение невелики, и оставил несколько ампул пенициллина для введения песику через каждые восемь часов. Сеньора Крус тихо плачет и гладит по головке Помпи — так зовут "сардельку".

Гадалка Маруха мучается дурным предчувствием, точно таким, как тогда, когда умер ее супруг Сервандо, и собирается раскинуть карты на саму себя, дабы узнать и свою собственную судьбу.

Полоумная Кета, подлеченная в психушке, выходит на балкон. Дождик перестал накрапывать, и она молча, без стонов и воплей, смотрит на небо, но там мало что можно увидеть, кроме серых туч, неподвижных, как спящие чудища.

Моника только что вернулась от Малу, которая близка к помешательству. Да и кто не тронется умом, если узнает, что болен СПИДом. Малу не переставая пьет и курит, швыряет все, что попадет под руку, и кричит, грозится выскочить на улицу и перезаразить всех иностранцев подряд. Потому что, "если бы их тут не было, я бы не заболела. Эти гады меня заразили и должны сами сдохнуть, паразиты..." — повторяет она, плача и беснуясь. Однако ничего такого она не сделает и скоро будет помещена в спидаторий, где за ней будут ухаживать и лечить. Моника сама даст ее адрес, и за ней приедут. Они обе о чем-то жарко спорят, плачут и перед уходом Моники долго обнимаются.

И вот Моника сидит в кресле и пристально смотрит на репродукцию картины Вильфредо Лама "Стул". Как известно, стул там стоит один-одинешенек посреди бурьяна. Моника глядит на картину, и может показаться, что она углубилась в созерцание, но это не так. В ее голове кружатся, смешиваются разные образы и мысли. Вспоминаются эпизоды из детства и юности, жених Алекс, погибший в море, день знакомства с Малу и их первые студенческие годы, отец и мать Йоланда. "Надо ей позвонить и обо всем рассказать", — решает она, но с места не двигается. Воспоминания о прошлом сменяются видением погребального

шествия: медленно-премедленно движется катафалк в сопровождении двух автомашин. Содрогнувшись, Моника вскакивает и подходит к столу. Берет тетрадь в красном переплете и пишет:

"У меня СПИД? Наверное, так оно и есть. Доигралась. Теперь умру. – Моника останавливается, слезы мешают писать. Она с трудом берет себя в руки, отирает слезы костяшками пальцев, сжатых в кулак, вздыхает и возвращается к дневнику: – Умру. Но это неправильно. Мне слишком мало лет, чтобы умирать. Я еще ничего не повидала в жизни, очень мало чего испытала. А теперь, когда появилась надежда, что все изменится, случилось такое. Это несправедливо, Господи... – Она снова всхлипывает, но продолжает писать: – Как раз теперь, когда я встретила человека и полюбила, теперь, когда собралась в Канаду...

Может быть, я вела себя недостойно, может, сама устроила себе хорошую жизнь, но не ради гулянок; может быть, была плохой дочерью. Завтра же поговорю с мамой, попрошу прощения и постараюсь с ней помириться. Схожу к Пресвятой Деве из Кобре. Попрошу ее спасти меня и помиловать, и его тоже, и помочь Малу. Пресвятая Дева меня защитит, я знаю, она меня не бросит, не позволит заболеть СПИДом, а если он у меня уже есть за какие-то прегрешения, то даст мне пожить еще несколько лет без мучений, пока не появится вакцина или другое целебное средство.

Если ты меня спасешь, Пречистая Дева из Кобре, обещаю, что на коленках проползу до тебя. Не бросай меня, так нельзя".

Ручка выпадает из рук Моники, и она, плача, преклоняет колени перед образом Пречистой Девы и бормочет молитву.

За окнами уже совсем темно, молния раскалывает тучи, и начинается дождь. Дождь превращается в бешеный ливень, словно вода решила снести все, что встречает на своем пути. С моря налетает ураганный ветер, гнущий деревья и разгоняющий редких прохожих. И тут случается "отключка", то есть вырубают электричество, и полгорода погружается во тьму. Кета не уходит с балкона, несмотря на бурю, и вдруг начинает вопить: "Тут они, тут они, тут они, и Волдемор, и все остальные!" Зря кричит Кета, потому что танцевальная процессия выходит с базара только при полной луне, а теперь стоит темная ночь. Но Кета, бедная безумица, не может знать, зря или не зря, и с криками и громким хохотом бежит вниз по лестнице, пританцовывая, и теряется где-то во мраке улицы.

В доме скончался Помпи, песик-"сарделька" доброй сеньоры Крус. Она тихо всхлипывает, а собаки поднимают лай – наверное, требуют кормежки, ибо из-за хлопот, связанных с болезнью Помпи, они не ели со вчерашнего дня, а может быть, прощаются с товарищем... В своей квартире Маруха с ужасом смотрит на вынутую из колоды карту, на даму пик, которая в свою очередь пристально глядит на нее из картонного оклада.

Моника уже не плачет и горячо молится за себя, за него, за Малу.

Рано утром я зашел за Моникой. Улицы еще не просохли после ночной грозы. Обходя лужи, мы добрались до автобусной остановки и поехали сдавать кровь на анализ. Несмотря на все свои старания казаться спокойным, я волновался, очень волновался, а вот Моника была на редкость спокойна, спокойна как никогда. Мы не могли разговаривать в пе-

реполненном автобусе, но так же молча дошли до самой лаборатории. Нас приняла совсем неприметная женщина, которая, записав наши адреса и фамилии, попросила меня пройти в соседнюю комнату. "А вы подождите здесь", — сказала она Монике, собравшейся последовать за мной. В маленьком кабинете девушка в белом халате взяла у меня кровь из вены. "Ждите там", — повелительно сказала она, кивнув в сторону другого кабинетика, где стояли деревянные скамьи. Я сел и стал ждать. "Вот сейчас кто-то выйдет, что-то скажет, и моя жизнь изменится, — думалось мне. — Явится ли ко мне гонец с посыпанной пеплом головой и рвущий на себе одежды или войдет некто, увенчанный лавровым венком, и радостно меня обнимет? Сейчас узнаю — умереть мне или радоваться жизни".

Было вовсе не время для подобных размышлений, но именно такие мысли лезли в голову. Я встал и прошелся по кабинету. Почему сюда не впустили Монику? Что они будут с ней делать? Почему нас разлучили? Мне страшно захотелось открыть дверь и удрать оттуда. В кабинете было большое зарешеченное окно, за которым находилось патио с высоким деревом, в ветвях которого заливался соловей. Я подошел к окну и попытался разглядеть соловья. Бесполезное дело. Его можно было только слышать. Чего ради приспичило соловью распевать в таком месте? Впрочем, не важно. Пел он прекрасно, выражал, понятно, любовь, свою любовь к подруге, свою радость жизни. "Пой, пой, соловушка, тебе счастья не занимать", — сказал я или просто подумал. Соловей ответил мне великолепной руладой, зацокал, засвистел. Я ухватился за железные прутья решетки и стал ее трясти, словно желая выскочить в окно, на волю, к соловью. Чувствовал, что схожу с ума. Скоро ли известят меня о результатах анализа? Где Моника? Куда ее дели? Я сел на скамью и, несмотря на запрещение там курить, зажег сигарету и жадно затянулся. Потом встал и снова начал мерить шагами комнату. Через полчаса я уже был готов кричать, бежать, искать кого-то, кто мог бы мне, наконец, сказать, буду ли я свободен и счастлив, как этот соловей, или придется умирать в страданиях.

Но вот открылась дверь, и вошел огромный и волосатый, как медведь, как йети[1], человек в белом халате с листком бумаги в правой руке. Он равнодушно глянул на меня и, приблизив листок к глазам, осведомился о моем имени и адресе. Я торопливо ему ответил, горя желанием, чтобы все это закончилось, хорошо или плохо, но закончилось.

— Можете идти, — сказал человек-медведь таким тоном, словно бросил мне мимоходом "Привет, как живешь?", и сунул бумажку в карман халата.

Я стоял и тупо молчал, а когда пришел в себя, шагнул к нему и протянул руку.

— Каков результат анализа?

— Результат? — Голос этого йети звучал глухо и устало, как у человека, обремененного тяжкими заботами и хлопотами. — Отрицательный.

Отрицательный. Что значит отрицательный? Как фотонегатив, как нечто плохое, противоположное позитиву? Впрочем, я понял ответ, но

1. Снежный человек.

мне очень хотелось, чтобы услышанное повторил человек-медведь. В тот момент от него и его голоса зависела моя жизнь.

— Отрицательный? — произнес я слабым голосом.

— Вы не ВИЧ-позитивный, — на сей раз его голос звучал для меня музыкой, ликованием. — Вы не инфицированы.

Я не ВИЧ-инфицированный, не заражен, не умру, буду жить! Все происходившее показалось не чем иным, как кошмарным сном, от которого вдруг пробудился. Жизнь — замечательная штука, и вполне стоило ее прожить. В патио заливался соловей, и его трели выражали радость, радость бытия. Блаженством было ощутить собственную кровь, теплом разливавшуюся по телу, по рукам и ногам. Моя кровь еще многие годы будет бежать по моим жилам — чистая, сильная, здоровая, кровь счастливого человека. Мне хотелось прыгать, тискать доктора в объятиях, говорить ему, что люблю его за то, что он принес мне самую радостную новость в жизни, за то, что, наверное, он сам сделал анализ и убедился, что моя кровь вполне здорова. В диком восторге я пожал ему руку.

— Спасибо, доктор, огромное спасибо. Вы не знаете, какой камень с моей души сняли.

— Знаю, — сказал он и впервые улыбнулся. Как хороша была его добрая улыбка, как белы его прекрасные ровные зубы. — Оберегайтесь, — добавил он и повернулся к двери.

Наверное, за стеной другие, подобные мне люди ждали от него приговора: жизнь или смерть.

— А моя спутница?

— Спутница?

— Та девушка, которая пришла вместе со мной делать анализ. Ее фамилия Родригес Эстрада Пальма.

— А, — медик небрежно махнул рукой. — Она инфицирована и останется здесь.

Кровь сразу отхлынула у меня от головы и, наверное, вся вдруг оказалась в каком-то одном месте моего туловища, ибо руки похолодели, лицо побледнело. По телу прошел озноб, ноги подкосились, и мне пришлось опуститься на скамью.

— Вы в этом уверены? — Голос мой дрогнул.

— В чем? — Человек-медведь взглянул на свои часы.

— В правильности анализа. Нет ли там ошибки?

Человек поджал губы, качнул головой и мрачно посмотрел на меня.

— К сожалению, нет. Анализы у нас производятся ответственно и аккуратно. Кем она вам приходится?

Я невольно замешкался. В каких отношениях Моника состояла со мной? Юридически — ни в каких. Нас не связывали те отношения, которые признает общество, это проклятое общество. Кем была мне Моника? Невестой, любовницей, женой? Как определить то, что нас связывало?

— Она — моя любовь, — сказал я и почувствовал, что пустил слезу. Но, возможно, тот человек меня понял.

Моя история, как все истории любви, подошла к концу, но, в отличие от других историй, не закончится фразой: "И они долго и счастливо жили-поживали, добра наживали".

В тот понедельник, в тот страшный понедельник я узнал, что Моника больна, и узнал, что сам я здоров. Меня оттуда отпустили, а Монике пришлось остаться. Нам дали поговорить всего несколько минут, и при расставании она смотрела на меня своими большими чудесными зелеными глазами, и в них светилась тоска, глубокая тоска, но еще и покорность судьбе. "Пречистая Дева мне поможет", — сказала она и попыталась улыбнуться. "Поможет. Люблю тебя", — сказал я. "И я тебя, очень". — "Завтра приду к тебе".

Мы крепко обнялись, и я вышел, как оглушенный, из клиники, стараясь не разреветься. "Мне жить, а Монике — умереть", — стучало в голове, когда я шел по улице под палящим солнцем, не ведая, что теперь делать и о чем думать, брел, сам не зная куда, обвиняя себя в том, что я здоров, а она умирает. В конце концов пришел к выводу: мне не в чем себя винить, разве лишь в том, что порадовался своей удаче, но ничем помочь я ей не могу, и мне остается только навещать ее, побольше быть с нею и ободрять по мере сил.

Решение состоялось. Трибунал вынес свой обвинительный приговор, который обжалованию не подлежит. Все пойдет своим чередом, только мне будет немного хуже, Монике и Лу совсем плохо, но обыденная жизнь от этого ничуть не изменится. Такая вот она выпала нам, дерьмовая никчемная жизнь.

Поздним вечером я вернулся в Ведадо и чувствовал себя так, будто меня измолотили дубинками в полицейском участке. Есть не хотелось, и сон сморил лишь к рассвету.

Спал я тяжело, казалось, не хватает воздуха, и к шести утра был уже на ногах, снова и снова спрашивая себя: что теперь делать?

По привычке позавтракал и собрался уходить. Вначале хотел позвонить Франсису, но телефон не работал. Спускаясь по лестнице, столкнулся с сеньорой Флорес, которая радушно со мной поздоровалась. Я мило улыбнулся ей и ее собаке и отправился по своим делам, делам квартирного обменщика.

Я занимался обменами все то время, пока болела Моника. Потом стал помощником мясника на рынке сельхозпродуктов и торговал мясом, позже работал на пару с Франсисом, но в конечном итоге опять вернулся к обмену жилья. Монику я навещал все те дни, что были отведены в спидатории для посещений. Даже тогда, когда лил дождь, или были трудности с транспортом, или надо было оформить срочную сделку, я являлся туда с цветочком в руке, с книгой, с ее любимым сладким печеньем. Она меня встречала улыбкой, ее прекрасные зеленые глаза светились, но мало-помалу угасали, пока в далекой ночи не стал мерцать лишь слабый огонек, в конце концов тоже угасший.

Иногда я ходил туда с Франсисом, но, как правило, один; несколько раз повидал Малу; она всегда была мрачна и груба, и я больше ее не навещал.

Время шло, кое-что менялось, многое оставалось прежним. Полиция усилила гонения на *хинетер*, и они исчезли с улиц, чтобы появиться в других местах. Сеньора Крус умерла, и никто не знает, где теперь ее собаки, которые, видимо, бродят по улицам города. Кета окончательно обосновалась в сумасшедшем доме, Маруха продолжает угадывать будущее, Юмалайди управляет кафе-закусочной и больше не хинетерит, Милагрос приезжала из Мексики, чтобы забрать туда своего мужа Эрмеса.

Книжнику Ремберто запретили продавать книги на базаре, и он теперь торгует ими на Малеконе.

В одно из моих посещений Моника попросила меня переехать жить в ее квартиру на Рампе. Я так и сделал. Теперь живу там, и хотя меня не раз хотели оттуда выставить, поскольку я не являюсь законным собственником жилплощади, чиновники в своем намерении не преуспели и, думаю, не преуспеют. На стену в комнате я повесил ее большую, в полный рост, фотографию.

"Кто эта красавица?" — спрашивали меня женщины, которых я иной раз приводил к себе, и подолгу глядели на фото, где она улыбается, улыбается мне и только мне, как в тот день, когда я ее сфотографировал.

"Это — любовь моей жизни. Моя любовь, — отвечаю я, — какой больше не будет".

Спустя несколько лет Моника умерла. Двадцать восьмого марта. На похоронах были я, ее мать, бабушка и Франсис, а также Маруха и Юма.

На памятнике у ее могилы я выгравировал строки из Данте:

> Кто любит, у любви пощады тот не просит.
> Любовь блаженная навеки нас связала.
> Ушла ты, но меня она освободить не хочет...

Ниже добавил несколько своих слов: "Дорогая, тебя здесь нет, но твоя Любовь всегда со мной".

Малу скончалась немного раньше.

По выходе с кладбища Франсис меня ободрял и утешал. Я закрыл глаза. Подумал о Монике, о наших жизнях. Открыв глаза, посмотрел на горизонт. Издали наплывали тяжелые тучи. Вскоре на Гавану снова обрушится ливень.

Брайен Фрил

Целитель

Пьеса

Перевод с английского и послесловие Марка Дадяна

Снова — Энн

Акт первый
Фрэнк

Сцена погружена в темноту. Краткая пауза.

Из темноты доносятся звучащие как заклинание слова Фрэнка: "Аберардер, Аберайрон..." В начале второй строки сцена медленно освещается: сперва свет выхватывает его фигуру, затем заливает декорации. Все то время, что Фрэнк произносит эту магическую формулу, он стоит слева у рампы, ноги вместе, голова чуть запрокинута, глаза плотно прикрыты, руки в карманах пальто, плечи сутулятся.

Он человек средних лет. Седой или седеющий. Бледное, морщинистое лицо. Пальто не застегнуто, воротник поднят. Пальто темно-синее или черное, из тяжелой ворсовой ткани. Некогда добротное, оно сильно обносилось и засажено пятнами. Под пальто у него темный костюм, вытертый до блеска. Пиджак узок в плечах. Рукава и брюки коротки. Грязная, когда-то белая рубашка. Мятый галстук. Носки ярко-зеленого цвета.

Три ряда стульев — в общей сложности не более пятнадцати — занимают примерно треть пространства сцены. Стулья расположены под прямым углом к залу.

© Brian Friel, 1980
© Марк Дадян. Перевод, послесловие, 2007

На заднем плане — большая афиша:

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФРЭНСИС ХАРДИ.
ЦЕЛИТЕЛЬ.
ТОЛЬКО ОДИН ВЕЧЕР.

Афиша сделана из ткани — может быть, льняной, но очень грязной и потертой.

Фрэнк *(глаза прикрыты):*
Аберардер, Аберайрон,
Лланграног, Ллангириг,
Абергорлех, Абергинолуин,
Лландефейлог, Лланерхимет,
Аберхосан, Аберпорт...

Умирающие уэльские деревни. *(Открывает глаза.)* Перед выступлением я всегда был как натянутая струна, и знаете, что я делал? Пока мы ехали по узким, извилистым дорогам, я повторял их вслух — эти имена, гипнотические, убаюкивающие, колдовские:

Кинлохберви, Инверберви,
Инвердруи, Инвергордон,
Бадахро, Кинлохеуи,
Баллантрей, Инверкитинг,
Кавдор, Кирконнел,
Плайди, Киркиннер...

Уэльские, шотландские — с течением лет они стали неразличимы. Церкви, или молитвенные дома, или школы — все одинаковые, все заброшенные. Разве что где-нибудь в углу лежал высохший сноп зерна с давно миновавшего праздника урожая или остаток рождественского украшения висел на окне — пережитки забытых обрядов. Люди, которые к нам приходили, не знали праздников.

Мы почти никогда не останавливались в городах — арендовать помещение было слишком дорого. Очень редко бывали в Англии, потому что Тедди и Грейси были англичане и считали, да поможет им Бог, что кельтский темперамент нам больше подходит. И ни разу — в Ирландии, из-за меня...

Прошу прощения — ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФРЭНСИС ХАРДИ. ЦЕЛИТЕЛЬ. ТОЛЬКО ОДИН ВЕЧЕР. *(Легкий поклон.)* Человек с драной афиши.

Он снимает пальто, выбирает один из крайних стульев и бросает пальто поверх стула. Стул с наброшенным поверх пальто будет так же стоять в начале четвертого акта.

Когда мы только начинали, много, ох, много лет назад, на афише было написано: "Фрэнсис Харди, Седьмой Сын Седьмого Сына". Но афиша выходила слишком дорогой, и Тедди уговорил меня ограничиться скромным эпитетом "фантастический". Это было его любимое словечко, и, может быть, в этом случае он использовал его к месту. Что до "седьмого сына" — это неправда. В действительности я был единственным ребенком пожилых родителей, Джека и Мэри Харди, и родился я в

деревушке Килмеди, что в графстве Лимерик, где отец мой служил караульным сержантом. Но это другая история...

Удобное имя, правда? Фрэнсис Харди — Фантастический Фрэнсис. Исцеляющий верой. Если вы верите в судьбу, можно сказать, что жизнь моя была определена в тот день, когда мне дали имя. Может быть, если бы меня звали Карлом Поттером, я бы стал... кардиналом-примасом. А если Пэтси Малдуном — быть мне теперь фантастическим премьер-министром. Нет, я не смеюсь над такими вещами. Ни в коем случае. Я не испытываю к ним почтения, но и не насмехаюсь.

Исцеляющий верой — исцеление верой. Ремесло, которому невозможно обучиться, работа без обязательств, призвание без служения. Как я к этому пришел? Молодым человеком я играл в это, и *оно* овладело мной. Нет, нет, нет, нет, нет, это пустые речи. Нет. Скажем так, я сделал, потому что... мог. Так, наверное, правильнее. Иногда срабатывало, о да, иногда это *действительно* срабатывало, о да! И когда у меня получалось, когда я стоял перед человеком и возлагал на него руки, и смотрел, как он исцеляется на моих глазах, да, то были минуты торжества, чудесного свершения, но не потому, что я творил добро, облегчал страдания, приносил радость, нет, Боже милостивый, ничего подобного, а потому что вопросы, разрушавшие мою жизнь, на время утрачивали смысл, и потому что на те несколько часов я сам исцелялся, достигал согласия с собой, становился, так сказать, аристократом, если это слово не оскорбляет ваш слух.

Но вопросы, вопросы... Все начиналось просто — с метаний самодовольного юноши. *Неужто мне ниспослан удивительный, неповторимый дар?* Боже мой, да, боюсь, что так. Тут же возникал другой вопрос. *А не шарлатан ли я?* Думать так было бы глупо. Ну, а между двумя нелепыми крайностями роился сонм вопросов. Случайность ли все это? Искусство? Заблуждение? Мания? Какой именно силой я обладаю? Могу ли я вызывать ее произвольно? Когда и как? Служу ли я этой силе? Часть ли она моей способности наделять людей верой в меня или благодаря мне они сами обретают силу и исцеляются, уверовав в исцеление? Могу ли я исцелять без веры? Но веры во что? В меня самого? В возможность исцеления? В веру? Не унижает ли меня эта сила? Вроде как выдаешь себя за другого, да? Становишься шелухой, да? И так далее, и так далее. Глупо, правда? Особенно если учесть, что в девяти случаях из десяти чуда не происходило. Но они не утихали до самого конца, эти исступляющие, мучительные, сводящие с ума вопросы, отравившие мне жизнь. Когда я говорил себе, что не буду о них думать, они подкрадывались из-за угла. А когда мне казалось, что они одолевают меня, я топил их в виски. Какое-то время это помогало. Виски помогало мне пережить ночь. Помогало принять действительность — и когда ничего не происходило, и когда происходило что-то. Но я вам скажу: почему-то я знал наверное, знал с совершенной определенностью, пьяный или трезвый, знал наперед, если ничему не суждено было случиться.

Тедди. Да, давайте я расскажу вам о Тедди, моем импресарио. Кокни. Жизнерадостный. Веселый. Крохотные, беспокойные ножки. Пиджак из рубчатого вельвета, галстук-бабочка, засаленная велюровая шляпа. Я почти ничего не знаю о его прошлом, разве только что он всю жизнь провел в шоу-бизнесе. Я так и не понял, зачем он остался со мной, мы ведь едва сводили концы с концами. Но он питал ко мне привязанность,

может быть, ему казалось, что через меня он связан с чем-то... духовным, и этого ему было достаточно. Случись вам встретиться с ним в баре, он бы загипнотизировал вас взглядом карих глаз. "Душа моя, в свое время я работал с *самыми* сногсшибательными клиентами, уж поверь мне. Но я всех их бросил ради мистера Харди, вон он сидит, потому что нет в мире ничего более фантастического, чем мистер Харди ". Слушая его, я едва не забывал, чем именно он пожертвовал ради наших вояжей — некой Мисс Мулаткой с тремя Голубями и вялым гончим псом по кличке Роб Рой, умевшим извлекать звуки из волынки. Будь я склонен к гордыне, это вмиг бы сбило с меня спесь. А еще он всегда верил, верил до самого конца, что где-нибудь, когда-нибудь с нами обязательно произойдет нечто "фантастическое". "Верь мне, душа моя, — мог сказать он, когда бензина у нас в баке хватало как раз на то, чтобы доехать до ближайшей деревни, — верь мне, впереди у нас большой куш". Он был романтик. И когда он говорил об этой великой удаче, в голове у меня возникали сказочные картины: нас приглашают в королевскую опочивальню, где, отставив в сторону ученых докторов, я возвращаю к жизни спящую принцессу, а потом нас поят и кормят семь дней и семь ночей и отправляют в дорогу с кошелями, полными соверенов. Все-таки у него было много масок. А может быть, он и не был романтиком. Может быть, он знал, что я так подумаю. Может быть, он был гораздо проницательнее, чем мне казалось.

И еще была Грейс, моя любовница. Женщина из Йоркшира. Сдержанная, методичная, правильная, любящая порядок. Которая кормила меня, стирала и гладила для меня, нянчилась со мной, развлекала меня. Спасла от пьяной смерти. Попыталась было исправить меня, потому что такова была ее природа, но не стала этого делать, потому что ее инстинкты были мудрее порывов. Грейс Додсмит из Скарборо — или из Нарсборо? Не помню, да и не имеет значения, звучит так похоже. Она никогда не просила, чтобы я женился на ней, и, при всей ее любви к порядку, брак, наверное, был ей не нужен — ей хватало преданности. У нас никогда не было безрассудной страсти, даже в минувшие дни. Но отношения были устойчивые. Длительные. Хотя по мере того как мы старели, мне казалось, что все портится. Потому что эта самая ее добродетель — ее упрямая, безусловная, непобедимая преданность — словно покрывала нас толстым слоем пыли. И ничто, ни моя горечь, ни умышленное пренебрежение, ни мои измены не могли ее поколебать.

Мы приезжали в фургоне, обычно ранним вечером. Вешали афишу. Расставляли стулья и скамейки. Вносили стол, так сказать, для полноты картины. Иногда подметали пол. Грейси готовила чай на примусе. Тедди испытывал усилитель. Я подкреплялся спиртным. Потом мы ждали. И ждали. Наконец, с наступлением темноты, в зал робко входило несколько человек.

Пеннлех, Пенкадер,
Динвеган, Данблейн,
Бен-Лауэрс, Бен-Риннес,
Кирклистон, Беннейн...

Тедди и его усилитель. Я сражался с Тедди из-за музыки раз десять и в конце концов уступил. Мы сошлись на том, что он называл "атмосферической фоновой музыкой". Когда собирались люди, Тедди подносил микрофон к губам и почтительным, проникновенным голосом просил

их оставаться на местах, пока я иду по рядам. "Никого не обойдут вниманием, душа моя. Расслабьтесь. Не волнуйтесь. И когда мистер Харди подойдет к вам, нет нужды говорить ему, что именно вас беспокоит, — мистер Харди знает. Просто положитесь на него. Вверьтесь ему. И благослови вас всех Бог. А теперь, сердце мое, мистер Харди, целитель!" В эту минуту появлялся я, и тогда же Тедди заводил грампластинку.

И пока я шел вдоль рядов, переходя от одного человека к другому, пока я шествовал между калеками, и слепцами, и уродами, и глухими, и бесплодными, голос в стиле тридцатых выводил песню Джерома Керна[1]:

Свет мой, сохрани
Нежную красу,
Сбереги ее, ведь
Так мне дорог
Незабвенный облик твой.

Да, мы всегда балансировали на грани между нелепым и величественным.

(Идет вдоль рядов.) А те, что приходили ко мне — что можно о них сказать? Отчаявшиеся люди. И то, что они приходили ко мне, лекарю-шарлатану, выявляло меру их отчаяния. Они редко говорили. Иногда даже не поднимали глаз. Просто сидели, тихо и безмолвно, предполагая, что я знаю их беды. Жалкие. Униженные. Напряженные. Жаждущие открыться и одновременно страждущие оттого, что кто-то посягнул на их одиночество, на покой их мучений. Они ненавидели — о да, да, да! — они меня ненавидели. Ведь придя ко мне, они обнаруживали, они открыто признавали свое отчаяние. И пусть они говорили себе, что явились сюда в надежде на некую отдаленнейшую возможность исцеления, в глубине души они знали, что пришли не за исцелением, а за подтверждением того, что неизлечимы. Не за надеждой они пришли, а за истреблением надежды. За устранением последней, невозможной вероятности исцеления — вот за чем они пришли... чтобы скрепить свою муку, чтобы найти удовлетворение в окончательности приговора.

Они знали, что я это знаю. И потому требовали с вызовом, чтобы я даровал им безнадежность. Но я даже этого не мог для них сделать. И они знали, что я не могу этого сделать. Необычное положение, правда? Нет, не необычное — жуткое. Потому что иногда, только иногда, случалось чудо. И тогда — паника, паника, паника! Извержение! Крушение всех их планов! Внезапный поток — ужасная, безнадежная надежда! Я часто думал, что было бы человечнее не приближаться к ним вовсе.

И еще кое-что. Когда Тедди представлял меня, я смотрел на них, и порой мне казалось, что они здесь не сами по себе, а что они посланцы, legati[2], избранные таковыми из-за их отваги, и что пока мы находимся в этой или другой церкви, где-то снаружи — спокойные, безмолвные, растворенные в сумерках — ожидают, затаив дыхание, сотни людей. И еще

1. Джером Дэвид Керн (1885–1945) — американский композитор, один из создателей жанра мюзикла. *(Здесь и далее – прим. перев.)*
2. Послы *(лат.)*.

иногда у меня создавалось впечатление, что, если б мы не пришли к ним, они бы сами нас разыскали.

Мы были на севере Шотландии, когда я получил весть о том, что у моей матери сердечный приступ. В деревушке под названием Кинлохберви, в Сазерленде, на самом севере Шотландии. Живописное местечко, очень тихое, очень красивое, с видом на остров Льюис, самый крупный в архипелаге Гебридских островов. Мы решили отдохнуть там несколько дней. Так или иначе, когда пришла эта весть, Тедди повез меня в Глазго. Грейси хотела ехать со мной и не могла понять, почему я не беру ее. Но обиду она бросила в топку своей преданности и проводила меня в путь с терпеливой улыбкой.

Впервые за двадцать лет я приехал домой. Мой отец вышел в отставку и жил в пригороде Дублина. Открыв дверь, он не узнал меня — пришлось объяснять, кто я такой. Тогда он пожал мне руку, словно встретил знакомого, и провел меня наверх, в спальню.

Она выглядела точной такой, какой я ее помнил, — болезнь не изменила ее черты. Она будто тихо спала. Кожа гладкая, как у девочки, подбородок задран точно в ожидании чего-то. Господи, подумал я, Господи Боже, что же мне делать?

— Она выглядит хорошо, — сказал он.

— Да, — ответил я. — Выглядит прекрасно.

Он прочистил горло.

— Она ушла спокойно. Ты разминулся с ней примерно на час и десять минут, — сказал он так, будто давал показания. А потом заплакал.

Тут у меня как камень с души свалился и я заплакал вместе с ним — легко и свободно.

Двадцать лет спустя я снова приехал в Ирландию, на этот раз с Тедди и Грейси. Мы уже давно бедствовали. Как выразился Тедди: "Если мы хотим есть, нам нужно открывать новые земли, сердце мое. Вы вылечили их всех. Вперед, отправимся на тучные пастбища Ирландии". И я согласился, потому что донельзя устал от Уэльса и Шотландии. А виски уже не помогало, как раньше. И еще я согласился потому, что за несколько лет до того умер мой отец. Наверное, я всегда знал, что в конце концов мы окажемся здесь. Так, в последний день августа мы переправились из Странрара в Ларн и всю ночь ехали в графство Донегол. Там мы остановились в пабе, по сути, в небольшой гостинице с первоклассным баром, у въезда в деревушку Баллибег, недалеко от городской черты Донегола.

У меня не было ощущения, что я вернулся домой. Я пытался вызвать в себе ностальгию, но ничего не шевельнулось. Всплыло всего несколько воспоминаний, тусклых и невыразительных. Мне вспомнилось, как отец смотрит на меня через зарешеченное окно гостиной, пока я иду в школу, — мы снимали дом на противоположной стороне улицы. Как я играю с наручниками, продевая и вытаскивая из колец руки. Как мать печет хлеб, тихо напевая псалом: "Ибо велика ваша награда на небесах". Как отец показывает бараки группе людей — кажется, то были инспекторы из Дублина — и то и дело говорит: "Конечно, господа, безусловно, господа, как скажете, господа". Может быть, вспомнилось что-то еще. Но в душе ничего не шевельнулось.

Спустившись вниз, в обеденный зал, мы застали там нескольких гостей, которые остались после недавно закончившегося свадебного ужи-

на — четверых молодых людей, местных фермеров, чей друг несколько часов назад отбыл в свадебное путешествие. Хорошие костюмы. Белые гвоздики в петлицах. Темные, квадратные лица. Толстые пальцы и грязь под ногтями. Некоторое время они делали вид, что не замечают нас. Потом Нед, самый крупный из парней, резко спросил, кто мы такие и что здесь делаем. Тедди объяснил им: "Душа моя... самый... самый... сногсшибательный... фантастический". И то ли из-за несуразности сказанного, то ли из-за того, что все мы были напряжены, они вдруг разразились хохотом, и мы обнялись. Мы сели кругом и стали пить и болтать. Грейси запела... что же она пела? "Илкли Мур"? Что-то вроде этого. Тедди развлекал их рассказами о наших странствиях — отчаянно смешными или сентиментальными. Потом его карие глаза увлажнились и он сказал: "Сердце мое, сколько же я узнал за эти годы о природе истерзанного рода человеческого". И тут я почувствовал, что действительно вернулся домой. Ирония улетучилась.

Потом вдруг один из четверки гостей, парень по имени Донал, он молчал почти весь вечер, потряс перед моим носом скрюченным пальцем и вызывающе сказал: "Выпрямите его, мистер Харди". И в баре вмиг стало тихо.

Я зажал палец между ладонями и впился взглядом ему в лицо. Парень сразу смутился, он уже хотел отказаться от своих слов. Запинаясь, он принялся рассказывать о несчастном случае — что-то о тракторе, коробке передач, неисправном сцеплении. И покуда он говорил, я массировал изувеченный палец. А когда он замолчал, я раскрыл ладони и отпустил его. Палец был прямой...

Бадраллах, Килмор,
Лланфайтли, Лланфехелл,
Кинкардин, Кинросс,
Лохкаррон, Лохлигелли...

Мы гуляли всю ночь. Пили за здоровье хозяина, утверждавшего, что знал моего отца, а позже, ближе к утру — что они были близкими друзьями. Пили за Тедди и Грейси. Пили за мое возвращение. За палец Донала. Пили за отбывшего жениха и его мужскую силу. За невесту и ее будущее потомство. За богатый урожай — за овес, за пшеницу, за ячмень. За каждый сентябрь и за каждый урожай, за все урожаи и за все, что созрело для жатвы. Дионисийская ночь. Вакханалия. Безумная, избыточная ирландская ночь, когда намеренно отбрасываются все приличия.

Затем, незадолго до рассвета, кто-то помянул Макгарви. Их лучшего, их ближайшего друга Макгарви, который в былое время гулял с ними, и танцевал с ними, и пил с ними, и строил с ними дороги, и снимал с ними дерн. Макгарви, он сегодня должен был быть шафером, Господи, кто, как не он? Но он даже не пришел на свадебный ужин. И вот, пока они воссоздавали его образ, я увидел Макгарви, увидел его искаженное лицо, его лиловатые руки и горящие глаза, увидел, как он в безысходной тоске скрючился в кресле-каталке. Увидел и узнал его еще до того, как Тедди, с присущей ему английской бесхитростностью, спросил, почему его нет с друзьями. Еще до того, как Нед рассказал нам о падении с подмостей, о параличе. Увидел его и представил себе нашу встречу: открытое пространство, обнесенный стенами двор, деревья, оранжевое небо, теплый ветер. И понял, понял с чувством холодной неизбежности, что ничего не произойдет. Совсем ничего.

Я стоял у окна и смотрел, как они отправились за Макгарви. Четверо друзей залезают в видавший виды автомобиль. Вот, озаботившись судьбой друга, они посерьезнели. Вот они с преувеличенной вежливостью открывают друг другу двери: садись вперед, нет — ты, нет — ты. Машина оседает под их тяжестью. Потом они уезжают.

Тедди в пьяном оцепенении мешком лежал в углу. Грейси ходила между столами, опустошая пепельницы, собирая стаканы, расставляя их на стойке, поправляя стулья. Ни малейшего намека на опасность. Я предложил ей идти спать, и она ушла. А почему бы и нет? Уборку она закончила.

Очень медленно ступая, он подходит к рампе и останавливается у самого края сцены. Пауза.

Первые ирландские гастроли! Триумфальное возвращение домой! Все сначала! Все обещает быть фантастическим! И вот я делаю вид, что согласен играть в этом фарсе. *(Смеется.)* Да, возвращение Фрэнсиса Харди. *(Снова смеется.)*

Но мы вскоре перейдем к этому. Или, как сказал бы Тедди, "Почему бы нам не оставить это на потом, сердце мое? Почему бы нам не поступить так? Почему нет?"

В самом деле.

Секунды три он смотрит в зал.

Сцена быстро темнеет.

Акт второй
Грейс

На сцене — Грейс Харди. Декорации те же, что в первом акте, но ряды стульев исчезли. Она сидит на деревянном стуле подле столика, на котором видны пепельницы, недопитая бутылка виски, стакан, пачки сигарет.

Ей немногим более сорока. Она безразлична к своему внешнему виду и едва скрывает сильнейшее душевное смятение. Много курит, иногда прикуривая одну сигарету от другой.

Грейс *(глаза прикрыты):*

Аберардер, Аберайрон,
Лланграног, Лланграриг,
Абергорлех, Абергинолуин,
Пеннлех, Пенкадер,
Лландефейлог, Лланерхимет...

Самое неотступное воспоминание *(открывает глаза)*, самое неотступное и самое мучительное...

Но мне *действительно* лучше, я *действительно* стала лучше владеть собой, это так. Я измеряю степень своего выздоровления — дурацкие измерения, я знаю, и он точно поднял бы меня на смех, — но я научилась измерять свое выздоровление по количеству часов сна, и по количеству выпитого, и по количеству выкуренных сигарет. Они говорят, я должна быть за многое благодарна. Я знаю. Да, мне нравится жить в Лондоне.

Квартирка маленькая, но теплая и удобная. Отсюда приятно пройтись до библиотеки в Паддингтоне, где я по четыре часа работаю каждое утро. Обратно, если день хороший, я обычно иду через парк. По ночам слушаю радио или читаю — да, я много читаю, — беллетристику, исторические книги, биографии, прочитываю все, что приношу домой, все, что удобного формата. А еще я начала плести коврик для камина — посижу над ковриком, или попробую новый рецепт, или почитаю газету, или займусь вязанием, или — или... А по четвергам я хожу к доктору, чтобы возобновить рецепт на таблетки. Он сказал мне на прошлой неделе, вот что он мне сказал: "Ну конечно, вы перенесли душевное потрясение, миссис Харди, просто чудовищную душевную травму. Но теперь все — это все в прошлом. И вам нужно быть с собой построже, правда. Вы ведь когда-то были адвокатом? Что ж, в дело вашего выздоровления вам следует внести ту же строгость мысли, ту же дисциплину, с которой вы некогда вели судебное разбирательство". Он сидел за письменным столом, в руке подрагивала золотая авторучка, на нем был серый костюм и строгий галстук, в ясных глазах читалось участие. Ему, видно, понравилось сравнение, и вообще он выглядел таким чистеньким, таким симпатичным, таким знающим, да, и таким невинным, он был так благожелателен и терпелив, для него все было так просто. Тут я поняла, что киваю ему. "Да, да, да, — говорю ему, — да, да". Так я кивала Фрэнку, особенно в последний год — да, да, да, Фрэнк, ты знаешь, что сможешь, Фрэнк, клянусь, что сможешь, — но он смотрит на меня подозрительно, для него все было непросто, он смотрит и испытывает меня лукавыми вопросами, и строит дьявольские умозаключения, и пробует на зуб мои доводы, выискивая малейший намек на преувеличение или нерешительность, но все равно, все равно он черпал во мне силы — о да, я уверена в этом, он находил во мне утешение, я совершенно в этом уверена, потому что в конце концов он опустошил меня, в конце концов я истощилась.

Но мне *действительно* лучше. Наверное, этим я хочу сказать, что теперь я позволяю себе кое-что вспомнить, я могу открыться для этих воспоминаний, как больной, которому снова начинают давать твердую пищу. Помню тот вечер, когда старый фермер в деревеньке недалеко от Кардиффа дал Фрэнку двести фунтов за то, что он излечил его от хромоты, — просто отдал ему бумажник, — и мы сняли номер в "Роял Аберкорн" и четыре дня жили как короли. И еще — те пасхальные выходные, что мы провели гуляя по Грампианским горам. Об этом я могу думать. Да, на такие воспоминания я откликаюсь. Потому что они *были* частью нашей жизни. Но как только я расслабляюсь, как только мне начинает казаться, что я снова обрела себя — *(Зажмуривается.)*

Абергорлех, Абергинолуин,
Лландефейлог, Лланерхимет
Аберхосан, Аберпорт...

Зима, темень, дождь, узкие дороги Уэльса, мы едем на выступление. *(Открывает глаза.)* Он всегда называл это выступлением, насмешливо выводил это слово: "Где я сегодня *выступаю*?", "Неужели вы думаете, что это подходящее место для *выступления*?" Будто это игра, в которой он примет участие, если ему захочется. Может быть, по-другому он об этом и не мог говорить. Итак, Тедди, как обычно, ведет автомобиль, я — на пассажирском сиденье, а непосредственно за нами он, ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ФРЭНСИС ХАРДИ. ЦЕЛИТЕЛЬ, с бутылкой виски между коленями, сидит, повернувшись к нам спиной, на полу фургона, нет, не сидит, горбится, почти вжавшись в пол, сосредоточенный и счастливый — нет, нет, не счастливый, конечно не счастливый, не думаю, что он когда-либо знал счастье, — но всегда перед выступлением он совершенно... владел собой — да, так будет правильнее, — он настолько владел собой, что для него все приходило в гармонию, владел собой так, что все становилось возможно. И когда с ним заговаривали, он поворачивал к вам голову и смотрел куда-то мимо, из глубины этих проклятых глаз, исполненных милосердия, сознавая собственную цельность, свою тайную власть, ту подлинность, что была доступна ему одному. Господи, как же я ненавидела эту отрешенность! Он декламировал названия умирающих уэльских деревень: Аберардер, Аберайрон, Лланграног, Ллангириг, — произносил их особым голосом, которым говорил только в этих случаях, будто благословляя эти места или же посвящая себя им. Тогда я переставала для него существовать. Много, много раз. Но перед выступлением это изгнание — нет, не изгнание, уничтожение — становилось абсолютным, он просто стирал меня из памяти. Ту, что ухаживала за ним, развлекала его, нянчилась с ним, поддерживала его — что развращала себя для него. Да. Это самое навязчивое воспоминание. И когда я вспоминаю его таким, сидящим на полу фургона, Господи, как же я его ненавижу —

Кинлохберви, Инверберви,
Инвердруи, Инвергордон,
Бадахро, Кинлохеуи,
Баллантрей, Инверкитинг,
Кавдор, Кирконнел,
Плайди, Киркиннер...

(Тихим голосом, почти мечтательно.) Кинлохберви, где похоронен младенец, в двух милях к югу от деревни, в поле, по левую сторону дороги, если следовать на север. Смешно, что я никогда не встречала никого, кто был в Кинлохберви, даже шотландцев. Но она правда *существует*, эта крохотная деревенька, очень отдаленная, на самом севере Сазерленда, пожалуй, севернее в Шотландии и ехать некуда. Местные говорили мне, что в хорошую погоду это прелестное местечко, и отсюда, через море, можно разглядеть остров Льюис, что в Гебридском архипелаге. Мы оказались там случайно и больше туда не возвращались, а в ту неделю, что мы провели там, все время шел дождь, даже не дождь, просто в воздухе висела тяжелая влажная мгла, так что не было видно и края дороги. Но я уверена, что в хорошую погоду это прелестное местечко. Так или иначе, именно там похоронен младенец, в Кинлохберви, в Сазерленде, на севере Шотландии. Фрэнк соорудил деревянный крест, поставил его на могилу, выкрасил в белый цвет и написал на нем: "Дитя Фрэнсиса и Грейс Харди", без имени, разумеется, потому что ребенок был мертворожденным, просто так — Дитя. Я уверена, что креста уже нет, он был непрочный, вокруг паслись коровы, да и не кладбище это было вовсе. Я родила его в фургоне, и рядом не было ни акушерки, ни врача, так что никто ничего не знал, кроме Фрэнка, Тедди и меня. И возле могилы не было священника — Фрэнк просто произнес несколько молитв, которые сочинил сам. Так что никаких записей не сохранилось. И он никогда больше об этом не говорил. Ни разу не упомянул. А раз он об

этом не говорил, молчала и я. С этим было покончено. Покончено навсегда. Да. Но мне кажется, что это хорошее название, Кинлохберви, полнозвучное, его не просто забыть... *(Снова говорит напряженно.)* Боже, он был такой извращенный человек! Он так умел ранить. Одна из его подлых выходок состояла в том, чтобы унизить меня, изменив мою фамилию. Я становилась то Додсмит, то Элиот, то О'Коннелл или Макферсон — что ему взбредало в голову; я происходила из Йоркшира, из Керри, из Лондона, из Скарборо или из Белфаста; а еще он якобы излечил меня от болезни крови; а еще мы якобы не были мужем и женой — я была его любовницей, только так, это никогда не менялось: "Вы ведь не знакомы с Грейси Маклюр? Это моя любовница". Он хорошо знал, что это причинит мне боль, и правда, его слова каждый раз ранили меня. А ведь мне следовало привыкнуть. Но привыкнуть не получалось. А Тедди... Тедди был не просто дядькой из цирка шапито, у которого из-за мелкого воровства вечные нелады с полицией, а верным слугой, преданным сподвижником святого. Дело не в том, что Фрэнк был лгуном, да, я знала, что он хочет сделать мне больно, но все было гораздо сложнее, я никогда этого не понимала: он непрестанно стремился изменить, пересоздать все, что его окружало. Даже приходившие к нему люди — это были не просто больные, растерянные, испуганные люди, ждущие исцеления. Нет, нет. Для него они были... да, они были настоящие, но настоящие не как личности, а как выдумки, его выдумки, как продолжение его самого, как порождение его естества. И если он излечивал человека, тот становился для него удачной выдумкой, то есть обретал настоящую жизнь, и он говорил мне потом: "Интересный тип, правда? Я знал, у меня получится". Но если ему не удавалось излечить человека, он его немедленно предавал забвению, тот растворялся, как если бы никогда не существовал. Даже его отец — а если он и любил кого, так это своего отца, — даже его отец вечно менял образ, и не только при жизни. На самом деле он заведовал складом на заводе в Лимерике — я встречалась с ним однажды, славный старик. Но Фрэнку этого было недостаточно — он превращал его то в каменщика, то в садовника, то в водителя автобуса, то в караульного, то в музыканта. Мне кажется — тут я подыскиваю слова, — похоже, он наделял человека индивидуальностью в соответствии с некими собственными критериями совершенства, и когда критерии менялись, менялись и люди. Но я уверена, что именно тяга к совершенству крылась за его тревогой, именно на этом он был сосредоточен.

Мы были в Уэльсе, когда он получил известие о смерти отца. Он поехал один. А вернувшись, говорил так, как будто умерла его мать. "Она ушла спокойно, — сказал он. — Не знаю, как отец будет без нее справляться". Дело в том, что его мать умерла за много лет до того, как я его встретила. Ох, он был сложный человек.

Когда я впервые пришла на прием к врачу, он, заполняя карту, спросил: "Чем занимался ваш покойный муж, миссис Харди?" — "Он был артист", — ответила я быстро и буднично, но с полной убежденностью, так, как это мог бы сказать он сам. Ну не чудно́? Ведь раньше эта мысль никогда не приходила мне в голову. А потом, когда я ее высказала и доктор записал мои слова, я поняла, что это правда...

Однажды я его оставила. Да, оставила *его*! Встала и ушла. Боже, как тяжело об этом думать! Мы были женаты уже семь лет, а в тот год у ме-

ня случился плеврит и два выкидыша, один за другим, так что, сказать по правде, мне было очень себя жаль. Той зимой мы жили в пустом доме в Норфолке, в нескольких милях от ближайшей деревни, вообще-то это был приспособленный под дом коровник. Помню, как я стояла на коленях у крошечного камина и плакала, потому что сырые поленья никак не хотели разгораться, а ночью пыталась уснуть на отсыревшем матрасе, брошенном прямо на пол. Мы поссорились из-за чего-то, из-за каких-то глупостей. А я, наверное, была очень подавлена или просто довела себя до дурацкой истерики, потому что, поддавшись безумному порыву, оторвала листок старого календаря и написала на обратной стороне: "Милый Фрэнк я оставляю тебя потому что не могу более выносить греховности нашей жизни не ищи меня я очень люблю тебя Грейс". Ну не ужасно ли! "Я очень люблю тебя" — такому человеку! И еще это: "Не ищи меня". Не ищи меня! Боже, какая наивность!

Короче говоря, я поехала домой. В первый и последний раз. Ночью села на паром в Глазго, потом добиралась автобусом до Омы и еще три мили пешком до Кнок-Мойля. Помню, что некоторое время я стояла у ворот и смотрела на длинную аллею, обсаженную высокими прямыми тополями, и дальше, на лужайку, на строгий японский сад и на неопрятный огород, где когда-то копалась, бесцельно коротая дни, моя странная мать. Помню ее вечный головной платок и высокие сапоги. Меня вырастила Брайди, экономка; мать половину жизни провела в психиатрической лечебнице.

Отец был в столовой, сидел в плетеном кресле у огромного камина, с пледом на коленях. Он смотрел прямо перед собой, чуть подав вперед голову, совсем как в былые годы, когда, занимая кресло судьи, грозно выговаривал ответчику. Удар пощадил его — выглядел он превосходно: лицо патриция, аккуратно расчесанные седые волосы, безупречный серый костюм.

Я постучала по столу, чтобы не испугать его, и сказала:

— Это я, отец. Это Грейс.

— В чем дело? Говорите громче!

Я слышала, как хлопочет на кухне старая Брайди, и боялась, что она услышит меня, придет и заключит меня в объятия, а я не успею расцеловать отца, не успею сказать ему, как мне больно и как часто я о нем думала.

Я обошла комнату и теперь стояла прямо перед ним.

— Это Грейс, отец.

— Да? Да?

— Грейс. Грейси.

— Говорите громче. Вы бормочете невнятицу.

— Тиммикинс, — сказала я. Так он называл меня в детстве.

— Кто?

— Тиммикинс.

— Я знаю, кто это.

— Я приехала домой, чтобы повидать тебя.

Он смотрел на меня долго и пристально. Его рот открывался и закрывался, но оттуда не выходило ни звука. А потом вдруг слова и память вернулись к отцу одновременно.

— Ты сбежала с лекарем-шарлатаном. — Нет, он не обвинял меня. Он только ждал, чтобы я подтвердила его слова.

— Фрэнк и я поженились, — сказала я.

— Да, ты сбежала с шарлатаном сразу после получения диплома. И ты убила свою мать — тебе это известно. Но я говорил ей, что ты вернешься. Полгода, говорил я. Дай ей полгода, и она приползет обратно.

Я сидела перед ним на корточках и сжимала его холодные руки. Наши лица были так близко, что я ощущала запах у него изо рта.

— Отец, — сказала я. — Отец, послушай...

Но теперь слова изливались из него беспрестанно, не гневные слова, а заученные фразы усталого судьи, который приговаривает меня к девяти месяцам тюрьмы, но откладывает исполнение наказания, ибо понимает, что я происхожу из хорошей семьи с долгой и достойной уважения историей: все мужчины на государственной службе, — и надеется, что вскоре я раскаюсь и искуплю грех против моей почтенной семьи и предательство собственной профессии, а также предупреждает меня, что, если я вновь окажусь на скамье подсудимых, ему ничего не останется, кроме как отправить меня в тюрьму и вынести мне наисуровейший приговор, предусмотренный законом, и прочее, и прочее, и прочее.

И пока я смотрела на него, и слушала его, и ощущала на лице уколы его мелких плевков, меня вдруг охватил порыв — слава богу, что я не поддалась ему, — мимолетный порыв сделать нечто отвратительное, постыдное: мне захотелось проклясть его, нет, не проклясть — осыпать его бранью, медленно, громко, грубо бросить страшные непристойности ему в благородное лицо, слова, которые он никогда не произносил, слова, немыслимые в этом доме. Ведь даже в смятении ума он понял бы, что этим я навсегда отрекаюсь от его стройных тополей, от семейной профессии и от его регулярного японского сада. Но что еще важнее, гораздо, гораздо важнее, он расценил бы это как дерзкую клятву верности моему шарлатану, и фургону, и сырым поленьям, и примусу, и грязным комнатам, и всему остальному, что он именовал убожеством. Слава Богу, я этого не сделала. Вместо этого — он все еще зачитывал мне приговор — я просто ушла. Больше я его не видела. Он умер в том же году. А следующим вечером я снова была в коровнике в Норфолке, снова лежала на отсыревшем матрасе и целовала Фрэнка, его лицо, плечи, грудь, и просила у него прощения; а он был пьян и почти ничего не говорил, и только лукаво мне улыбался. А потом я снова забеременела и на этот раз выносила ребенка. Того самого тощего ребенка с черным лицом, который похоронен в поле близ Кинлохберви, в Сазерленде, на севере Шотландии.

Бадраллах, Килмор,
Лланфайтли, Лланфехелл,
Кинкардин, Кинросс,
Лохкаррон, Лохлигелли...

(Обращаясь к афише.) Целительство — исцеление верой, я никогда этого не понимала, никогда. Я пыталась. Поначалу я очень старалась — я стремилась относиться к этому со всей возможной строгостью мысли, как сказал бы доктор. Но я даже не приблизилась к пониманию этого... дара, ремесла, таланта, искусства, волшебства — чем он там ни обладал, того, что определяло его естество, что, так сказать, составляло его сущность. И, вероятно, потому, что в *этом* была его сущность и она от меня ускользала, я относилась к его дару настороженно. Конечно, настороженно. И он это знал. Поистине, если бы Фрэнк, лишившись дара, ка-

ким-то чудом мог остаться Фрэнком, я бы с радостью отняла у него этот дар. И он это тоже знал — ох, как хорошо он это знал. В его извращенном уме моя настороженность была равноценна предательству. Вот что я сделала: я научилась — я научилась не вникать, я старалась держаться в стороне. И некоторое время, как мне казалось, это устраивало нас обоих: мы сохраняли нейтралитет. Но с течением времени, особенно в последние годы, когда он стал еще раздражительнее и грубее, он начал воспринимать мою отстраненность как нечто обидное, даже враждебное — или делал вид, что так считает, понять его до конца было невозможно, — и принялся втягивать меня в кошмарную распрю, что шла у него с его даром. И тогда мы начинали рычать друг на друга, и рвать друг друга в клочья, и говорили слова, которые вообще не следовало говорить, слова, медленно отравлявшие нашу жизнь. Когда талант не изменял ему, он бывал менее агрессивен — излечив кого-нибудь, он удовлетворялся позерством, насмешками: "И что обо всем этом думает корифей юриспруденции? Просто жулик, правда? Ведь это просто иллюзия, да?" А я делала вид, что не слышу, и начинала убирать стулья или снимать афишу. Но если у него ничего не выходило — а в последние два года, по мере того как росло его отчаяние, это случалось все чаще, — он бросался на меня, как если б я была виновата в его неудаче, и кричал: "Ну что, мисс О'Двайр, сегодня вечером вы превзошли саму себя, правда? Блистательный вечер для законников, да? Ах ты мстительная, злобная сука". Я начинала защищаться. И мы буквально разрывали друг друга на части.

Как только открывались двери, я занимала свое место — за столом, если в зале был стол, или же с подносом на коленях. Потому что иногда они платили при входе, и порой гораздо больше, чем могли себе позволить, может быть, потому, что надеялись расположить к себе Фрэнка. Там я и оставалась сидеть в течение всего вечера и собирала деньги, что они оставляли при выходе.

А когда все рассаживались, *все*! — зачастую людей приходило не более полудюжины, Тедди заводил пластинку, старую, шипящую пластинку с записью песни "Незабвенный облик твой". Я умоляла Фрэнка сменить запись, найти что-нибудь другое, хоть что-нибудь. Но он отказывался наотрез. Песня должна была оставаться той же. "Мне она нравится, — говорил он, — и к тому же она сбивает их с толку".

Потом выходил Тедди и делал объявление.

А потом появлялся Фрэнк.

Жаль, что вы его не видели. Нет, он не был красив. Красивым назвать его нельзя. Но, когда он выходил к этим людям, шел между ними, дотрагивался до них, в нем — хотя часто он бывал полупьян — ощущалось... величие. Я сидела там, смотрела на него и часто говорила себе, просто не могла сдержаться: "Ах ты счастливица". Да, это так, это правда.

Она садится и наливает виски.

Я не хотела возвращаться в Ирландию. И Тедди не хотел. Но он настаивал. Он уже много месяцев был в плохой форме, и, хотя не говорил этого — он бы никогда не признался, — я знала, что он втайне надеялся, будто Ирландия вновь его наэлектризует, может быть, даже возродит его.

Потому что в тот год он словно потерял связь со своим даром. Конечно, он слишком много пил, и пропускал выступления, и затевал драки с незнакомцами — припирал кого-нибудь к стенке в пабе и хвалился, что может творить чудеса, а над ним потешались. Или же просто лежал на полу фургона — теперь мы большую часть времени жили в фургоне, — дни напролет лежал в фургоне, ничего не ел, не произносил ни слова.

Но главная беда была в целительстве. Не то что он не старался, мне кажется, старания тут вообще ни при чем, напротив, он старался слишком сильно, из кожи вон лез, и обычно ничего не происходило, совсем ничего. Как раз за несколько недель до возвращения, в Килмарноке он встретил в винном магазине старуху и сказал ей, что может излечить ее от артрита. Он попытался. И не сумел. В прежние годы он о ней бы и не вспомнил. Но эта старуха стала для него наваждением: он разузнал, где она живет, снова и снова приходил к ней домой, пока наконец ее зять не вышвырнул его вон и не пригрозил ему полицией.

Так, в последний день августа мы переправились из Странрара в Ларн и всю ночь ехали в графство Донегол. Там мы остановились в пабе, по сути, в небольшой гостинице с первоклассным баром, у въезда в деревушку Баллибег, недалеко от городской черты Донегола. *(Снова приходит в движение.)* Странно, что тот вечер начался так хорошо. Помню, как я смотрела на него и думала: да, интуиция его не обманывала, здесь он оживет — он был такой безмятежный, такой обаятельный, он ведь мог очаровать каждого, если только хотел. Он даже пил спокойно, не заглатывая первые три-четыре стакана, будто это только предисловие. Он дружески болтал с хозяином — об урожае, о рыбалке, о туризме. Даже представил меня как свою жену — Боже мой, уже это должно было меня насторожить.

В зале сидела группа молодых людей, пятеро, все местные, они как раз возвращались со свадьбы друга. А один из них, самый молодой, был в кресле-каталке. Они устроились в уголке, и видно было, что они не хотят, чтобы им мешали. Когда я увидела, что он направляется к ним, мне стало неспокойно. Не знаю, что он такое им сказал, но они вдруг заулыбались и стали пожимать ему руку, а потом все переместились в центр зала, и он подозвал меня, и мы сели в круг, один из парней заказал выпивку, к нам присоединился хозяин, и мы болтали, смеялись, рассказывали истории и пели песни. Где был Тедди? *(Вспоминая.)* Да, он тоже был там, сидел чуть поодаль, слегка пьяный и немного озадаченный. Все начиналось так весело, так счастливо — да, счастливо, счастливо, счастливо! Счастливы были молодые люди. Я была счастлива. И Фрэнк, да, да, я знаю, тоже был счастлив. А потом как гром среди ясного неба — мы говорили об азартных играх — Фрэнк вдруг наклонился к одному из свадебных гостей, к парню по имени Донал, и сказал: "Я могу вылечить твой палец". И сказал он это так буднично, так естественно, как если бы просил стакан воды. Так естественно, что остальные даже не расслышали ничего и продолжали болтать. Тогда он схватил и зажал скрюченный палец между ладонями, и легко помассировал его, и отпустил, и палец стал прямой, и он тут же повернулся ко мне, и с ледяной, торжествующей, театральной улыбкой произнес: "Это только начало".

И я сразу поняла, я нутром почуяла, что еще до рассвета он попробует свои силы на калеке.

Так он и сделал. Да. Снаружи, во дворе. Я смотрела из окна второго этажа. Но это случилось гораздо позже, перед самым рассветом. А до того, весь остаток ночи, пока остальные напивались до помешательства, он сидел недвижно и очень тихо, полуприкрыв глаза, но ни разу, ни на мгновение не оторвал взгляда от инвалида.

Прежде чем они вышли во двор — было уже почти утро, — я схватила его за локоть. "Ради Бога, Фрэнк, пожалуйста, ради меня". Он посмотрел на меня, нет, не на меня, не на меня, а куда-то мимо, в сторону, посмотрел из глубины этих проклятых, исполненных милосердия глаз. Я для него не существовала...

Аберардер, Кинлохберви,

Аберайрон, Кинлохберви,

Инвергордон, Кинлохберви... в Сазерленде, на севере Шотландии...

(Говорит механически.) Но мне *действительно* лучше. Я *действительно* стала лучше владеть собой. Я измеряю степень своего выздоровления по количеству часов сна, и по количеству выпитого, и...

Господи, как плохо, Боже, как же мне плохо, как же я хочу, чтобы открылась дверь, и этот человек вошел в комнату, и подошел ко мне, и закрыл мне лицо своими белыми руками, и усмирил бушующий во мне мятеж. Боже мой, я тоже одна из его выдумок, но мне необходимо, чтобы он поддержал меня в этой жизни. Господи, не знаю, смогу ли я прожить без его поддержки.

Свет медленно гаснет.

Акт третий
Тедди

Мы видим Тедди на сцене. Ему, вероятно, больше пятидесяти, но сказать это с точностью нельзя, потому что присущая ему, как человеку сцены, живость и дерзкая самоуверенность скрадывает возраст.

На нем галстук-бабочка, клетчатая рубашка, мужская домашняя куртка и тапочки.

Он сидит у стола — у того же столика, что был на сцене во втором акте. Только у Тедди более удобный стул, чем у Грейс. Он слушает пластинку с записью песни "Незабвенный облик твой" в исполнении Фреда Астера — проигрыватель очень старый, пластинка заигранная.

Иногда, во время монолога, он подходит к запирающемуся шкафчику, вроде больничного, где держит бутылки с пивом. Рядом со шкафчиком — пустая корзина для собаки.

Афиша висит так же, как в первом и втором актах.

Тедди сидит с закрытыми глазами, откинув голову, вслушиваясь в музыку.

В стужу, в час тоски ночной,
Когда мир застыл,
Станет вдруг тепло...
Мне — утешенье
Незабвенный облик твой.

В конце первого куплета он открывает глаза, видит, что его стакан пуст, идет к шкафчику, достает бутылку пива и снова садится. Отпивая из стакана, Тедди вторит строчкам песни:

Свет мой, сохрани
Нежную красу,
Сбереги ее, ведь
Так мне дорог
Незабвенный облик твой.
Мм, мм, мм, мм,
Незабвенный облик твой.

Ну как вам, а? Фред Астер. Фантастика, правда? Фредди, он один из лучших. Просто фантастика. Весь день могу это слушать. *(Поет.)* "Незабвенный облик твой...." Грейси настояла на том, чтобы мы сделали это нашей музыкальной темой. И знаете почему? Ему бы она не созналась, а мне сказала. Потому что эта песня была популярна в тот год, когда они с Фрэнком поженились. Можете себе представить? Конечно, прошло много лет, она и позабыла. А он, конечно, так и не узнал, почему песня стала нашей темой, может быть, думал, что у меня извращенное воображение. В конце концов они оба стали обвинять меня, будто *я* выбрал эту песню! Но, честно говоря, к тому времени она мне и самому полюбилась. В любом случае других пластинок у нас не было, поэтому я оставил все как есть. Бедный Тедди, он один из всей троицы понимал ее романтическое значение. Сердце мое, вот что я вам скажу — проживите жизнь на сцене и станете философом.

Но ведь мелодия фантастическая, правда? Вспомните всех великих артистов — старого Фредди, Лили Ленгтри, сэра Лоренса Оливье, Гудини, Чарли Чаплина, Грейси Филдс... Задавались вы вопросом, что их вывело на самый верх, что у всех у них общего? Ладно, скажу сам. Три вещи. Первое — у них в-о-о-т такое честолюбие. Так? Второе — у каждого из них талант, сногсшибательный и неповторимый. Есть только один сэр Лоренс, так ведь? Третье — у них у всех голова пустая. Думаете, я шучу? Я точно вам говорю. Они знают, конечно, что обладают чем-то фантастическим, они не настолько глупы. Но вот чем именно они обладают, как они это делают, как это действует, в чем сногсшибательность их дара, что все это значит — верьте мне, они этого знать не знают, да им и наплевать, а если б это их и заботило, им ума не хватит, чтобы разобраться.

Давайте я расскажу вам о двух своих собаках. Ладно? Одна из них, белый пудель, была потрясающей, то есть я хочу сказать, эта собака знала, о чем вы думаете, еще до того, как мысль приходила вам в голову. Знаете, что она делала вечером перед моим приходом домой? Она включала электрический камин, опускала занавески и приносила к моему стулу тапочки и бутылку пива. Но поставьте ее перед зрителями — все, раскисала сразу, ничего не могла сделать. Так вот. Теперь другая собака. Это был гончий пес. Может, вы его помните — Роб Рой, по прозвищу Дудочник?

Краткая пауза.

Ну, уже порядочно лет прошло. Короче, фантастический был пес. Только скажите мне, сколько раз в жизни вам выпадала удача послушать гончего кобеля-трехлетку, который исполняет на волынке "Выходи в сад, Мод", а потом, *на бис*, еще и "Plaisir d'amour"[1]? Так? Согласны. Сногсшибательный талант. Честолюбие? Он вечно репетировал, я не мог заставить его замолчать. Утром, днем и вечером он сидел и дудел в эту чертову штуку, а мехи надувал задней лапой — он бы всю ночь играл, не останавливай я его. Ради того и жил — чтобы быть первым. Ну а в голове что? В голове у него что-нибудь было, у этого пса? А я вам скажу. У меня он прожил четыре с половиной года, пока не сдох от легочного... истощения. И за все время пес этот имени своего не выучил! Я вам правду говорю. То есть если не считать музыкального таланта, пес этот, по человеческим понятиям, был умственно неполноценным. Просто дегенератом, сказать по правде. Положим, я ушиб ногу и говорю — "Черт!" — кто, как вы думаете, бежит ко мне, виляя хвостом? Поневоле станешь философом, скажу я вам.

Приведу другой пример. Один из лучших номеров в моей карьере импресарио — Мисс Мулатка и ее Голуби. Видели когда-нибудь эту детку? Знаете, что она делала, эта детка? Клянусь Богом, это правда, она умела ворковать по-голубиному! Клянусь. На чистом голубином языке. Эта детка рассовывала своих голубей по всему залу — одних здесь, других там, третьих аж вон там. А потом становилась в центре сцены и начинала говорить с ними — целые тирады на голубином языке, я вам показать не смогу, я и по-английски-то не очень, — голубиная речь лилась из нее рекой. И вдруг все эти птицы — их было сто двадцать, я точно знаю, по шесть в коробке, двадцать коробок, тогда мне и пришлось купить фургон, — все эти рассованные по залу птицы выпархивали из своих укрытий, слетались к ней и окружали ее на сцене, как снежная буря. Фантастика. Можете такое вообразить? Можете вообразить, что она обращалась к каждой из этих ста двадцати птиц, при том что все птицы, может быть, говорили на разных языках? Однажды я спросил ее: "Мэри Бриджид, — сказал я, так ее звали, Мэри Бриджид О'Доннел, — что ты им говоришь?" А она тряхнула головой и ответила: "Кому говорю? Откуда мне знать, что я им говорю, Тедди? Я просто издаю звуки". Понимаете?

Стучит по темени.

Ничего. Пусто. Но какой талант! Какая артистка! И еще одно: когда птицы вдруг все перемерли той зимой, в 1947-м, — все сразу, вот так, за сутки, мы тогда были в Кру, ветврач сказал, что это эпидемия лишая, — да, после того как птицы перемерли, Мэри Бриджид больше не выступала. Мне сдается, это было словно... словно кто-то сел на скрипку Иегуди Менухина и раздавил ее. Боже мой! Черт бы побрал этих артистов!

Тедди выбрасывает пустую бутылку и напевает.

1. "Радости любви" *(франц.)*.

Ведь ты прекрасна
И лицом светла,
Твоя кожа — шелк.
В целом мире один он остался —
Незабвенный облик твой...

Вот что я вам скажу. Если вы думаете сделать карьеру в шоу-бизнесе, я вам кое-что скажу, это совет бесплатный, но дорогого стоит, то было мое единственное правило, выработанное за годы профессиональной деятельности, — так вот, если вы собираетесь работать с великими артистами, то ваши отношения должны быть сугубо деловыми. В глубине души вы можете любить их или ненавидеть. Не имеет значения. Ваш клиент делает свою работу, вы — свою. Короче, вы дополняете друг друга. Но стоит вашим отношениям перерасти в дружбу или привязанность, как, поверьте, душа моя, все пропало. Единственное правило, которого я всегда придерживался: друзья есть друзья, работа есть работа, и, как сказал поэт, вместе им не сойтись. Так? Так. *(Показывает на афишу.)* Он? Нет, он не был великим артистом. Нет, конечно. Он был всего лишь посредственным артистом. В лучшем случае. Поверьте мне. Кому, как не мне, это знать? Разумеется, у него был талант. Талант? Таланта у него было больше, чем... слушайте меня, таланта у него было больше, чем... И мозгов тоже? Мозгов! Все, что было у этого чертова болвана, — это мозги! Боже милосердный, мозги! И что это ему дало, спрашиваю я вас, что ему от этих чертовых мозгов? Они его оскопили. Вот, сучье вымя, что они с ним сделали. Сдали его на живодерню! Ну и с чем приходится иметь дело? С фантастическим талантом, черт дери, у обладателя которого честолюбия ни на грамм, так как его оскопили его же сучьи мозги! Скажите мне, ну скажите же, мне правда хочется знать, как работать с таким клиентом, как жить с ним бок о бок? Что делать с таким артистом? *Скажите* мне! Не знаю! Я так и не научился! Господи Боже, неудивительно, что у меня язва!

Пауза. Тихим голосом.

Но когда мозги оставляли его в покое... Когда он был в форме...

Вспоминаю один вечер. Дело было в Уэльсе. В деревне Лланблетиан. В старой методистской церкви, которую мне сдали за десять шиллингов. За неделю до Рождества.

У нас ни гроша. Фрэнк сидит уже на двух бутылках виски в день. Он и Грейси жутко разругались, и она куда-то исчезла. А у меня в кармане куча неоплаченных счетов.

Так. Восемь вечера. Я открываю двери. Нельзя сказать, что публика сбивает меня с ног. Говоря по правде — никого. Ни души. Боже. И еще снег пошел. Я закрываю двери. У Фрэнка такой вид, будто он вот-вот умрет. Руки и плечи трясутся от лихорадки. "Достань мне выпить", — говорит он. Я притворяюсь, что не слышу. Двери распахиваются. Толпа народу? *(Качает головой.)* Грейси. "Где гений? — кричит она. — Я пришла увидеть великого ирландского гения. Где он?" Он ее слышит и орет: "Вышвырни отсюда эту суку! Вышвырни отсюда эту суку!" — "Ах, так он здесь, правда? — говорит она и добавляет безумным, деланным голосом: — Врачу, исцелися сам!" — "Вон! Вон!" — орет он. "Гений!" — кричит

она. "Вон! Вон!" — "Гений!" Их голоса прокатываются под церковными сводами, отскакивая от огромных, грязных дубовых балок... Боже мой, скажу я вам, Боже мой...

Наконец — должно быть, уже почти девять, мы собираемся уезжать, — двери открываются и внутрь входит десять человек. Подробностей не помню. Среди них двое детей, это я помню, у одного огромный нарост на щеке. И еще женщина на костылях. И другая женщина, с кричащим младенцем на руках. И парень в темных очках и с белой тростью, ну, как у слепых. Еще пятеро или шестеро — не помню, кто именно, я же не знал тогда, что́ это будет за вечер, правда? Ах да, пожилой человек, фермер, хромой, его вела дочь. Все они садятся. Я исполняю свой долг: дамы и господа, и так далее, и тому подобное. Потом подхожу к Фрэнку и говорю: "Ну, Фрэнк?" А он очень медленно выпрямляется, и, когда я вижу его лицо, мне кажется, что его сейчас стошнит. Но он мне не отвечает и медленно, как бы это сказать, проплывает мимо меня, идет к ним и смешивается с ними.

Тедди медленно наливает остаток пива в стакан. Делает глоток.

Могу сказать только то, что это было... Нет, я не прошу вас поверить в то, что там произошло. Не хочу никого обидеть, но, сказать по правде, мне все равно, поверите вы мне или нет. А дело в том, что в тот вечер, в старой методистской церкви в деревне Лланблетиан, что в уэльском графстве Гламорганшир, исцелились все. Все десять. Все выздоровели. Я и раньше видел, как он делает фантастические вещи, но никогда в таких масштабах. Никогда. И вот что еще забавно: никто не кричал, не ликовал, не прыгал от радости, ничего подобного. Даже слов почти никаких не было. Будто он не только избавил их от болезней, но и сообщил каждому из них чувство величайшего спокойствия. Звучит глупо, правда? Но так мне показалось.

А когда он закончил, все поднялись и стали пожимать ему руку, один за другим, очень официально. А старый фермер, тот, хромой, которого привела дочь, сказал краткую речь. Он сказал — с уморительным валлийским акцентом, мне его не передать, — он сказал: "Мистер Харди, пока в Гламорганшире живут люди, вас здесь будут помнить". Он сказал это так, что не поверить было невозможно. А "Гламорганшир" прозвучал так, будто это "целый свет". Потом вытащил бумажник и положил его на стол со словами: "Надеюсь, сэр, вы не обидитесь". И они все вышли.

Краткая пауза.

Да, это был великий день. То есть мы были потрясены — Грейси, я, сам Фрэнк. Мы просто стояли и смотрели друг на друга. То есть десять человек, всего за несколько минут. Он точно помешался от радости. Бросился обнимать меня. Расцеловал в обе щеки. Подбежал к Грейси, схватил ее, поднял на руки и стал кружить ее вдоль прохода между рядами. Они пели во весь голос "Свет мой, сохрани", пели и пытались танцевать, пели и покатывались со смеху. А потом он распахнул двери, они выбежали на улицу и стали петь и танцевать на снегу. Ну и парочка! Господи, ну и парочка! Словно дети. Ну дети, право слово. Я услышал, как

зафырчал мотор фургона. Но когда я выбежал из церкви, их и след простыл. Вот так. Четыре дня от них ничего не было. Оказывается, они отправились в какой-то роскошный отель в Кардиффе и жили там, пока в карманах не стало пусто. Ну точно дети. Легкомысленные. Нет чтоб подумать о завтрашнем дне. Но без злого умысла, без всякого злого умысла. Все-таки при таких стесненных обстоятельствах — пожалуй, бездумные. Вообще-то их можно понять, после такой-то ночи, правда? Просто немного бездумные — вот и все.

Не переставая говорить, он подходит к шкафчику за очередной бутылкой.

Да, какая все-таки необычная пара. Господи, какая необычная пара. Я хочу сказать: прожить вместе бóльшую часть жизни и так жестоко ссориться. То есть засаживать нож по самую рукоятку. Никогда этого не понимал — почему двое людей так себя изводят? Случай для психоаналитика, верно? Конечно, они могли разбежаться в разные стороны. Почему не разбежались? Ох, не спрашивайте меня. Боже мой, почему я не оставил их и не нашел что-то попроще и поприятнее, ну, свистящего дельфина, например? Чего они, собственно, ссорились? Можно сказать, ссорились они потому, что ему в конце концов нужна была только его работа — и это правда. А можно сказать, ссорились они потому, что ей в конце концов нужен был только он — и это, наверное, тоже правда. Но когда вы пытаетесь связать одно с другим, получается, как бы сказать, полуправда, понятно я говорю?

Можно, наверное, сказать и по-другому: артист вообще не должен жениться. Я и такое слышал. И после большой карьеры я как импресарио склонен заключить, что тут содержится вполне рациональное зерно. Вспомним хотя бы моего Роб Роя, Дудочника. Только подумайте, какое бы я мог сколотить состояние, ведь моего кобеля знала вся округа. На плате за случку. Все в очередь выстраивались со своими суками. Выстраивались в сучью очередь. Предлагали по двадцать фунтов за раз. Я думал, что сижу на золотой жиле. Знаете, что я сделал в предвкушении богатства? Поставил надгробие на могилу своей матушки — из черного каррарского мрамора, высотой в пятнадцать футов, с гравировкой золотом. Обошлось в двести четырнадцать фунтов. Так, и что же происходило каждый раз? А я скажу. Я вхожу в комнату с очень красивой и чувственной гончей сукой. Он только что закончил репетировать и теперь лежит в корзине, переводя дух. Я ему говорю: "Посмотри на нее, старина Роб. Ну кто тебе еще нужен, а?" Но он капризный — даже глаз не поднимает. А сучка, она вращает белками, и вся дрожит, как чертовка-цыганка. "Ну давай, мальчик, — говорю, — давай же, давай. У тебя отличная подружка". И что он делает всякий раз? Поднимается. Широко зевает. И потом вдруг — вот так! — прыгает, чтобы вцепиться ей в горло! В ее сучье горло, черт побери! Пытается разорвать ее в клочья! Он, конечно, глуп, но не настолько! Он прекрасно знает, к чему все это! Уж поверьте — знает! Боже мой, в иные дни у него так слюнки текли от похоти, что я не смел повесить на него чертову волынку! А посмотрите, что он делает, когда ему на блюдечке подают лучших в стране сук, и каждая только его и ждет! Пытается вцепиться ей в глотку и одновременно осквернить память моей матушки! Ох, боже мой, артисты! А вы говорите!

Собирает со стола пустые бутылки и выбрасывает их в мусорное ведро. При этом не перестает говорить.

Взлеты и падения, потери и удачи, вверх и вниз, разве не так?

И если вечер в Лланблетиане стал одним из наших триумфов, то неделя, которую мы провели в той деревеньке, в Сазерленде, оказалась самой горькой. Для Грейси. По крайней мере для Грейси. Да и для меня, думаю, тоже. С тех пор уже много лет прошло. Примерно тогда он начал пить не просыхая. Так или иначе, мы были на севере, в Шотландии — как же называлась та деревенька? Инвербуи? Инверберви? Кинлохберви? Именно! Кинлохберви! Очень маленькая, на краю света, на самом севере Сазерленда, севернее в Шотландии и ехать некуда, с видом на остров Льюис в Гебридах.

Эта деревня всегда у меня перед глазами — такая, какой мы ее увидели. Мы взобрались по длинному, крутому склону, тонувшему во влажной мгле, и, наконец, стали на вершине холма. А там внизу, в долине лежала Кинлохберви, купающаяся в лучах солнца. Мы уже месяц не видели солнца. А тут эта фантастическая деревенька у самого моря — синяя, и белая, и золотая, искрящаяся, ну просто небесная. А Грейси поворачивается ко мне и говорит: "Тедди, здесь родится мой малыш". Хотя до родов у нее оставалось еще три недели. Но она оказалась права. Именно там ребенок и родился.

Так. Мы спускаемся в долину, и милях в двух от деревни передний мост — ттрах! — летит к чертям. Здорово. Фрэнк лежит сзади в отключке. Так что я оставляю Грейси греться на солнышке у каменной стены и пешком тащусь в Кинлохберви за помощью.

Это было утро четверга. В следующую пятницу мы все еще там, все еще ждем местного рыбака по имени Кемпбелл, который ушел в море на траулере, ждем потому, что он единственный местный, у кого есть трактор, а мы зависим от его матери, которая, как оказалось, глуха как пень, ждем, чтобы она убедила его, когда он вернется, чтобы он оттащил нас за тридцать пять миль, в другую деревню, где живет кузнец, но есть опасность, что кузнеца тоже не будет дома, так как сестра его, Энни, выходит замуж за почтальона из Глазго, и кузнеца, может статься, позовут на свадьбу шафером. В общем, обычная история. *(Кричит.)* "Душа моя, ты уверена, что этот кузнец сможет починить передний мост?" — "Ах, Энни, рослая, сильная, кареглазая красавица".

Так. Делать нечего. Денег, как обычно, кот наплакал, так что Грейси и Фрэнк спят в фургоне, а я — в поле неподалеку. Я не против — погода стоит прекрасная. Проходит суббота — Кемпбелла нет. Проходит воскресенье — Кемпбелла нет. А вечером в воскресенье... она рожает.

Очень медленно он достает новую бутылку, открывает ее, наливает пиво в стакан. При этом напевает сквозь зубы первые строки песни "Незабвенный облик твой". Потом говорит, внезапно закипая гневом.

Боже мой, надо признать, что во многом он вел себя как мерзавец! Я знаю, что он сильно пил, — я знаю, я все это знаю! Но, бога ради, взять и уйти, когда твоя жена вот-вот разродится твоим ребенком, да еще где-то в чертовой глуши, то есть сделать это нарочно, это ведь злонамеренность, правда? Сомнений тут никаких, сердце мое: он сделал это умыш-

ленно, он сделал это намеренно. У нее начались схватки, я иду за ним и вижу, как он подымается по склону холма. Я его зову и знаю, что он меня слышит, но он не отвечает. О, Христе, где-то глубоко в этом человеке гнездился убийца.

Пауза. Он отпивает из стакана, ставит его на стол и смотрит на него.

Не знаю... Не знаю, как мы справились. Боже, как вспомню об этом... Она лежит на моем старом плаще в кузове фургона... кричит, зовет его... и вся эта кровь... Она бьет ногами... босые ноги упираются мне в плечи... "Фрэнк! — кричит она. — Фрэнк! Фрэнк!" А я говорю: "Родная моя, он идет, он идет, родная моя, он на подходе, он вот-вот будет здесь..." А потом это — это мокрое крохотное нечто с черным лицом и черным тельцем, крошечное, совсем маленькое... мальчик это был...

Пауза.

А после она была фантастической, просто потрясающей. Она держала его на руках, просто сидела у края дороги, спиной прислонившись к каменной стене и вытянув ноги, просто сидела на солнце и смотрела на него. А спустя примерно полчаса сказала: "Теперь, Тедди, надо его похоронить". И мы пошли в поле, мне пришлось отгонять увязавшихся за нами коров, и я вырыл яму, и положил его туда, и засыпал яму землей. Она спросила, не прочитаю ли я молитву над могилой, а я сказал, конечно, родная, разумеется. Но поскольку я человек не очень набожный, я не знал слов на память. Поэтому я просто сказал, что это ребенок Фрэнсиса Харди, целителя, и его жены, Грейс Харди, граждан Ирландии, и что здесь, в Кинлохберви, в Сазерленде, их ребенок упокоился, и да смилостивится Бог над всеми нами.

Все это время она стояла очень тихо и спокойно. А когда эта небольшая церемония завершилась, она обхватила мою голову руками, притянула к себе и поцеловала в лоб. Только один раз. Поцеловала в лоб.

Тем же вечером я смастерил крест, покрасил его в белый цвет и водрузил над могилкой. Может быть, он все еще там. Как знать. Милях в двух к югу от деревни Кинлохберви. В поле, по левую руку от дороги, если ехать на север. Может, он все еще там стоит. Почему нет? Кто знает?

Пауза.

Он вернулся в отличном расположении духа, перед самыми сумерками. Ох! Да, трезвый как стеклышко, такой весь подтянутый, чуть загоревший, самоуверенный. Вернулся и стал обсуждать со мной планы — стоит ли нам переправиться на Гебриды, или, может быть, на восточное побережье, или подумать о поездке еще дальше на север, теперь, когда установилась хорошая погода, — в общем, говорил только о делах, на которые ему всегда было наплевать. Он казался таким собранным, что некоторое время я думал... Я думал: Бог мой, он не знает! Он действительно не знает! Но потом вдруг, посреди обсуждения этих грандиозных планов, я увидел, как он косится в сторону фургона, пытается заглянуть внутрь. Не то что он мог что-нибудь там увидеть — я все уже вымыл и вычистил, — но по тому, как он смотрел туда, не переставая говорить, я по-

нял, что он знает. И не просто знает, а знает все, до мельчайших подробностей. И хотя он не умолкал ни на секунду, как-то необычно глядя на меня в упор, я понял и то, что — ох, не знаю, как это выразить, — у меня создалось впечатление, что — учитывая, какой он был человек, — одним словом, мне показалось, нет, я точно *знал*, что он *вынужден* говорить без остановки, потому что он пережил все то же, что пережила она, и теперь он... может рухнуть на землю без сознания. Да-а. Забавно, правда? И много раз после этого мне виделось, как он идет вверх по склону холма тем воскресным днем, будто спешит на какую-то важную встречу, идет скорым шагом, опустив голову и делая вид, что не слышит моего оклика. И я думаю, что, может быть... конечно, он сделал это умышленно, я не отрицаю... но, учитывая, какой он был человек, и этот его странный дар, я думаю, что, может быть, он должен был по-своему смотреть на вещи...

Ну, не знаю. Не мое это дело, правда? Не моя забота, слава богу, если только это не касается выступлений. Послушайте, я дам вам бесплатный совет, душа моя, но он дорогого стоит — это *единственное* правило, которого я всегда придерживался: друзья есть друзья, а работа есть работа, и вместе им не сойтись, как сказал поэт. Так? Так.

Он медленно идет в глубь сцены со стаканом в руке и останавливается у афиши. По ходу он тихо напевает строки: "В стужу, в час тоски ночной, Когда мир застыл". Потом читает.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФРЭНСИС ХАРДИ. ЦЕЛИТЕЛЬ. ТОЛЬКО ОДИН ВЕЧЕР. Хорошая афиша, правда? Целую жизнь посвятил сцене — и это единственное, что у меня осталось. Факт. Знаете, говорят, что некоторые люди нашей профессии все в дом тащат: газетные вырезки, афиши, объявления, фотографии. Но это не для меня. Я имею в виду, что надо быть реалистом, понимаете, жить в настоящем. Взять, например, сэра Лоренса — вы думаете, он целыми днями рассматривает старые альбомы? Нет, на это у нас нет времени. Уж поверьте, я изведал вкус славы и благодарен за это судьбе. Но соловья, как говорится, баснями не кормят, так?

Только представьте себе, сердце мое, что эту афишу чуть не выкинули на помойку! То есть ее-таки выкинули — я случайно заметил ее в куче вещей, которые домовладелец Грейси вынес на улицу, чтобы их забрал мусорщик. Я сразу приехал к ее дому из Паддингтона, из морга, полицейский дал мне адрес. Вот я иду вдоль улицы, ищу дом номер 27. И натыкаюсь на афишу, она лежит у крыльца, где ее оставил домовладелец. Если бы шел дождь, она бы размокла, понимаете? Но она лежала там почти как новая. И только я ее поднял, как проходящий мимо человек, прилично одетый, говорит мне: "Как вы смеете покушаться на частную собственность, сэр!" *(В бешенстве.)* Я поймал его за шиворот, поднес к носу кулак и сказал, я сказал ему: "Еще раз разинешь пасть, блядский выродок, еще только раз разинешь свою вонючую пасть, я тебе морду сверну!"

Пауза. Он замолкает и пытается взять себя в руки.

Простите. Но я просто обезумел от ярости. Только полчаса назад этот полисмен привез меня в Паддингтон, и у меня еще шок. И потом всего

год прошел после событий в графстве Донегол: после той ночи в баллибегском пабе, а потом длительного ожидания суда над этими чертовыми ирландскими головорезами, и никто в зале суда не понимает ни черта из того, что я говорю, — им пришлось вызвать переводчика, чтобы тот объяснил судье по-английски, что говорит единственный в комнате настоящий англичанин! О Боже!

Я как раз отхожу от всего этого, как однажды утром заявляется сюда этот полицейский, как раз когда я бреюсь, я открываю дверь, а он спрашивает мое имя, и я говорю ему, а он говорит, что я должен немедленно ехать с ним в Паддингтон...

Он осекается и долго смотрит в зрительный зал. Потом продолжает.

Вот что я вам скажу — почему бы мне не вернуться на год назад и не рассказать вам сперва о той ночи в Баллибеге? Почему бы нам не поступить так? Почему нет?

Он достает новую бутылку, открывает ее, наливает пиво в стакан.

Был последний день августа: мы переправились из Странрара в Ларн и всю ночь ехали в графство Донегол. Там мы остановились в пабе, по сути, в небольшой гостинице с первоклассным баром, у въезда в деревушку Баллибег, недалеко от городской черты Донегола.

Он отпивает из стакана и ставит его обратно. Пауза.

Знаете, какой была та ночь в Баллибеге? В том пабе? Знаете, как я провел ту ночь? Всю ночь я просто смотрел на них. На мистера и миссис Фрэнк Харди. Сидящих рядышком. Они вместе и в Ирландии. Дома, в Ирландии. Спокойных. Непринужденно беседующих. Смеющихся. И мне показалось, что я вижу их впервые за много-много лет — нет, не вижу, а *вспоминаю*! Смешно, правда? Я не имею в виду, что они были для меня незнакомцами — незнакомцами! То есть Фрэнк и Грейси, как они могли быть незнакомцами для *меня*! Но мне казалось, что я вижу их такими, какими они были когда-то, какими они *могли быть* все это время — без горечи, и размолвок, и проклятого фургона, и запаха примуса, и неоплаченных счетов, и грязных комнат, и попоек, и тех стычек, выше которых нам, похоже, так и не удалось встать. А в тот вечер они были такими, будто все это ушло, будто все это как отрезало.

Они сидели в центре большого круга в этом большом зале, и каждый хотел с ними говорить, и они говорили с каждым, а иногда обменивались репликами друг с другом и даже касались друг друга — просто и непринужденно.

Она сидела в кресле чуть подавшись вперед. Была оживлена, разговаривала со всеми сразу, смеялась. В красном платье. Убранные назад волосы перевязаны черной лентой. Как мне объяснить вам, насколько она была прекрасна?

Потом, уже около полуночи, кто-то сказал: "Может, ты споешь для нас, Грейси?" И так естественно, как будто она делала это каждый день, она встала и спела ирландскую песню под названием "Верь мне, если милые черты / На которые взираю я с любовью..." Черт возьми, я не хо-

чу сказать, что песня так называется. Это, черт возьми, почти весь первый куплет. Нет, не то что она потрясающе пела, вовсе нет. У нее, знаете ли, был очень тонкий, немного дрожащий голос, ну, как у десятилетнего ребенка. Но вот она встает в этом ирландском пабе, в красном платье, с убранными назад волосами... и поет... и смотрит на него. А мы все смотрим на нее. А песня — песня льется сама собой, мягко и печально, словно это не она ее поет, а песня существует отдельно от нее. А я сижу рядом, в сторонке, сижу очень тихо, очень прямо. И говорю себе: "О Боже, Тедди, мальчик... О Боже мой... Что же тебе делать?"

А потом я взглянул на Фрэнка, случайно бросил на него взгляд, — знаете, бывает так, посмотришь непроизвольно — и понял, что он пристально смотрит на меня. И его взгляд, выражение его лица были такими, как когда он точно знал, что вылечит сейчас какого-то человека. Не знаю, трудно объяснить, если вы никогда не видели. Это взгляд очень серьезный и сочувственный. Он означает две вещи. Во-первых, ничего не нужно говорить, я знаю, какой у вас недуг. Во-вторых, сейчас я излечу вас от этого недуга. Вот как он на меня смотрел. Он смотрел на меня так... где-то с полминуты. А потом отвернулся и стал смотреть на нее — и почти вынудил меня перевести на нее взгляд. И вот я вижу перед собой эту потрясающую женщину, которую очень люблю и которая замужем за человеком, которого я тоже очень сильно люблю, может быть, даже сильнее. Вот и все. Ничего больше. Вот и все. И этого достаточно.

И впервые за двадцать лет мне стало так хорошо — так хорошо, сердце мое, что я... Знаете, что я сделал? Я напился на радостях — надрался неспешно и намеренно. Кто-то, должно быть, отнес меня наверх, в кровать, потому что следующее, что я помню, это как Грейси колотит меня в грудь, как она кричит и рыдает: "Вставай, Тедди! Вставай! Случилось страшное! Случилось ужасное!"

Длинная пауза. Он приносит новую бутылку.

Я уже рассказывал вам об афише, как она валялась на улице у дома, где были меблирашки Грейси. Да, вот так. И как я приехал из Паддингтона, и как полицейский дал мне ее адрес. Точно, все это я вам рассказывал. Это случилось день в день через год после ночи в Баллибеге.

Ну вот. Я бреюсь. Стук в дверь. Этот полицейский. Спрашивает мое имя. Я ему говорю. Просит меня поехать с ним в морг в Паддингтоне, чтобы опознать тело. Какое тело? Тело дамы. Какой дамы, спрашиваю. А он говорит — миссис Грейс Харди. А я говорю, бросьте, она в Ирландии, я ее там оставил. А он говорит, что я ошибаюсь, последние четыре месяца она жила в Лондоне, в меблированных комнатах, дом номер 27 по Лаймвуд-авеню. Лаймвуд-авеню! Так вот здесь же Лаймвуд-гроув! Лаймвуд-авеню всего в четырех кварталах ходьбы отсюда. Я спрашиваю, и что же, она сейчас там, в доме на Лаймвуд-авеню? Нет, говорит он, она умерла, она в морге. А я говорю, вы, должно быть, ошибаетесь, полисмен. А он говорит, ошибки быть не может, она умерла от передозировки снотворного, и не буду ли я так добр и не поеду ли с ним для проведения официального опознания.

Итак, полицейский привозит меня в Паддингтон в своем фургоне — фургончик почти как наш. Только его фургон наверняка застрахован. Внутри все то же — два сиденья впереди: я за рулем, она рядом, а Фрэнк

сзади, сгорбившись, с бутылкой между коленями. Да, это была она, Грейси, никаких сомнений. Прекрасная. Господи, я и выразить не могу, как она была прекрасна.

А полицейский спрашивает: "Это Грейс Харди?" — "Да, — отвечаю, — это она". — "Вы хорошо ее знали?" — "О да, — говорю я, — нас двадцать с лишним лет связывали профессиональные отношения". Так и было, профессиональные отношения, правда? Ну, во всяком случае, ничего, кроме профессиональных отношений, так ведь?

Некоторое время он стоит, вглядываясь в зал. Потом уже никого не видит. Он садится на стул и заводит пластинку. После первых нескольких строк песни свет быстро гаснет.

Акт четвертый
Фрэнк

Афиша исчезла. На сцене только единственный стул, поверх которого наброшено пальто Фрэнка, ровно так, как он его оставил в первом акте.

Фрэнк стоит слева у рампы, там же, где мы его оставили.

В этой последней картине Фрэнк чуть менее отстранен, чем в первом акте, хотя назвать его взволнованным было бы неверно. Но что-то свидетельствует о несколько учащенном сердцебиении, о чем-то близком к волнению — возможно потому, что его мысли безо всякой видимой связи перескакивают с одного предмета на другой, а движения чуть более резкие, чем раньше.

Фрэнк *(глаза прикрыты)*:
Аберардер, Кинлохберви,
Аберайрон, Кинлохберви,
Инвергордон, Кинлохберви... в Сазерленде, на севере Шотландии...

Он открывает глаза. Очень краткая пауза. Затем, быстро оживляясь:

Но я вам об этом уже рассказывал, правда? Как мы отдыхали в Кинлохберви, когда я получил известие о смерти матушки? Да, конечно рассказывал. Все это я уже говорил. *(Приходит в движение.)* Живописное местечко, очень тихое, очень красивое, с видом на остров Льюис... севернее и ехать некуда... в Шотландии...

Он идет по сцене. Рыщет по карманам. Извлекает газетную вырезку, ветхую и поблекшую.

Я возил ее с собой годами. Вырезка из "Вест Гламорган кроникл". "Поистине необычайное событие произошло вчера в вечером, 21-го декабря в старой методистской церкви Лланблетиана. Странствующий ирландский целитель по имени Фрэнсис Хардинг..." Почему-то они так и не... *(Он презрительно передергивает плечами.)* "...излечил десятерых местных жителей от разнообразнейших недугов, в том числе от слепоты и полиомиелита. Нужно ли объяснять эти ошеломляющие случаи исцеления силой самовнушения или же господин Хардинг действительно об-

ладает силой внеземного происхождения...” Хорошее словечко, “внеземного”. “...мы установить пока не в состоянии. Однако наше предварительное расследование показывает, что тем вечером в Лланблетиане произошло нечто действительно из ряда вон выходящее”.

“Из ряда вон выходящее”... *(Смешок.)*

Не знаю, зачем я хранил ее так долго. Документальное свидетельство? Не думаю. Утешение? Нет, не то. Может быть... может быть, просто как удостоверение? Да, наверное, поэтому я ее и хранил. Эта заметка *удостоверяла*, кто я, хотя они и напутали с именем.

Да, то был *действительно* странный вечер. Один из редких вечеров, когда я мог, когда я смог бы сдвинуть горы. Десять человек, один за другим. И лишь один из них вернулся, чтобы поблагодарить меня, — старый фермер, хромой. Помню, наутро я сказал Грейси: “А где остальные девять?” — в шутку, конечно. Конечно, в шутку. Но она предпочла истолковать мои слова превратно, и мы снова поссорились.

Да, я таскал эту заметку с собой годами. Пока мы не вернулись в Ирландию. А тем вечером в пабе, в Баллибеге, я ее скомкал *(комкает вырезку)* и выбросил.

Я ни разу не видел отца Грейси, судью. Вскоре после того, как мы с ней сбежали, он написал мне письмо. Но я никогда с ним не встречался. Он писал — это единственное, что мне запомнилось, — он выразился так: “увлекли моего единственного ребенка на путь мерзкой софистики”. Я помню, что разозлился и швырнул ей письмо. А она прочла эту строчку вслух и с хохотом повалилась на кровать — она хохотала и дрыгала ногами, снова и снова повторяя эту фразу, наверное, для того, чтобы показать, насколько она мне предана. Помню, мне подумалось, как же молодо она выглядит и как жестоко смеется над отцом. Мой гнев уже утих, и я даже немного позавидовал этому человеку, который с такой уверенностью пользуется словом “софистика”.

Мне бы хотелось, чтобы у нас был ребенок. Но она была бесплодна. Так или иначе, жизнь, которую мы вели, едва ли подходила ребенку. А ведь у него мог быть дар. Возможно, он распорядился бы им лучше, чем я. Я бы ничего от него не требовал — ни любви, ни привязанности, ни уважения, — ничего подобного. Но я бы радовался, просто глядя на него. Да. Ребенок не дал бы соскучиться. Что такое клочок бумаги? Или те странные мгновения ужаса, благодарности, восхищения? Ничто, ничто, ничто...

(Оглядываясь.) Так всегда и было — убого, тускло, запущенно. Что бы там ни говорил Тедди, нас так и не пригласили в королевский дворец. И даже в загородный особняк. А было бы интересно, хоть раз — не из тщеславия, нет, нет, но чтобы понять, проявилось бы *это* в других условиях, просто чтобы убедиться, что не в отчаянии, не в самоотречении тех несчастных таилась сила исцеления. Да, было бы интересно.

И все же... и все же...

(Внезапно, скороговоркой.) Ни на секунду, ни на долю секунды меня не ввел в заблуждение тот теплый, товарищеский, почтительный, игривый, бесшабашно радостный и ностальгически родственный прием той ночью в пабе в Баллибеге. Нет, ни на секунду. Разумеется, я тоже держался дружелюбно. Естественно, я держался дружелюбно. Конечно, мне пришло в голову, что, может быть, наконец — что наконец? — произойдет воссоединение, слияние, вдохновенное открытие. Да, такая

мысль мелькнула. Но в ту самую минуту, как этот парень Донал погрозил мне проклятым скрюченным пальцем, иллюзии рассеялись. И я понял, я нутром почувствовал, зачем я им был нужен.

Аберардер, Кинлохберви,
Аберайрон, Кинлохберви,
Инвергордон, Кинлохберви...

На чем мы остановились? Ах да, Тедди ушел спать, а Грейси закончила уборку — я слышал ее шаги наверху. Ну, а свадебные гости отправились за Макгарви. В огромном, безвкусно украшенном зале остались только я и хозяин.

Я обошел зал несколько раз.

Я подумал о мирно спящем наверху Тедди. Может быть, я держался за него из чистого эгоизма, может, мне следовало отпустить его уже давно, много лет назад. Нет, сказал я себе. В своей преданности Тедди черпал силы. И, возможно, как раз теперь я лишаю его последнего оплота.

И еще я подумал о матери Грейси, о той нашей единственной встрече в Дублине, она как раз собиралась обратно в лечебницу. Мы обедали в ресторане, мы трое, Грейси, она и я. Она не проронила ни слова, пока Грейси не отошла заплатить по счету, а потом сказала: "Знаете, у меня больные нервы". Она чуть отвернула голову, но при этом смотрела прямо на меня и улыбалась. Я сказал, что знаю. Боялся, что она попросит меня о помощи. "Что вы об этом думаете?" Я выразил уверенность, что на этот раз ей станет лучше. "Знаете, есть вещи и похуже", — сказала она. Я сказал, что знаю. "Гораздо, гораздо хуже", — теперь она выглядела почти счастливой. "Посмотрите на ее отца — он помешан на порядке. Это хуже". Наверное, ответил я. "А Грейс — ей нужна преданность, и это еще хуже". — "Вы так думаете?" — спросил я. "А что нужно вам?" Но Грейси вернулась, прежде чем я успел ответить, и улыбка исчезла с ее лица, голова поникла. Я никогда больше не слышал ее голоса.

И еще я вспомнил — внезапно, безо всякой на то причины — тот день, когда отец взял меня с собой на лошадиную ярмарку в Балинасло. Все, что мне запомнилось из событий того дня, — это эпизод в пабе, уже после ярмарки. С нами пошел Имон Бойл, отцовский приятель. Они оба были навеселе. Бойл положил руку мне на голову и спросил отца: "Фрэнк, а кем станет этот молодой человек?" А отец широко улыбнулся и сказал: "Клянусь Иисусом, Бойл, ему непросто будет обойти своего папку!" И впервые в жизни я увидел, что во рту у него полно гнилых зубов. Помню, я устыдился того, что это заметит и Бойл. Просто случайное воспоминание. Так, глупости. Ничего особенного. Но тем вечером я почему-то об этом вспомнил.

И еще я подумал о первой большой ссоре с Грейс. Не помню, в чем было дело. Но помню точно, что мы тогда остановились в Норфолке, жили в переделанном под дом коровнике. Она присела у очага, пытаясь разжечь несколько сырых поленьев. Своих слов я не помню, но помню ее ответ: "Если ты оставишь меня, Фрэнк, я покончу с собой". Это не было помешательством — напротив, она была почти спокойна, даже улыбалась. Но по тому, как она посмотрела на меня, глядя прямо и слегка повернув голову, я понял — только тогда понял, — что материнского в ней больше, чем отцовского. И еще я понял, что должен оставаться с ней до конца.

Идет в глубь сцены. Пауза.

Я, верно, часа два мерил этот зал шагами. И за все время хозяин ни разу не вышел из-за стойки. Он не сказал ни слова после того, как ушли свадебные гости. Он даже ни разу не взглянул на меня. Мне кажется, он меня ненавидел. Нет, я точно знаю. Я попросил выпить. Тогда он захлебнулся словами: "Убирайтесь-ка отсюда подобру-поздорову, мистер, пока они не вернулись! Я этих ребят знаю — жестокие звери. А Макгарви вы никак не поможете — никто никогда не поможет Макгарви. Вы знаете". — "Знаю", — ответил я. "Но если вы не поможете Макгарви, мистер, они вас убьют. Я их знаю. Они вас убьют". — "Я и это знаю", — сказал я. Тут он спешно скрылся в задней комнате.

Я налил себе сам. Маленькую порцию ирландского пополам с водой. Мне пришло в голову напиться, но я отмел эту мысль как... неприличную. Чуть позже я услышал, что снаружи остановился подъехавший автомобиль. Тишина. Потом из двери показалась голова Донала.

— Макгарви здесь. Но он стесняется. Выходи ты. Они ждут тебя там, во дворе.

— Иду, — сказал я.

Он надевает шляпу и пальто и медленно застегивает пуговицы. Потом продолжает.

В действительности там было два двора. Первый, куда я вышел, располагался непосредственно за пабом и представлял собой крошечное пространство, полускрытое навесом, темное, заставленное бочками и коробками с пустыми бутылками, пахнущее затхлым пивом и отхожим местом. Я знал, что это не то.

Потом я нашел деревянную дверь. Прошел в нее и оказался в другом, большем по размеру дворе. И я сразу его узнал.

Мне хочется описать вам этот двор.

Стояло сентябрьское утро, только рассвело. Небо было оранжевого оттенка, и все источало тихий свет, словно каждый камень и каждый предмет сознавали свою отдельность и были собой довольны. Двор имел форму правильного квадрата, ограниченного задней стороной здания и тремя высокими стенами. В стене, к которой я стоял лицом, виднелся арочный проем.

Почти в центре площади, чуть слева от меня, стояли трактор и прицеп. В кузове прицепа виднелись четыре инструмента — топор, лом, кианка и вилы. Их прислонили к стенке кузова.

В углах двора, у противоположной от меня стены, росли две большие березы, их легко колыхал ветер.

Земля во дворе оказалась вымощена, и по стертым от времени булыжникам было приятно ступать.

И я пошел через двор по этим гладким булыжникам к арочному входу, потому что в его обрамлении, расположившись почти симметрично, стояли четверо гостей со свадьбы. А перед ними в кресле-каталке сидел Макгарви.

В утреннем свете эти четверо выглядели... какими-то маленькими; лица — бледнее, чем раньше; в петлицах черных костюмов целомудренно белели гвоздики. Нед стоял с левого края, Донал — с правого, а те двое, имен которых я так и не узнал, — посередине.

И Макгарви. Конечно, Макгарви. Какой-то усохший. И моложе, чем я представлял себе. Руки терпеливо сложены на коленях, ступни повернуты внутрь, голова слегка склонена набок. Вот, казалось, воплощенная кротость, образ бесконечного смирения. Ни толики свирепости. А на его плече отечески лежит рука Неда.

И хотя я знал, что ничего не произойдет, ровным счетом ничего, я пошел к ним. И пока я пересекал двор, меня охватило странное чувство, трепет откровения, как будто весь телесный мир — булыжники, деревья, небо, четыре зловещих инструмента — вдруг сбросил физическую оболочку и превратился в собственный прообраз, и теперь в целой вселенной нет никого, кроме меня и свадебных гостей. А потом это откровение уступило место еще более сильному чувству, будто даже мы утратили телесность и существуем только в духовной своей ипостаси, благодаря той потребности которую испытываем друг в друге.

Он снимает шляпу, как если бы входил в церковь, и подносит ее к груди. Кажется, что его охватил благоговейный ужас и одновременно радость. Произнося заключительные строки, он очень медленно движется к рампе.

Пока я шел к ним и когда я принес им себя в жертву, тогда, и только тогда, я ощутил, что действительно вернулся домой. Тогда впервые я не почувствовал парализующего ужаса. И смолкли сводящие с ума вопросы.

Тогда наконец я отрекся от случайности.

Пауза длительностью секунды в четыре. Сцена быстро темнеет.

Память как пространство ошибки

Как часто — в беседе или в опасных проливах собственных воспоминаний — мы вдруг сознаем, что неточности, противоречия, несоответствия чуть "сдвинули" привычную картинку, изменили перспективу, и вот мы уже не уверены, в каком именно музее созерцали то полотно знаменитого живописца, а друг убеждает нас, что работа никогда не выставлялась, и видеть мы ее могли разве что в художественном альбоме. Канва истории остается неизменной, но подробности ускользают, скрываются за пеленой времени, тонут в ежедневных потоках слов.

Памяти присуща известная неоднозначность. Опыт, в том числе литературный, немыслим без явных или подразумеваемых противоречий.

В какой мере Марию, сестру Марфы и Лазаря, умастившую Христа в доме Симона Прокаженного в Вифании (Ин. 11:2), следует отождествлять с грешницей, умастившей ноги Иисусу в доме Симона Фарисея в Галилее (Лк. 7:37—39)? Сколько ослов привели к Христу перед входом Господа в Иерусалим в канун Пасхи? Изменяют ли эти и еще десять тысяч спорных вопросов в синоптических Евангелиях суть благовествования? Отнюдь нет. Отражают ли они свойства нашей памяти? Безусловно.

Узлов разночтения в пьесе Фрила значительно меньше — около дюжины. Перечислим некоторые из них. Мы предполагаем, что герои "Целителя" *вспоминают* те двадцать с лишним лет, что провели вместе.

Вопрос о ребенке. Фрэнк утверждает, что Грейс была бесплодна. Точка. Не было никакого ребенка. В шотландской деревне Кинлохберви троица *отдыхала*, а Фрэнк уехал оттуда только потому, что получил известие о болезни матери. По версии Грейс Фрэнк был рядом с ней, он принимал роды, а потом похоронил младенца и поставил крест на могиле. По версии Тедди Фрэнк ушел в горы и оставил его и Грейс одних у фургона. Он сам, Тедди, принял роды, а затем исполнил печальный обряд.

Возвращение в Ирландию и фермеры-головорезы. Фрэнк говорит, что никогда не рвался обратно на родину — ехать в Ирландию его вынудили Грейс и Тедди. Те, в свою очередь, утверждают, что Фрэнк мечтал вернуться домой. Сколько их было в пабе, этих с замечательной лаконичностью описанных Фрилом ("белые гвоздики в петлицах... темные, квадратные лица") *недобрых* фермеров? Четверо, а калеку привезли потом, под утро? Или пятеро, вместе с калекой? Кто заговорил первым — Фрэнк или Нэд? Сам ли Фрэнк предложил исцелить Донала и калеку Макгарви, или его вынудили заняться врачеванием? Это в конце концов важно, ведь в результате последнего "сеанса" главный герой, если воспринимать текст буквально, лишился жизни.

Замечательно, что умножение неоднозначностей в пьесе происходит почти незаметно. Кто предложил использовать песню Джерома Керна в качестве "фоновой" музыки? Сколько голубей было у мисс Мулатки, клиентки незадачливого Тедди? Три птицы? Или сто двадцать? Откуда родом Грейс? Из Йоркшира, как утверждает Фрэнк? Но почему, сбежав от Фрэнка, она отправляется "домой" в Кнокмойл — деревеньку в Северной Ирландии? И сбегала ли она от него вообще? Грейс считает Фрэнка выдумщиком, "пересоздававшим" мир вокруг себя. Так, может быть, Фрэнк выдумал и всех остальных — Грейс, Тедди, страждущих калек, жестоких фермеров, всю свою жизнь?

Впрочем, насколько все это важно?

В пьесе Фрила нарушена презумпция факта, и это, безусловно, роднит "Целителя" с релятивистской непреклонностью великих *идиотов* Беккета. Фрил мастерски (пусть и в несколько гротескной форме, ведь, поистине, трудно предположить, что человек запамятовал, что у него был ребенок) отражает в пьесе удивительное качество нашей памяти — ее ненадежность. При всем уважении к кельтскому колориту пьесы, "Целитель", наверное, еще и об этом — о трудности понять другого, о присущей человеческому опыту неоднозначности и о непростых взаимоотношениях между мыслимым и действительным.

Марк Дадян

"Мы слишком одержимы прошлым"

О Брайене Фриле беседуют Майк Мёрфи, Финтан О'Тул, Деклан Киберд и Патрик Мейсон

Перевод с английского Е. Скрылевой

Майк Мёрфи. Господин Финтан О'Тул[1], если вы не против, давайте начнем с вас. Какое место вы бы отвели пьесам Фрила сегодня, в начале XXI века?

Финтан О'Тул. Фрил — выдающийся драматург и, пожалуй, подлинный преемник Сэмюэла Беккета, и это очень почетное звание. Он усвоил наследие Беккета: чистоту языка и ощущение жизни как ловушки, в которую то и дело попадает человек. Фрил приобщил к этому наследию ирландцев, которые жили в эпоху великих перемен, начавшихся в 50-е — тогда он только начинал писать — и продолжающихся до сих пор. Хотя его сочинения связаны с Ирландией и со всеми социальными и политическими преобразованиями, которые в ней совершались, его произведения приобрели универсальность — они вышли за рамки конкретных обстоятельств, в которых были созданы.

М. М. В 1963 году Фрил решил написать "великую ирландскую пьесу". У него это получилось?

Ф. О'Т. Нет, не получилось. И мне кажется, он станет самым счастливым человеком, если это поймет. Сейчас, когда Фрил из прекрасного писателя превращается в великого, особенно ясно, что создать великую ирландскую пьесу невозможно, неверна сама постановка задачи. Через все его творчество проходит идея разрушения ирландской самобытности, в конце каждой его пьесы культура превращается в груду обломков, и каждый раз мы прокладываем себе путь среди них.

М. М. Считается, что происхождение и детство оказали огромное влияние на его творчество.

Ф. О'Т. Да. Фрил — из тех, кто напоминает не столько исследователя-путешественника, сколько археолога. Археолога, который ведет раскопки на небольшом участке и вгрызается в землю все глубже и глубже, но остается на одном и том же месте — там, где он вырос и где ему все дорого. Фрил родился в учительской семье с достатком ниже среднего. Они принадлежали к тем ирландцам-католикам, которые считали, что государство Северная Ирландия лишило их гражданских прав, и относились к нему без особого трепета. Фрил вырос с чувством, что и он и все его окружение пребывают в ссылке где-то на краю света. В молодости он переехал из города Омы в Дерри. Но его всегда тянуло в сельский Донегол, куда он приезжал в детстве на летние каникулы. Он всегда очень остро чувствовал, что собой представляет старая, традиционная,

© The Liliput Press, RTÉ; Brian Friel.
© Е. Скрылева. Перевод, 2007

1. Майк Мёрфи — ирландский радио- и телеведущий, создатель авторской программы о культуре, которую 12 лет вел на RTE. В беседе принимает участие также Финтан О'Тул — ирландский журналист и театральный критик. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

сельская Ирландия. С одной стороны, он осознает, как тесно связан с католической и национальной традицией, с другой — понимает, что в Ирландии все не так просто. Фрил еще в молодости видел, как сильно Донегол отличается от Дерри. Дело в том, что ему еще тогда пришлось сделать очень непростой выбор: между священником и политиком. Он поступил в богословский колледж в Мейнуте.

М. М. Наверное, ничем хорошим это не кончилось.

Ф. О'Т. Фрил никогда об этом не говорил. И не писал. И само пребывание в Мейнуте, и решение уйти оттуда дались ему нелегко.

М. М. Сколько лет он там провел?

Ф. О'Т. Два года, так что это не было случайным коротким эпизодом. Одна из первых пьес с многозначительным названием "Внутренний враг" — о монахе, уехавшем из родного Донегола на остров Айону. В пьесе главный герой — священник, он выполняет особую священническую миссию. Это очень важный акцент. Фрил не мог стать ни политиком, ни священником — и тот, и другой путь были для него закрыты, возможно, это вообще был ложный выбор. В итоге он занялся и тем и другим одновременно — стал писателем.

М. М. Какое влияние оказали на Фрила родители?

Ф. О'Т. Очень большое, причем как со знаком плюс, так и со знаком минус. Эта двусмысленность ощущается во всем творчестве Фрила. Он по большей части создание своего отца. Отец вступил в националистическую партию Дерри, и от Брайена, надо думать, ожидали, что он пойдет по его стопам; в каком-то смысле так и случилось. В 60-х он активно участвовал в национальной политике. Да, он проделал тот же путь, что и отец, но постепенно путешествие превратилось в нечто совсем иное. Он не стал политиком, а принялся исследовать природу истории и политики, политическую кухню как таковую. Священника из него также не вышло — он увидел, что искусство тоже своего рода служение. В своем творчестве Фрил постоянно пытается исцелить, благословить — пусть это только мечта, и остается чувство, что в нашем мире исцеление души невозможно. Отчасти поэтому произведения Фрила так волнуют читателя.

М. М. Когда в его жизнь вошла литература, когда он понял, что может писать?

Ф. О'Т. В учительской семье всегда уделяют внимание и чтению, и сочинительству. Писателем Фрил почувствовал себя сравнительно поздно, уже когда уехал из Мейнута. Дело в том, что он считает себя человеком, который не выполнил своего предназначения и увидел в писательстве некую альтернативу — возможность делать примерно то же самое, что он собирался в юности. До начала 60-х Фрил работал учителем. И в его произведениях постоянно ощущается желание учительствовать, он и в самом деле учит через писательство.

М. М. Фрил начинал с коротких рассказов, это было важно для его становления?

Деклан Киберд[1]: Да, очень. Фрил с ранних лет понял, что философию ирландцам издавна заменила притча. От его пьес всегда остается чувство, будто он пишет их не для того, чтобы ввести в них лирическое

1. Деклан Киберд — литературовед, университетский профессор.

начало, типичное для рассказа, а чтобы посмотреть, как одну и ту же историю люди передают по-разному. "Целитель" — яркий тому пример, там все основано на вариациях. В какой-то степени по этому принципу построены все его пьесы. Тем самым Фрил будто спрашивает нас, можно ли воскресить прошлое, можно ли понять и национальное прошлое, и свое собственное.

М. М. Как вы считаете, несмотря на весь успех, не рискованно ли было строить "Филадельфия, я иду к тебе!" на двух образах — Внешнего Гара и Внутреннего?

Ф. О'Т. Фрил таким образом наблюдает за тем, как внешний мир воздействует на внутренний мир человека, в том числе и разрушает сокровенное "я", которое в результате может рассыпаться. В последние десятилетия XX века вопрос этот ставится особенно часто. У Фрила нет четкой границы между двумя мирами, и, если люди не могут сказать открыто о том, кто они такие и кем себя считают, их "я" взрывается. Именно это и происходит в "Филадельфии" с двумя воплощениями Гара. Это мы видим и в "Целителе": главный герой, Фрэнк Харди, сам не знает, кто он такой, а затем его темное "я", непонятное ему самому, вдруг проявляется и излечивает его. Внутреннее и внешнее сливаются, и Фрил использует эту прекрасную метафору.

М. М. О пьесе "Переводы" говорят, что в любой стране люди лучше поймут себя, если ее прочтут. Вы с этим согласны?

Д. К. Доля истины в этом есть. Я был на спектакле в Таллине в Эстонии в середине 80-х, когда советская империя еще казалась несокрушимой. Удивительно, как легко зрители отождествляли себя с тем, что происходило на сцене. В жизни ирландцев 30-х годов они узнавали себя и свои отношения с Россией. Такие, по сути, общечеловеческие произведения везде будут собирать большую аудиторию и всюду будут поняты.

М. М. Не слишком ли сильно Фрил доверяет истории и прошлому?

Д. К. Пожалуй, но я не назвал бы это слабостью. Он обращается к прошлому, чтобы понять настоящее и заглянуть в будущее. Его герои с трудом приспосабливаются к современному обществу, для многих ирландцев это травмирующий опыт, но Фрил понимает, что мы слишком одержимы прошлым. В 30-е годы XIX века люди, привыкавшие к новому языку, испытывали такие же трудности, что и мы в 50—60-х в связи с началом нового экономического курса. Тут есть предсказание будущего — Фрил хочет сказать, что ирландцам всегда придется к чему-нибудь приспосабливаться, и это всегда будет трудно, поэтому и через сто лет зрители посмотрят пьесу "Танцы в праздник Лугнаса" и узнают себя. Говорят, что у пророков много общего с художниками, настоящее они прозревают так глубоко, что будущее становится почти различимым, и, погружаясь в нынешний день, провидят грядущее. Гений Фрила отчасти в том, что он не противопоставляет их друг другу, а дополняет одно другим.

М. М. Ощущает ли он ответственность перед читателем и зрителем?

Д. К. Фрил прекрасно чувствует связь с публикой, именно потому он каждый раз меняет приемы в пьесах — старается не наскучить ей, но делает это незаметно, деликатно. Последние десять лет мы то и дело обсуждаем наше общество и экономику. В 1990 году была поставлена пьеса "Танцы в праздник Лугнаса". Она, среди прочих своих достоинств, отличается большим изяществом формы. Ведущих линий в пьесе две.

Первая: воспоминания сестер Манди и мальчика о событиях 1936 года. Вторая — линия того же мальчика, Майкла, который уже вырос и размышляет об этих самых воспоминаниях. Он из тех, кто довольно грубо вторгается в жизнь, хочет, чтобы она шла быстрее. А сестры цепляются за каждую минуту, мечтают задержать ее, насколько можно. Прекрасно передано ощущение истории, прожитой на двух разных скоростях. Несчастные сестры знают, что время не остановишь, и все-таки пытаются его удержать. Грубиян-хроникер понимает неотвратимость хода времени. Наверное, сам Фрил объяснил бы все это по-другому, да и критики рассуждали бы иначе, но, по-моему, Фрил связан со своими зрителями на интуитивном уровне, и каждый из них проживает свою версию истории, идущей на двух скоростях.

М. М. Как он относится к наградам? Нравится ли ему их получать? Хотя кому же не нравится...

Ф. О'Т. Фрил — старомоден в своем отношении к театру, хотя он сейчас усмехнулся бы. Он бы предпочел, чтобы его считали писателем и художником. Он остро сознает, что театр сегодня — занятие вульгарное. Театральная жизнь на 80 % состоит из шоу-бизнеса, главное — продать все места. Да, театр существует для зрителя, против этого он не возражает. Но Фрилу претит вульгарность современной театральной жизни. У него ощущение краха, когда он видит, что написанное дома в корне отличается от постановки.

М. М. Тяжело ли он переживал неудачи на Бродвее, я имею в виду пьесы, снятые с показа после двух представлений?

Ф. О'Т. Кому это было бы легко! Его лучшую пьесу "Целитель" поставили и тут же сняли. Это было слишком жестоко, лучше бы они сразу от нее отказались.

Патрик Мейсон[1]. Можно себе представить, как это больно, хотя, с другой стороны, понимаешь, сколь абсурдна вся эта ситуация, ведь пьеса — удивительная, она переживет всех нас.

М. М. Давайте поговорим о творческом процессе Фрила. Как он пишет? Долго ли работает над пьесой? Ведет ли дневник?

Ф. О'Т. Фрил не из тех, у кого сюжет быстро складывается в голове, и остается только записать его. Пьеса приходит извне. Она представляется ему чем-то очень далеким, ему надо найти, поймать ее. Он пишет долго, карандашом, в блокноте, пишет постоянно, без перерыва. Сначала это голос одного какого-то героя, он произносит вслух то, что можно записать, это ведет к чему-то еще. Я уже сравнивал Фрила с археологом. Он ищет так же кропотливо, так же отбрасывает ненужное. Прежде чем приступить к работе над пьесой, он перелопачивает огромное количество материала.

Много читает. В основе каждой пьесы лежат одна-две монографии. Работая над историческими "Переводами", он читал "Бумажный ландшафт" Джона Эндрюса, книгу о картографах XIX века, она имела для него большое значение. Для "Танцы в праздник Лугнаса" — книгу Моры О'Нилл, о фестивале в Лугнасе. Он напечатал свои дневники; если их прочитать, может показаться, что написание пьесы — очень рискованное предприятие, потому что сам автор никогда не знает, получится ли

1. Патрик Мейсон — английский театральный режиссер-постановщик, в том числе и пьес Фрила.

что-нибудь из этого хаоса, но так углубляется в материал, что назад ходу нет. Каждая его пьеса предъявляется вам как читателю, а чаще как зрителю, и вы переживаете ее — не отполированную, не завершенную. Все его книги написаны искусно, мастерски, но не связаны в один узел. Напряжение — в самом раскручивании действия. И то, как он пишет свои пьесы, сказывается на этом самом раскручивании.

М. М. Случались ли у Фрила периоды творческого застоя?

Ф. О'Т. Конечно. Люди судят о нем по тому, каким он стал в двухтысячном году, о нем говорят как о великом писателе, называют его карьеру блестящей. Но это не так. Было множество фальстартов. До "Филадельфии" — целый ряд неудачных пьес. И потом на протяжении десяти лет ни одной крупной, законченной и удачной вещи. Он не прекращал работать, но не написал ничего достойного автора "Филадельфии" или хотя бы чего-то близкого к ней.

Фрил очень хорошо понял, как тяжело писать после такого взлета, как "Филадельфия". Но в конце 70-х вышли три пьесы, причем одна за другой, то был перелом в его творчестве: "Целитель", "Переводы" и "Аристократы", их ставили всего полтора года. Для ирландского театра это немыслимые сроки.

М. М. Что Фрил думает о молодых писателях вроде Мартина Макдоната[1] и Конора Макферсона[2]? Кто-то назвал Макферсона новым Чеховым, Фрила с ним тоже когда-то сравнивали.

П. М. Рано или поздно с ним сравнивают всех ирландских драматургов, особенно грешит этим Чарльз Спенсер из "Дейли телеграф", насчет Макферсона — это тоже он написал.

М. М. Кто повлиял на творчество Брайена Фрила?

Ф. О'Т. Например, Майкл Маклаверти[3]. Все его земляки, ольстерцы, чувствовавшие связь с родиной, сохранявшие верность католической традиции, для него очень много значат. Не нужно изучать биографию Фрила, чтобы понять, кто из драматургов повлиял на него, — все они есть в его вещах. В том числе и Чехов. Грусть, меланхолия в пьесах Фрила — наследие Чехова. Конечно, не обошлось и без О'Кейси. Последний акт "Переводов" — явная перекличка с О'Кейси, на ум сразу приходят вернувшиеся из паба Джоксер и Капитан Бойл[4]; все вокруг рухнуло, нужно собирать все заново, по крупицам. Нельзя не вспомнить и Софокла с Эсхилом. Герои Фрила всегда там, где нельзя поступить правильно и приходится продолжать жизнь после трагедии.

М. М. Да и влияние Тома Мёрфи[5] тоже есть, ведь музыка играет большую роль в творчестве Фрила, не так ли?

Ф. О'Т. Музыка — это то, что сопровождает его с детства. Мы говорим о Фриле как о писателе, а это не совсем так, как и в случае с Мёрфи. Хотя они оба пользуются вербальными средствами, прежде всего они *слышат*. Их диалоги — это не слова, написанные на бумаге, а речь, обращенная в зрительный зал. И Фрил и Мёрфи скорее драматурги-музыкан-

1. Мартин Макдонах (р. 1970) — драматург, ирландец по происхождению, родился в Англии.
2. Конор Макферсон (р. 1970) — ирландский драматург.
3. Майкл Маклаверти (1904—1992) — ирландский писатель, автор романов и коротких рассказов.
4. Персонажи пьесы Шона О'Кейси [1880—1964] "Юнона и павлин" [1925].
5. Том Мёрфи (р. 1935) — ирландский драматург.

ты, чем литераторы. Пьесы Фрила всегда зачаровывают ритмом, звуком, голосом.

М. М. А что для него значат переводы и почему он ими занимался?

Д. К. Переводы для него очень важны, Фрил помешан на традиции и знает, как легко она исчезает. Традиция — это прежде всего "передача опыта". Фрил понимает, что нельзя сохранить все, но бесценно даже малое. Один из способов идти в ногу со временем — это переводить. Фрил не просто литературный переводчик, не просто посредник между гэльской и английской культурой. По его мнению, каждое поколение должно перелагать народную мудрость на свой язык. В "Филадельфии" слышен протест против обязательного католического канона, так как церковный язык прошлых столетий был непонятен молодежи 60-х. Фрил смотрит в будущее и понимает, что у нас есть долг не только перед предками, но и перед потомками.

М. М. Патрик, скажите, правда ли, что он очень привязан к своей семье — жене, пятерым детям?

П. М. Да, Фрил ведет необыкновенно замкнутый образ жизни, он поставил барьер между своей профессиональной и семейной жизнью и правильно сделал. Он очень оберегает Анну и детей.

М. М. Может быть, Фрил просто деревенский житель, который не любит город?

П. М. Ему нет равных, когда речь идет о посадке деревьев. Он разводит пчел, неплохое занятие, правда? Интересно, что в связи с этим опять же вспоминается Чехов.

Ф. О'Т. Драматурги обычно живут в городе. Когда приходит успех, они переезжают в Лондон, Дублин или Нью-Йорк. Куда-нибудь поближе к театрам. Пьесы пишутся для сцены, то есть для города. Фрил — драматург, но предпочитает деревню. Ему очень важно сказать: "Вот он я. Если я вам нужен, приходите. Я здесь". Место для жизни он выбирал тщательно. Это далеко и от его родины, в Ома, и от Дерри. Фрил не вписывается ни в один стереотип. Он выходит, конечно, в свет, но ненадолго.

“Вы находитесь здесь”

Стихи

Переводы с итальянского Евгения Солоновича, Яны Арьковой

Вступление Евгения Солоновича

Желание познакомить читателей “Иностранной литературы” с новой поэзией Италии стимулировала небольшая антология “Новейшая итальянская поэзия”, составленная поэтами Маурицио Кукки и Антонио Риккарди. Книга вышла три года назад, но не сразу попала в поле зрения переводчиков, и то, что они тотчас не бросились наверстывать упущенное время, позволило им, как они полагают, отобрать из нее наиболее интересное.

Голоса выбранных нами поэтов не сливаются в некий безликий хор. Каждый из авторов — солист, каждому есть что сказать и каждый умеет сделать это по-своему. Роднит их то, что они “ищут и предлагают собственную правду”, как пишут о них в предисловии к своей антологии Кукки и Риккарди (кстати, Риккарди ненамного старше младшего из тех, на кого пал его с Кукки выбор).

Поэты, с которыми мы знакомим сегодня читателей журнала, сами хорошие читатели. Они — это чувствуется по их стихам — прекрасно знают, что сделали в литературе их предшественники, и внимательно следят за творчеством своих ровесников. Прямых учителей ни у кого из них, пожалуй, нет, есть та культура стиха, за которой стоит коллективный опыт лучших итальянских поэтов предшествующих поколений.

Точка на карте звездного неба, напоминающая поэту: “вы находитесь здесь”, может быть метафорой. Да, поэтам свойственно витать в облаках, но живут-то они на земле, в мире, с которым у каждого из них свои отношения. “Бога нет, / есть я”, — объявляет Фабрицио Бернини, и в этих словах нет эпатажа, нет богохульства, в них скорее отзвук того антропоцентризма, что питал искусство Возрождения. “Я подсоединяю себя к себе”, — словно бы вторит ему Маттео

© 2004 Arnoldo Mondadori S.p.A., Milano
© Евгений Солонович. Перевод, вступление, 2007
© Яна Арькова. Перевод, 2007

Дзаттони, младший из поэтов, привлекших наше внимание. Утверждение лирического "я" одно время считалось в итальянской поэзии немодным, и для преодоления этой инерции требовалось определенное мужество. Если поэту есть что сказать от своего имени, если за поэтической строкой стоит индивидуальность автора, у стихов больше шансов найти отклик в "потемках" чужой души. Индивидуальность поэта складывается не только из того, как он воспринимает мир и свое место в нем, но и из того, как он передает это восприятие, как умеет найти нужную ноту в регистре, дарованном ему природой, как смешивает краски на своей палитре, как представляет себе возможного читателя-единомышленника. Близкий к рациональному пессимизм Сильвии Каратти не спутаешь с элегической доминантой в стихах Франчески Мочча, а откровенно беззащитные строфы Лукреции Лерро, напоминающие скользящий след кисточки, попеременно обмакиваемой в пузырьки разноцветной туши, — с неожиданной словно бы для него самого грустной мечтательностью Альберто Пеллегатты, редкие многозначные метафоры которого не спутаешь с валом куда более сложных метафор Анилы Ханджари, скрывающих (или раскрывающих?) внутренние метания поэтессы.

У русской поэтессы Татьяны Бек есть стихотворение, строки из которого вспомнились в связи с этой скромной публикацией:

Четыре поэта — четыре полета гордыни,
Которая верит: "Я лучшее соло сыграю!.."

В нашей подборке поэтов не четыре, а семь. Но это ничего не меняет: у каждого из них есть шанс побороться за читателя, в данном случае — русского читателя. Для кого из них поэзия стала или станет формой существования, говорить, пожалуй, рано.

Фабрицио Бернини

Аккумуляция

Я неповоротлив, слишком неповоротлив. Такого непросто
принять человеку, чьи перспективы уходят корнями в
активность.
Мысли по чайной ложке вперемешку с крошками хлеба
делают защелку, щеколду времени невесомой.
Вот они мы. Кто-то свивается в жгут, кто-то другой зажигает
фитиль. Располагаемся все в алфавитном
порядке, согласно намереньям и приспособляемости.
Зыбкая штука или не штука. Бога нет,
есть я.

Эта весна нисколько не отличается от прошлогодней.
Те же тюльпаны, те же фиалки, тот же в точности запах
деревьев в цвету. Даже краски такие же, как
в прошлом году.

Смотрю на себя — все тот же. В прошлом году, теперь.
При бритье не порезался. Даже прическа та же,
что и была. Сосед ездит, как ездил, на старой машине
и не красил нынче калитку. Дом соседа стоит, где стоял.

Мать и отец работают, за столом говорят то же самое,
что всегда. Только годы мои молодые взбрыкнули,
но я их мигом стреножил. Ну а сомненья — куда
они денутся? Лето придет.

Перевод Евгения Солоновича

Элиза Бьяджини

* * *

Кузина всего лишь ширма,
решетка исповедальни,
чтобы слова не имели лица,
чтобы веса лишить опасения:
"пойдут разговоры..."
но ты одна замечаешь
грубые ботинки на мне,
пальцы мои без колец,
мои большие глаза —
две бездонные шахты.

Анила Ханджари

Пропавших не будет но прошлого нам не вернуть

туда и обратно ступаю
через порог ностальгии
скупой медлительной боли
мне достаточно твоего счастья

чтобы дальше жить день за днем
идти по проступающей на груди карте
меряться силой с лунами
сквозь кроны памяти способной узнать пропавших
между закатов что покрывают волнами небо
Млечный Путь превращают в подсолнухи
между тем пробужденье трезво смотрит на вещи
отражаясь в текучей глади чужой души
пропавших не будет но прошлого нам не вернуть

Увидеть звезды в объятых пламенем ликах

некоторые языки всплывают в памяти
когда не хватает слов
и по капле переполняется море
когда приходит время подменять правду
саксонским фарфором анемией распятых
малодушно изображая радушие
перед устрицами прикипевшими к родным раковинам
что скрываются в товарных вагонах
и если бы ржавчина поселилась в лабиринтах ключа
отпирающего дверь нашей детской истины
то я бы стала сейсмографом
отверженных весами иллюзий
чувствительней гитарной струны
меж предрассудков моего опаленного сердца
знакомого с языком терракоты
и с евроньюсовским свадебным маршем
внутри меня в зеркалах Архимеда
пылали Сиракузы
поднеся линзу к снежинке
я видела на ладони подтаявший айсберг
за сказку за улыбку за объятия на любом языке
подслушивая огонь я чувствую себя охапкой соломы
и впитываю влагу из душ найденных под языком
за первый луч который замерзает под газетой
хранящей последние прогнозы погоды
...праху ведома горечь в крупинке снега

Лукреция Лерро

Девушка-китаянка

1

Я попросила хорошенькую китаянку
произнести *я хочу тебя...*
по-китайски, это только звучит иначе,
а смысл не меняется: желание близости...
Шен Янг говорит одинаково певуче
о желании и привычке
ужинать в одиночестве.
Ее зовут Лиу Янг, Шен –
это город, город желаний
и дракона, парящего в небесах.

2

В глазах китаянки
скрываются тысячи тайн.
Замри и попробуй разгадать хоть одну.

3

Ты живешь в Китае,
у тебя рыжая кошка,
ты нашла ее на улице.
Играя с ней, ты научилась
царапаться, вы неразлучны, знаю,
вместе вы объедете весь мир.

4

Мне бы тоже хотелось иметь свой дом,
комнату с цветами,
вазу с пионами.
Но не все сразу: спасибо и на том,
что могу лист магнолии в саду подобрать.

По твоему желанию вырастают розы,
и наша колдовская игра акапелла
будет недолгой, если ты уйдешь на восходе.
Ты пела и любила
целую ночь напролет; если завтра
покинешь меня, я усну,
вспоминая твой голос, но без солнца,
без солнца, без солнца.
И на рассвете я продолжу свой сон.

Сильвия Каратти

* * *

Что-то останется, только что?
Классическая стопка писем,
стянутая резинкой
(я бы их сожгла, только где?),
фотографии, возвращенные отправителю,
вычеркнутые номера,
неразобранных подарков гора.

Вглядываюсь в карту Млечного Пути,
которая висит над кроватью, —
на ней крошечная точка:
“вы находитесь здесь”.

Перевод Яны Арьковой

Альберто Пеллегатта

* * *

Память многокомнатная квартира
комнаты все в зеркалах
постоянная пыль. Но при этом
реальность прерывиста
как порванный снимок.

* * *

Зловещая первобытная тишина,
населенная спешкой прохожих.

Дыры всасывают, могло показаться,
даже свет, а на самом деле снабжают
вселенную информацией.

* * *

Медленно ночь приходит — не рада
бденьям моим над книгами. Ветер взбивает пену.
Медленно ночь приходит. У ветра —
стеклянные руки, а голос —
точно у вепря, шершавый.
Медленно ночь приходит,
когда мы слушаем моторы моторок,
летящих над вспененными волнами.
Летят и летят, разбивая вдребезги небо.

Перевод Евгения Солоновича

Франческа Мочча

* * *

Стрелки в плавном движенье по кругу
вечностью метят твои черты.
Я сижу в холодке, лето поймав на ошибке.
Бросаю монетку — до того бесполезный поступок,
что его не должно быть в природе.
Падает и, надломив стебель цветущей вербены, тонет
в сыром перегное.
Бесполезная жизнь чревата расплатой.

* * *

Корабли день за днем выходят из порта
в точно назначенный час.
Плывут они к северным землям, паруса поднимают
позволяют дыханию ветра уносить их все дальше.
Оставляют нас, к нашей досаде, исчезают из вида,
нам, одиноким, не угнаться за ними.

Перевод Яны Арьковой

Маттео Дзаттони

* * *

Я был не против — живи в моем теле
метр семьдесят восемь на мелочь
в ширину, ты хныкала вечно
что для двоих слишком мало места
и однажды вечером велела мне выметаться
будто площадь принадлежала тебе
знаю что ты недолго искала другую
более подходящую — буду рад если так.

* * *

Сценарий не предусматривает частой смены
эпизодов, ночных свиданий, поцелуев
под луной, речь идет о маленькой роли,
для которой необязательно быть актером,
сыграть ее каждый сможет,
если всю душу, все сердце вложит.

Постмодернистская колыбельная

Когда источником света лазерный луч
солнечный следопыт, а я
диск под пластинкой, на которой стартует
и движется по рутинному кругу,
вызывая — понятно — мое недовольство
виновница искаженного звука иголка,
шипенье кассеты в бесполезной покуда
борьбе за то, чтоб не стать цифровой,
я подсоединяю себя к себе,
но процесс соединения требует терпения,
и, поскольку поступающие данные ограничены
и не могут быть использованы, гаснет
красный огонек глобального монитора,
за экраном тем временем оживает,
сладких снов ему, *маленький человек!*

Перевод Евгения Солоновича

Режис де Са Морейра

Книжник

Фрагменты романа

Перевод с французского и вступление Натальи Мавлевич

Далеко-далеко, за тридевять земель жил-был один... Libraire. Ну, как назвать его по-русски? Книгопродавец? Неповоротливое слово, к тому же устаревшее и слишком давит на барабанные перепонки. По сути, наш герой — хозяин книжной лавки. Так и сказать: Хозяин? Бррр... Давайте лучше скажем: Книжник. Ведь он не только продает, но любит и ласкает, читает и читает, читает и читает, читает и читает свои книги.

Будь он простым хозяином или обычным продавцом, к нему бы не захаживал сам Господь Бог, не являлись слепые вопросы и бесплотные голоса.

И не звучало бы повествование о нем как сказочная поэма в прозе, с крупинками грусти, иронии и хулиганским присвистом.

Французские читатели полюбили Режиса де Са Морейру (он родился в 1973 году, а диковинную для француза фамилию унаследовал от отца-бразильца) с первого романа, который вышел в 2000-м. "Книжник" — его третье произведение. Странное? Пожалуй. Вычурное? Местами. Но при всей своей странности очень традиционное. Критики то сравнивают шутливо-каламбурную манеру Са Морейры с песенками Шарля Трене, то вспоминают Лотреамона, воспевавшего "соседство зонтика со швейной машинкой", или Бориса Виана, так любившего расшатывать устойчивые выражения.

Ну, а самого писателя не увидишь по телевизору, не услышишь по радио. Похоже, он, как и его герой, сидит, зарывшись в рукописи и книги, и ждет, чтобы любимые читатели нашли его сами.

© Edition Au diable vauvert, 2004
© Наталья Мавлевич. Перевод, вступление, 2007
Журнальный вариант. Полностью роман выйдет в Издательском доме "Флюид".

Книжник

ДАЛЕКО-ДАЛЕКО, за тридевять земель от ваших краев, лежит страна, в той стране есть город, а в городе множество книжных лавок. В одной из них ее хозяин, Книжник, услыхал бренчанье над входной дверью — пу-ду-пу-ду-пу-ду — и открыл глаза.

Он кое-как прибрался на своем столе и принялся ждать.

Стол Книжника скрывался за двумя углом составленными стеллажами. Посетители книжной лавки, полагал он, желают первым делом видеть книги.

А вовсе не книгопродавца.

Книжник любил представлять себе, как посетитель попадает прямо в книжный океан, вернее в книжное море, и странствует по нему в одиночку, без посторонних глаз.

Ему хотелось, чтобы книги существовали сами по себе, без него.

А он, Книжник, сам по себе пусть бы и вовсе не существовал.

Пожалуй, Книжник был немного мрачноват, но он к себе приноровился.

Легко ли сохранять бодрость духа, когда вокруг тебя столько книг, столько разных историй, мыслей, жизней. В минуты уныния ему случалось позавидовать торговцам автомобилями.

Но не всерьез.

На самом деле он завидовал даже не авторам книг, которые читал, а их героям.

Книга же, где герой торговал бы автомобилями, ему что-то не попадалась.

Чтоб торговал действительно, а не загнал бы там разок по случаю.

А уж Бог знает, сколько книг он прочитал.

Впрочем, Бог знал, что книг, где герои держали бы книжные лавки, он тоже прочел не так много.

Ну, это дело мне и без того знакомо, подумал Книжник про себя, чтоб прекратить пререкания с Богом.

Он прислушался и по скрипу шагов понял: “Мужчина”.

Шаги приблизились.

Решительные и уверенные — видно, человек здесь не впервые. Он знал, куда идти — направлялся прямиком к закутку хозяина. Книжника невольно потянуло нырнуть под стол.

Но он сделал усилие и отважно остался сидеть в кресле.

Мужчина подошел. Он принес назад книгу о дельфинах, которая ему не понравилась.

Так прямо и сказал:

— Мне эта книга о дельфинах не понравилась. — Он носил элегантный костюм. — Просто дрянь!

Книжник посмотрел ему в глаза.

Красивые глаза.

— Простите, — осекся посетитель. — Я не так сказал. Мне не понравились дельфины, а не книга. Терпеть их не могу. А кое-кто... уж так их расхваливал...

Взгляд посетителя затерялся в афишах, висевших над столом у Книжника.

— Одна довольно молодая женщина... ну, моих лет... Вот так... Всего хорошего, месье.

— Хотите получить обратно деньги? Или зачесть их вам вперед?

— Нет-нет, спасибо за любезность. Книга ни при чем, покупку я не отменяю. Если подумать, книгу о дельфинах лучше и написать-то трудно. Да, превосходная, наверно, книга. Просто я не хочу держать ее у себя... чтоб не попалась на глаза... кое-кому...

Взгляд снова устремился вдаль.

Но посетитель встрепенулся и сказал:

— Ну, до свидания, всего хорошего.

— Всего хорошего, — ответил Книжник.

Он подождал, когда раздастся пу-ду-пу-ду-пу-ду над дверью лавки, и задумался.

Но ни одной женщины, влюбленной в дельфинов, что-то не припоминалось.

Он напряженно думал. Вообще, он знал довольно много женщин.

В свое время друзья — тогда они у него еще были — называли его лавку "ловушкой для женщин".

Хотя и сами, и хозяин Книжник, и женщины не очень понимали почему.

Сплошные книги, сплошные полки, ни красных бархатных портьер, ни шампанского, ни подносов с печеньем.

Только книги.

Где, спрашивается, тут ловушка?

Друзей Книжник потерял в тот прискорбный день, когда вдруг понял, что они судачат о нем у него за спиной.

Точнее, в тот прискорбный день он понял окончательно, что потерял их.

Это открывалось ему понемногу, в каких-то неловких словах, избитых выражениях и подозрительно однообразных советах и упреках.

А в тот прискорбный день открылось до конца.

Он все не мог понять, хотя старался: как же могло такое произойти с его друзьями?

И понял, что потерял их.

Ну, а друзья... те все судачили и удивлялись, почему он отдалился.

А вот и первый посетитель.

Хорошее начало — обычно первый посетитель приходил не раньше, чем к полудню.

В городе, где жил и продавал свои книги Книжник, книжных лавок было, как говорится, пруд пруди, и его собственная была не из лучших и не лучшим образом расположена.

"Ну и денек — как понеслось с утра!" — подумал Книжник и пошел приготовить себе чашку чаю.

В ту пору он руководствовался девизом: "Посетитель — чашка чаю".

Он поднялся по винтовой лестнице в верхнюю комнату, где книги были свалены прямо так, без стеллажей, и прошел на кухню.

"Вербена!" – решил он.

Раньше, когда он был моложе – то есть еще моложе, чем теперь, ведь он еще был молод, – девиз у него был другой: "Посетитель – чашка кофе", но когда дело раскрутилось (в день по десятку посетителей, а то и больше), девиз пришлось сменить из-за сердцебиений, потных ладоней и бессонницы. Кроме того, травяные чаи, хоть, может, не особо хороши на вкус, зато разнообразны, как и посетители.

Книжник не был упрям, и если хорошая идея изживала себя, умел это признать.

Ему и раньше, когда он был моложе, еще моложе, чем теперь, приходилось менять девизы.

Переходить на чай.

<...>

С чашкой вербенового чая в руке Книжник спустился обратно в лавку и с легкой опаской стал читать ту книгу о дельфинах, которую оставил первый посетитель.

И чем дольше читал, тем больше убеждался, что, в самом деле, лучше книгу о дельфинах не напишешь, разве что писать возьмутся сами же дельфины. Каковую возможность, похоже, кое-кто, и первыми – авторы книги, вполне серьезно допускали.

Мысль позабавила Книжника. Ему живо представились стихи соловья и трактаты гориллы.

Но вскоре та же мысль его встревожила.

Что будет, если еще и животные (притом не из самых приятных) возьмутся писать книги?

Уж, кажется, и без того...

И Книжнику привиделось...

– Добрый день, у вас есть учебник брачных игр, написанный бобром?

– Нет.

– А можно заказать?

– Нет.

– Но почему?

– Я таких книг не продаю.

– Но почему?

– Не желаю, и все.

– Возмутительно! Вы не имеет права! Зато животные как раз имеют – имеют право писать книги!

– Не в этом дело.

– То есть как?

– Я не продаю учебников брачных игр.

– А-а...

– Да.

– Но это тоже возмутительно!

– Пускай.

– Я этого так не оставлю!

– Ладно.

– Возмутительно!

— Всего хорошего.

Пу-ду-пу-ду-пу-ду.

Книжник тряхнул головой и заметил, что весь взмок.

Он поставил книгу о дельфинах на полку, потом вдруг вспомнил какое-то место из нее, вытащил опять, нашел страницу, вырвал и положил в конверт.

***

Хоть у Книжника не было больше друзей, зато было пять братьев и пять сестер.

И они никогда не судачили о нем за его спиной.

А он был всем им братом.

Братья и сестры были раскиданы по всему миру, жили каждый сам по себе за тридевять земель от города, где Книжник держал свою лавку, и время от времени получали странички, вырванные из книг.

Без комментариев.

Для каждого брата и каждой сестры странички всегда были разные, и каждый брат или сестра по-разному с ними поступали.

Но все читали.

Читали все.

И Книжник знал, что все прочтут.

Поэтому когда, прочтя какую-нибудь страничку, он думал о ком-нибудь из братьев и сестер и хотел повидать их, то вырывал ее из книги и посылал им.

Без комментариев.

А книгу относил в ту комнату без стеллажей, куда вела винтовая лестница.

Когда у братьев и сестер пошли дети, Книжник стал выдирать странички и для них, для всех своих племянниц и племянников.

Так что на данный момент в верхней комнате скопилась гора самых разных испорченных книжек.

Книжник часто думал, что вот он умрет, а братья и сестры со всеми своими детьми соберутся в какой-нибудь точке земного шара, помянут его с печалью и весельем, а потом соберут все свои странички, и получится Книга Книжника.

Приятная мысль.

Откуда Книжник знал, что умрет раньше всех?

Знал, и все.

Даром, что ли, он прочел целую книжную лавку книг! Знал.

И удивлялся иногда, что до сих пор не умер.

Книжник прошелся по книжным аллеям своей книжной лавки.

Взял с полки книгу наугад.

Открыл на первой странице, стал читать, улыбнулся.

Перевернул страницу, прислонился, читая дальше, к стеллажу. Скользя спиною, опустился и уселся на пол. Улыбка стала шире.

Не то чтоб эта книга была смешной — ничуть! — так действовали на Книжника все книги, потому-то он и завел свою книжную лавку.

Как только Книжник открывал книгу, он чувствовал себя счастливым.

Или, по меньшей мере, ему было хорошо.

Он радовался как ребенок.

Питал такую слабость.

Ему казалось, что кто-то думает, заботится о нем.

Словом, читая книгу, Книжник чувствовал себя любимым.

<...>

***

Когда в лавке никого не было и у Книжника оставались силы читать, он читал, уткнувшись в книгу. И так зачитывался, что иногда не слышал пу-ду-пу-ду-пу-ду над дверью.

— Добрый день... — произнесла молодая женщина. Она робко вошла в море книг и побрела, ища хозяина.

Услышав смятение в голосе, Книжник выскочил из-за стола.

Женщина судорожно вздохнула и спросила, не может ли он ей помочь.

Книжник посмотрел ей в лицо — вылитая Дева Мария.

— Не знаю, — ответил он.

Женщина сочла такой ответ вполне любезным и сказала:

— Но можете хотя бы попытаться.

— Пожалуй.

Молодая женщина искала книгу для матери, которая на самом деле была не матерью.

Книжник предложил ей Библию, она опешила, а он смутился — ну, просто у него не шло из головы, до чего она похожа на Деву Марию.

Женщина задрожала.

Чтоб ее успокоить, Книжник хотел положить руку ей на плечо и объяснить, что он не думал ничего такого, о чем говорится в книге, которую он предложил ей, но она оттолкнула его руку и зарыдала.

Она пробормотала, что никогда не стала бы так открыто говорить о своей матери, если бы знала, какой он негодяй.

И выскочила вон.

Книжник был ошеломлен.

Ошеломлен и расстроен.

Он постоял, подумал, подошел к одной из полок и вынул толстый том — не мог же он держать у себя в лавке книгу, которая заставляет рыдать молодых женщин, чья мать не мать на самом деле.

И в тот же миг — пу-ду-пу-ду-пу-ду — Бог покинул лавочку.

Книжник не огорчился.

Не в первый раз такое было, и каждый раз Бог очень скоро возвращался.

<...>

***

На этот раз Книжника оторвал от чтения стук шпилек по полу; его сопровождал, а вскоре перегнал аромат пиона.

Пошарив по углам, посетительница быстро нашла Книжника и спросила:

— Вы не могли бы мной заняться?

Книжник оглядел ее: красивые волосы, красивые глаза, все остальное тоже красивое — и ответил:

— С удовольствием.

Тогда и она оглядела Книжника, улыбнулась и сказала:

— Правда?

И они тут же занялись любовью, прислонившись к полке с русской классикой. Получилось отлично, ей было хорошо, ему тоже.

В лавку вошли несколько человек. Женщина поцеловала Книжника и ушла.

Пу-ду-пу-ду-пу-ду....

Книжник оглядел и этих новых посетителей, постоял в нерешительности. В идеальном мире, подумал он, все должны заниматься любовью со всеми.

Вздохнув, он все-таки вернулся на свое место за столом.

Вести себя в книжной лавке как в идеальном мире, подумал он, было бы страшно неудобно.

Сидя в кресле, Книжник следил за группкой посетителей.

Им было трудно пробираться между полок, проходы не были рассчитаны на то, чтобы пропускать большие и малые группы. Книжник не нарочно поставил полки так тесно, но сейчас, глядя на группку, невольно подумал, что оно и неплохо.

Еще он невольно подумал о бывших друзьях и снова посмотрел на посетителей, они столпились между двумя стеллажами и шептались без умолку.

Он раскрыл было книгу, но при них не читалось.

И подмывало выкинуть их вон из лавки всех по одному, хотя бы для того, чтоб убедиться, что группу можно разделить на составные части, но Книжник овладел собой.

А группка с большим трудом протиснулась к столу.

Все заговорили разом, но в один голос, и Книжник понял, о чем его спросили:

— Какую книгу у вас больше всего покупают?

Книжник посмотрел во все лица по очереди и встал с кресла.

Многоликая группа неловко двинулась за ним.

Книжник повел ее самыми узкими проходами, там, где обычно могли проскользнуть только дети; хоть стыдно, но приятно было слышать за спиной пыхтенье и шуршанье.

Потом он показал на первую попавшуюся книгу и ушел, оставив группу извиваться между полок.

Вся группа захотела эту книжку, но оказалось, экземпляр единственный.

Шушукались довольно долго и наконец решили не покупать совсем, чтобы не вышло ссоры.

На выходе они сгруппировались так, что книжник услыхал только одно пу-ду-пу-ду-пу-ду.

<...>

***

С без четверти одиннадцать Книжник ждал почтальона. Тот приходил в одиннадцать. Но Книжник, точно зная, что с ним придет письмо, готовился уже с без четверти.

С тех самых пор, как братья-сестры Книжника разъехались во все концы света, а у него осталось странное чувство, будто уехал он сам, они, как сговорившись (но вряд ли!), присылали ему по письму в день.

Всегда, в любую непогоду — дождь, ветер или снег.

Иной раз в письме была одна фраза, иной раз одно слово, а не то рисунок или вовсе ничего.

Но каждое утро письмо приходило.

На все письма всем братьям и сестрам Книжник всегда отвечал страничками, вырванными из книг.

Те об этих страничках никогда не писали, но Книжник по письмам угадывал, что странички получены и прочтены.

Переписываются ли братья и сестры между собой, Книжник не знал.

Но думал, да, надеялся, что да, молился Богу, чтобы да.

Пу-ду-пу-ду-пу-ду — вернулся Бог.

— Ага! — воскрикнул Книжник. — Его Величество перестали дуться...

Пу-ду-пу-ду-пу-ду — Бог ушел.

Ровно в одиннадцать вошел почтальон. Сам того не зная, разминулся в дверях с Господом и на короткое время заменил Его: судя по ликующему виду Книжника, он получил письмо от самой младшей сестры.

У Книжника уже лежало в конверте, но без адреса, письмо для одного из братьев, он быстро надписал конверт и отдал почтальону. Потом проводил его до двери, вернулся и, запрыгнув в кресло, стал читать письмо от сестренки.

“Боюсь, вот-вот влюблюсь.

В кого же? В собственного мужа, а я и так его люблю.

Ха-ха-ха

Тра-ля-ля

Туки-туки-туки

Вот какая штука!

Как же, как же быть?..”

Книжник внимательно прочел письмо и перечел опять, как будто раньше не читал.

Его натренированный на бег по строчкам глаз давно не отличал нечитаное от читаного-перечитаного.

Поэтому он перечел письмо еще, еще и сколько-то еще раз, прежде чем бережно сложить его и сунуть в стол, на дно глубокого ящика.

<...>

***

В лавку вошла красивейшая женщина на свете.

— Меня зовут Елена, — сказала она, поравнявшись со столом.

Книжник смотрел как зачарованный.

— Меня тоже, — брякнул он.

Красивейшая женщина на свете улыбнулась.

Он очнулся:

— Простите! Я нечаянно.

— Ничего.

Она неспешно повернулась вокруг своей оси.

— Вы ищете какую-нибудь книгу? — спросил вконец ошеломленный Книжник.

— Да, — ответила Елена. Но тут же, закусив прелестную губку, честно призналась: — То есть нет. Я ищу жениха.

Книжник печально улыбнулся.

— Мне очень жаль, — сказал он.

Красивейшая женщина на свете заглянула Книжнику в глаза, но лишь на миг.

— Жалеть не надо. В конце концов кого-нибудь добуду.

— Конечно, сколько захотите!

— Мне хватит одного.

— То-то будет счастливчик!

— Благодарю вас.

Елена одарила Книжника прекраснейшей на свете улыбкой.

И вышла из лавки.

<...>

***

Спускаясь вниз по лестнице с чашкой травяного чая в руках, Книжник увидел Вопрос.

Тот проскользнул под дверью без всякого пу-ду-пу-ду и искал по всей лавке хозяина.

Время от времени Вопрос именно так и возникал, без всякого предупреждения.

Книжник замер на предпоследней ступеньке, сжимая чашку, и ни гу-гу.

Вопрос пошел вдоль стеллажей, принюхиваясь и ощупывая книги.

Он обошел всю лавку, помедлил у стола с креслом, еще немного потоптался и двинулся назад, к дверям.

Но вдруг из чашки Книжника упала капля и разбилась о ступеньку.

Вопрос застыл.

А Книжник затаил дыхание.

Вопрос тихонько повернулся и, шаг за шагом, пошел к нему и приблизился почти вплотную.

Тот не дышал. А этот обошел вокруг него, не видя и не прикасаясь. Тот обратился в камень. А этот перестал искать и вышел, как вошел, скользнув под дверь.

И Книжник наконец вздохнул свободно.

Уселся в кресло, с облегчением хлебнул из чашки.

Случалось, по неловкости он выдавал себя, тогда Вопрос набрасывался на него и начинал терзать.

Часами, сутками, неделями несчастный Книжник не вставал из-за стола.

Книги старались, помогали, как могли, но и им тоже было не под силу справиться с Вопросом. И оставалось только ждать, пока он сам собою отпадет и удалится восвояси.

Книжник умел распознавать посетителей, терзаемых Вопросом, потому что ему самому приходилось бывать на их месте. А еще потому, что каждый второй клиент, или двое из трех, или трое из четырех были носителями Вопросов.

Не все они знали о бессилии книг, а у Книжника не хватало духу сказать им. И он предоставлял им тешиться надеждой, искать, не находить, учиться на ошибках, сомневаться.

А что оставалось делать?

Не закрывать же лавку?

Когда-то, когда его уж очень донимал Вопрос, он и впрямь об этом подумывал. Но бросить книги не решался, несмотря на их беспомощность, а может, именно из-за нее.

Он выбрал книги, лавка не закрылась.

Она открыта для него и для любого покупателя, с Вопросом или без, не важно.

Итак, он дул на чай и чувствовал себя ужасно гордым и ужасно смелым.

<...>

***

Больше всего он любил покупателей, которые сами не знали, что искали.

Потому-то он их и любил.

Они ужасно стеснялись и чаще всего задавали вопросы, не имеющие отношения к книгам.

— Как вы думаете, будет дождь?

— Где здесь ближайшее кино?

— Можно от вас позвонить по телефону?

Книжник не всегда мог дать ответ на эти вопросы, а телефон, за неимением, не мог дать и подавно, но он старался угадать, какие книги в них замаскированы.

— Не знаете ли вы, где найти хорошую парикмахерскую? — спросил както раз один такой посетитель.

Книжник на минуту задумался, пригляделся к его волосам и принес ему нужную книгу.

— Спасибо, — сказал тот, слегка опешив.

— До свидания и приятного чтения.

— До свидания, — отозвался посетитель и направился к выходу.

Пу-ду-пу-ду-пу-ду?

Но со временем любимцы становились все начитаннее и формулировали запросы точнее и определеннее. Робость их сменялась требовательностью, а непосредственность, за которую Книжник их так любил, оставалась и часто подвергала испытанию его профессиональную компетентность.

За это он любил их еще больше.

– У вас есть книга про двух женщин, четверых мужчин и троих детей?..

– У вас есть книга, где все происходит в лесу?..

– У вас есть книга про принцессу, которая ищет смерти, а находит любовь?..

– У вас есть книга, где героиню звать Терезой?..

– У вас есть книга, в которой часто встречается слово "снисходительность"?..

– У вас есть книга с Гари Купером?..

– У вас есть книга без всякой бытовой техники?

– Как, совсем? – тут Книжник растерялся. – Даже без холодильника?

– Главное – без холодильника.

***

<...>

Как добрый пастырь, он знал о своих книгах все и жил их жизнью, встречая новеньких и провожая уходящих. Заботился об их спокойном сне, опрятности, а в полдень к тому же и кормил: открывал одну наугад и, прохаживаясь по аллеям, читал ее вслух всем остальным.

<...>

Насытившись, книги одна за другой соловели. Книжник читал все тише и тише, пока они совсем не погружались в дрему.

И наступала тишина.

Сам Книжник еще и потому читал гораздо больше, чем коллеги, что экономил время на еде.

Питался только чаем с книгами вприкусу и был вполне доволен.

И даже на такой диете оставался полным. Поддерживать физическую форму помогали частые пробежки вверх и вниз по лестнице за чаем и обратно в лавку. Но ел и пил он непрерывно целый день – глотал то чай, то книги.

***

После тихого часа Книжник решил разбудить свои книги музыкой.

Он подошел к старенькому проигрывателю и запустил Вольфганга Амадея Моцарта.

Пу... пу-ду... пу-ду-пу-ду-пу-ду...

Музыка наполнила лавку.

Пу... пу-ду... пу-ду-пу-ду-пу-ду.

Книги встрепенулись.

Пу пу... пуду пуду пуду... пуду пуду пуду...

Подпевая и размахивая в такт руками, Книжник пошел вдоль полок.

Из озорства он взял и притворился покупателем-любимцем.

Пробежался глазами по стеллажам, будто видел их в первый раз, взял книжку, полистал.

Подумал: "Вроде ничего..."

Открыл другую, прочитал в ней первую страницу: "Здорово!"

Он вдруг увидел, что одна из книг по философии еще кемарит, поколебался, улыбнулся и бережно взял ее на руки.

Но тут к столу робко подошел любимый посетитель.

— Здравствуйте, — сказал Книжник.

— Здравствуйте, месье, мне нужна поэма... такая, знаете ли, длинная поэма... про человека... который долго пропадал... скитался, бедствовал... лет двадцать... а потом нашел свою жену... ну а она... каким-то чудом... осталась ему верна.

— У меня есть то, что вам нужно.

— Мне для подарка, — уточнил покупатель.

— Прекрасный подарок, — сказал Книжник.

— Жене, — прибавил покупатель.

— А!.. — сказал Книжник.

— Да.

— Ей наверняка понравится.

— Спасибо.

Книжник посмотрел на книгу по философии, которую все еще не спускал с рук, но передумал и тихонько положил на место.

Философия появилась в лавке однажды утром и осталась насовсем. Ей было так уютно лежать на полке, а Книжник ее холил и лелеял.

Какая бы погода ни была на улице, здесь, в лавке, Книжник ухитрялся поддерживать сухой и жаркий климат, как в Сахаре, еще и этим его лавка отличалась от других, и философия привыкла, и ни за что отсюда не ушла бы. Размякнув на жаре, она валялась тут сахарской львицей рядом с другими книгами и никакими мыслями себя не утруждала.

Находились и посетители, которых привлекал тропический микроклимат. Они приходили только ради него и часами листали книги, делая вид, что выбирают. Книжник все понимал, но не мешал им.

И вот что странно: такие псевдопокупатели всегда листали и перебирали книги именно по философии, словно бы их тоже вечно бил озноб, как эту холодную науку.

— Простите...

— Да?

— У вас есть "Новые метафизические размышления"?

— Сейчас посмотрю. Холодина на улице, верно?

Тепло в книжной лавке создавалось искусственно, зато освещение было самое что ни на есть естественное.

Солнечный свет заливал аллеи между стеллажами так щедро, что хватало на весь день.

И только над столом с самого утра до вечера горела подвесная керосиновая лампа.

Если же в лавку заглядывал ночной гость, Книжник вел его темными аллеями, держа лампу в руке на высоте лица, своего или гостя.

Так они шли, хозяин с гостем, бок о бок, шли меж рядами книг, шли и шептались среди книг, в начале или на исходе ночи.

<...>

***

<...>

На витрину Книжник выставлял не самые новые книги, а те, что вылавливал, пройдясь вдоль стеллажей с завязанными глазами. Сначала приходилось долго кружиться на месте, чтоб потерять ориентацию, ведь он знал лавку как свои пять пальцев. Потом он шарил по полкам и выбирал книгу дня, недели, месяца или года — смотря по тому, как скоро они разойдутся, ибо только тогда и менял их. То есть попросту заполнял опустевшее место.

Если же посетитель осведомлялся, чем замечателен такой-то автор, Книжник отвечал что попало, ведь вероятность напороться на специалиста не так уж велика.

— В этом году двухсотлетие со дня его рождения.
— Да ничего подобного! До этого еще двадцать три года!
— Вы уверены?
— Абсолютно!
— Вы что, специалист?
— Да.
— А-а!
— Из каких источников ваши сведения?
— Простите?
— Из каких источников?
— Я мог и ошибиться.
— НО ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ?
— Моя мать каждый день готовит обед, в то время как я делаю уроки.

Книжник обходился без грубостей, он прибегал к другим, испытанным и столь же действенным средствам.

Его оружием были фразы, почерпнутые из учебников иностранных языков. Что это за языки и как звучат на них эти фразы, он не имел ни малейшего представления, просто вычитывал из учебников примеры.

Эти фразы-примеры почему-то волновали его как никакие другие, как-то особенно отзывались в его душе. Каждая заключала в себе целую историю:

"Я возвращаюсь с рынка, где повстречал твоих родителей".
"Если будет жарко, мы пойдем купаться".
"Разве вы не согласны со мной относительно кошек?"

"Этот дом не так красив, как тот".

"Апельсины, которые они съели, были очень вкусны".

И самая его любимая: "Об айсбергах можно узнать немало интересного". В этой фразе было что-то такое... Какая-то магическая сила, которая действовала всегда безотказно. Сначала Книжник думал, что этой силе поддается он один и в этом проявляется таинственная связь между ним и айсбергами. Но, испытав свою фразу в разных ситуациях, убедился, что и другие реагируют на нее очень остро, иное дело, что реакция у разных людей разная. Так один мужчина, услышав про айсберги, вкатил ему оплеуху, а одна женщина его поцеловала.

Однако Книжник не швырялся этой фразой почем зря, приберегая для исключительных случаев, когда все другие средства исчерпаны.

– Моя мать каждый день готовит обед, в то время как я делаю уроки.

– Что-что? – сказал специалист. – Я спрашиваю, из каких источников ваши сведения?

Книжник помедлил...

И выдал:

– Об айсбергах можно узнать немало интересного.

– ???

Пу-ду-пу-ду-пу-ду...

Книжник часто пытался представить себе, что за человек исхитрился написать такое... сначала сочинить в уме: "Об айсбергах можно узнать немало интересного", потом записать и, наконец, поместить в учебник рядом с другими фразами, тоже замечательными, но не обладающими такой убойной силой (хотя, конечно, Книжник испробовал не все).

Нет, он не имел ничего против айсбергов и ничуть не сомневался, что о них можно узнать немало интересного, но сочинить такую фразу! И записать! И выговорить! Колоссально!

***

Порою к середине дня он уставал читать и засыпал с открытыми глазами.

И видел сон, будто читает.

Такую книгу, где не происходит ничего.

Ничего-ничего.

Когда-то он довольно долго искал такую книгу наяву.

Искал, надеялся найти.

Но потерял надежду.

Иной раз попадалась почти совсем такая книга, но в последний момент... или в первый – словом, в какой-то момент все-таки что-нибудь да происходило. Кто-нибудь садился. Или закуривал. Или что-нибудь говорил.

Или думал.

Или рождался.

Или умирал.

Книги, где не происходит ничего, не было.

Ни одной.

<...>

***

<...>

– Добрый день, месье. Мне нужна "Анна Каренина".

Книжник порывисто встал.

– Идите за мной, – сказал он и вытянул над головой руку с поднятым пальцем.

– Я смотрел на полках с русской литературой, но не нашел. Может, у вас ее нет?

– Есть.

Покупатель пошел в глубь лавки за хозяином.

– Вот! – Книжник указал на небольшой стеллаж.

Клиент увидел, что стеллаж заставлен "Анной Карениной" в разных изданиях и каждого – по много экземпляров.

– Да, правда, есть, – сказал он.

Книжник улыбнулся.

Клиент стал вслух читать названия на корешках:

– "Анна Каренина"... "Анна Каренина"... "Анна Каренина"... "Анна Каренина"... "Анна Каренина"... "Анна Каренина"... "Анна Каренина"... "Анна Каренина"...

А Книжник слушал.

– "Анна Каренина"... "Анна Каренина"... "Анна Каренина"... "Анна Каренина"... "Анна Каренина"... "Анна Каренина"...

Голос клиента убаюкивал.

– "Анна Каренина"... "Анна Каренина"... "Анна Каренина"... "Анна Каренина"... Возьму, пожалуй, эту.

Клиент остановил свой выбор на одной из книг.

Хозяин взял ее и рассмотрел обложку.

– "Анна Каренина"! – сказал он.

<...>

***

Немного спустя, когда Книжник, уже без особой охоты, пригубил ароматный чай, в лавку вошел далай-лама и направился прямо к столу.

Книжник поклонился.

– У вас есть Большая Книга Жизни? – спросил далай-лама.

– Боюсь, разобрали, – ответил Книжник.

– Я так и думал, – сказал далай-лама и сел на стол в позе лотоса.

– А была?

– Была.

– И вы ее прочли?

– Прочел.

– И как?

– Да ничего хорошего.

– Вы полагаете?

– Все ясно с самого начала.

– Ну-ну...

Далай-лама умолк и погрузился в медитацию.

А Книжник вернулся к прерванному чтению.

Но вдруг его посетила мысль, и он поднял голову.

Далай-лама смотрел на него невидящим взором.

Книжник хотел что-то сказать, но не успел.

— Спасибо, нет, — опередил его далай-лама. — Вы очень любезны, но мне это ни к чему.

И Книжник отказался от своей мысли.

Они беззвучно перебросились еще парой слов, и Книжник снова уткнулся в книгу.

Не шевельнувшись и не выходя из медитации, далай-лама просмотрел несколько книг со стеллажей, мысленно поднялся по лестнице, увидел еще кучу книг на полу, стал их пролистывать и, натыкаясь каждый раз на выдранные страницы, навестил всех братьев и сестер хозяина лавки, чтобы прочесть купюры.

В доме одной из сестер не оказалось ни страницы, ни сестрицы. Он побродил вокруг дома, зашел в лес и там, под деревом, нашел обеих: сестра как раз читала только что полученную страницу. Далай-лама стал читать с ней вместе, глядя ей через плечо.

А дочитав отрывок, благословил сестру и вернулся на стол Книжника, где наконец пришел в себя, хоть из себя и не выходил.

— У всех все в порядке, — сказал он Книжнику.

— Спасибо.

— Еще увидимся.

— Конечно.

Далай-лама обошел всю лавку, что-то нашептывая, и удалился.

Книжник почувствовал, что на книжные аллеи снизошли мир и покой.

Все книги словно задышали.

И сам он перестал читать и тоже вздохнул полной грудью.

Всего разочек.

Ах, как давно ему не приходилось так дышать.

<...>

***

<...>

Пуууудууууудууууудууууууу.

В лавку медленно-медленно зашел какой-то человек.

Книжник долго-долго ждал за столом, пока он доберется.

— Доооообрый деееееееееень, — проговорил посетитель в замедленном темпе.

— Добрый день, — ответил Книжник как обычно.

— Мнеееееееее нуууууууууужныыыыыыыыыы книиииииги Маааааааааарсеееееееееля Пруууууууууууууууста.

— Понятно. А какие именно?

— Всеееееееееее.

– Хорошо.

Книжник вылез из-за стола и пошел по проходу. Посетитель за ним, еле-еле. Чтобы он не отстал, хозяин тоже шел едва-едва. Снял с полки несколько книг и протянул посетителю. Тот бесконечно долго тянул к ним руки, а получив, сказал:

– Спаааааааааааасиииииииииибоооооооооо.

– Пожалуйста, – ответил Книжник.

И зашагал назад к столу, опять ступая еле-еле, но так, чтобы идущий сзади не подумал, будто его передразнивают.

Посетитель простился, расплылся в затяжной улыбке и вышел из лавки все так же, в замедленном темпе.

Ответную улыбку Книжник растягивал так долго, что не сразу смог вернуться к чтению.

<...>

***

<...>

– Здравствуйте. Мне нужна "Госпожа Бовари", – сказал посетитель, на вид ученый человек.

– Госпожа Бовари – это я, – ответил Книжник.

Посетитель с ученым видом оглядел его.

– Как поживаете? – спросил он.

– Да что-то скучаю последнее время.

– Вам надо где-нибудь бывать, вы засиделись дома.

Книжник лукаво улыбнулся и сказал:

– Вы думаете?

– Ну конечно. Вам надо заниматься спортом, ходить в музеи, а иной раз не повредит заглянуть в ресторан...

Улыбка Книжника померкла.

– ... и опрокинуть рюмочку с друзьями...

Улыбка Книжника сошла на нет. А посетитель продолжал, прикрыв для вдохновения глаза:

– Да мало ли что может вам помочь! Попробуйте семейную жизнь, путешествия или – тоже неплохо! – заведите детей...

Книжник заткнул уши, чтоб больше ничего не слышать, сполз с кресла и забился под стол.

Так что когда посетитель открыл глаза, желая проверить действие своей учености на собеседника, то обнаружил, что тот исчез.

– Месье! – позвал он. Книжник сидел, обняв колени, и не отвечал. – Мадам!..

Ученый посетитель испугался и ушел.

Пудупудупуду.

<...>

***

<...>

– Тут открыто? – спросил чей-то голос.

Книжник поднял голову, но никого не увидел.

– Да, входите, – ответил он.

– Спасибо, – отозвался голос и вошел.

Книжник встал и попытался проводить вошедшего.

– Это все книги, которые у вас есть? – спросил голос уже откуда-то из глубины лавки.

– Да.

– А-а... Ну ладно.

Книжник зажег висящую над столом керосиновую лампу. По лавке разлился мягкий свет.

– Вам помочь? – спросил он на всякий случай.

– Да, пожалуйста, – ответил голос. – Мне нужен учебник иностранного языка.

– О, у меня целый стеллаж учебников, – сказал Книжник и снял лампу с крючка.

– Отлично, – сказал голос.

И двинулся вслед за Книжником в нужное место.

– Вот! – показал Книжник.

– Спасибо. Ничего, если я тут посижу и полистаю?

– Пожалуйста, прошу вас. Вам нужен... стул? Или еще что-нибудь?

– Нет-нет, спасибо, – сказал голос. – Вы очень любезны.

– Оставить лампу?

– Благодарю, не нужно.

– Что ж... Приятного чтения.

– Спасибо.

Книжник вышел на порог лавки, посмотрел на луну и сел читать, время от времени до него доносился голос, бормочущий что-то на разных языках.
<...>

***

С наступлением темноты клиентов становилось все меньше – потому ли, что снаружи лавка Книжника не освещалась или просто в потемках людям не так нужны книги?

Для самих книг и для Книжника менялся только свет: то был, то исчезал.

Редкие посетители, заходившие в темноте, были из числа ночных бродяг, а если вслед за пу-ду-пу-ду-пу-ду не слышалось шагов, но ощущался запах, которого призраки иметь не могут, то Книжник знал: пришла нагая женщина.

Так было и сейчас. Он захлопнул книгу и поднялся с кресла.

Нагая женщина обычно застывала в нерешительности на полпути от двери до стола.

Книжник подошел к ней, изо всех сил стараясь не пускаться в описание ее внешности.

У нагой женщины были темные, длинные, до середины спины, волосы.

"Ну вот, так и знал", – подумал Книжник.

Он тряхнул головой, но описание не прекратилось.

Волосы обтекали лицо на манер то ли римских, то ли египетских (Книжник точно не помнил) причесок, потом стекали дальше и доходили до середины спины, а по бокам – до локтей.

– Нет! – воскликнул Книжник.

Губы были чувственные, пухлые.

— Хватит...
Глаза голубые, манящие.
— ...пожалуйста... — взмолился Книжник.
Но поздно — описание нагой женщины пустилось во весь опор.
Розовые щеки.
Упругие полные груди.
Крутые бедра.
Длинные ноги.
Изящные ступни.
— Не надо...
Живот не плоский и не круглый. В самый раз.
Ягодицы круглые, раза в три-четыре больше, чем груди.
И островок пушистой темной шерстки.
— О нет...
Нагая женщина смотрела Книжнику в глаза и улыбалась.

Тогда он сжал ее в объятиях.
Ни слова не произнеслось.
Ни мысли не пронеслось.
Ни акта не произвелось.
Только Книжник и нагая женщина стояли посреди книжной лавки.
Книги онемели.
Но вскоре Книжник выпустил из рук нагую женщину. Она ушла.
А запах, чуть помедлив, последовал за ней.

После ухода обнаженной Книжник не стал читать.
Его тянуло к ней, и он покинул сам себя.
Чтобы побыть с ней рядом, там, куда она ушла.
Ну, а потом вернулся.
И стал читать еще усерднее.

<...>

***

<...>

У Книжника вошло в привычку угощать последнего за день посетителя, его и никого другого, чашкой травяного чая. Он знал, и слышал много раз от Жака Фаталиста, что никто, кроме него самого, такую гадость пить не станет. Но последний посетитель выглядел таким любезным, что Книжник был уверен — он притворится, что ему понравилось, а может статься, его любезность окажется так велика, что чай и впрямь ему понравится.

Вот он и угощал.

— Выпьете со мной чашечку травяного чая?
— Какого?
— Из шалфея.
По лицу молодого человека пробежало легкое облачко, но не смогло затмить его любезность.
— Охотно, — сказал он.

Книжник поднялся на кухню и вскоре осторожно спустился по винтовой лестнице, держа в руках две чашки.

– А есть у вас что-нибудь по психоанализу? – спросил молодой человек.

– Увы... Вам лучше бы спросить напротив, но ночью там закрыто.

– Ну, ничего. Не страшно.

Молодой человек понюхал чай, отпил глоток.

– Чудесно! – сказал он.

Книжник улыбнулся и тоже поднес чашку к губам.

– Хороший был денек, – сказал последний посетитель, как будто ставя точку.

И Книжник понял: он все понимает.

Молодой человек допил свой чай, простился за руку с Книжником и, чуть помедлив, вышел с последним в этот день пу-ду-пу-ду-пу-ду.

А Книжник долго слушал, как замирает звук.

Вооружившись лампой, он обошел всю лавку, хозяйским оком оглядел все книги.

Потом взял шляпу, сел поглубже в кресло, откинул голову и этой самой шляпой накрыл лицо.

"Бай-бай", – подумал Книжник.

<...>

В тот самый миг явился Бог, он подошел к проигрывателю и включил Вольфганга Амадея Моцарта.

Улыбка озарила лицо Книжника.

– Чуть-чуть погромче, – попросил он.

Заиграло громче.

Одна за другой засыпали книги.

А Книжник раскрыл свою на последней странице.

Юлиан Тувим

“Любовь в дожде нараспашку”

Стихи и афоризмы

Перевод с польского и вступление Анатолия Гелескула

Ледяной январь памятного 1953 года стал для польской поэзии траурным. Умер Константы Галчинский. На его похоронах Юлиан Тувим жестоко простудился, и 27 января его не стало. Семидесятипятилетний патриарх польского стиха Леопольд Стафф, учитель и кумир юности Тувима, сказал об ушедшем: “У него было сто красок, сто струн... Мы ждали его десятки лет”.

Ждали, правда, не все. Литературная судьба Тувима — это стойкая любовь одних и не менее стойкая ненависть других. Первая же публикация поэта вызвала обывательскую бурю и обвинение в подстрекательстве к босяцкому бунту. Через несколько лет стихотворение “К генералам” трактовалось уже как “измена родине”. Националисты особенно напирали на еврейское происхождение Тувим-

© “Biblioteka narodowa”, 1964
© “Czytelnik”, 1956, 1957
© Анатолий Гелескул. Перевод, вступление, 2007

ма и требовали вообще отлучить его от польской культуры. Что, впрочем, от них не зависело.

Но "сто струн" отнюдь не метафора. У Тувима было множество инструментов, и всеми владел он одинаково искусно. Один из лучших польских лириков, он был и трибуном, и сатириком, неутомимым участником журнала "Варшавский цирюльник", писал чудесные стихи для детей, песни для эстрадных театриков, тексты для кабаре (от остро злободневных до абсурдистских), и его остроумие не уступало его лирическому дару. Помимо того он был блестящим публицистом и даже кропотливым исследователем, правда, своеобразным. Тем не менее его труды — например, "Чары и черти Польши, антология чернокнижия" или "Польский словарь пьяниц" — высоко оценены специалистами (речь, разумеется, о филологах). Наконец, Тувим — один из лучших европейских переводчиков, редкого мастерства переводчик мировой поэзии, от Горация до Рембо, и прежде всего — русской, от "Слова о полку" до Пастернака. Он перевел "Горе от ума", "Кому на Руси жить хорошо", "Облако в штанах", инсценировал для театра гоголевскую "Шинель". Но вершина его — переводы стихов и поэм Пушкина, в том числе подлинный шедевр — перевод "Медного всадника". Любопытно, что Тувим и начинал как переводчик, тоже необычно, на свой неординарный лад. Его первыми литературными опытами были переводы стихов Словацкого и Стаффа на эсперанто.

Но прежде всего Юлиан Тувим — поэт, многозвучный и доныне, спустя полвека после его смерти, не отзвучавший. Если остановить, как нынче принято, на варшавской улице прохожего, а тем более — девушку, и попросить прочесть на память какое-нибудь любимое стихотворение, вполне возможно, что это будет Тувим. При всей легкости и доступности поэт глубокий, отзывчивый и потому, вопреки своему жизнелюбивому духу, трагический. Он смягчал трагизм иронией, но время было слишком нешуточным, и чуткое сердце его не обманывало.

39-й год застал Тувима в Париже; дальше — семь лет эмиграции, бегство из оккупированной Франции, Бразилия, Штаты. Его старая мать осталась в Польше и погибла во время массовых казней польских евреев. В Америке Тувим начал и так и не успел завершить ностальгическую эпопею "Цветы Польши". И почти не писал стихов ни в эмиграции, ни по возвращении на родину. Как поэту ему был отведен недолгий срок — межвоенное двадцатилетие.

"Мне было двадцать лет, когда началась первая война, — писал Тувим, — и сорок пять, когда вспыхнула вторая. Молодость прошла в воспоминаниях о первой войне и предвидении второй; отзвуки первой бури и раскаты второй наполнили жизнь моего поколения тревогой, чувством неуверенности, ощущением, что все временно, преходяще, а ты сам повис в опасной пустоте. В земле еще лежали неразорвавшиеся снаряды 1914—1918 годов, а мы уже чуяли и ждали удары люфтваффе".

Гоня тревогу, молодой бунтарь Тувим призывал к очистительной буре, но по мере того как надвигалась иная буря, смертоносная, все дороже становились для него простые человеческие радости и горести, простые и вечные. Это определило теплый, грудной тембр его поэзии, по крайней мере одной из самых долгозвучных ее струн.

В России Тувим издавался шире и чаще, чем кто-либо из польских поэтов после Мицкевича, и переводили его большие поэты — Анна Ахматова, Мария Петровых, Давид Самойлов, Леонид Мартынов. Еще и поэтому Тувим был у нас известен и любим. Предлагаемая подборка вряд ли что добавит к уже сложившемуся облику русского Тувима, но еще раз напомнит о нем. И о том, что в наше шаткое время человеку так же трудно и важно быть человеком.

Апрельская березка

Не листва, не опушь даже,
А прозрачный, чуть зеленый
Лоскуток небесной пряжи
Тает в роще изумленной.

Если есть на свете где-то
Небо тайное, лесное,
Облака такого цвета
Приплывают к нам весною.

И в березу превратится,
Ляжет тенью придорожной
Эта облачная птица?
Нет, поверить невозможно!

Философия в кофейне

Вавилонские башни,
Закулисные шашни,
Расписные покои,
Гимны, троны и брани,
Даже стихомаранье —
Не призванье людское.

Не кресты и поленья
На предмет искупленья,
Дабы спасся Варрава,
Не захваты угодий
Для прокорма отродий
И посмертная слава.

И ни звездные дали,
Ни земные скрижали
И виденья профета.
Не затем вековали
И в земле истлевали.
Не людское все это.

Теплит суть человечью,
Кто в надежде на встречу
Ждет, томясь тишиною.
И на лавочке белой
Пишет спичкой горелой
Чье-то имя смешное.

Заметь

Любовь по городу ищет,
Любовь в зеленом берете.
А я испарился. Где я?
Знает ли кто на свете?

Вихрь под зеленым беретом,
Прядь на лету золотится,
Эта мятежная прядка,
Затосковавшая птица.

Спешит, румянясь от бега,
Дыша тревожно и тяжко,
Любовь, вечерняя смута,
Любовь в дожде нараспашку.

Вихрь объявленья лепит,
Ищет пропажу упрямо.
В тугом свитерке надрывно
Стучит телефонограмма.

По барам сердца́ и вести
Снуют не переставая.
Розами в каменных порах
Кровоточит мостовая.

Тебе, моей безымянной,
Тоскующей где-то рядом,
Багряные блики нежно
Из луж подбираю взглядом.

Воспоминание

Осень возвращается мимозой,
Золотистой хрупкой недотрогой.
Той девчонкой золотоволосой,
Что однажды встретилась дорогой.

Твои письма звали издалека
И с порога мне благоухали.
Задыхаясь, я сбегал с урока,
А вдогонку ангелы порхали.

Вновь напомнит золото соцветий
Тот октябрь — бессмертник легковейный
И с тобой, единственной на свете,
Поздние те встречи у кофейной.

Смутный от надежд и опасений,
В парке я выплакивался вербе,
И лишь месяц радовал осенний —
От мимозы майский — на ущербе.

С ним и засыпал я на рассвете,
Были сны весенними — и слезы
Пахли вербной горечью, как эти
Золотые веточки мимозы.

Комнатенка на Гожей[1]

Небо тысячи звезд заметают порошей,
Неусыпная ночь сторожит его тишь.
И одна у окна в комнатенке на Гожей,
Вся в слезах, до утра ты не спишь.
А причина известна — морочил бесчестно,
Поимел да и бросил, а сам в стороне.
Ну а ты безнадежно, догадаться несложно,
До сих пор его видишь во сне.

Да важна ли твоя комнатенка,
Твои слезы, и парень, и мы!
Где-то млечных путей веретена
Гонят пряжу созвездий и тьмы.
И огромна земля наша тоже —
Океаны, хребты, племена.
А варшавской каморке на Гожей
В этом мире какая цена?

Ты сегодня на Гожей, другая на Польной
Молча смотрите в окна, забыли про сон.
Есть и третья, такая же, где-то на Сольной,
Всех не счесть. Имя вам легион.
В каждом городе, в Лондоне, Люблине, Львове,
В Копенгагене даже и бог знает где
Чье-то бедное сердце разбито любовью.
И на Гожей не минуть беде.

1. Песня *"Комнатенка на Гожей"* (улица в Варшаве) опубликована в 1933 г. вместе с нотами. Музыка Вл. Дана (Даниловского). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Мироздание катит в потемки
Миллионами млечных колес.
Мир огромней любой комнатенки,
А тем более сердца и слез.
И один ты единственный, Боже,
Раздвигаешь небесный покров,
Понимая, что сердце на Гожей
Стоит всех и светил, и миров.

Закат

Такого неба еще не помнят, наверно, люди,
С такого неба грядущей веры струится пламя,
Народ мятется, бичуют тело, кричат о чуде
И ту минуту переживают потом веками.

А позже где-то селяне в церковь идут молиться,
Бубнит священник и знать не знает, свершая требу,
Что приношенья, поклоны в пояс, тупые лица
И воздыханья... и все восходит к такому небу.

И на престоле своем в каком-то тысячелетье
Не представляет ни новый папа, ни присных куча,
Что начиналось с такого неба в тот вечер летний,
Что отпылало, остыло небо, но вера жгуча.

Безвестное дерево

Где ты ветвишься сумрачным кровом,
Где затаилось замершим зовом,
Может, удастся нам повидаться
Прежде чем станешь гробом тесовым?

Надо найти мне ствол обреченный,
Вросший корнями в грунт этот черный.
Где, гробовое, шепчешь листвою?
Ищет напрасно твой нареченный.

Вздохом окликни душу родную
В сумерках бора, где я горюю,
Вздохом могучим, перед беззвучьем,
Прежде чем ляжем в землю сырую.

Обговорить бы двум побратимам,
Как уходить путем нелюдимым,
Где суждено им стать перегноем,
Комьями глины, пеплом и дымом.

Может, на синей зыби качаясь,
Ты за плотами к дому причалишь —
Стыд будет мучить, вечный попутчик,
Что ж мы живыми не повстречались.

Или, быть может, рядом мы жили
И оставались оба чужими,
И на безвестном дереве местном
Вырезал кто-то милое имя.

Я отводил бы душу с тобою,
Мучил стихами, тронул мольбою,
Чтобы пробило толщу могилы
И расцвело в тепло голубое,

Чтобы меня корнями врастило,
Из земляного вырвав настила,
Чтобы сдружило корни и жилы —
И зашумим над ямой постылой.

Может, поднимет нас как ветрило
Вздох, окрыленный тайною силой,
Вечно родною грудью земною,
Раненной в сердце нашей могилой.

Смерть над головами

Расползается скука по крышам
И сердца цепенеют покорно,
Потому что мы смерть уже слышим,
Зашумела — так тихо и скорбно...

С темных улиц нас гонит денница,
Что-то мучит, не сладим с сердцами.
И никто никому не винится.
Ни полсловом. Почувствуют сами.

Все сидят при свечах онемело,
И с тобой мы сродни посторонним.
Вдруг — озноб и мурашки по телу...
Снова стихнем. И в памяти тонем.

На прощанье хотя бы словечко!
Разрыдаемся, хватит таиться!
В белом сне онемеем навечно —
И любовь, может, снова приснится.

И припомним, как в горьком похмелье,
Что такими счастливыми были,
Только жить по любви не сумели —
И тоска разбудила в могиле...

Но безрадостно хмурое утро
И тревога находит волнами.
Что-то слышится... тихо и смутно...
Это смерть зашумела над нами.

*

Никогда не знал я, что такое
Голодать, утрачивая силы,
Не ходил с протянутой рукою,
И молва меня не поносила.

Не горбатил я за хлеб и воду
Вьючною скотиной у вельможных,
Не пришлось в лихую непогоду
Ночевать в канавах придорожных.

Я всегда исправно и бесстыдно
Ел и пил, обслугой недовольный,
И всегда, чтобы жилось мне сытно,
Надрывался кто-то подневольный.

О грядущем дне меня не грызла,
Загнанного, вечная забота,
И мытарства без конца и смысла
Не смыкались тиною болота.

В судный день восстану я из гроба
Лишь с одной надеждою на милость,
Что весь век над сытою утробой
Голодало сердце и томилось.

Патриот

Наше житье земное
В нас отдает сивухой.
Я окрылен пивною,
Я патриот под мухой.

Польской судьбой великой
Впору дурить ребенка.
Горе в корчме размыкай,
Буйная головенка.

При закоптелой лампе
Снятся златые горы.
Где-то батрачат в пампе
Наши конкистадоры.

Смолоду кто позлее
Рад войсковым потехам.
Польше в лицо, хмелея,
Добрым смеюсь я смехом.
В лад и не в лад подольше,
Скрипка в корчме, пиликай.
Нам, непутевым, Польши
Хватит и невеликой.

Пусть себе миссис Гдыня[1]
Бредит заморским торгом.
В праздник со мной и свиньи
Душу отводят с толком.

Нынче с возницей в Кутно
Мы надрались что надо.
Эх ты, мой рай беспутный,
Пьяное Эльдорадо!

Ну а занепогодит,
Слушай, как ветер свищет.
Струны дождя заводят
Злую стихиру нищих.

История

Мелодия перла танком,
Трубя в суровые дали,
А по глухим полустанкам
Слова отупело ждали.

Экспресс сотрясало громом,
В вагоне звенели стекла,
Пока по грязным перронам
Понурое стадо мокло.

Пищали буквы-кубышки,
Животики напрягая,
Галдели слова-мартышки,
Толклись слова-попугаи.

1. Гдыня — польский порт.

Но тут державная кода
Низверглась óгнем и мечем
И строем погнала с ходу
Размякшие части речи.

И въезд оркестрами славя,
Дворец распахнул ворота.
Министры в полном составе
Приветствуют Гимн Народа.

Рецепты

1

Возьмите 100 грамм провансаля, горчицы и кваса,
яиц накрошите и ломтик холодного мяса,
нарежьте огурчиков, лука, укропа с иссопом,
смешайте затем и лимонным побрызгайте соком.
Весь секрет –
и готов винегрет.

2

Возьмите коньяк, полбутылки разбавьте портвейном,
а пять неразбавленных рюмок запейте портвейном,
три виски (без соды) и крепкого рома хватив,
залейте перцовкой.
Получится аперитив.

3

Возьмите народ. Размешайте, потом подогрейте.
Плотней нашпигуйте начальством, елея подлейте,
подсыпьте немного деньжат. И без лишних затрат
получите электорат.

4

Заварите войну. А продув ее, передохните.
Слейте кровь, подождите чуть-чуть. Заварите опять.
Заготовьте диктатора, лучше троих. Или пять.
Вздуйте цены, снимите навар. И без лишних хлопот
получайте дефолт.

Фрашки[1]

Съезд

Когда съезжаются злодеи,
Всегда пекутся об Идее.

Кинология

Навстречу мне рот раззявил
Ученый пес богачей:
“Я песик моих хозяев.
А вы, извините, чей?”

Лорелея

Запев, озирается дева,
Не слышит ли стража на Рейне,
И к каждой концовке припева
Тайком добавляет: “Хайль Гейне!”

Атака

“Ура!” — и набычась, как буйволы стадом,
Пригнулись и стелются в бешеном гоне,
Вконец распаленные криком и чадом,
Вперед на штыки! — словно к финишу кони.

Трещат пулеметы рассохшимся треском,
Сминая бегущих, колышется масса,
В лицо что-то шваркнет железом и блеском
И шмякнет на груду кровавого мяса.

Схлестнулись! Кого не скосило картечью,
Те колют, кромсают, свежуют штыками,
То грузно топча требуху человечью,
То мертвые лица давя каблуками.

1. Фрашка — польская разновидность эпиграммы.

Спешат отдышаться, в поту после кросса,
Багровые лужи меся сапогами.
И словно в мертвецкой бумажная роза,
В захваченный бруствер втыкается знамя.

1916

Урок

Учим, дети, речь родную.
На дворе гробы вплотную,
Хоть малы, зато в излишке —
Ваш букварь, приготовишки.

Снег, обугленный местами,
Тает черными крестами,
Над Варшавой мгла багрова.
Чти, сынок, родное слово.

Снежный ветер пляшет лихо,
С ним упырь и упыриха,
Упырят полно повсюду...
Не забудешь? Не забуду.

Не кричи, во сне считая
Страшных птиц ночные стаи.
Поутру в сырой воронке
Откопаешь полручонки.

Привыкай к могильной яме,
Сядь за парту с упырями.
В мир оглохший, в мир проклятый
Войте хором, варшавята!

1939

Афоризмы свои, подслушанные и пересказанные

Не говори гоп, даже прыгнув. Сперва погляди, во что вляпался.

Мера несправедливости должна быть одинаковой для всех.

В двери нашей истории постучалась Азия, и весьма уверенно. Дождались. Наконец-то.

Если бы люди не вздыхали, мир бы задохнулся.

Мозг — устройство, с помощью которого мы думаем, что думаем.

"Не сунусь в воду, пока не научусь плавать", — решил дурак.

Говорят, осторожность — мать успеха. Неправда. Остерегаясь, не станешь матерью.

Брось везунчика в воду — выплывет с рыбой в зубах.

Птица, увидав на вершине дуба слизняка, удивилась: "Как ты сюда залетел?" — "Ползком, пташечка, ползком".

Человека, за год разбогатевшего, следовало повесить годом раньше.

Комар создан, чтобы вызвать симпатию к мухам.

Союз: в политике комплот двух мазуриков, которые так глубоко запустили руку в карман друг другу, что уже не могут обобрать третьего.

Честный политик: если подкупить, не надует.

Консерватор: политик, которого устраивает нынешнее безобразие, антипод либерала, который хочет это безобразие заменить новым.

Радикализм — консерватизм грядущего поколения.

Новый клич: за ваш и наш фашизм.

"Лучше поздно, чем никогда", — как заметил некрофил.

Капитал — общие сбережения в одних руках.

Неверные в Риме — те, что не верят в Христа, а в Константинополе — те, что верят.

Религиозный мираж: курица, несущая пасхальные яйца.

Евангелие — пособие, как ближний должен относиться ко мне.

Ближних нам посылает судьба. Какое счастье, что друзей выбираем сами!

Знакомый — тот, кого знаешь достаточно хорошо, чтобы попросить в долг, и недостаточно, чтобы дать.

На вопрос одного аристократа: "Кем был ваш отец?" — Дюма ответил: "Мой отец был креолом, дед — негром, а прадед — обезьяной. Как видите, мой род начинается там, где ваш завершил свое развитие".

Многие аристократы не ушиблись бы, упав со своего генеалогического древа.

Гения легче распознать, когда он описывает комара, а не слона.

Такой-то месяцами сидит за столом и пишет повесть. Не понимаю. Проще сходить в книжную лавку и купить что-нибудь готовенькое.

Пар — вдохновение воды.

Из письма молодому поэту: "Возвращаю том стихов, данный мне для прочтения. Жаль, что не для написания".

В юности дни бегут, а годы тянутся. В старости наоборот.

Не верят, что я был очень красивым ребенком. Таким красивым, что цыгане меня подменили.

Для любви, дорогая пани, я слишком стар, а для дружбы — недостаточно.

Мужчина долго остается под впечатлением, которое произвел на женщину.

Ребенок с сердцем на вырост.

Белладонна — по-итальянски "красивая женщина"; на остальных языках, включая итальянский, — смертельный яд.

Трагедия — влюбиться в личико, а жениться на всем остальном.

Здоровье — одно, а болезней тысячи. У "счастья" нет множественного числа, а у "несчастья" есть.

Пивная — место, куда ежедневно приходят в последний раз.

Я знал девяностолетнего старика, который пил, пьет и будет пить. И при этом прекрасно себя чувствует. А вот его брат ни капли в рот не брал — и умер годовалым.

Жизнь — мучение. Лучше не родиться. Но такая удача выпадает одному из тысячи.

Не откладывай на завтра то, что можешь выпить сегодня.

Живи так, чтобы друзьям, когда умрешь, стало скучно.

Гай Давенпорт
Три эссе

Переводы с английского Анастасии Власовой, Дмитрия Воеводы

О. Генри

К концу первого десятилетия этого века застенчивый и дружелюбный уроженец Северной Каролины, опубликовавший около трехсот рассказов под псевдонимом О. Генри, согласился наконец сфотографироваться. У него, как известно, были причины скрываться. Интервью он тоже не давал. Один из издателей О. Генри, Гарри Стигер из "Даблдей, Пейдж и К°", уговорил его пойти к Уильяму Ван дер Вейде, и тот сделал превосходные фотографии: вандервейдовские снимки О. Генри — одни из лучших портретов американских писателей. Годы спустя Стигер вспоминал, как он два часа умасливал О. Генри, чтобы тот оделся и прошел два квартала от отеля "Каледония" до студии Ван дер Вейде.

Единственное свое интервью Джорджу Макадаму О. Генри также дал по настоянию издателей. Но здесь он чувствовал себя как рыба в воде, обернувшись одним из собственных героев, великим мошенником Джеффом Питерсом, и сообщил то, что считал нужным. Он сказался техасским газетчиком — почему бы и нет? — чтобы объяснить, откуда так хорошо знает Запад. О том, что он работал кассиром в банке Остина, О. Генри умолчал.

"Затем мой друг, у которого был небольшой капитал (чудесно, не так ли — иметь друга с небольшим капиталом?), собираясь делать деньги на фруктах, предложил мне поехать с ним в Центральную Америку". Не правда ли, это говорит писатель? Если уж выдумывать, то пусть выдумка будет литературной. В действительности Уильям Сидни Портер отправился в Гондурас, поскольку в Остине его обвинили в растрате; нарушив условия освобождения под залог, он отплыл в Центральную Америку из Нового Орлеана (а ведь у него была семья — жена и дочь). Едва ли О. Генри пробыл в Новом Орлеане дольше нескольких дней, но когда он выбирает его местом действия своих историй, это выглядит правдоподобно, словно рассказчик — местный житель.

"Банановая плантация погибла, и я поплыл обратно в Техас". Никакой банановой плантации не было: после двух лет в Трухильо он вернулся в Техас, узнав о тяжелой болезни жены. 25 июля 1897 года она умерла, а в феврале следующего года О. Генри судили; в тот же день перед парижским судом предстал Эмиль Золя (как и О. Генри, он бежал, будучи отпущен под залог, и отсиживался в Лондоне), упрекавший армию и правительство в несправедливом приговоре по знаменитому делу капитана Дрейфуса. Возможно, О. Генри был, как и Дрейфус, невиновен: одно из предъявленных ему обвинений относилось ко времени, когда его не было в Остине, другое, вероятно, объясняется путаницей в бухгалтерских книгах. До сих пор живо мнение, что О. Генри покрывал кого-то: впоследствии он напишет множество новелл о растратах, ложь-

© Guy Davenport, 1996
© Анастасия Власова. Перевод, 2007
© Дмитрий Воевода. Перевод, 2007

ных обвинениях и о том, как один отдувается за другого.

"Я отправился в Новый Орлеан и всерьез занялся литературой". На самом деле 25 апреля 1898 года он отправился в тюрьму штата Огайо отбывать пятилетнее заключение. 24 июля 1901 года его досрочно освободили за хорошее поведение и образцовое исполнение обязанностей фармацевта в тюремном изоляторе.

В тюрьме он изменил одну букву в своем среднем имени — Сидни — так, чтобы его написание совпадало с названием города Сидней — прежнего Ботани-Бей. Проза О. Генри полна намеков на тюремный опыт. Так, псевдоним, под которым он, отбывая наказание, начал писать, — это первые две буквы от названия штата Огайо плюс вторая, третья и последние две от слова penitentiary (тюрьма). (Ключ к разгадке своего имени О. Генри дает в новелле "Кто выше?"[1], герой которой — разоблаченный жулик Альфред Э. Рикс — возвращается в игру как А. Л. Фредерикс).

В эпоху тройных имен, когда даже П. Г. Вудхаус обязательно был Пелэмом Гренвиллом Вудхаусом, псевдоним О. Генри выглядел озорным, простым и скромным — своего рода одиссеевский "Никто". На вопрос о выборе такого имени О. Генри каждый раз отвечал по-разному: "'О' легче всего пишется", "'О' значит 'Оливье' — иначе говоря, 'Оливер', только по-французски".

Выйдя из тюрьмы, О. Генри недолго пробыл в Питтсбурге и почти сразу же перебрался в Нью-Йорк, где его новеллы были на слуху и начали пользоваться спросом. Последующие десять лет до самой смерти в 1910 году он (под псевдонимом Уилл С. Паркер) снабжал газеты и журналы рассказами, которые не спутаешь ни с какими другими и которые всегда составляли костяк различных антологий. Он был одним из самых популярных американских писателей. В год смерти у него вышли два сборника — "Деловые люди" и "Коловращение". В 1911 году был опубликован сборник "Всего понемножку", и даже в 1917 году из его новелл еще составляют книги ("Беспризорники"). В 1916 году К. Альфонсо Смит, с детства знавший писателя, выпустил его биографию, где рассказал правду о жизни О. Генри, который оказался здесь скорее похожим на героев Конрада, чем на персонажей собственных книг. О. Генри хотел, чтобы друзья, имевшие представление о его прошлом, видели в нем лорда Джима.

Его первая книга "Короли и капуста" удивительно напоминает "Ностромо": оба романа вышли в 1904 году, в обоих — сложная композиция и речь идет о присвоении крупных сумм денег в латиноамериканской республике.

В год смерти О. Генри (а также Толстого и Марка Твена) бурное отрочество модернизма подошло к концу — он вступил в пору зрелости. Однако ни Америка, ни Европа пока не успели этого осознать. Модернизм был тайным предприятием. Не только О. Генри ничего не знает о "Галерее-291" Стиглица[1], о ней неизвестно и Эзре Паунду.

О. Генри еще чувствовал дух фронтира[2]. Современность для него — это возможность купить в Хьюстоне нью-йоркское платье, всего три года как вышедшее из моды, или слушать в Гондурасе записи Джона Филипа Сузы на фонографе; а что касается архитектуры — это не "Ро-

1. Здесь и далее названия рассказов и сборников О. Генри приводятся по изданию 1956 г. (Киев, Радяньский письменник), если не указано другое. *(Здесь и далее – прим. переводчиков)*

1. Альфред Стиглиц (1864–1946) – американский фотограф и художник. В 1905 г. открыл в Нью-Йорке постоянную фотовыставку по адресу Пятая авеню, 291 – "Галерею-291", просуществовавшую до 1917 г.

2. Фронтир – в американской истории западная граница территорий, осваиваемой переселенцами. Для жизни фронтира были характерны беззаконие, авантюризм, надежда на быстрое обогащение, стычки с индейцами.

би-хаус" Райта (1909), а небоскреб "Утюг"[1] (1902). Он дважды упоминает Альберто Сантос-Дюмона[2] и ни разу — братьев Райт. Но хотя О. Генри, подобно Киплингу, выглядит почтенным дядюшкой на фоне революционно настроенных племянников и племянниц, для европейца он воплощает принципиально новый тип американского писателя.

Чезаре Павезе[3] считал его новатором, вдохнувшим новую жизнь в английское повествование: "Он заканчивает фразы так, как до него никто этого не делал, за исключением Рабле". По мнению Павезе, О. Генри нашел новое месторождение del bizzarro e del cosmopolitico[4], открыл странную красоту в житейской деловитости города. Для русских конструктивистов он был писателем, чьи неиссякающее остроумие, краткость и ироничность отразили американскую жизненную силу так же, как регтайм, автомобили и прагматизм. Эйхенбаум выделяет у него сентиментальные, "розовые" новеллы и новеллы о суровой жизни в городах и на полуосвоенных территориях; последние Эйхенбауму нравятся больше — он хвалит их за живой юмор и ироничную отстраненность. Аналогия с регтаймом тут не случайна. Если Вашингтон Ирвинг — которым О. Генри восхищался, признавая его своим предшественником в жанре рассказа о ньюйоркцах, — писал для клавесина, а Эдгар По — для виолончели, то О. Генри — Скотт Джоплин[5] среди прозаиков.

1. Джон Филип Суза (1854–1932) — американский композитор и дирижер, автор множества маршей, среди которых "Колокол свободы" и "Звездно-полосатый флаг навсегда". "Роби-хаус" — здание в Чикаго, построенное по проекту Фрэнка Ллойда Райта (1867–1959) и представляющее его идею "органической архитектуры". "Утюг" — небоскреб в Нью-Йорке, имеющий в плане треугольник; находится на пересечении Бродвея и Пятой авеню; архитекторы Д. Бернем и Д. У. Рут.
2. Альберто Сантос-Дюмон (1873–1932) — бразильский изобретатель и авиатор.
3. Чезаре Павезе (1908–1950) — итальянский поэт, критик и переводчик.
4. Странного и космополитического (*итал.*).
5. Скотт Джоплин (1868–1917) — негритянский композитор, один из основоположников регтайма.

Рассказы О. Генри очень похожи один на другой, за двумя исключениями. Это "Дороги судьбы" и "Колдовской поцелуй" — новеллы, поучительные в том смысле, что они показывают, сколь сумасброден бывал О. Генри и как мудро было с его стороны придерживаться своих самых удачных писательских находок. Место действия "Дорог судьбы" — Франция (это О. Генри позволил себе лишь однажды), время — романтизированное прошлое (это — тоже всего один раз); и вся вещь, говоря прямо, списана с "Двери сира Де Малетруа" Роберта Луиса Стивенсона. Но это талантливый плагиат, поскольку сюжет Стивенсона в "Дорогах судьбы" усложняется втрое. Когда стивенсоновская тема, использованная О. Генри для вариаций, была напечатана впервые, она называлась "Мышеловка сира Де Малетруа". В замечательном письме о собственном романе, который так и не был написан, а также в нескольких рассказах О. Генри сравнивает человеческое существование с мышеловкой. Сборник Стивенсона 1882 года, включавший вышеупомянутый рассказ, назывался "Новые сказки тысячи и одной ночи". О. Генри, в свою очередь, развивает образ писателя, уподобляющегося Харуну ар-Рашиду, который, переодевшись, ходит среди своих подданных.

Другое отклонение от "настоящего О. Генри" — это заигрывание с По, со сверхъестественным и с наркотиками. То, что О. Генри не чурается скользких тем, свидетельствует о желании выйти из рамок собственного стиля. Последний, незаконченный рассказ О. Генри сознательно или бессознательно вторит "Случаю на мосту через Совиный Ручей" Амброза Бирса и "Тайному чуду" Борхеса: во всех трех рассказах герой перед смертью переживает иллюзорное расширение времени, что позволяет ему прожить еще целую жизнь.

Называя жизнь мышеловкой, О. Генри имеет в виду человеческую зависимость от привычек и условно-

стей. У него есть несколько новелл, герои которых решают вырваться из серого круга повседневности, но быстро капитулируют.

Применительно к О. Генри лабиринт — более удачный образ, чем мышеловка: стержень нескольких лучших его рассказов (например, "Отречения Рэнси" или "Церкви с наливным колесом"[1]) — возможность обрести в лабиринте жизни утраченное прошлое. Вероятность счастливой случайности очень высока, а за доверчивость нам куда чаще достается от действительности, чем от литературы. Литература, однако, обязана объясниться. Знаменитые концовки О. Генри всегда правдоподобны и логичны. Его герои не игрушки рока, они сами творят свою судьбу. Некоторые из них — ловкачи — это осознают и достигают вершин в искусстве манипулирования обстоятельствами. Другим — невинным и беспомощным, — как правило, везет: от всех напастей их спасает то, что зла они чудесным образом не замечают. Похитителей покоряет невинность похищенных ("Заложники Момуса" и "Вождь краснокожих"), от укуса страдает сама змея. Чем продуманнее жульничество, тем комичнее провал.

Но не сюжет привлекает в О. Генри его поклонников, их покоряет его ироничный глаз, чуткий слух и грубоватая прямота его морали. "Почтмейстерша из Лорел-Рана" Брета Гарта вполне могла бы быть написана О. Генри. Стиль и сюжет — как у него, и все-таки не скажешь, что это его новелла: не тот дух. Здесь нет афоризмов, которыми О. Генри (как и Марк Твен) нашпиговывает повествование. Вот некоторые из них.

Трижды за свою жизнь женщина пребывает на вершине блаженства: первый раз — когда шествует к алтарю, второй — когда впервые посещает богемные места (ужинает с художниками в Гринич-вилли-дже), и последний — когда идет по саду к себе домой, неся мертвую курицу соседа.

Что касается детей: кроме старых дев, горбунов и сторожевых псов их никто не понимает.

Климат мы можем выбрать, но погоду нам навязывают.

Полная луна — ведунья.

Все в жизни, как известно, описывает небольшие, бесполезные круги.

Человек слишком стремится быть эготистом, чтобы не быть эгоистом.

Все города говорят нам одно и то же. В голосе каждого слышится Филадельфия.

Когда бедняк находит за подкладкой пиджака давно потерянный серебряный доллар, он погружается в радость жизни на глубину, о которой миллионер не может и мечтать.

Но со временем истина, наука и природа приспособятся к искусству.

Когда мы начинаем двигаться по прямой линии и огибать острые углы, наша натура терпит изменения. Таким образом, Природа, более гибкая, чем Искусство, приспособляется к его более жестким канонам. В результате нередко получается весьма курьезное явление, например, голубая роза, древесный спирт, штат Миссури, голосующий за республиканцев, цветная капуста в сухарях и житель Нью-Йорка[1].

Среди авторов, повлиявших на его манеру письма, О. Генри называет Монтеня. Он также ценил Лэма и Хэзлитта[2], и единственный его удачливый герой-писатель — эссеист.

Отторгая О. Генри как создателя легковесной литературы для полуграмотных, интеллектуалы упрекали его в том, что он пишет на сленге, и намекали на его плебейство. В самом деле О. Генри мастерски воспроизводит разные жаргоны: язык скотоводов, "черно-белый говор" южан, словечки с улицы Бауэри[3];

1. Название приводится по изданию: О. Генри. Шестерки — семерки / Перевод З. Львовского. — Л.: Мысль, 1925.

1. Перевод Н. Дарузес.
2. Чарльз Лэм (1775—1834) — английский писатель и поэт, автор "Очерков Элии". Уильям Хэзлитт (1778—1830) — английский критик и публицист.
3. Бауэри — улица в Нью-Йорке на Манхэттене, место расположения многочисленных ночлежек, прибежище наркоманов, алкоголиков и т. д.

его проза иногда перегружена каламбурами (хотя, как правило, остроумными, вроде "спиртуозного контролера человеческих душ"[1]), а обилие слов иногда просто поражает. Но вот вам натуралистическая сценка, действие которой происходит на освоенной пером О. Генри территории:

На куче гравия стоял очень маленький мальчик и защищал честь Питейной аллеи. Он швырял камни в мальчишек из Чертова переулка — те с воплями носились вокруг кучи, обстреливая мальчугана. Его личико побелело от ярости, тельце содрогалось от выкрикиваемых ругательств.

— Беги, Джимми! Беги, не то они тебя поймают! — взвизгнул другой мальчуган с Питейной аллеи, успевший скрыться от опасности.

— Нет! — храбро гаркнул Джимми. — Я этих трусов не боюсь!

Разбойники из Чертова переулка снова завыли от злости. Уличные оборванцы отчаянно бросились на штурм кучи гравия с правой стороны[2].

Это начало повести Стивена Крейна "Мэгги, уличная девчонка" (1893).

О. Генри постарался бы обойтись без "побелело от ярости", "храбро гаркнул", "завыли от злости" и "отчаянно бросились на штурм". Из уважения к автору не стоит продолжать перечисление штампов в приведенном отрывке. Впоследствии стиль Крейна изменится — появится упругий имажистский язык "Алого знака доблести" (1895) и "Шлюпки" (1898). Новизна "Мэгги" в том, как она начинается: с молниеносного действия, словно кино.

Когда стараниями братьев Люмьер, Эдисона и Мельеса на свет появился кинематограф, он вернул к жизни наиболее древний театральный жанр — пантомиму. О. Генри начинает и заканчивает роман "Короли и капуста" немыми сценами: в начале с их помощью он дает нам представление об интриге романа, тщательно маскируя его истинные события; в конце демонстрирует "витаграфоскоп" — нечто вроде короткого фильма, который можно увидеть в Кони-Айленде[1], наклоняясь к смотровому окошечку и не забывая при этом вертеть ручку аппарата. Классический мим появляется в Греции одновременно с новоаттической комедией. Старая комедия, возникшая на основе грубой и откровенно непристойной сатировской драмы, была резко обличительной и высмеивала конкретных людей: Аристофан в "Облаках" смеется над Сократом и его философией, окарикатуренной при помощи площадного юмора и превращенной в нелепость.

В новой комедии все характеры типизированы (старый брюзга, глупый раб, юные влюбленные, повар-афинянин, скряга). Греческое слово "характер" значит "клеймо" — знак мастера, который ставился внизу вазы; его использовал ученик Аристотеля Феофраст в описании психологических типов. Комичность типа в том, что он предсказуем, задан условностями, а реакции его механистичны. Это блистательное изобретение V века до нашей эры оказалось в искусстве самым долговечным. Тип несомненно существовал в народной смеховой культуре до того, как Менандр вывел его на сцену. Более скромный родственник комедии, мим представлял собой короткую сценку, которая игралась на званых ужинах и городских площадях одним актером, исполнявшим все роли. В считаные секунды актер должен был убедить зрителей, что он мужлан из тьмутаракани, безмозглый учитель или дебелая матрона, перемерившая всю обувь в сапожной лавке. В позднейшее время мим воплотился в немом кино (в фильмах с Лорелом и Гарди, Бастером Китоном, Чаплином), а новая комедия прославилась не только на сцене, но и в виде рас-

1. Рассказ "Джефф Питерс как персональный магнит". Перевод К. Чуковского.
2. Перевод А. Волкова.

1. Кони-Айленд — парк аттракционов на южной оконечности Бруклина.

сказа. Как бы ни был жалок наш век, нам все же есть чем похвастать: семьдесят пять лет в нем прожил П. Г. Вудхаус, Менандр современности, и десять лет — О. Генри. Конечно, были и многие другие, но творчество других — возможно, за исключением экзотичного и фанатичного С. Дж. Перельмана и нежного эксцентрика Джеймса Тербера[1] — не определялось целиком новой комедией, ее марионеточностью и яркой стилистикой.

Евгений Замятин считал новеллы О. Генри воплощением американской стремительности и деловитости, частью демократичного, оптимистичного, пролетарского искусства. Они печатались в газетах и журналах, их можно было почитать в метро, в ресторане — лишь бы выдались пятнадцать свободных минут.

Характер в исконном смысле слова важен и нужен только в комедии. Ни Ахилл, ни Гектор не являются типами: хотя на их поведение влияют как их полубожественная природа, так и противоборство чувства и долга, оно, поведение, все же непредсказуемо и в высшей степени изменчиво. Новая комедия возникла как психологическая теория, описывающая негибкое сознание — сознание тех, кто впервые влюблен, одержим какой-нибудь идеей или страстью или находится в плену у предрассудков и жадности. О. Генри-рассказчик обожает ограниченные умы; в новелле "Коварство Харгрэвса"[2] он знакомит нас с таким шаблонным персонажем: гордым и хвастливым, но почти нищим старым джентльменом из Алабамы, живущим с дочерью в Вашингтоне. Молодой актер Харгрэвс, изображающий в пьесе такой же характер, пародирует старика. Тот смотрит пьесу и приходит в ярость. Чем это не рассказ Генри Джеймса или Чехова, только написанный другим языком и с иначе расставленными акцентами? О. Генри, однако, лишь наметил фон для своей новеллы. Неожиданное появление преданного черного слуги, которого хозяин помнит еще ребенком, заставляет старика забыть о ярости. Слуга теперь — процветающий фермер в *Ньюбраске*[1], имеет вес в тамошнем обществе, а в Вашингтон приехал на съезд баптистов. Он является, чтобы вернуть деньги, которые получил после Гражданской войны от семьи старика и которые позволили ему начать новую жизнь на Западе. Старый джентльмен со слезами принимает деньги; но куда важнее то, что почтение и преданность слуги возвращают ему его прежние ценности, над которыми насмеялся Харгрэвс. Однако этот новоявленный благородный вольноотпущенник — все тот же Харгрэвс, о чем знают только читатель и дочка старика. Благодаря О. Генри мы убеждаемся, что разносторонний, свободный ум всегда возьмет верх над шаблонным мышлением: в такой легкости ума — суть комедии.

Закономерно, что О. Генри написал множество рассказов о жуликах; забавнее всего те из них, где жулики обжуливают жуликов. Тематически к ним близки новеллы, где обычный человек превращается на один вечер в богача (что, в свою очередь, является вариантом метаморфозы Харуна ар-Рашида, когда богатые и могущественные скрываются под масками неприметных бедняков). Подобные сюжеты тем более значимы для нас, что сам О. Генри был человеком, носившим маску (его биографы, как мне кажется, недостаточно глубоко это поняли). Он скрывал свое прошлое и даже свое лицо. И отказывался играть ту единственную роль, которая принесла ему известность, — роль писателя. В интервью с Макадамом он утвержда-

1. Сидни Джозеф Перельман (1904–1979) — американский драматург и писатель-юморист. Джеймс Гровер Тербер (1894–1961) — американский эссеист, юморист и карикатурист, автор коротких рассказов и басен.
2. Название приводится по изданию: О. Генри. Шестерки — семерки / Перевод З. Львовского. — Л.: Мысль, 1925.

1. Искаженное Небраска, название штата США.

ет, что невысоко ценит свои рассказы, даже теперь, когда они выходят целыми томами. Остается гадать, насколько он честен с самим собой, когда говорит, что хочет быть серьезным писателем и устал от хитро закрученных анекдотов, которые бесчисленные поклонники принимают за непосредственные, полные глубокого смысла истории.

Героем романа, который задумал и не написал О. Генри, должен был стать самый заурядный человек, "угодивший, как мышь, в мышеловку". О. Генри хотел описать его предельно точно и реалистично. Похожую идею вынашивал Флобер: "создать книгу, в которой ничего не происходит".

Оба замысла воплотились в джойсовском "Улиссе". Идеальный роман О. Генри так и остался в проекте. Издатели называют такие книги — задуманные и ненаписанные — фантомами. (У Мильтона фантомом был "Макбет": дальше названия дело не пошло.) В каком-то смысле новеллы О. Генри и есть его ненаписанный роман. Они охватывают жизнь рубежа веков от Западного побережья до Нью-Йорка, а также Юг и даже Центральную Америку — география Тедди Рузвельта, если угодно. Миссисипи принадлежала Марку Твену. В совершенном мире совершенных книг западные новеллы О. Генри вышли бы с иллюстрациями Фредерика Ремингтона, а нью-йоркские — Джона Слоуна и Джорджа Беллоуза[1].

С чувством унижения — или с насмешкой? — О. Генри перечисляет товары из лавки старьевщика, продаваемые "в нагрузку" один к другому: "произведения Генри Джеймса, шесть записей для фонографа, пара теннисных туфель, две банки хрена и каучуковое дерево", все за доллар восемьдесят девять центов. Слышно хихиканье Уильяма Джеймса[1]. Известно, что О. Генри морщился, когда его сравнивали с "похабником" Мопассаном, но нет никаких сведений о том, что́ он думал о себе в сравнении с другими писателями. Его Нью-Йорк соседствует с Нью-Йорком Эдит Уортон[2], которая была вхожа туда, куда не пускали Уильяма Сидни Портера. По правде говоря, окружение О. Генри затерялось в литературной истории. Свой рассказ "Снеговик" он поручил закончить некоему Харрису Мертону Лайену. Лайен был драйзеровским "Мопассаном-младшим" из "Двенадцати американцев", богемой и неудачником, "иногда писавшим как О. Генри". Что касается нью-йоркских коллег последнего — Роберта Х. Дэвиса, Ричарда Даффи, Уильяма Джонстона, Джилмана Холла, — океан времени пощадил только имя Уиттера Биннера[3]. Именно он, новоиспеченный выпускник Гарварда, подсказал О. Генри, как сложить из различных новелл роман "Короли и капуста".

Своих литературных единомышленников — Роберта Луиса Стивенсона, Редьярда Киплинга, Марка Твена и неизвестного автора "Тысячи и одной ночи" — О. Генри никогда не видел. Но удивительно, как искусно он вплетал их наследие в свое творчество. Благодаря им (и еще Омару Хайяму) О. Генри усвоил, что повествование — это следование за судьбой, а философия и религия здесь ни при чем и что искусство рассказчика — высокое умение, основанное на опыте, наблюдении и проникновении в человеческий характер. Он не пытался соперничать со своими литературными кумирами на их территории (дань Стивенсону — единственное исключение). И автобиографичен никогда не был. Все, что он написал, — это чудесный плод воображения.

1. Фредерик Ремингтон (1861–1909) — американский художник, скульптор и график; одно время жил на Западе и был ковбоем. Джон Френч Слоун (1871–1951) и Джордж Беллоуз (1882–1925) — американские художники, в живописи которых нашла отражение жизнь Нью-Йорка.

1. Уильям Джеймс (1842–1910) — брат писателя Генри Джеймса, психолог и философ, основоположник прагматизма.
2. Эдит Уортон (1862–1937) — американская писательница.
3. Уиттер Биннер (1881–1968) — американский поэт.

Возможно, О. Генри никогда не видел бесчисленных комнатушек в пансионатах и девушек из народа, которых он так убедительно описывает. Ему не доводилось встречаться ни с южноамериканским диктатором, ни с нью-йоркским миллионером, ни с мексиканским бандитом. Правда, он был знаком с одним мошенником, прототипом Джеффа Питерса. Чувствуется, что имеешь дело с профессиональным провизором: время от времени О. Генри щеголяет знанием лекарственных средств и рецептур.

На сегодняшний день стиль его прозы устарел; энергией выражения он похож на стиль Томаса Нэша, Томаса Эркарта или Артемуса Уорда и Дэймона Раньона[1], любивших просторечие, как и он. Это невероятно гибкое, богатое описаниями (и объяснениями) повествование, в котором есть место и печали, и насмешке. Больше всего в нем восхищает постоянное внимание к деталям: к железному стану кровати, приятно холодящему усталые ноги, к обстановке на летнем курорте у подножия Голубого хребта, к тому, что́ едят ковбои, занятые отловом скота. Как сказал один мудрый историк, подлинная история — в художественном вымысле. Век, отразившийся в прозе О. Генри, стал американским культурным мифом. Верить в его девчонок со свежими веснушчатыми лицами, или в искренних, прямодушных молодых людей (позаимствованных затем Хемингуэем, который лишил их чувства юмора), или в погонщиков скота, жестких, как их кожаные ремни, и нежных, как дети, не значит исправлять историю. В природе всякое бывает. То, что в рассказах О. Генри всего один раз встречается проститутка и совсем нет церковников и скандалов, объясняется благородной традицией искусства, которая установилась не столько вследствие пуританского запрета (хотя не обошлось и без него), сколько вследствие любви к хорошим манерам; насаждать их и должна была литература.

Миф О. Генри взывает к прямодушию, порядочности, честной игре, состраданию, любви и дружбе. Таковы были требования воспитания, удовлетворить которые О. Генри стремился изо всех сил. Но даже поверхностного знакомства с его прозой достаточно, чтобы понять: О. Генри ведет коварную подрывную деятельность, он восхищается мерзавцами, отъявленными лжецами и ловкачами, ищущими окольные пути в жизни. Именно пройдоха выживает в мире узаконенного обмана, в мире правительств, банков, адвокатов, где в почете умелое мошенничество: перехитри других, не то придется туго.

Сверхловкачи-виртуозы О. Генри уничтожают плод своих трудов, несмотря на прибыльность, потому что разочаровались в своей работе. Зато его литературный поденщик выглядит негодяем. Меткие стрелки, взломщики, удачливые революционеры, титулованные лорды, умеющие сварганить обед для ковбоев, — в мире О. Генри мастерство равнозначно успеху. Если у него и была философия, то ее девиз: главное — умение. Умение что-то делать и к чему-то стремиться. Сам О. Генри хорошо умел писать рассказы.

Перевод Анастасии Власовой

1. Томас Нэш (1567 — ок. 1601) — английский писатель-сатирик. Сэр Томас Эркарт (1611–1660) — шотландский писатель и переводчик. Артемус Уорд (псевдоним Чарльза Фаррара Брауна) (1834–1867) — американский писатель-юморист, журналист и общественный деятель. Дэймон Раньон (1884–1946) — американский журналист и писатель.

Джойс-читатель

Едва ли найдется автор, которого так трудно понять, как Джеймса Джойса, если не знаешь круг его чтения. Имеет смысл хотя бы полюбопытствовать, что читал такой писатель, как Джойс. И тотчас обнаруживается, что литература — сложный диалог,

который ведут между собой книги. Смыслы порождаются не только образами, но и их взаимосвязями и ассоциациями между ними. Так, мы читаем, что "глаза всех в синагоге были устремлены"[1] на Иисуса, когда в день субботний в Назарете он вслух читал Книгу Исайи. Мы с бóльшим почтением относимся к Исайе, поскольку его читает Иисус, и, в свою очередь, сильнее верим в реальность Иисуса, потому что наши глаза также могли бы быть устремлены на него, когда он читал в синагоге Исайю. Таким образом устанавливается символическое родство, взаимодействие, специфическая связь между читающим и тем, что он читает.

По мнению Джойса, смысл истории состоит в том, что наше будущее — в нашем прошлом. Писатель — хранитель прошлого, и поэтому проводник в будущее. Вровень с Джойсом — самым изобретательным писателем нашего времени — стоит Джойс-читатель. Он был одним из наиболее творчески мыслящих читателей со времен Уильяма Блейка и, как Блейк, обладал поразительной способностью преобразовывать, понимать, анализировать и интерпретировать прочитанное. Джойс знал (и удачно использовал в "библиотечной" главе "Улисса") трактовку Шекспира, данную Георгом Брандесом[2] и столь важную для него потому, что она пришла из Дании, а в начале своего пути Джойс считал, что именно датской культуре он обязан особым ви́дением мира. Благодаря Брандесу, вероятно, он узнал и Кьеркегора. Он уже читал Ибсена и Енса Петера Якобсена[3]. Скандинавия стала для Джойса "свежим ветром, духом своенравной юношеской красоты"[4] (так в "Портрете художника в юности" он говорит о духе Ибсена). Дублин был передовой заставой викингов; Джойс воображал, что в его жилах течет кровь норманнов, и ломал голову над тем, отчего исторические судьбы Дублина и Копенгагена столь несхожи. Почему один оказался парализован и затянут в трясину фанатизма, а другой стал очагом прогресса, здоровой терпимости, социальной справедливости и интеллектуального роста?

К середине XIX столетия оба города очень нуждались в духовном обновлении. У скандинавов были Грундтвиг и Кьеркегор (взявший за основу Хольберга), братья Брандес и Нексё[1], Ибсен и Стриндберг, услышанные лишь после многочисленных споров и упрямого сопротивления. Скандинавский ум шокировали дарвинизм Якобсена, экзистенциализм Кьеркегора, крайний либерализм Брандеса, но, как следует выждав для приличия, он признавал их правоту и брал их идеи на вооружение. Просвещение Скандинавии осуществлялось благодаря обучаемости и гибкости людей, слушавших своих пророков. Пророкам Ирландии, как горько заметил Джойс, бросали в глаза негашеную известь[2].

Книга Элсворта Мэйсона и Ричарда Элмана "Критические труды Джеймса Джойса" (1959 г.; 2-е издание — 1989 г.) свидетельствует о внимании Джойса к писателям, которые были совестью своего народа, даже если голоса их звучали скромно, как голос Джеймса Лейна Аллена из

1. Евангелие от Луки. 4:20.
2. Георг Брандерс (1842–1927) — датский литературный критик и публицист, а также историк литературы.
3. Енс Петер Якобсен (1847–1885) — датский писатель. Наиболее значительным произведением считается его роман "Нильс Люне" (1880).
4. Перевод М. Богословской-Бобровой.

1. Николай Фредерик Северин Грундтвиг (1783–1872) — датский просветитель и общественный деятель, историк, теолог, писатель. Людвиг Хольберг (1684–1754) — датско-норвежский писатель, один из создателей единой датско-норвежской литературной традиции. Братья Брандес — Георг Брандес (см. выше) и его младший брат Эдвард Брандес (1847–1931) — литературный критик, публицист и писатель. Мартин Андерсен-Нексё (1869–1954) — датский писатель.
2. Имеется в виду инцидент, произошедший с ирландским борцом за независимость Ч. С. Парнеллом в 1891 г., когда во время предвыборной речи ему в глаза бросили негашеную известь.

Кентукки или ирландца Джеймса Кларенса Мангана[1].

Джойс осуществил такой синтез прошлого, который мы лишь сейчас можем нанести на карту реальности и осмыслить. У авторов вроде Диккенса или Кафки искусство делилось на роды и виды органично и постепенно. Джойс ускорил этот процесс с помощью самого смелого в истории литературы эксперимента. Ему нужно было знать прошлое, чтобы находить те необъяснимые соответствия между Сведенборгом и Бёме, которые, как он видел, заимствовал Блейк и которые так много значили для Бодлера, Рембо и других (например, для Фурье и, на другом смысловом полюсе, — для Вико, Мишле и Кине[2]). Вместе с Данте, воспринимавшим все сотворенное как символ, Джойс хотел вернуться к породившему искусство ощущению единства вещей, которое Гераклит называл "логосом" и которое многие современные авторы (ближайшим примером для Джойса был Йейтс) пытались обрести с помощью всевозможных эскапад и мистических прорывов.

Коль скоро синтез достижим, он должен быть всеобъемлющим, глубоким и трагическим. То, что открывалось Джойсу-читателю, было скорее антропологией человеческого воображения, нежели критической оценкой. Сколько бы Джойс ни говорил, что "Любовник леди Чаттерлей" будто сварганен зеленщиком-итальянцем, он осознавал, что в этой истории, как и в "Братьях Карамазовых", слышен голос мира. Прошлое — это помойка, городская свалка в Оксиринхе под Александрией, где можно наткнуться на клочки папируса с текстами Аристотеля и Сафо. Чтобы шаржировать Герти Макдауэлл, Джойсу нужна была Мэри Корелли[1], а не Флобер. Чтобы создать Блума, ему пришлось почесть "Руби — красу арены"[2].

В системе, сотканной из мгновенных впечатлений, каждый следует своей интуиции. Джойс облюбовал Дублин — весь город вошел в план его романа. В 1863 году внучатый племянник блистательного дублинца Ричарда Бринсли Шеридана, драматурга и члена парламента, издал роман "Дом у кладбища", действие которого происходит в Чеплизоде (где жил мистер Джеймс Даффи из "Несчастного случая"[3]). Его автора, Шеридана Ле Фаню, помнят как мастера готических триллеров наподобие "Дяди Сайлеса" (1864) и создателя нескольких первоклассных историй о призраках. "Дом у кладбища" — самое "разнузданное и бесформенное чудовище" (известная фраза Генри Джеймса), какое только мог состряпать викторианец, следуя принципу "чем больше, тем лучше". Роман Ле Фаню напоминает хогартовские[4] зарисовки крестьян, солдат, дуэлянтов, вымогателей, мошенников, шарлатанов и старых дев. Это смешение жанров, в котором поочередно берут верх то детективный роман, то диккенсовская эпопея, то готический триллер, то трагедия возмездия, то смоллеттовский фарс.

У наделенного воображением Джойса-читателя было несколько отправных точек для проникновения в эту запутанную книгу: во-первых, место действия — Чеплизод (часовня Изольды), там же разворачиваются события "Поминок по Финнегану"; во-вторых, ее ярко выраженная ирландскость; наконец, слово "кладбище" (по-датски

1. Джеймс Лейн Аллен (1849–1925) — американский романист. Джеймс Кларенс Манган (1803–1849) — ирландский поэт.
2. Джамбаттиста Вико (1668–1744) — итальянский философ. Жюль Мишле (1798–1874) — французский историк романтического направления. Эдгар Кине (1803–1875) — французский политик, историк и философ.

1. Мэри Корелли (псевдоним Мэри Маккей; 1855–1924) — английская писательница, автор научно-фантастической литературы.
2. Эту книгу в "Улиссе" читала Мэрион Блум.
3. Рассказ из сборника Джойса "Дублинцы".
4. Уильям Хогарт (1697–1764) — английский живописец, график и теоретик искусства.

kirkegård или, в старом написании, kierkegaard) и лирические описания реки Лиффи, которая танцует и искрится, словно бойкая девушка, но которой предстоит превратиться в сточную канаву Дублина. В первую очередь Джойс сосредоточился на том ужасном эпизоде в запутанном сюжете романа, когда жертва убийства впадает в кому. Если талантливый дублинский хирург, обаятельный пьяница и развратник, сделает трепанацию успешно, жертва на миг придет в сознание, назовет убийцу и тотчас умрет, на сей раз – от трепанации. Ле Фаню придумал все это на манер Гран-Гиньоля[1], чтобы заставить викторианского обывателя трястись от страха. Джойс увидел здесь параллель с Финнеганом, очнувшимся на собственных поминках. Он находил в этом своеобразную литературную метафизику: каждое произведение искусства свидетельствует об убийстве, точнее – о прошлом, которое Джойс всегда считал преступлением против настоящего и будущего. Писатель – безответственный хирург-виртуоз, на мгновение воскрешающий мертвых. "Он взмахивает волшебной палочкой, и немой говорит"[2]. Будущее не наступит, пока грехи прошлого не предстанут перед судом.

Джойс встроил "Дом у кладбища" в "Поминки по Финнегану". Тем самым он переписал "Несчастный случай", не изменив в нем ни слова. Он уже использовал эту историю в "Улиссе", заставив Блума присутствовать на похоронах госпожи Синико. "Поминки" вобрали в себя "Улисса", как и все прочие джойсовские произведения. Подобно Пенелопе, Джойс ткал и распускал свое полотно (если помните, это был саван для ее свекра Лаэрта), и каждый новый узор был сложнее предыдущего.

Все прочитанное он вплетал в ткань своих произведений. Многие исследователи изучали эту его черту, самым ярким проявлением которой стал, конечно, "Улисс", сотканный из нитей "Одиссеи". У другого автора критические заметки и разрозненные эпизоды превратились бы в громоздкое журналистское расследование. Книга Джойса – набор ключей. Лекция о Блейке свидетельствует, что Джойс думал о Блейке, как о себе самом (кстати, Нора иногда весь вечер изображала из себя Кэтрин Блейк).

Джойс удивительным образом переписал то, что прочел. Его Ибсен – более смелый и мудрый драматург, чем Ибсен, которого мы знаем. В его Шекспире решительно больше Джойса, чем Шекспира, или, чтобы не впадать в ересь, скажем лучше, что это джойсовский Шекспир. Благодаря всем этим слияниям и краскам Джойс бесконечно обогащается, он поражает и заставляет задумываться. Он может быть бóльшим фрейдистом, чем сам Фрейд. Его каденции на темы Льюиса Кэрролла затмевают источник.

В итоге какой-нибудь прилежный исследователь соберет все разрозненные джойсовские высказывания, приведенные Фрэнком Бадженом, Артуром Пауэром, супругами Джолас[1] и другими, а также рассыпанные в его письмах, "Дублинцах", "Портрете", "Улиссе" и "Поминках". Тогда у нас будет больше шансов понять, почему Джойс хвалил Йейтса, Д'Аннунцио и Киплинга за силу воображения, а в себе на сей счет порой сомневался, и как бунтарская гордость его гения уравновешивалась смиренным представлением о том, что он всего лишь еще один писатель.

1. Гиньоль – персонаж французского кукольного театра XVIII в., тип жизнерадостного, остроумного и циничного лионского кустаря вроде русского Петрушки, говорящего на местном диалекте; часто выступает как рассказчик жестоких историй. Также – название самого театра кукол.
2. "Поминки по Финнегану", книга 4.

1. Фрэнк Баджен, Артур Пауэр, Мария Джолас, Юджин Джолас – друзья и исследователи творчества Джойса.

Поздняя Гертруда

Года три назад Гертруда Стайн объявилась в Лексингтоне, штат Кентукки, — она представляла свою последнюю книгу в местном книжном магазине. Я случайно услышал в студенческом городке, как одна дурочка кричала своей подружке: "Умереть и не встать — она, собственной персоной! Только подумай, Гертруда Стайн!"

В магазине была Глория Стайнем; но какому еще американскому автору, умершему полвека назад, нашлось бы место среди куцых сведений в голове непробиваемой невежды? Гертруда Стайн вместе с Алисой Бабеттой Токлас прочно вошла в сознание американцев. Ее салон в доме 27 по рю де Флерю (между бульваром Распай и Люксембургским садом) был эхом XVIII столетия. Там, в чрезвычайно знаменитой сейчас комнате, увешанной Пикассо, Сезанном, Матиссом и Дереном, можно было столкнуться с Эрнестом Хемингуэем, Жаком Липшицем[1] или Шервудом Андерсоном. Даже с Эзрой Паундом. (После того как он поломал стул, его больше не приглашали.)

Стайн — яркая фигура в истории искусства, литературы, музыки эпохи мировых войн, в массовой культуре и академическом фольклоре. Йейльский университет посмертно напечатал все ее сочинения в шести томах. Периодически появляются сборники, вроде "Хрестоматии Стайн" (1993, редакция и вступительная статья Уллы Э. Дайдо), издаваемые в робкой надежде, что кто-нибудь это прочтет. "Рэндом Хаус" десятилетиями печатал "Избранные произведения" Стайн. По общему мнению, "Автобиография Алисы Б. Токлас" (1933) мила и читать ее можно, "Три жизни"[1] (1908) — значительная вещь, оперы Гертруды (с партитурами Вирджила Томсона[2]) — очень забавны, однако бóльшая часть ее обширного наследия нечитабельна. Требуются героические усилия, чтобы пробиться через тысячу страниц "Становления американцев" (1925), а тех, кто добросовестно одолел "Как писать" (1931), "Длинную веселую книгу" (1933) и "Медитативные строфы" (1933), надо награждать медалью Американской академии.

К концу столетия мы вынуждены признать, что научились читать далеко не все тексты, написанные в этом веке. Чтение Джойса и Паунда заставило заново осмыслить сам процесс чтения. Что пыталась сделать Гертруда Стайн, до сих пор неясно. Там, где мы в состоянии понять ее, она с лихвой нас вознаграждает. Мы в состоянии довольно четко разграничить, что мы можем читать у нее, а что нет, и до какой степени осмысленны ее страницы. На одном полюсе — легкий, гибкий стиль "Автобиографии", на другом — "кубистское" нагромождение повторов и корявостей "Длинной веселой книги". Посредине — могучая эхолалия и логорея[3] "Становления американцев", а также пьесы и оперы, которые всегда в той или иной степени осмысленны. Мы можем понять "Нашу общую мать" (1947) так же, как понимаем "Матуш-

1. Андре Дерен (1880–1954) — французский живописец; начинал писать как фовист. Жак Липшиц (1891–1973) — французский скульптор. Наиболее известны его "кубистские" работы, а также поздние монументальные скульптуры, отличающиеся особой экспрессией.

1. Гертруда Стайн. Автобиография Алисы Б. Токлас. — СПб.: ИНАПРЕСС, 2000. Гертруда Стайн. Три жизни. — Тверь.: Митин журнал /Kolonna Publications, 2006. (*Здесь и далее сноски даны только к тем произведениям, которые изданы на русском языке.*)

2. Вирджил Томсон (1896–1989) — американский композитор и музыкальный критик, испытавший сильное влияние французской музыкальной школы.

3. Эхолалия (от *греч.* echo — эхо и lalia — бормотание) — неконтролируемое повторение слов, услышанных в чужой речи. Логорея (от *греч.* logos — слово и rhoia — истечение) — речевое возбуждение, патологическое многословие.

ку Гусыню" и Эдварда Лира (не добавить ли и Уоллеса Стивенса[1]?).

Многие дети и даже полтора унылых профессора могут без скуки читать "Доктор Фауст зажигает огни" (1938), потому что смеются над собачкой, которая только и говорит, что "Спасибо!", и потому что нам доводилось слышать, кто такие Фауст и Мефистофель.

Набор произведений, которые объединила под обложкой "Хрестоматии Стайн" Улла Дайдо, весьма необычен (хотя Ричард Костелянец[2] тут ее опередил). Здесь — вся "трудная Гертруда Стайн", и читать это очень тяжело. За исключением "Становления американцев" и "Медитативных строф", все тексты приведены полностью.

Те, кто, подобно Уильяму Карлосу Уильямсу[3], видел в Гертруде Стайн революционного автора, утверждали, что она отскребала слова от налета, чтобы мы могли разглядеть их заново. По ее собственному убеждению, она была кубистом. То есть она делала набросок эпизода так же, как Пикассо и Брак писали мандолину — несколькими штрихами, по которым восстанавливается весь образ. Самый удачный литературный прием Стайн заключался в том, чтобы подразнить нас, заставить теряться в догадках, указать на те языковые ловушки, которых мы обычно избегаем или не придаем им значения. Здесь Стайн движется параллельно Витгенштейну[4], который считал, что язык — это игра по определенным правилам.

Если бы Гертруда и Людвиг когда-нибудь встретились, они, вероятно, часами говорили бы о шестой сцене в четвертом акте "Упражнения в анализе" (1917), полный текст которой звучит так: "Теперь я понимаю". Утверждения такого рода занимали Витгенштейна в последние тридцать лет его жизни. Эта фраза включает в себя проблемы другого мнения, однозначности, эпистемологии, но также и языковую игру. Контекстов для нее множество.

"Места тут хватает" — другой кусочек диалога из этой пьесы. Я вижу, как Уильям Джеймс читает лекцию в Гарварде, и из всех слушателей лишь мисс Стайн внемлет ему. Что касается места, оно есть всюду. Но, как сказал бы Сэмюэл Беккет, не в этом мире. Говорящий прибивает фурнитуру или прибывает в Калифорнию? "Вы видите цифры?". "Зовите меня Эллен". "Громадные тарелки".

Гертруда Стайн была великим читателем. В романах у Генри Джеймса, например, герои разговаривают, и в нюансах сказанного скрывается тончайшее плетение авторской словесной паутины. А теперь представьте себе роман, скажем, джеймсовский "Священный источник" (1901), от которого остался только диалог.

Подобные трудности озадачивают читателей и ставят в тупик критиков. Что они такое? Музыка Филипа Гласа[1] — намек на разгадку: повторение с небольшими вариациями может зачаровывать или утомлять, это зависит от ваших нервов. Неприкрытое нахальство такой творческой манеры внушает уважение. Мы понимаем, что перед нами извращенная и коварная техника, законченная авторская манера. Разнообразие письма Стайн вызывает ассоциации с Пикассо. "Медитативные строфы", если их выразительно читать вслух, пугающе похожи на сонеты Шекспира зву-

1. Эдвард Лир (1812–1888) — английский художник, поэт-абсурдист; мастер приключенческого и исторического романа. Один из крупнейших представителей детективной литературы. Уоллес Стивенс (1879–1955) — американский поэт; хотя его стихи написаны для взрослых, в США нередки случаи, когда преподаватели знакомят с ними учеников самых младших классов.

2. Ричард Костелянец (р. 1940) — американский поэт, эссеист, литературный критик.

3. Уильям Карлос Уильямс (1883–1963) — американский поэт.

4. Людвиг Витгенштейн (1889–1951) — австрийский философ, автор "Логико-философского трактата", посвященного, среди прочего, вопросам языка (русский перевод — М., Наука, 1958).

1. Филип Глас (р. 1937) — американский композитор, один из представителей минимализма.

чанием и величественностью строки. Они даже *говорят* что-то — но что? Это как подслушивать актера через две комнаты: можно почувствовать интонацию и мощь, но разобрать нельзя — Донн это, Мильтон или Марло? Или как наблюдать за проявлением фотографии в кювете, пока еще не проступило изображение.

Если бы только мы могли заставить ее тексты ожить, как это делает музыка Вирджила Томсона. Мы можем кое-что из них извлечь, подозревая шутку практически всюду и смеясь с Гертрудой, а не над ней. Ее письмо восхищает, оно всегда энергично и приветливо.

Джеймс Лафлин, который одно время был у Гертруды и Алисы мальчиком на побегушках, автомехаником и машинисткой (с условием ежедневно принимать душ, чтобы "не пахло мужчиной"), рассказал, как Гертруда работала. Она писала в тетради, положив ее на колени, и одновременно вела беседу (Лафлин засек время: две с половиной минуты, чтобы заполнить страницу). Алиса в соседней комнате печатала предыдущую тетрадь. Пусть это вас не смущает: Диккенс работал так же. Главное здесь — уверенность Гертруды в том, что она делала. Она полагалась на свой стиль.

Однако хватало и мучений. Превосходные вступительные заметки Уллы Дайдо неожиданно заставляют переосмыслить и ранние произведения Стайн. Они также разъясняют некоторые обстоятельства и названия, содержат критические наблюдения. Ссылки на реальные события беспомощны и ничего не дают для трактовки текста. Что нам нужно, так это ключ к чтению Гертруды Стайн. Мой опыт подсказывает, что смысл в ее текстах есть. В одной из самых "плотных" кубистских работ Пикассо один ученый недавно смог различить фигуру "Библиотекаря" Арчимбольдо[1], так что теперь мы можем проследить зримую логику в том, что казалось абстракцией, сочетанием пестрых черточек. Мы уже не ищем кролика в картинке-загадке, а понимаем эстетический принцип.

По моим наблюдениям, Стайн начинала с того, что у другого автора было бы идеей. Она, однако, не думает развивать идею в сюжет, стихотворение или эссе, но препоручает это "химии" своего редкого интеллекта. Однажды она услышала, а может, заметила сама, что жизнь Байрона могла бы лечь в основу интересной драмы. Но писать пьесу — не для нее; она предпочитает анализировать сложности, связанные с историческими персонажами в пьесах, и пьесы сами по себе. Так, в 1933-м она написала драму "Лорд Байрон", которая, кажется, повествует и о Байроне, и о драме, и о том, что мы имеем в виду, когда произносим знаменитое имя. *Кажется.* Чтобы читать это, мы должны задействовать тот отдел мозга, который никогда раньше не использовали, где нервные клетки устроены по-другому. Все это очень напоминает игру детей в песочнице: они счастливы, заняты, по-своему целеустремленны, но лишь ангелам ведомо, что они там такое сооружают.

Перевод Дмитрия Воеводы

1. Джузеппе Арчимбольдо (1527–1593) — итальянский художник; часто рисовал портреты людей, как бы составленные из неодушевленных предметов.

Григорий Кружков

Хроники вавилонского разделения

...все в мире — перевод,
В котором суждено нам
потеряться...

Дж. Меррилл *"Потери перевода"*

Великий век перевода совпадает с великим веком литературы или непосредственно следует за ним.

Эзра Паунд

I

Всякая коммуникация подразумевает кодирование, передачу информации и ее расшифровку, то есть понимание. Но акт понимания и есть, в сущности, акт перевода, подчеркивает Джордж Стейнер[1]. Рычание зверя может означать, если перевести его на человеческий язык: "Уходи отсюда!" (угроза), а в другом случае, допустим: "Будь моей царицей!" (нескромное предложение). Так что и профессия переводчика может претендовать на титул древнейшей — если включить сюда перевод с львиного, птичьего и языка водяных капель.

Когда человек научился складывать из простых высказываний (слов) сложные высказывания (фразы) и, особенно, когда он вступил в письменную эпоху и доподлинно убедился, что его речь имеет атомарное строение, он немедленно поддался искушению толковать и переводить не саму речь, а слова. Подчеркнем, что в основе этого метода лежала абсолютно верная идея сведения сложного к простому. Другое дело, что у всякой верной идеи есть оборотная сторона. Так уже на заре литературы (фактически даже раньше) возникло два метода перевода: интегральный и корпускулярный, смысловой и дословный. И вскоре возник спор — как переводить лучше: все значение в целом (как нераздельное рычание) или по словам, атомам речи.

Этот спор, продолжающийся до наших дней, можно проследить с античных времен. Марк Туллий Цицерон в "Превосходном ораторе" (46 г. до н. э.) пишет: "Я перевел на латинский язык две из самых красноречивых и благородных речей в афинской литературе, в которых Эскин и Демосфен оспаривают друг друга. Но я переводил их не как тупой поденщик, а в манере оратора, передавая те же самые темы, выражения и формы высказываний так, как это принято в нашем языке. При этом я не считал необходимым переводить слово в слово, важнее было сохранить силу и аромат высказывания. Ибо я полагал своим долгом воздать

© Григорий Кружков. Статья, 2007

1. "Понимание как перевод" — заголовок вступительной главы в книге Дж. Стейнера "После столпотворения" (G. Steiner. After Babel, 1966).

читателю не счетом, а правильным весом"[1].

Также и Гораций в "Искусстве поэзии" (19–17 г. до н. э.), уча поэта, походя задевает переводчика-буквалиста:

> Общеизвестный предмет твоим
> достоянием станет,
> Если в пошлом и низком кругу
> не будешь вращаться;
> Ежели как переводчик не станешь
> ты слово за словом
> Передавать и не влезешь
> в такую трущобу, откуда
> Вытащить ног
> или стыд не позволит,
> иль смысл сочиненья[2].

Квинтиллиан, который ввел термины *метафразис* для дословного перевода и *парафразис* для перевода фразами, считал главной задачей переводчика – сохранение живой традиции и ее обогащение. Он пошел дальше Цицерона, утверждая, что переводчик должен соперничать с оригиналом и стараться его превзойти: "...ибо тот, кто старается обогнать другого, может быть, если и не обгонит, то хотя бы сравняется с ним. Но заведомо никогда не сравняется с другим тот, который ступает след в след, ибо таким образом он всегда будет оставаться позади"[3].

Очевидно, что свободный перевод в духе Цицерона, Овидия и Квинтиллиана по природе своей вариативен. Дословный перевод, наоборот, стремится к некоему "полюсу" – идеалу точности. Идеалом такого идеального труда можно считать "Септуагинту", перевод "семидесяти толковников". По легенде, в III веке до н. э. семидесяти двум ученым-иудеям в городе Александрия был поручен перевод Библии с еврейского на греческий; причем трудились они по отдельности, в полном уединении, не сверяясь и не общаясь друг с другом, но когда оконченные переводы сравнили, все семьдесят два варианта оказались абсолютно тождественными, как будто их текст был надиктован каким-то невидимым Духом. "Эти слова были единственно возможными или по крайней мере лучшими для полной ясности изложения", – замечает Филон Иудейский, впервые рассказавший эту историю в своей работе "Жизнь Моисея" (20 г. до н. э.)[1].

Все грядущие дискуссии и разногласия вокруг перевода в значительной своей части сводятся к спору этих двух установок: римской, ораторской (Цицерон, Гораций) и иудейско-эллинской, книжной ("семьдесят толковников").

Проблема "точность или вольность" вместе с другой, родственной проблемой "доместикация или форинизация" проходит красной нитью сквозь всю книгу "Перевод – теория и практика" (Translation – Theory and Practice. A Historical Reader). Авторы-составители этой исторической хрестоматии Дэниел Уэйссборт и Астрадур Эйстенссон собрали, структурировали и снабдили объяснительными связками огромное число высказываний теоретиков и практиков перевода, а также обдуманно подобранных примеров. Диапазон "Хрестоматии" (будем ее так называть для краткости) – от античности до наших дней. Перевод в Средние века и в эпоху Возрождения, в XIX веке и в XX – все это сориентировано прежде всего на английского читателя, поэтому английская традиция перевода представлена наиболее полно, но издание включает в себя и широкий диапазон неанглийских авторов: св. Иероним и Лютер, Гёте и Иржи Левы, Борхес и Владимир Набоков. Обширный современный раздел включает теоретические высказывания и практические приме-

1. Translation – Theory and Practice. A Historical Reader. Ed. Daniel Weissbort & A. Eysteinsson. Oxford University Press, 2006. P. 21. В дальнейшем ссылки на это издание обозначаются просто A Reader.
2. Перевод А. Фета.
3. A Reader, p. 25.

1. Ibid., p. 24.

ры из современных авторов — от Джорджа Стейнера до Шеймаса Хини. Составители сделали все, чтобы облегчить читателю плавание в море информации: справки об авторах, введения к каждой главе, объяснения-связки, подстрочный филологический перевод поэтических отрывков, перекрестные ссылки на другие переводы, именной указатель и многое, многое другое.

Одним словом, не книга, а настоящее сокровище для всякого, изучающего историю и теорию перевода. Помню, какой пиратский восторг ("Пиастры! Пиастры!") охватил меня, когда в руки мне лег этот большеформатный и увесистый том, опубликованный Издательством Оксфордского университета. Обидно, что на русском языке не существует ничего похожего. В наибольшей степени к данному формату приближается, может быть, лишь книга "Перевод — средство взаимного сближения народов" (сост. А. А. Клышко. — М.: Прогресс, 1987), но то был скорее сборник публицистики, чем научное издание.

II

Не пытаясь охватить содержание "Хрестоматии" в целом, в этой рецензии я собираюсь говорить лишь pro doma mea — о том, что относится к переводу поэзии. Современное состояние дел в области перевода русских стихов на английский язык не очень радует. Англоязычные читатели вынуждены верить на слово, что, скажем, Ахматова или Пастернак — великие поэты. Между прочим, один из авторов "Хрестоматии" Дэниел Уэйссборт в частном разговоре вспоминал, как Тед Хьюз отзывался о поэзии Мандельштама: "Nothing comes across" ("В переводе ничего не остается"). Но можно ли ожидать иного, если сложность и объемность оригинала переводят одномерной прозой, если многоголосую органную фугу пытаются сыграть на дудочке? И при этом ссылаются на несовпадение поэтических систем: так, дескать, сейчас не пишут, нашей поэзии это не свойственно, etc.

А ведь известно, например, сколь многому научилась английская поэзия Возрождения, перенимая чужие, дотоле не существовавшие в ней формы. Именно в то время были перенесены на английскую почву французская баллада, итальянские терцины и, наконец, сонет, столь разнообразно расцветший в поэзии елизаветинцев и романтиков, у Сиднея и Спенсера, Шекспира и Донна, Вордсворта и Китса. Поэты тогда предпринимали все усилия, чтобы сохранить в переводе полнозвучную музыку оригинала, несущую в себе его смысл и энергию.

Тогда поэты так панически не боялись "отсебятины", понимая, что верный портрет оригинала невозможен без проникновения в суть портретируемого автора, без творческой отваги; нельзя перевести стихи, исполненные жара вдохновения, методом бухгалтерского учета. Зато и создавались такие переводы, которые сами становились памятниками английской литературы и могли даже через двести лет вызвать восхищенный отзыв поэта — я имею в виду, конечно, "Сонет, написанный после прочтения Гомера в переводе Чапмена" Джона Китса[1].

Прислушаемся к тому, что писал английский поэт XVII века Джон Денем в предисловии к своему переводу "Разрушения Трои" (1656): "Вульгарным заблуждением при переводе поэзии я считаю принятие позы Fidus Interpres[2]; ибо существо дела заключается не в передаче слов словами, а Поэзии — Поэзией. Поэзия же столь тонкая субстанция, что при переливании из одного языка в другой она испаряется, и, если не влить в этот момент свежую субстанцию, в остатке мы получим

1. Джордж Чапмен (1559–1634) — поэт, драматург и переводчик.
2. Честный переводчик (*лат.*).

лишь *Caput mortem*[1]..." То же самое он изъяснял и в стихах:

Ты не из тех, кто с голоса чужого
Твердит за строчкой строчку,
слово в слово:
Вот рабский труд!
От сих напрасных мук
Не мысль крылатая,
не звонкий звук –
Одни слова, товар пустой
и мелкий,
Плодятся, как базарные поделки.
Иной открыл ты в переводе путь:
Ты не слова передаешь, но суть,
Хранишь не мощи
в опустевшем храме,
Но гения немеркнущее пламя.
Где обмелел стихов его поток –
Ты глубины ему добавить смог
И возместил с избытком
все утраты,
В каких язык и время виноваты.
Оковы мнимой точности презрев,
Ты возродил ритмический напев,
И вновь исполнились
упругой силы
Стихов оживших мускулы
и жилы...[2]

Эти принципы сохранились, в основном, и в XVIII веке, и в XIX. Драйден, позаимствовав у Квинтиллиана термины "метафраза" и "парафраза", добавил к ним "подражание", сведя все переводческие методы к этой триаде. При этом он отвергал "метафразу", ведущую лишь к неуклюжим подобиям, лишенным художественной силы оригинала (в пример он приводил перевод "Искусства поэзии" Горация Беном Джонсоном). Он подвергал критике и "подражания": излишняя свобода ведет к созданию не перевода, а оригинального произведения. Драйден призывал к золотой середине, то есть "парафразе". При этом он сетовал на тяжесть и неблагодарность переводческого труда: "Мы только батраки, трудящиеся на чужом винограднике; мы подравниваем лозы, но вино достается хозяину. Он – изобретатель, владыка своих мыслей и слов, он может варьировать и поворачивать их, пока не добьется искомой гармонии. У нас нет такого преимущества; привязанные к мыслям, мы можем вносить гармонию лишь в их изложение; по этой причине музыке перевода никогда не сравняться с музыкой оригинала"[1].

Законодатель английского классицизма, виртуозно владевший стихом Александр Поуп, так же как Чапмен, перевел всего Гомера, при этом он его несколько причесал и подчистил, приспособив к вкусу своего века; так в дальнейшем станут причесывать и подчищать Шекспира во Франции. Сегодня мы бы назвали метод Поупа *доместикацией*. Из Гомера у него вышел литературный памятник эпохи классицизма. "По крайней мере, хоть что-то получилось", – ворчливо прокомментировал Эзра Паунд два века спустя.

В XVIII веке, особенно к его концу, оппозиция "вольного" и "точного" перевода перетекла в плоскость национального: английские переводчики могли выбирать между французским, или "вольным", методом и немецким, или "точным". Тогда-то сделался популярным афоризм: "Перевод – как женщина: если она красива, то неверна, если верна, то некрасива" ("Не сексизм ли это?" – опасливо отмечают составители "Хрестоматии" в особой сноске[2]). В это же время значительно расширился спектр переводимой литературы: если до этого преобладала античная классика, то теперь стал стремительно развиваться перевод с современных европейских языков (Дант быстро вошел в канон, в самое его ядро) и с восточных языков. Здесь англичане

1. Мертвая голова, череп (*лат.*); нечто мертвое.
2. "Сэру Ричарду Фэншо..." (1648). Перевод М. Бородицкой.

1. Из "Предисловия к "Энеиде"" (1697). A Reader, p. 150.
2. Ibid., p. 196.

следовали за немцами, усваивая классических восточных поэтов, например, перса Фирдоуси и индийца Калидасу; наступала эпоха романтизма, экстенсивная фаза развития европейского гения.

В этот период распространенным сделался перевод поэтических произведений прозой. Гёте даже писал ("Поэзия и правда", 1814), что на начальных стадиях обучения прозаический перевод предпочтительнее. "Я воздаю должное ритму и метру, которые делают поэзию поэзией, но самые глубокие, ключевые и действенные смыслы — те, которые остаются и в прозаической передаче. Этот остаток — чистая, совершенная эссенция; блестящая оболочка порой только вводит нас в заблуждение, намекая на то, чего нет, или мешая разглядеть то, что есть"[1]. Мальчишкам, продолжает Гёте, опасно давать в руки игрушки-погремушки звуков, они по своей любви к проказам и передразниванию обернут все шуткой, пародией, не заметив сути; вот почему не лучше ли давать им, например, Гомера в прозаическом переводе?

Между прочим, эти слова Гёте напоминают о современном сопротивлении английских переводчиков традиционным формам стиха; им все мерещится что-то потешное, пародийное в рифмах — точь-в-точь как мальчишкам Гёте; не впала ли английская культура, пройдя фазы молодости и зрелости, в пору старческого ребячества?

Отметим, что прозаическими были, в духе времени, и знаменитые переводы-мистификации: "Оссиан" Макферсона и "Гузла" Проспера Мериме, породившие богатые, подлинно поэтические отзвучия под пером Пушкина и других русских поэтов.

Подробно прослеживается в "Хрестоматии" история перевода Гомера и других классиков на английский язык. Гекзаметр никак не давался англичанам. Все было пущено в ход: и пятистопный попарно рифмованный стих (героический куплет), и пятистопный нерифмованный (белый) стих, и слегка подправленный балладный размер, и проза. В "Хрестоматии" приводится дискуссия Ф. У. Ньюмена и Мэтью Арнольда по поводу перевода "Илиады". Ньюмен начисто отвергает "чуждый народу" гекзаметр и взамен использует балладный стих как соответствующий эпической форме оригинала. Вообразите "Гнев, о богиня, воспой...", переложенный на размер баллады о Робин Гуде: "Двенадцать месяцев в году, / Считай иль не считай". Это как если бы русские переводили Гомера размером былин. А ведь пытались; но в результате такой *доместикации* Ахилл начинал сильно смахивать на Алешу Поповича. Мэтью Арнольд доказывает, что английский гекзаметр возможен, и настаивает на необходимости сохранения формы. Его главный аргумент: "Гекзаметр не получается? Значит, мало пробовали, плохо пробовали"[1].

Удивительно, но никто в этом длительном споре не привел аргумента, который русскому читателю кажется само собой разумеющимся: лишь в трехсложном размере Гомера, в длинном накате его дактилей, полных или усеченных, слышен гул набегающих волн — голос Моря, главного героя гомеровского эпоса. В результате разного устройства слуха у русских имеется выбор из нескольких переводов, выполненных обязательным гекзаметром: Гнедич, Жуковский, Вересаев; а у англичан по-прежнему конкурируют белый стих, рифмованные двустишия, и прозаические переводы — все это представлено на полках современного магазина.

Невероятный успех в XIX веке имела книга "Рубайят Омара Хайяма" Эдварда Фицджеральда, впервые вышедшая в 1859 году и до сих пор переиздающаяся. Мало сказать,

1. A Reader., p. 199.

1. Ibid., p. 228.

что это вольный перевод; Фицджеральд не только по собственному произволу отобрал, скомпоновал и интерпретировал четверостишия Хайяма, он добавил и свои собственные строфы — для связности сюжета, — никак этого не оговаривая. Поразительно, что с этого перевода Фицджеральда началась громкая слава поэта Хайяма не только в Европе, но и на его родине, в Персии! Еще поразительнее, что, несмотря на общедоступность сюжета поэмы, — и задумчиво пирующий герой, и диковинная обстановка как нельзя лучше соответствовали представлениям о мусульманском Востоке, воспитанным у европейцев сказками "Тысячи и одной ночи", — Фицджеральду удалось каким-то чудом сохранить глубину духа и тайну поэзии Омара Хайяма[1].

Должное место в "Хрестоматии" уделено и Данте Габриелю Россетти, основателю Прерафаэлитского братства, замечательному переводчику ранних итальянских поэтов, "Новой жизни" Данте и средневековой немецкой поэмы "Бедный Генрих". У него мы впервые встречаем понятие "верности" как оппозиции формальной "точности". "Единственная заповедь, без которой ритмический перевод мертв: хорошее стихотворение не должно превратиться в плохое, — писал Россетти в предисловии к "Новой жизни". — Поэзия — не точная наука, точность вторична по отношению к этому главному закону. Я говорю *точность*, а не *верность*, потому что это совершенно разные вещи"[2].

Самым интересным переводом Уильяма Морриса, поэта и художника, основателя собственной школы в английском дизайне и искусстве книги, был "Беовульф", настолько близкий к своему англосаксонскому подлиннику и ритмически и синтаксически, что современники сочли его слишком темным. (В наши дни появился перевод Шеймаса Хини, написанный живым, доступным языком, но сохраняющий при этом тонические ударения, аллитерации и характерное "варварство" стиля.)

III

Исключительное значение для практики перевода в XX веке имели переводческие опыты и высказывания Эзры Паунда (1885—1972). "Морестранник" (с древнеанглийского) и "Старый Китай" (переложения с подстрочников профессора-китаиста Эрнеста Фенеллозы) печатаются в сборниках Паунда наравне с его оригинальными стихами и по-прежнему вызывают восхищение. Не потерял актуальности и его афоризм: "Великий век литературы совпадает с великим веком перевода или непосредственно следует за ним". Паунд утверждал, что *перевод есть форма литературной критики*: он не только делает доступными для читателя произведения чужих литератур, но интерпретирует их. Польза перевода обоюдная: для самого поэта-переводчика она состоит в том, что, "стараясь воспроизвести чужой голос, он обретает свой собственный".

Паунд не соглашается с мнениями тех, кто советует отвернуться от переводов и читать только подлинники: "Найдется ли среди нас человек, столь сведущий в латыни и столь богатый воображением, чтобы самому обнаружить в оригинале то волшебство оттенков, которыми поражает нас Голдинг (старинный переводчик Овидия. — *Г. К.*)? Разве чужая речь сможет когда-нибудь стать для нас настолько своей, настолько богатой красотой и нюансами смысла, как наша lingua materna? Разве не создается новая красота и не удваивается старая в талантливо сделанном перекладе?"[1]

1. И. А. Голубев. Тайнопись Омара Хайяма // Омар Хайям. Рубаи. Смоленск, 2007. С. 4.
2. A Reader, p. 254.

1. Ibid., p. 275.

Вместе с тем Эзра Паунд оказал двусмысленную услугу поэзии, легализовав использование верлибра как английского эквивалента метрического и рифмованного стиха: "Дело не в том, что один язык не способен свершить то, что может другой, но бывает удобней и быстрее достичь той же цели другим путем", — утверждал он в статье "Кавальканти"[1]. К сожалению, виртуозные опыты Паунда стали оправданием бесчисленного количества других, далеко не виртуозных.

Еще дальше по пути доместикации, освобождения стихотворения от его оригинальной формы пошел Роберт Лоуэлл (1917—1977), влиятельный американский поэт и переводчик, автор "Подражаний" ("Imitations", 1961), сборника свободных переводов европейской поэзии — от Гомера до Пастернака. В предисловии он подчеркивал творческую роль переводчика — его индивидуальный голос, перевоплощающийся в разные лица и обстоятельства: "Я пытался писать на живом английском — так, как писали бы мои авторы, если бы им довелось создавать свои стихи здесь и сейчас, в Америке"[2]. Лоуэлл также защищает верлибр — на том основании, что ни любитель, ни университетский профессор не обладают достаточной техникой стиха, а у настоящего поэта вечно не хватает ни времени, ни терпения для воспроизведения сложной формы. Их работа поневоле сводится к тому, что Лоуэлл пренебрежительно называет "набивкой чучел". Предпочтительнее уж честный свободный или иррегулярный стих. То, что, помимо усердного "чучельника" или вдохновенного лентяя, может существовать переводчик-артист, соединяющий в одном лице качества "профессора" и "поэта", Лоуэллу, кажется, не приходит в голову. Тем не менее идеи и практика Лоуэлла оказали большое влияние на его младших современников, в том числе Теда Хьюза, Шеймаса Хини и Дэниела Уэйссборта.

Следующей крупной фигурой, завершающей предпоследний раздел "Хрестоматии", чьей теории и практике уделяется много внимания, оказывается Владимир Набоков. В частности, дается отрывок из его замечательной статьи "Искусство перевода", опубликованной в журнале "Нью рипаблик" в августе 1941 года. К сожалению, в "Хрестоматию" не вошло то место, где Набоков исследует воображаемую попытку впрямую перевести пушкинское "Я помню чудное мгновенье...":

"Если посмотреть в словаре эти четыре слова, то получится глупое, плоское и ничего не выражающее английское предложение: 'I remember a wonderful moment...' Что делать с добычей, которую вы подстрелили и обнаружили, что перед вами не райская птица, а ускользнувший из клетки попугай, который и теперь, трепыхаясь на земле, продолжает выкрикивать свои глупости? Как ни старайся, английского читателя не убедишь, что 'I remember a wonderful moment' — совершенное начало совершеннейшего стихотворения"[1].

Кстати, "попугай" для Набокова — эмблематичен; дурные крики попугая попадают и в его английское стихотворение "На перевод 'Евгения Онегина'": 'A parrot's screech, a monkey's chatter' ("Крик попугая, визг мартышки").

Драматична история и самого перевода "Онегина", и его последующей оценки критиками и читателями. К тому времени переводческие принципы Набокова существенно поменялись. Сам некогда бывший "чучельником" (по выражению Роберта Лоуэлла) — двадцатью годами раньше он недурно перевел несколько строф "Онегина" онегинской же

1. A Reader, p. 276.
2. Ibid., p. 352.

1. В. Набоков. Лекции по русской литературе. — М., 1999. С. 396.

строфой[1], — теперь Набоков переходит на сторону самого жесткого буквализма. Рифма у него рифмуется с преступлением ("rhyme rhymes with crime"), вольный перевод попахивает прохиндейством и самоуправством. Тем не менее, несмотря на весь грандиозный труд, увенчавшийся уникальной громадой "Комментариев", сам перевод Набокова выглядит лишь добросовестным подстрочником, не больше. С точки зрения искусства перевода — это ретирада, или полная сдача позиций.

IV

Заключительная часть "Хрестоматии" получилась самой обширной, так как в последние десятилетия бурно развивалась лингвистическая теория перевода, и ее представители (Джеймс Холмс, Андре Лефевр, Мэри Снелл-Хорнби, Итомар Ивен-Зохар, Сюзан Бласснет и другие) даны в книге достаточно полно. Мы же, обходя рассуждения сугубых теоретиков и лингвистов, перейдем сразу к главе 5.9 "Перевод стихов". Это — тема вечной ("закономерно угасающей и закономерно возгорающейся", по Гераклиту) дискуссии; суть в том, что многие нынешние переводчики на Западе считают, что с воцарением свободного стиха старания сохранить метрические, регулярные формы в переводе стихов устарели.

Здесь мне придется оставить эпический стиль рецензии и самому вступить в спор. Здесь произойдет *сдвиг жанра*: от объективного обзора — к полемике. Естественно, у меня сразу появляются единомышленники и оппоненты. Трудно сказать, на чьей стороне окажется при этом Владимир Набоков. В предисловии к "Евгению Онегину" он безапелляционно писал, что единственная обязанность переводчика — "воспроизвести с абсолютной точностью весь текст и ничего, кроме текста"[1]. Но, как мы помним, в статье "Искусство перевода" он же с убийственной логикой доказал, что такой метод перевода ведет в тупик. Противоположные заряды взаимно уничтожаются, поэтому будем считать, что анти-Набоков аннигилирует Набокова, и исключим обоих из дискуссии.

Далее "Хрестоматия" предоставляет слово Иосифу Бродскому, рецензирующему "Избранные стихотворения Осипа Мандельштама" (1973), переведенные на английский язык Кларенсом Брауном и У. С. Мервином. Уточним, что первый из них — славист, специалист по Мандельштаму, второй — известный поэт, пишущий верлибром; этим раскладом определяется степень участия каждого в переводе. Цитируя предисловие к книге Брауна, признавшего, что в книге получилось переложение Мандельштама в Мервина ("translation of Mandelshtam into Merwin"), Бродский высказывает сожаление по поводу такой подмены.

Возражая против аморфности верлибра, на который Мервин перекладывает Мандельштама, Бродский пишет: "Размер в стихотворении не украшение, а своего рода духовная величина, которую нельзя игнорировать. Его нельзя заменить другим размером, а пуще всего — свободным стихом... Вообще, мне кажется, что для свободного стиха должна быть создана особая система координат. Это специфический жанр словесного искусства, относящийся к формальному стиху, как графика — к живописи. У данного жанра — своя собственная эстетика. Применять по отношению к свободному стиху ту же терминологию, что к метрической поэзии, значит запутывать и себя, и других. <...> Благородная стиховая форма, освященная и озаренная временем, — сосуд,

1. См.: В. Набоков. Стихотворения. — СПб., 2002. (Новая б-ка поэта). С. 442–443.

1. A Reader, p. 460.

в который влито содержание; они нужны друг другу и взаимно связаны, как душа и тело. Разбейте сосуд — и жидкость вытечет"[1].

Отметим здесь противопоставление графики и живописи. По сути, это сравнение Бродского эквивалентно нашему противопоставлению дудочки и органа (или оркестра). Дело не в том, что графика не может быть гениальной или соло на флейте не может быть завораживающим, а в том, что одноцветный рисунок (а Бродский явно имел в виду черно-белую графику) не способен передать колорит живописной картины, как флейта не способна передать полифонию органа или оркестра. А Мандельштам принципиально полифоничен, полихроматичен.

Кларенс Браун высказывает другую точку зрения. Он заявляет с полным хладнокровием: "Думаю, не нужно объяснять, что мы даже не рассматривали безумной попытки передать по-английски звучание русского стиха. <...> Одобрил бы Мандельштам наше решение? Я не могу брать на себя смелость отвечать за него; поэтому я предоставлю ему возможность ответить самому примером из собственной практики"[2].

В качестве примера Браун рассматривает перевод четырех сонетов Петрарки, выполненный Мандельштамом в 1934 году. Во всех современных изданиях эти сонеты печатаются с начальной строкой итальянского сонета, вынесенной в эпиграф. Но у К. Брауна были тексты без эпиграфа, и ему пришлось потратить много времени и усилий, чтобы установить, какие именно сонеты Петрарки переводил Мандельштам. Это он и считает решающим доказательством того, что Мандельштам переводил Петрарку не на русский язык, а на язык Мандельштама ("that Mandelshtam had translated Petrarch not into Russian, but into Mandelshtam").

1. A Reader., p. 462–463.
2. Ibid, p. 463–464.

Доказательство, прямо скажем, слабое. Каждый, кто пробовал, знает, насколько трудно найти оригинал стихотворения по индексу первых строк перевода или прямым просмотром. Как догадаться, с какого слова начинался оригинал? Ведь перевод любой лексемы вариативен. К тому же в разных языках разный порядок слов; с какого слова начиналась итальянская фраза, если по-русски она звучит: "Я тоже рад"? С "я"? Или с "тоже"? Она начинается с "есмь", потому что правильный порядок слов по-итальянски такой: "Есмь рад тоже" — "Sono lieto anche io". Муки критика, вызванные поиском оригинала, и его "головная боль" по этому поводу ровно ничего не доказывают. Браун хочет сказать, что Мандельштам переводит Петрарку приблизительно, а не пытается подойти к итальянскому поэту как можно ближе? Увы, Браун или лукавит, или проявляет искреннюю, но от этого не менее прискорбную некомпетентность. Дело в том, что рассматриваемые сонеты Петрарки доказывают ровно противоположное, а именно: что Мандельштам считал законными и полезными "безумные попытки" передать на своем языке особое, чуждое звучание иноземного стиха!

Как известно, русское стихосложение, начиная с середины XVIII века, силлабо-тоническое, а итальянское — силлабическое. Практически все переводчики сонетов Петрарки переводили его силлабику силлаботоникой — конкретней говоря, ямбом. И лишь один Мандельштам решился воспроизвести по-русски чужую просодию:

Речка, распухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать
могли бы,
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых...

Здесь курсивом выделены ритмические инверсии (хореи вместо ямбов). Все комментаторы подчеркивают, что обильные перебои ритма сближают переводы Мандельш-

тама с силлабическим стихом оригинала[1].

И дело не в одном ритме. Обратите внимание на поэтическую дикцию, на выбор лексики.

Дол, полный клятв
и шепотов *каленых*,
Тропинок *промуравленных* изгибы,
Силой любви *затверженные* глыбы
И трещины земли
на *трудных* склонах.

Среди выделенных эпитетов — ни одного тривиального. *Каленых* здесь означает "жарких, горячих" (клятв) — от глагола "калить" (нагревать). Такого значения в современном языке нет, но его можно отгадать по близости с фольклорным "каленые стрелы", "каленые орешки". *Промуравленных* — неологизм Мандельштама, это значит или заросших травой-муравой или протоптанных в траве; точнее сказать не беремся. Наконец, *затверженные* глыбы — наложение смыслов: "затверженные наизусть", то есть изученные автором, постоянно скитавшимся в этом краю, а также "отвердевшие, твердые", как душа поэта, закаленная в горниле мук, в огне верной любви (ретроспективно вспоминаются *каленые* шепоты). Иначе говоря, значения слов дрожат и колеблются, как в древнем тексте, где узнаешь корни слов, догадываешься о смысле, но все *остранено* действием времени, дрейфом языка. Так мы читаем, например, "Слово о полку Игореве", догадываясь, что слово "полк" означает не столько "отряд", сколько "поход" или "сражение".

Кстати говоря, не перекликаются ли "трещины земли на *трудных* склонах" с зачином "*трудных* повестей о полку Игореве", получая при этом добавочное значение: "на печальных склонах"? А предпоследняя строка "Исчезнувший, как сокол после мыта" — не из Святославлева ли "златого слова": "Коли сокол в мытех бывает..."? А соловей (из другого сонета), который "*славит* своих пернатых близких ночью синей" — что это за чудный певец? Не Боян ли, к которому обращается автор "Слова о полку Игореве": "О Бояне, **соловию** старого времени! Абы ты сиа плъкы ущекоталъ, скача, **славию**, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая **славы** оба полы сего времени..."?

В предположении, что при переводе сонетов Петрарки Мандельштам мог использовать "Слово о полку Игореве" как своеобразный камертон, нет ничего невозможного. В конце концов, переводчику нужно было *настроить язык* на определенную эпоху, а "Слово", написано ли оно в XII веке или позже, ближе к Петрарке, чем какое-либо другое произведение из русской хрестоматии.

Мандельштам не только не ставит задачу заставить Петрарку звучать, "как если бы он писал здесь и сейчас" (Лоуэлл), — наоборот, он старается дать стихи в таинственной перспективе времени, в патине веков. Конечно, разбирая подробно, по словам, можно найти множество расхождений Мандельштама с оригиналом; но в том-то и дело, что Мандельштам переводит не отдельные слова, а все "рычание" Петрарки в целом, как он его слышит, и для передачи его особого тембра, особой гармонии идет на смелый ритмический эксперимент.

Таким образом, Кларенс Браун абсолютно неверно понял "ответ" Мандельштама, заключенный в его собственных переводах с итальянского. Как следствие, Браун вряд ли мог быть хорошим "тренером" Мервина, переложившего его подстрочники в верлибры. Сам поэт приводит в свое оправдание какой-то детский лепет: "У рифмованных четверостиший на английском языке есть определенная традиция. Если бы мне повезло, у меня мог получиться не очень хороший Оден, а не повезло бы — что-то вроде не очень хорошего Лонгфелло..."

1. См., например: О. Мандельштам. Соч. в 2 т. Т. 1 / Сост. П. Нерлер. — М., 1990. С. 533.

Почему именно Оден, притом "не очень хороший"? А, например, не смесь Йейтса и Хопкинса? И почему обязательно Лонгфелло, если четверостишиями писали Герберт и Марвелл, Китс и Даусон? Что мешало переводчику из действительно родственных русскому поэту английских стилей *выплавить* еще небывалый, поразительный стиль "английского Мандельштама"? Может быть, лишь тривиальное обстоятельство, отмеченное американским поэтом и критиком Дейна Джойа, что к 1980-м годам "практически все традиции стихосложения на английском языке были успешно забыты"[1]?

Процитирую мнение критика дальше: "Раньше американские поэты-переводчики старались воссоздать поэтическую форму, размер и рифму оригинала; сейчас они не уделяют внимания подобным мелочам. В современных переводах Данте и Вийон, Рильке и Мандельштам, Лорка и Петрарка звучат одинаково... Установить по переводу, кто автор оригинала, практически невозможно. Все великие поэты прошлого словно играют один-единственный до боли знакомый мотив. Петрарку не отличить от Рильке — создается впечатление, что оба писали не в рифму и понятия не имели о поэтической форме и размере.

Подобный подход к поэтическому переводу — когда переводчик не ломает голову над стилем оригинала, а передает смысл последнего в современном и доступном ему лично стиле — не обогащает язык... <...> Современные переводчики на английский язык практически ничего не дали американской поэзии в плане новых поэтических форм. Напротив, они немало потрудились над тем, чтобы сделать американского читателя невосприимчивым к различным стилям, переводя стихи всех поэтов всех времен и народов практически одинаково. Читатель, вынужденный изучать шедевры мировой поэзии по таким вот выхолощенным переводам, вряд ли поймет, что поэтические формы, заимствованные или изобретенные великими поэтами, неразрывно связаны с их творчеством"[1].

1. Из эссе "Can Poetry Matter?" (1992). Цит. по рус. перев.: Д. Джойа. Голос в полдень. — М., 2006. С. 199.

V

Далее следует раздел, в котором приводится то самое стихотворение Мандельштама, разбиравшееся Бродским, в дословном переводе и в нескольких английских переложениях нерегулярным стихом — в версиях К. Брауна и У. С. Мервина, Бернарда Миресса, Джеймса Грина, а также Ричарда и Элизабет Маккейнов. Поскольку между ними нет принципиальной разницы, приведем лишь первый в обратном переводе на русский язык. Это дает представление, что именно читают англичане и американцы под громким брендом "поэзия Мандельштама". Разумеется, ни рифмы, ни размера оригинала здесь нет и в помине.

Перевод К. Брауна и У. С. Мервина

Есть женщины с сыростью земли
в венах.
При каждом их шаге —
рыдание под сводами,
Они родились,
чтобы сопровождать мертвецов
и оказаться у гроба
Первыми, приветствуя
заново воскресших.
Было бы ужасным требовать
от них ласки,
Но расстаться с ними —
это больше,
чем человеку по силам.
Один день — ангел,
на следующий день —
червяк в могиле,
А еще через день — очерк.

1. Там же, с. 200–201.

То, что было досягаемым, —
недосягаемо,
Цветы никогда не умирают.
Небо целое.
А впереди нас —
только чье-то слово.

Такие переводы, я полагаю, можно изготовлять километрами с заранее рассчитанной скоростью — столько-то километров в час, — не напрягая мотора: шоссе гладкое, бумага тоже. Тут нет ни вынашивания, ни мучительных родов, ни простого сопротивления материала; стихи можно печь штука за штукой, как куличики из песка. Шлеп! — куличик. Еще шлеп! — еще куличик.

Но какое отношение эти куличики имеют к мучительной музыке Мандельштама, к его пророческому, пифийскому голосу?

Есть женщины,
сырой земле родные,
И каждый шаг их —
гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших
и впервые
Приветствовать умерших —
их призванье.
И ласки требовать от них
преступно,
И расставаться с ними
непосильно,
Сегодня — ангел, завтра —
червь могильный,
А послезавтра —
только очертанье...
Что было поступь —
стало недоступно...
Цветы бессмертны.
Небо целокупно.
И все, что будет, —
только обещанье.

Поэзия отличается от подделки тем, что она ничего не описывает — поэзия *являет*, она сама есть то, что в ней говорится. Английская версия — изложение неких мыслей. Переводчик просит читателя поверить, что в каждом шаге женщин — рыданье. Стихи Мандельштама ничего не рассказывают о рыданье, они сами — сплошной надрыв. Обратите внимание: *все рифмы — женские.* Что-то польское или, может быть, испанское есть в этих сплошь открытых женских каденциях. Прислушайтесь к ним — они не просто рыдают, они воют, как плакальщицы: сначала на "ы — а — ы — а", потом на "у — и — и — а", и наконец на "у — у — а". Воют *безыскусно*, как убитые настоящим горем: такие бедные рифмы как "рыданье — призванье — очертанье — обещанье" в подобном количестве нигде больше у Мандельштама не встречаются. Это надсоновщина какая-то. Можно открыть том Надсона и почти наудачу взять эпиграфом хотя бы это:

Я разгадал тебя... Я понял:
ты страдала,
Ты суетной толпе
душой была чужда;
Иная скорбь
тебя над нею возвышала...

Так, может быть, плакали женщины 1880-х годов над гробом самого Надсона. Этот плач усилен у Мандельштама библейскими вздохами-связками "И...", синтаксическим параллелизмом:

И ласки требовать от них
преступно,
И расставаться с ними
непосильно...

Этого пения-рыдания переводчик не заметил. Как не заметил и характерной для Мандельштама "галлюцинации слов". Ведь "небо целокупно" — это вовсе не "Heaven is whole" — "небо цело, не разодрано", с возможными аллюзиями на Откровение Иоанна и строки Йейтса: 'For nothing can be whole or sole / That has not been rent'[1]. Сквозь русское прилагательное "целокупно" просвечивает "купол". Тем самым "небо целокупно" звучит как "небо — священный купол" — с очевидными от-

1. "Ничто не может быть целым и единственным, если оно не было разодрано" (*англ.*).

сылками к многим другим стихам Мандельштама, начиная с того, где тоже слышится — "серафима гулкое рыданье" — под куполом Айя-Софии. Сравните: "И каждый шаг их — гулкое рыданье..."

Могут сказать, что Мервин не обязан был помнить "Айя-Софию" Мандельштама, переводя его стихи к Наталье Штепель. Я думаю иначе: переводя одно-единственное стихотворение великого поэта, надо представлять в уме его работу в целом, тем более — когда речь идет о целой переводной книге. И, главное, необходимо ощутить звуковой строй стихов Мандельштама как важнейшую часть его поэтического арсенала ("орудийности", как он сам говорил). Если же связь с традицией разорвана, если поэты смолоду не натренировали ухо, не прошли уроков поэтического сольфеджио, рассчитывать на успех в переводе поэзии Мандельштама вряд ли приходится. Пересказ содержания — это совсем не то, что нужно, по-моему. А что именно нужно — о том сказал Верлен. De la musique avant toute chose[1].

VI

Рецензент имеет право на пристрастность. Авторы "Хрестоматии" по определению такого права не имеют, они должны выступать в роли "летописцев Пименов" — объективных компиляторов и медиаторов различных мнений. И все же некоторые пристрастия пробиваются сквозь академическую уравновешенность "Хрестоматии"; в частности, повышенный интерес к русской литературе. Это неудивительно, так как один из составителей, Дэниел Уэйссборт, посвятил много лет переводу и пропаганде русской поэзии. В свое время он вместе с Тедом Хьюзом основал журнал "Современная переводная поэзия" ("Modern Poetry in Translation") и редактировал его почти тридцать лет (1965–1994). Тогда, в шестидесятых годах, возник большой интерес к поэтам Восточной Европы, писавшим "из под глыб" тоталитарных режимов: это придавало их стихам особый резонанс, особый героический ореол. Возникло даже ощущение, что "полюс величия" европейской поэзии переместился туда, на восток. В конце шестидесятых Уэйссборт стал учить русский язык и переводить русских поэтов, в том числе Иосифа Бродского, с которым он оставался в добрых, приятельских отношениях до конца. Истории своих встреч с Бродским и своей работы над переводами русских авторов он посвятил книгу "From Russian With Love" (2004). Бродский даже помогал ему работать над переводами Николая Заболоцкого, вышедшими отдельным изданием в 1999 году (Nikolay Zabolotsky "Selected Poems").

В настоящее время Дэниел Уэйссборт активно переводит русских поэтов XX века, послевоенных и современных; в частности, им вместе с В. Полухиной была составлена "Антология современных русских поэтесс" ("Anthology of Contemporary Russian Women Poets", 2006), а также полностью переведена книга Инны Лиснянской "Вдалеке от Содома" (2005). Все это позволяет назвать его одним из ведущих и наиболее компетентных английских переводчиков и придает особую вескость книге, подготовленной им в сотрудничестве с профессором Эйстенссоном, а также рядом ведущих специалистов, принявших участие в составлении отдельных разделов. Незаменимое пособие для теоретика перевода, для практика их "Историческая хрестоматия" — источник множества подсказок, вдохновений и тех необязательных знаний, которые так греют душу романтика перевода.

Эзра Паунд писал о синхронности великих эпох в литературе и пе-

1. "Так музыка же вновь и вновь". Перевод Б. Пастернака.

реводе (см. эпиграф). Для нас, наследников Кирилла и Мефодия, это — аксиома. Для английской литературы, бывшей последние несколько веков скорее транслирующей, чем акцептирующей, — великий век перевода, может быть, еще впереди. Во всяком случае, польза от перевода всегда обоюдная: переводчик дает новую жизнь чужому произведению и при этом отстраивает себя, затачивает на оселке перевода.

После того как Великая Башня рухнула, на земле осталось много цветной щебенки. Из этих осколков невозможно построить новую башню, но можно сложить множество удивительных мозаик — напольных и настенных, для людских жилищ и библиотек, для базилик и храмов. Книга Уэйссборта и Эйстенссона — такая огромная мозаика, сложенная потомками вавилонских строителей; ее можно рассматривать бесконечно.

Татьяна Венедиктова

О *происхождении лиц "кавказской национальности"*

Ewen & Ewen *Typecasting. On the Arts and Sciences of Human Inequality. A History of Dominant Ideas*: Seven Stories Press. — New York, 2006

Я верю в тип.

Чезаре Ломброзо

Как, ты полагаешь, правлю я этим народом?.. Я управляю не силой, а с помощью страха. Моя власть — власть над воображением[1].

Разнообразие вдохновляет. Но и пугает, а потому желанно нам, как правило, в умеренных дозах — будучи соотнесено с привычным, вписано в знакомую схему, приручено стереотипом[2]. Это слово, сегодня всем известное, составил французский типограф Фермин Дидо в 1794 году. Так он назвал монолитную форму, копирующую целую страницу набора, — благодаря ее изобретению процесс печати пошел не в пример быстрее и легче. Уже в начале XIX века технический термин стал использоваться в европейских языках метафорически, как прилагательное (в значении "регулярный, монотонный, неизменный"), то есть произошло расширение смысла — и неслучайно. Что такое печатный станок, как не основа и прообраз всякого массового производства, не проводник грамотности, просвещения, рынка и демократии — всего того, что ассоциируется с "современностью"? Мысль о связи стереотипизации (как социокультурной практики) с формированием нового типа общества была сформулирована впервые американским журналистом Уолтером Липманом в 1922 году в книге "Общественное мнение". С легкой руки Липмана термин получил новую жизнь, и в связи с ним о типографском деле мы почти не вспоминаем.

В чем увидел проблему Липман? В том, что социальный мир стал так пестр, динамичен и сложен, что индивидуальному сознанию не под силу отобразить его непосредственно. И здесь на помощь приходит стереотип: эмоционально-смысловой комплекс, "склеившийся" с впечатлением или образом, да так крепко, что может в качестве "реакции" предшествовать "стимулу", предвосхищать его. "По большей части мы не даем определения тому, что увидели, — поясняет Липман, — а видим то, что заведомо определили. В громадном, цветущем, шумном и запу-

© Татьяна Венедиктова, 2007

1. Реплика Айши, королевы Потерянного Города Кор, героини романа Г. Р. Хаггарда "Она". Перевод с английского А. Ибрагимова.
2. Stereos — твердый; typos — отпечаток *(греч.)*.

танном многообразии внешнего мира мы выделяем то, что культура уже определила, и обычно воспринимаем выделенное в той форме, которую культура отлила для нас в стереотип". Набор общих мест, прописных истин, готовых рамок восприятия позволяет привычно и уверенно ориентироваться в окружающей среде, чувствовать себя в ней "как дома": комфорт, уют, экономия сил. И наоборот, усомниться в стереотипе — все равно что пошатнуть мировые устои: "Когда речь идет о важных вещах, мы зачастую не готовы признать различие между собственной вселенной и вселенной как она есть" (Липман). Отсюда — возможность и даже вероятность несправедливого отношения к Другому, который в моей "собственной вселенной" маргинал, никто или помеха. В приведенной выше фразе, где Липман рассуждает о том, что культура определяет и стереотипизирует *для* нас, предлог for можно перевести как "для" и как "за". Едва ли автор имел в виду эту смысловую двойственность, но сама по себе она выразительна: "услужая" нам в трудной работе познания, культурная ткань стереотипов туго нас пеленает, не только поддерживая, но и сдерживая свободу выбора и иные проявления индивидуальности. То, что мы видим и слышим, "видится" и "слышится" не совсем нами и не лично нами.

По всем этим причинам обсуждение стереотипов трудно — то есть легко *осуждать* стереотипы чужие (их ограниченность режет ухо и глаз), но толку от этого мало. Невозможно разоблачить усвоенный стереотип, апеллируя к фактам, ведь по своей природе он присутствует в самом восприятии факта, вплавлен в опыт (по Липману, "большинство явлений мы воображаем до того, как переживаем их"). Но, может быть, в отношении этого вездесущего помощника-врага эффективна научная логика и аргументация? Или бодрящий, образный вызов искусства? Обсуждению этого тонкого вопроса как раз и посвящена книга, о которой идет речь. Ее авторы — Элизабет и Стюарт Юэн ("Юэн-и-Юэн, в любой последовательности", как они представляются на суперобложке), социологи и историки, нью-йоркские профессора[1]. Дело историка — понять настоящее через прошлое. Обширное, в полтысячи страниц, повествование выстроено, однако, непривычным для исторической монографии образом — не как связный нарратив, а как серия виньеток, и не столь интересна новизной представляемых там персон и ситуаций, как сцеплениями, аналогиями, перекличками, которые возникают на почве неожиданного соседства. Наукообразия нет, как нет и бесстрастия: бойцовский темперамент авторов прорывается сквозь сдержанность манеры то в иронии, то в пафосе, то в сарказме, образуя в итоге любопытный контраст с предметом описания. К нему и обратимся:

Наша задача — дать живой очерк современной стереотипизации как процесса, который "подталкивали" глобализация экономики, колониализм, становление матриц городской жизни, подъем демократических эгалитарных движений и идей. Предметом "сквозной" озабоченности остается вопрос о

1. Элизабет Юэн — профессор Университета штата Нью-Йорк (SUNY), автор книги "Picture Windows: How the Suburbs Happened", 1999, а также др.; Стюарт Юэн — профессор Университета города Нью-Йорк (CUNY), автор книг: "Captains of Consciousness: Advertising and the Social Roots of Consumer Culture", 1977; "Channels of Desire: Mass Images and the Shaping of American Consciousness", 1982 (совм. с Элизабет Юэн); "All Consuming Images", 1988; "PR! A Social History of Spin", 1996 (перевод на русский язык — "PR, или Умение 'раскручивать'". — М, 2006), а также др.

том, как современные визуальные медиа — меняющиеся представления о наглядных способах доказательности, ветвящиеся вширь коммуникационные сети — порождали новые языки и своего рода смазку для распространения представлений о человеческом неравенстве. Нас занимает и то, как давняя, но бытовавшая лишь в ученом кругу практика категоризации и деления человечества на типы превратилась — в рамках современных научных, эстетических и религиозных космологий — в глобальное инструментальное проявление популярной культуры Запада.

Обобщение, систематизация, отнесение к типу — этой глубоко серьезной забаве ученые умы предавались с глубокой древности. Подавляющей массе людей было довольно тех представлений о жизни, которые сформировались на основе обыденного опыта и простых оппозиций понятий и образов, поставляемых мифологией. Все стало меняться в последние два с половиной столетия, когда в обществе заработали дрожжи модернизации, взрыхляя и приводя в движение стабильные на протяжении долгих веков структуры. Мир начал стремительно расползаться вширь, и ответственность за упорядочение этой новой реальности, выведение (индуктивное) ее законов приняла на себя естественная наука.

Ставка на объективность знания и новая забота о его демократической общедоступности рождают культ наглядности — желание представить истину напрямую, визуально доступной. Аргумент "Разве не видно?" кажется неопровержимым и безотказным. На самом деле он коварен, ибо провоцирует на соблазнительно скорые умозаключения, которые при ближайшем рассмотрении оказываются и не умозаключениями вовсе, а просто срабатывает стереотип — условный рефлекс, воспитанный культурой. За авторитетной позой эксперта и бесстрастной с виду демонстрацией естественной закономерности может прятаться нечто, с наукой не совместимое: дремучий, древнейший инстинкт — страх чужого. "Уши" эмоционально-эстетического предпочтения, опасливого пристрастия "торчат" сквозь объективизм тем заметнее, чем шире научная (или наукообразная) логика осваивает социальное пространство. Она вступает при этом в странные альянсы — со зрелищностью, едва ли не шарлатанством, и, продолжая по видимости (а также по убеждению самих ученых — субъективному) служить истине, обслуживает в итоге... социальную несправедливость. Вот кое-какие фрагменты этой обескураживающей истории.

В 1735 году шведский естествоиспытатель Карл Линней (1707—1778) публикует наброски "Системы природы". Ошеломляющее разнообразие естественных форм — 7700 видов растений и 4400 видов животных — он ранжирует и упорядочивает: всякому роду приписан четкий набор наблюдаемых характеристик; то, что отклоняется от усредненного идеального типа, трактуется как аномалия. Так строились все таксономии XVIII века, и сомнений в оправданности подобного подхода долгое время ни у кого не возникало. Одному из усомнившихся — Стивену Джею Гулду[1] — Юэны, кстати, и посвящают свою книгу. В отличие от большинства описанных в ней культурных героев, Гулд верил не в идеальные типы, а ровно наоборот — в то, что

1. Стивен Джей Гулд (1941—2002) — американский палеонтолог, автор книг "The Mismeasure of Man", 1981, "Wonderful Life", 1989 и др.

первичны оттенки и вариации, а сущности иллюзорны. Но вернемся к Линнею. Воспитанные в духе деконструктивистской подозрительности и внимательные к словоупотреблению современные историки обращают внимание на то, что основные разделы своей системы он называет "царствами", и устроены они, как и положено царствам, иерархически, притом в обосновании иерархий наблюдаются интересные тонкости. Например, высший класс животных, в отличие от всех остальных, выделен по признаку, имеющемуся только у самок: млекопитающие. И это не единственный у Линнея случай произвола при выделении признака, причем любопытен он даже не сам по себе, а одним из своих следствий. Получается, что с животным миром человек связан по *женской линии*, а свой особый статус определяет через способность к мышлению, традиционно ассоциируемую с *мужским началом*. Так в полную беспристрастность научной системы, крадучись, тихой сапой — на уровне метафорики, — проникает предрассудок, который укрепляется ее (системы) властным авторитетом и в дальнейшем принимает вид природной закономерности.

В 1775 году протестантский пастор из торгового города Цюриха Йоганн Каспар Лафатер (1741—1801) объявляет о найденном им новом методе надежного познания человеческого характера по внешнему облику: "Лицо человека — театральная сцена, на которой обнаруживает себя душа". Соответствие внешнего и внутреннего, зримого и сокрытого для Лафатера непреложно, хотя чем именно оно обеспечивается (научной логикой? здравым смыслом? религиозной догматикой? чутьем к эстетической гармонии?), сказать трудно. Ясно, что Бог изначально создал человека по своему подобию, но проявляется оно (в падшем мире) лишь в меру истинности веры. Красота — спутник святости, уродство — знак греховности и порока. Конечно, притворство распространено среди людей, и иные достигают в нем большого искусства, но вооруженный системой физиогномист от обмана гарантирован: во времена, не подозревавшие о возможности появления пластической хирургии, считалось, что правду о нас говорят глаза (их разрез и цвет), губы, уши, подбородок, нос (особенно нос!) и зубы. Лафатер утверждает:

> Белые, чистые, ровные зубы, которые видно сразу, лишь только открыт рот, однако не выступающие вперед и потому не бросающиеся в глаза, — таковых я ни у кого не видел, кроме как у хороших, проницательных, честных, искренних, верных людей. В наимельчайшей детали воплощены природа и общий характер. Каждая выражает истину, истину целого.

А как много работы у физиогномиста — сличай, различай, обобщай, типизируй! Лафатер мечтает о рождении новой науки — "физиогномики наций" — с нешуточно глобальным охватом:

> Сравните негра и англичанина, лапландца и итальянца, француза и обитателя Огненной Земли. Изучите формы их тел, лица, характеров и сознания...

Впрочем, сам он исследует в основном европейский материал, и вот некоторые результаты этих штудий:

Итальянцев я определяю по носу, маленьким глазам и выступающему подбородку. Англичан — по лбам и бровям. Голландцев — по округлости головы и

слабости волосяного покрова. Немцев — по морщинкам в углах глаз и щекам. Русских — по курносому носу и волосам, светлым или темным.

Как причудливо сочетаются в этом стиле мышления (а он был некогда на зависть влиятелен!) чисто религиозное обоснование и эстетическая посылка, субъективизм мнения и научная аргументация, безобидная фантазия и потенциально небезобидные и направленные на сегрегацию своих и чужих практические выводы!

В 1749 году, через 14 лет после публикации первой книги Линнея, граф де Бюффон[1] публикует первый том своей монументальной "Естественной истории": семь дней творения претворяются у него в семь эпох — по тысяче лет каждая, — на протяжении которых земная поверхность постепенно охлаждалась. Люди, по предположению Бюффона, произошли в шестую эпоху и там, где единственно и могли произойти, — на Кавказе, между 40 и 50 градусами северной широты, в климатической зоне, идеально подходящей для зарождения прекрасного: поэтическая магия мифа (о Прометее прикованном, о Ясоне и Золотом Руне) и авторитетность библейского текста (к горе Арарат пристал Ноев ковчег после потопа, отсюда пошло племя Иафетово) причудливо соединяются с научно-детерминистской логикой. Чем дальше распространялся людской род от кавказского Эдема, предполагает Бюффон, тем более проявлялись в нем черты вырождения: в африканцах (на юге) и лапландцах (на севере) они, по его мнению, более чем очевидны.

Последователь Линнея, профессор медицины Гёттингенского университета Йоганн Фридрих Блюменбах (1752—1840), уточнил прозрения Бюффона в "Трактате о естественном многообразии человечества" (1775). Был он, между прочим, обладателем одной из лучших в Европе коллекций черепов, свезенных со всех концов света, и среди них особо выделял один — женский, привлекавший его своей исключительной симметрией. Древняя грузинка стала, можно сказать, музой Блюменбаха. Вот как рисовался воображению ученого истинный кавказец:

> Цвет кожи белый, щеки розовые; волосы темные или каштановые... лицо овальное, правильное, черты умеренно выраженные, лоб гладкий, нос узкий, с легкой горбинкой, рот маленький... подбородок округлый. В целом, облик, который, в соответствии с нашими представлениями о симметрии, представляется наиболее привлекательным и красивым.

По мере удаления от своего начала человеческий род дегенерировал, в итоге образовав нечто вроде пирамиды: ее высшая точка — "кавказец-европеец", две низшие — восточноазиатский "монгол" и африканский "эфиоп"; и есть еще промежуточные типы "малайца" и американского "индейца". В основу классификации положен цвет — идея о том, что в первоначально белой коже (Почему белой? Потому что легче белому потемнеть, чем темному осветлиться — такое объяснение Блюменбах счел достаточным) по мере дегенерации накапливался "угольный пигмент".

1. Жорж Луи Леклерк де Бюффон (1707—1788) — французский естествоиспытатель. Графский титул ему был присвоен Людовиком XV в 1773 году.

Иоганн Иоахим Винкельман (1717–1768), хранитель антиков в Ватикане и прославленный на всю Европу специалист по прекрасному, чуть-чуть не дожил до публикации Блюменбахова трактата (он глупо погиб в Триесте – был убит, когда возвращался в Рим после чествований при дворе Габсбургов). Он тоже, кстати, был неравнодушен к белому цвету за то, что тот "наилучшим образом отражает лучи света и поэтому легче всего воспринимается: соответственно, чем белее прекрасное тело, тем оно прекраснее". Красоту Винкельман понимал сходно с Лафатером – как соответствие изначальному божественному замыслу. Лапландцы и азиаты такой универсальной норме отвечали плохо, зато греки, особенно древние, – почти идеально. Зримой квинтэссенцией идеального типа Винкельман полагал, как известно, Аполлона, чья статуя, найденная близ Рима в конце XV века, украшала и украшает сад Бельведер в Ватикане.

Ученик Винкельмана Петрус Кемпер (1722–1789), голландский хирург, анатом и художник, сообщил идеалу своего учителя инструментальность. Он открыл "лицевую линию" (linea facialis), или "лицевой угол", обнаружив, что символическая линия, проведенная от высшей точки лба к нижней губе, и угол, образуемый ею с воображаемой горизонталью, точно отражают расовую принадлежность любого индивида и его (ее) объективное положение в общечеловеческой иерархии. Угол мог варьироваться от 70 градусов (у негра или калмыка, *близких к животному миру*) до 100 градусов (почти недостижимый для живущих идеал античного грека, которому соответствовал лишь Аполлон Бельведерский и никто более). "Линия" прославила Петруса Кемпера – он производил замеры по всей Европе, был окружен вниманием интеллектуальной и светской элиты, его приглашали в ученые общества и ко дворам монархов с лекциями.

А тем временем в Вене теолог, врач и анатом Франц Йозеф Галль (1758–1828) нашел свой ключ к проблеме человеческого многообразия: путем ощупывания выступов на черепе он научился определять степень развитости органов или разделов мозга, отвечающих за физические, интеллектуальные, моральные и духовные способности, и тем самым заложил основы френологии, или иначе – краниоскопии. Галль, как и Кемпер, разъезжал с лекциями и демонстрациями, его восторженно принимали в странах протестантских и настороженно – в католических (церковь смущал материализм его подхода). Случались и недоразумения – например, репутации ученого сильно повредила политическая ошибка, допущенная в 1807 году: его анализ показал, что по размеру головы Наполеон Бонапарт сильно недотягивал до великого человека. Император не остался в долгу: был создан Комитет во главе со знаменитым палеонтологом Жоржем Кювье (1769–1832)[1], который вскоре (возможно, впрочем, и без давления

1. В связи с Кювье в книге Юэнов возникает еще один, отчасти скандальный сюжет, связанный с Сарой Бартман: это европейское имя было дано молодой африканке, вывезенной в 1810 году с мыса Доброй Надежды британским корабельным хирургом. На протяжении нескольких лет ее демонстрировали в Лондоне, а затем в Париже в качестве "Готтентотской Венеры". Особенно привлекали и шокировали европейскую публику удивительные формы и объемы бедер и ягодиц этой "особи", которую сам Жорж Кювье взялся обследовать, заинтригованный ее предполагаемо промежуточным статусом – между низшей человеческой расой и высшим типом обезьян. Став жертвой публичности, если не науки, Сара очень скоро погибла и тогда уже подверглась анатомическому анализу. Ее удивительные гениталии, законсервированные в формальдегиде, были выставлены в Парижском музее естественной истории. Там же в других банках хранились мозги некоторых выдающихся ученых мужей Европы.

сверху) пришел к выводу о лженаучности френологии. Но это только придало учению Галля популярности, особенно в англоязычном мире. В США вплоть до 1850-х годов френологическое "чтение" оставалось широко востребованной услугой. Френологи пользовались популярностью как эксперты, дерзавшие высказываться не только по практическим вопросам (почему бы, например, не провести массовое обследование машинистов с целью минимизировать риск крушений на железных дорогах?), но и по поводу высокого искусства. Претензии предъявлялись, в частности, Венере Милосской: слишком маленькая голова и череп не идеально кавказский. Еще менее удовлетворительным считался образ Свободы, запечатленный на полотнах и медалях времен Французской революции: низкий, покатый лоб явно свидетельствовал о недоразвитости моральных и интеллектуальных способностей. Чинный вариант того же образа, сработанный Огюстом Бартольди и водруженный в нью-йоркской гавани в 1886 году, френологическим требованиям отвечал в куда большей степени.

В XIX веке научная систематика охотно взяла на вооружение фотографию. Собственно, мечта об отображении жизни посредством света и при минимальном участии человека возникла куда раньше: еще в Средние века камера обскура служила инструментом для ученых и игрушкой для художников. Появление фотокамеры означало принципиально иную степень свободы — "карандашом природы" стало возможно описать решительно все, с чудесной быстротой и в мельчайших подробностях. Одержимость визуальной фиксацией соединилась с культом количественных замеров. Ровно тогда же и неслучайным образом антропометрия и статистика восходят на вершину славы.

Подлинным героем своего времени на фоне вышеописанного выглядел Фрэнсис Гальтон (1822—1911). В силу счастливых обстоятельств рождения (он приходился внуком Эразму Дарвину, двоюродным братом еще более знаменитому Чарльзу Дарвину, а от отца-банкира унаследовал состояние), Гальтон легко вошел в роль джентльмена-ученого, путешественника и наблюдателя жизни. По натуре учетчик и каталогизатор, он следовал девизу: "Можешь посчитать — считай!" И вел, например, статистику зевков на заседаниях Королевского ученого общества, коего состоял членом. А также подсчитывал (записывал ежедневно, потом суммировал) число красивых женщин, встречавшихся ему на городских улицах. О возможностях фотографии Гальтон был исключительно высокого мнения; более всего его интересовал композитный фотографический портрет, получающийся при совмещении снимков. Таким образом, думал он (и не только он), можно выявить и наглядно представить усредненный идеальный тип — представителя рода, или расы, или любого иного сообщества (например, солдата, преступника и так далее). Типы казались несравненно более прекрасными, чем отдельно взятые лица! К тому же сличение индивида со зримо явленной нормой обещало стать источником полезной информации — например, о неведомых способностях или, наоборот, тайных преступных наклонностях человека.

В годы, когда Гальтон колдовал над фотографиями, его итальянский современник Чезаре Ломброзо (1835—1909) тоже вглядывался в очевидное и учился безошибочно выявлять общее в частном. Он был тюремным врачом и важнейшее для себя профессиональное прозрение пере-

жил в морге, над трупом знаменитого бандита Джузеппе Лиллела. Впоследствии он эту сцену описал поэтически:

После его смерти, случившейся холодным серым ноябрьским утром, мне было поручено осуществить вскрытие, и вот, произведя трепанацию черепа, я обнаружил в затылочной части, в том месте, где нормальный череп соприкасается с позвоночником, ясно видимое углубление, которое я назвал срединной затылочной впадиной, поскольку она располагалась ровно посередине затылка, как у низших животных, нередко у грызунов. Этой впадине соответствовало, как и у животных, разрастание червя, который у птиц описан как средний мозжечок. Глядя на череп, я вдруг представил себе ясно и ярко, как если бы просторная долина вдруг озарилась солнцем, природу преступника – атавистического существа, в котором воспроизводятся хищные инстинкты дикарей и низших животных.

Видение, посетившее Ломброзо осенью 1871 года, претворится вскоре в книгу "Преступный человек", которая и прославит имя автора.

Одновременно, примерно в те же годы, Гальтон формулирует учение о новой науке – евгенике, а также обдумывает и внедряет практические меры по систематическому обследованию британского населения. С его точки зрения, они необходимы, чтобы избежать национального вырождения и защитить цивилизацию от "атавистических существ". К началу XX века евгеника становится респектабельной отраслью знания – ей посвящают университетские курсы, международные конгрессы (а ее основателя в 1909 году возводят в рыцарское достоинство за заслуги перед наукой и обществом). Приходит она и к широким массам – в виде полезного и общедоступного развлечения: на ярмарках, выставках и в других местах скопления народа появляются антропометрические лаборатории – своего рода аттракционы, где за небольшую плату любой желающий может быть обмерен, обследован, расспрошен, сфотографирован и в итоге – получить сертификат о степени наследственной благонадежности. Планы сэра Фрэнсиса Гальтона простирались далеко. К примеру, имея в виду евгеническую безнадежность черной расы, он предлагал заселить восточное побережье Африки китайцами: будучи лучше приспособлены к местному климату, чем кавказцы, то есть белые европейцы, они должны были (по расчету ученого) постепенно вытеснить и заместить местных жителей.

Попечение о глобальном (и научно обоснованном) переустройстве мира порою принимало и иные формы. Например, британский врач Питер Марк Роже (1779–1869) еще в 1805 году начал, а 46 лет спустя завершил и издал "Тезаурус английских слов и выражений, классифицированных, с целью облегчить изъяснение идей и содействовать литературному сочинительству". Не будучи лингвистом, Роже за долгую жизнь успел тем не менее выпустить 25 изданий своего глоссария, а после его смерти дело продолжили сын и внук, так что в итоге и общей сложности "Тезаурус" издавался на протяжении 100 лет – с 1852-го по 1952-й. Эта полезная и широко востребованная книга представляла собой не обычный словарь, где слова следуют по алфавиту, а нечто иное: образцом для Роже послужила опять-таки система Линнея с ее делением на содержательные классы, как-то: "Общие отношения вещей", "Пространство", "Материальный мир", "Интеллект", "Воля", "Чувст-

венная и моральная способность", далее шли разделы, подразделы, тематические узлы и тому подобное, так что в итоге каждое слово, снабженное сложным номером, должно было найти положенное ему место в "правильной" системе представлений. Составитель воодушевлялся идеалом точности, взвешенности и свободы от предрассудков – мечтал создать "строго философский" научный язык, дабы все цивилизованные нации могли постепенно им овладеть и тем самым приблизиться к всемирной гармонии. О своеобразии культурных рефлексов ценностей, которые при этом транслировались исподволь, можно судить по детали. Так, при понятии "Nobility"[1] имеется ассоциативный ряд: "изящество", "качество", "порядок", "достойный человек", "джентльмен", а как парно-контрастное ему значится понятие "Commonality"[2] с ассоциациями: "низкое состояние", "толпа", "чернь", "отребье"... Тут, кажется, комментарии не требуются.

Питер Роже был исключительно талантливым человеком и интересовался, между прочим, не только словами, но и визуальными образами, благодаря чему стал прадедушкой кино. В 1824 году он доложил в Королевском научном обществе об оптическом явлении, подмеченном им, когда он наблюдал сквозь вертикальные оконные жалюзи за проезжающими по улице экипажами. Оказалось, что объекты продолжают быть зримыми еще краткий миг (одну шестнадцатую секунды) после того, как скрываются из виду. Благодаря чему быстро следующие друг за другом образы могут сливаться, создавая иллюзию движения. В этом инсайте скрывался зародыш кино и всей его последующей истории, в том числе и бесконечной цепочки стереотипов, тиражируемых с экрана. Им в книге Юэнов посвящена отдельная глава, но туда мы путешествовать не будем – при желании читатель может познакомиться с ней сам.

...Что же в итоге? К каким мыслям приводит это путешествие сквозь три столетия западной культуры – история, в которой строгость ученых концепций и безапелляционность экспертных суждений то и дело сополагаются с вопиюще предвзятыми посылками и сомнительными практическими выводами? В книге Юэнов убедительно показано, что расцвет стереотипизации был тесно связан с развитием объективных способов отображения жизни – визуальных и количественных, с подъемом социального престижа науки и ростом влияния медиа. В современном мире способность фотографических образов и цифр транслировать "ничье", объективное, квазибожественное знание кажется сама собой разумеющейся. В его глубине, однако, скрываются "слишком человеческие" заинтересованность, предубеждение, эстетические и иные эмоции. В частности, такая, как страх. Химерических "лиц кавказской национальности" порождало и продолжает порождать наше бессознательно-опасливое воображение. Обидно для homo sapiens с его гордыней, но факт.

Чтение книги Стюарта Юэна и Элизабет Юэн интересно, но оставляет нелегкое чувство – будто что-то теряешь. Ведь в душе живет упование на гарантированную, верную, спасительную истину! И так обнадеживающе звучат, так ласкают наш слух голоса, исполненные уверенного

1. Nobility – 1) благородство, величие; 2) дворянство, знать, аристократия (*англ.*).
2. Commonality, или commonalty, – простолюдины (*англ.*).

превосходства, — голоса людей, которые *знают* и готовы опекать *недознающих*. Но получается, что мощный тандем искусства и науки может служить (как и служил временами, причем не сказать, чтоб редко) воспроизведению человеческого неравенства и несправедливости — в противоположность декларациям самих ученых, художников или публицистов, высокому беспристрастию их намерений. И эта история отнюдь не закончилась в позапрошлом веке, мы и сейчас живем и участвуем в ней:

Социальные движения 1960-х годов привлекли к себе внимание маркетологов, рекламистов и специалистов по управлению восприятием: им открылось, что люди глядят на мир по-разному и эту разность можно использовать для повышения эффективности продаж. Уже в 1970-х годах население начали детально профилировать по сегментам и возник целевой маркетинг.

Вошли в обиход новые инструментальные и статистические стереотипы, описывающие опыт, на основании которого потребители, зрители, избиратели — в зависимости от расовой и этнической принадлежности, экономического положения, образа жизни — делают свой выбор и принимают решения. Информация о бизнесе и политике все чаще формируется с учетом этих стереотипов, и таким образом человеческая идентичность используется как сырье для манипуляции мнениями и поведением.

Утвердившиеся в недавнее время четкие формулы этнических, расовых, сексуальных идентичностей возникли поначалу как стихийная реакция на былую социальную ущемленность — как мера борьбы за общественное признание. Но очень скоро эти формулы облеклись в новую упаковку и предстали как ориентир для маркетинговых и коммуникативных стратегий... Самоопределившиеся группы стали рынками (рынок голубых, рынок латинос и так далее), которые могут далее дробиться или сливаться в зависимости от реакции на конкретный продукт, на то или иное сообщение. На поверхности расцветают сто цветов разнообразия, внутри — царит расчетливый контроль.

В сложном и опасном мире простота стереотипа притягательна, и тяга к ней легко превращается в привычку. От этого мягкого соблазна не гарантирован никто. Как нейтрализовать возможную опасность? Только усилием — старанием разобраться в том, откуда эта привычка берется, чем питается, за что цепляется и как закрепляется в языке и сознании. "Если мы хотим по-настоящему понять человеческое поведение, мы должны узнать о наблюдающем глазе по крайней мере столько же, сколько о наблюдаемом объекте, — писала американский антрополог Руфь Бенедикт. — ...Наблюдающий глаз — не просто физический орган, но средство восприятия, обусловленное традицией, в которой воспитан наблюдатель". Это теоретическое предписание, разумеется, крайне трудно исполнить. Легко ли всмотреться в собственный глаз? Возможно ли заметить, а тем более исследовать структуры собственного восприятия и внутри них — тончайший, ускользающий водораздел между неповторимо-своим и культурно-детерминированным? Приверженность современных гуманитариев рефлексиям такого рода нередко раздражает людей склада негуманитарного, которые трактуют их как нарциссические излишества или нежелание смотреть в глаза реальности, страусиный страх перед нею. Отсюда сомнения: нужны ли они вообще (рефлек-

сии, а заодно и гуманитарии) в крупномасштабном, динамичном, прагматически ориентированном мире?

Ответ на этот вопрос зависит от меры наших амбиций. Слово *typecasting*, употребленное в оригинальном названии книги, происходит от глагола to typecast – повторять, формировать как стереотип. Это, однако, лишь третье словарное значение, первые два связаны с театральной практикой: 1) подбирать актеров на роли по принципу типажности, 2) занимать актера в однотипных ролях. Отсюда вопрос: если "мир – театр", а культура, включая тех, кто вещает ее именем, – властный продюсер, тогда кто мы? Массовка, скучающая в очереди на кастинг – в ожидании, когда некто авторитетно *для* нас и *за* нас распишет роли? Или мы претендуем на право голоса и собственное мнение? Оно (право) обязывает к готовности генерировать мнение и подать свой особый голос. Просветительский проект, таким образом, переосмыслен критически, но не закончен.

Александр Ливергант
Дружба народов

В июле, в тридцатый уже раз, проходил ставший традиционным Кембриджский литературный семинар, который естественней было бы назвать по-военному смотром. Смотром современных британских авторов и "потребителей" английской литературы, съехавшихся в древнейший университетский город на шесть дней со всего мира. Тридцатую встречу писателей и читателей, как и предыдущие двадцать девять, организовал и провел Британский совет.

"Съехался" на международный слет любителей английской словесности и я. По пути, на Центральной автобусной станции в аэропорту Хитроу, в преддверии интернационального форума, я получил — словно бы в гомеопатических целях — мощную прививку ксенофобии. Регулировщица автобусов, "лицо пакистанской национальности", на родовитую британскую леди, прямо скажем, похожая мало, проходя мимо весело щебечущих на остановке юных китайцев и китаянок, обронила на довольно скверном английском то, что на русский язык можно было бы перевести примерно так: "Что это вы мне тут китай-город устроили!" Китайцы разом приуныли и стихли, а я обрадовался: не одни мы, значит, такие. И подумал: по сравнению с китайцем и пакистанка — британка.

Семинар же отличался, как такому событию и следует быть, исключительной политкорректностью, царившую на нем атмосферу иначе как замшелым советским словосочетанием "дружба народов" не назовешь, причем дружили и "народы", которым вроде бы сегодня дружить негоже. Ладно бы украинец и двое узбеков, но даже литовка, латышка и эстонка — поверите ли? — общались со мной не на языке международного общения, дабы отгородиться от еще совсем недавнего общего прошлого, досадного эпизода в их истории, — а по-русски, на языке старшего (чуть было не написал "Большого") брата.

И повышенной "литературкорректностью" тоже. Все выступления приглашенных авторов начинались неизменным: "I am most grateful and privileged", да и мы, семинаристы, не ударили лицом в грязь: слушали со вниманием (если не считать представителя РФ, в какой-то момент сладко задремавшего), не уставали благодарить модераторов, организаторов, явленных нам писателей, задавали им вежливые, риторические, большей частью необязательные вопросы вроде: "А современную литературу вы читаете?" или "Какие писатели оказали влияние на ваше творчество?" Царила, одним словом, благостная обстановка, свидетельствующая о том, что избранные Британским советом поэты и прозаики талантливы и оригинальны, а мы, слушатели, пытливы и любознательны.

Схема презентаций инженеров человеческих душ, будь то Эдинбургский книжный фестиваль или Кембриджский семинар, давно и тщательно отлажена, расписана по минутам.

© Александр Ливергант, 2007

Акт первый: модератор в легкой, непринужденной манере представляет писателя, он отлично знаком не только с его творчеством, но и с ним самим; если бы их диалог шел по-русски, они почти наверняка говорили бы друг другу "ты".

Акт второй: писатель в не менее непринужденной манере благодарит модератора, Британский совет за честь выступить перед столь квалифицированной и многоликой аудиторией и что-то — для затравки — рассказывает о себе и своих книгах. Многие — особенно те, кто постарше — ударяются в воспоминания: тяжелое детство, Битва за Англию, первые, еще нетвердые литературные шаги.

Акт третий: писатель читает вслух отрывки из своих книг; по тому, *как* читает, видно — ему (ей) нравится. Нам, впрочем, нравится тоже. Многие, хоть и не всегда и не всё понимают, громко смеются, часто аплодируют; смеются, собственно, тем громче, чем меньше понимают. Модератор — весь внимание: книгу он, естественно, читал, но слушает не шелохнувшись, как в первый раз; аплодировать начинает первым и первым же задает вопрос, обращаясь к автору по имени.

Акт четвертый: писатель отвечает на вопросы аудитории (больше всего вопросов, как правило, у представителей "третьего мира" и у модератора, которому надлежит "держать зал"); отвечает с юмором, к себе и к своим литературным заслугам относится с иронией, много и часто шутит — "отечество карикатуры и пародии" как-никак.

Акт пятый: по просьбе аудитории и модератора, писатель вновь подходит к пюпитру и читает еще одно-два стихотворения или прозаический отрывок. В книжках, из которых читает, закладки — значит, заранее готовился, никакого экспромта. В заключение — неизменно громкие и продолжительные аплодисменты, участники семинара бросаются покупать последний роман (сборник стихов, сборник рассказов) только что выступившего автора, в мгновение ока ставшего кумиром, и выстраиваются в очередь, чтобы их у него подписать. Занавес и кофе-пауза.

Что же за занавесом? Какой литературой нас потчевали? Родит ли еще английская земля диккенсов и оденов? Писателями первого ряда Джулианом Барнсом и Кадзуо Исигуро, Питером Акройдом и Тибором Фишером, Грэмом Свифтом и Иэном Макьюэном, которых в России давно и хорошо знают, и не по одной книге, нас, во всяком случае, не угостили. Длинная ли, выражаясь спортивным языком, у англичан сегодня "литературная скамейка"?

Буду чистосердечен: на все эти вопросы я ответа не имею, да и в качестве "скаута" от журнала "Иностранная литература" потерпел фиаско. Портфель журнала после моей поездки в Кембридж "новыми поступлениями" не пополнится. И не только потому, что среди приглашенных сочинителей не было грандов. Дело в том, что воспринимать литературное произведение, прозу особенно, на слух — вещь неблагодарная. Автор, с одной стороны, помогает себе голосом, интонацией, отчего кажется ярче, талантливей, чем на самом деле. С другой — увлекается, читает порой слишком долго, не всегда выбирает самый "выгодный" отрывок, отчего слушателя убаюкивает, и он пропускает то, что едва бы пропустил при чтении. Может быть, поэтому уровень большинства прочитанных нам стихов, рассказов, отрывков из романов, биографий, воспоминаний, путевых заметок, пародий (были и пародии) особенно высоким мне не показался. Пародии, впрочем, — особенно на Дилана Томаса, Т. С. Элиота и Агату Кристи, написанные и прочитанные с несомненным артистизмом их автором Саймоном Бреттом, знающим о детективах и триллерах не понаслышке, — были очень недурны.

Но — нет худа без добра. Когда смотришь не слишком интересную пьесу, поневоле обращаешь повышенное внимание на внешность ак-

теров, на то, как они загримированы, как держатся на сцене, на их костюмы, на шероховатости и накладки, которые они допускают, на реакцию зала и прочее. Вот и мне куда более любопытным показалась не "литературная часть", а окололитературная, а точнее — вовсе не литературная.

В Кембридже я все время ощущал себя зрителем, а не читателем. И запомнились мне, соответственно, не отрывки из детектива, прочитанного нам Саймоном Бреттом, а маленький, коренастый, средних лет человечек, который смахивал на Пиквика и демонстрировал блестящие актерские способности: "Завещание Агаты Кристи" Бретт читал тоненьким, гнусным голоском занудной старушенции, отчего, если бы не строгий взгляд модератора, мы сползли бы со стульев и кресел и долго катались бы по полу.

Запомнился не Майкл Холройд, недавно удостоенный рыцарского звания автор романизированных биографий знаменитых актеров и режиссеров: Генри Ирвинга, Элен Терри, Гордона Крэга, — а высокий, худой старик, который с таким увлечением, такой страстью читал душещипательную историю о последних часах Ирвинга, что казалось, будто он сочиняет ее у нас на глазах. Когда великий английский актер испустил, наконец, дух, у Холройда задрожал голос, и я подумал, что Диккенс, должно быть, точно так же пускал слезу, когда читал на публике о смерти Малютки Нелл.

Говард Джейкобсон, автор девяти романов из англо-еврейской жизни, сатирик, вышедший, по его собственным словам, не из Шолома-Алейхема или Исаака Башевиса Зингера, а из Джейн Остин и Диккенса, напротив, сентиментальностью не отличался. Улыбчивостью, впрочем, тоже. Как и полагается настоящему сатирику, он был, как говорят англичане, dead serious, при этом умело и хладнокровно смешил аудиторию, причем в основном не тем, *что* читал, а тем, *как* — язвительно, остроумно — отвечал на вопросы. Джейкобсон, как, впрочем, и на прошлогоднем Эдинбургском фестивале, жаловался на то, что британские евреи ассимилировались и слышать не желают о том, что они евреи, и превозносил литературу смеха: "Чтобы рассмешить читателя, нужно потратить куда больше усилий, чем если хочешь вызвать у него слезы". Мысль спорная. Нас, во всяком случае, он смешил полтора часа без малейших усилий.

В отличие от лаконичного, неулыбчивого и саркастического Джейкобсона, молодая писательница Керсти Ганн была не по-английски восторженна и многословна. Специализируется миссис Ганн на жанре, который сама же называет "лирическим романом", а я — судя по тому, что́ она читала, — назвал бы "водяным": основной герой ее прозы (не потому ли, что родом она из Новой Зеландии) вода, море: "Вода утешает, в море есть что-то материнское, оно словно зовет: 'Иди ко мне'..." Лирически проникновенными были и ее рассуждения о таинстве творчества. Вот что я записал с ее слов: "Пишу в постели и от руки — освобождаюсь от наболевшего... Пейзаж — это всегда больше, чем место действия... Люблю сочинять, ибо на тебя обрушиваются потоки — нет, не воды — памяти... Надо ощущать свою ответственность перед белым листом бумаги..." (А мы вот, наоборот, говорим, что бумага все стерпит.) Джейкобсон и Ганн, одним словом, отлично бы работали в паре — такие они разные.

Элисон Кеннеди, в отличие от остроумца Джейкобсона и погруженной в творческие раздумья Керсти Ганн, была настроена на деловой лад и говорила поэтому в основном не про литературный, а про редакционно-издательский процесс. Оказывается, помимо теле- и радиоинтервью, предпрезентаций, анонсов в газетах и журналах и прочего, говоря по-английски, "брендинга", а по-русски "раскрута", английский издатель готовит, в надежде угодить книжному магазину, не одну, а сразу пять-шесть (!) обложек

будущей книги. Поистине дьявольская предусмотрительность! И разорительная. Неужто и мы до такого дойдем? Или уже дошли?

Самым же интересным — говорю это без тени иронии — было выступление Эндрю Моушена, поэта-лауреата, наследника Драйдена, Вордсворта и Теннисона на этом славном поприще. Мало того что Моушен читал довольно мрачные стихи из сборника 2002 года "Публичная собственность", он еще поведал нам грустную и поучительную историю о том, что значит быть поэтом-лауреатом. Когда ушедший ныне в политическую тень Тони Блэр вручал Моушену диплом первого поэта Англии, он — то ли случайно, то ли сохраняя верность традиции — повторил сказанное в 1762 году тогдашним премьером лордом Бьютом доктору Джонсону при вручении ему пожизненной пенсии: "Она дается вам не для того, чтобы вы что-то делали".

Очень скоро выяснилось, однако, что у поэта-лауреата немало обязанностей, и "шапка Мономаха" очень даже тяжела. Моушен, тяжело вздыхая, рассказывал, что должен, во-первых, заседать в комиссиях, жюри и всячески пропагандировать поэзию; во-вторых, преподавать поэзию в средних школах; в третьих, выступать с публичными чтениями, а в четвертых, время от времени писать eventful poetry — стихи на случай. После стихов про судьбу британских солдат в Ираке бедняга Моушен получил, по его словам, тысячи электронных писем, где одни — апологеты чистой поэзии — писали, что поэт не должен касаться *таких* тем, а другие, настроенные патриотически, возмущались: "Какое право вы имеете издеваться над нашими солдатами!" Вот и будь поэтом-лауреатом после этого! Утешается Моушен воспоминаниями о детстве: его последняя книга так и называется, а также сочинением литературных биографий; последняя — толстенный "кирпич" — посвящена его любимому поэту Джону Китсу, которого судьба предусмотрительно избавила от необходимости писать "стихи на случай".

Перечитал написанное, и получилось, что всем-то я недоволен: и уровень писателей невысок, и плохо, когда вслух стихи и прозу читают. Может, все это отчасти и правда, но как было бы здорово (подумалось мне по возвращении), если бы точно такой же семинар, с точно такой же многоликой, многонациональной аудиторией проходил не в Кембридже, а, скажем, в Санкт-Петербурге. И не по-английски, а по-русски. Если бы свои стихи и прозу читали вслух не английские, а русские писатели, а вопросы им задавали их иностранные читатели и почитатели. И при поддержке не Британского, а аналогичного российского совета, который бы "нес в иноязычные массы" русскую культуру, литературу, науку, образование.

Как говорится, мечтать не вредно.

Немцы — не немцы

Мадиевский С. А. *Другие немцы.* — М.: Дом еврейской книги — "Параллели", 2006.

Последние 65 лет отношения с немцами складывались у нас непросто. От полного разрыва ("Папа, убей немца!") — до почтительного удивления. Как это целый распропагандированный народ сумел освободиться от ненависти ко всем "иным" и покаяться за себя и за своих правителей? О существовании немцев, не принявших по разным причинам Гитлера, конечно было известно, но речь шла о политических и военных заговорах, что не меняло ни общих, ни частных оценок.

Был, правда, повод задуматься. Гостили у нас дома слависты из ГДР и среди них фрау Людвиг. Она оказалась женой погибшего в гитлеровском концлагере члена ЦК Германской компартии. Фрау Людвиг, несмотря на свое еврейское происхождение, до самого конца войны жила в Берлине — и выжила. Ей бы не уцелеть, если бы не бомба, попавшая в их дом. Бомба разрушила лестничный пролет и всю квартиру, кроме спальни, где спала она с двумя детьми. Разрушенная квартира сняла вопрос об обязательной депортации в Освенцим, а еду (со своих продовольственных карточек) передавали по спущенной веревке соседи. Значит, были и другие немцы, не признававшие государственной религии — антисемитизма? Однако тогда нам и в голову не могло прийти, что реальные случаи укрывательства евреев, обреченных на депортацию (а значит, на быстрое уничтожение), в одном только Берлине исчислялись сотнями.

Если бы не знаменитый фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера", появившийся почти через полвека после окончания войны, мало кто из широкой публики узнал бы, что и среди немцев попадались люди, спасавшие евреев от нацистского государства. В самой Германии тема эта к тому времени обсуждалась довольно подробно, но для русского читателя, и не только для русского, продолжала оставаться практически недоступной.

Мы, на Востоке, привыкли думать, что Праведники мира (по современной терминологии) — это украинцы, поляки, белорусы, русские, литовцы, латыши. Знали, конечно, о датчанах, голландцах, французах, финнах и других жителях Европы. Но — немцы?

В России, Украине и Беларуси вышли и выходят сборники воспоминаний людей, переживших холокост. Большинство спасшихся рассказывают о тех нееврeях, кто, преодолевая смертельный страх, помог им выжить. Никто у нас, насколько это известно, не попытался каким-то образом осмыслить "механизм" такого героизма. Эту работу, но только на немецком материале, выполнил доктор исторических наук Самсон Мадиевский из Ахена. Он тщательно изучил 190 публикаций, содержащих свидетельства современников и участников событий, архивные документы, статьи, рецензии, диссертации, а также обширную историческую литературу европейских, американских, израильских авторов. Четыре года ушло на то, чтобы этот

огромный и разнообразный массив данных был систематизирован, подвергнут анализу и прокомментирован. Результаты исследований вошли в недавно изданную у нас монографию С. Мадиевского "Другие немцы", неожиданную книгу о "спасателях" и "помощниках", так в Германии принято называть людей, реально сопротивлявшихся нацистской идеологии и политике в ее ключевом пункте — расовой теории и практике.

"Бросается в глаза прежде всего, — пишет С. Мадиевский, — что помощники, спасатели принадлежали к самым различным слоям общества, практически ко всем его социальным группам. Среди них были рабочие, мастера, промышленники, коммерсанты, <...> банкиры, крестьяне и помещики, чиновники и служащие, адвокаты, врачи, аптекари, лица свободных профессий (журналисты, писатели, художники, актеры), преподаватели и учащиеся, священники и монахи, старьевщики и прачки, домашняя прислуга, профессиональные преступники, проститутки, пенсионеры. <...> Были солдаты, унтер-офицеры и офицеры вермахта, <...> полицейские и жандармы, даже штурмовики, эсэсовцы и гестаповцы"[1]. Законопослушные, воспитанные в традициях бюргерской порядочности немцы, ради спасаемых, подделывали документы, крали продовольственные карточки и бланки, лгали своим коллегам и начальникам, лгали даже членам своей семьи.

Разумеется, автору пришлось, пусть с малой степенью подробности, но все же коснуться событийной стороны. Возможно, как раз из-за сжатости изложения и научной сдержанности каждый эпизод производит особо сильное впечатление и коробит устоявшиеся представления о "тех" немцах. Но есть несколько случаев, не укладывающихся ни в какие представления.

В июле 1942 года военный комендант польского городка Пшемысль майор Макс Лидтке и его заместитель обер-лейтенант Альберт Баттель приказали солдатам блокировать мост через реку Сан, чтобы помешать СС вывезти евреев из местного гетто в лагерь уничтожения Бельжец. Представителю СС Лидтке заявил: "Если вы вступите на мост, я прикажу открыть огонь".

3 декабря 1941 года военный комендант местечка Городенка Черновицкой области капитан Фриц Фидлер собрал всех еврейских рабочих на территории комендатуры, наказав своим людям в случае необходимости преградить эсэсовцам доступ даже с помощью оружия.

Майор Плагге в Вильнюсе посылал своих солдат извлекать евреев — работников автопарка — из тюрем и лагерей, давая подчиненным право на применение оружия. (Разумеется, мотивировались такие поступки заботой о выполнении собственных служебных задач.)

И наконец самое удивительное. В конце февраля 1943 года перед сборными пунктами на Розенштрассе и Гроссе Гамбургерштрассе в Берлине, где находились евреи и дети от смешанных браков, ожидавшие депортации "на Восток" (теперь мы знаем — в лагеря уничтожения), собралась толпа их "арийских" родственников. Протесты (в уличной толпе были и люди в военной форме) вынудили гауляйтера Берлина Геббельса отступить: содержавшиеся на сборных пунктах евреи и полуевреи ("метисы 1-й степени", то есть дети) были отпущены, отправленные ранее возвращены из Освенцима!

Рассказы об этих событиях не только ломают наши стереотипы, но и заставляют присталь-

1. "Другие немцы", с. 59.

нее всмотреться в страницы истории гитлеровского рейха и в наше собственное прошлое. Такие, пусть из ряда вон выходящие протесты, конечно, не могли изменить ни масштабов, ни степени жестокости катастрофы европейского еврейства, но, оказывается, не так уж бессбойно отлажен был механизм гитлеровской машины уничтожения. При его проектировании не учли человеческий фактор — ту малость, что может спасти одну жизнь, а может и сокрушить целую империю.

В Иерусалимском музее катастрофы и героизма европейского еврейства "Яд ва-Шем" хранятся сведения о 20 757 "Праведниках среди народов мира". Из них 494 немца и австрийца. Разумеется, число Праведников — это лишь число документально зарегистрированных в "Яд ва-Шем" людей, бескорыстно спасавших уничтожаемых евреев. Помогавших же им было значительно больше. Исследователи, цитируемые Мадиевским, предполагают — что-то около 20 тысяч. "По отношению к численности совершеннолетних "фольксгеноссен" (54 миллиона на 1939 год), — замечает историк, — это даст нам 0,04%". Нелишне будет напомнить, что из 1,5 миллионов наших соотечественников, перешедших на сторону гитлеровцев, 400 тысяч (40 советских довоенных дивизий!) служили в полициях и карателях[1]. По сравнению с этим числом, нравственные качества жителей Германии времен Третьего рейха выглядят не так уж пессимистично.

Так что же это было? Чем движимы были граждане титульной национальности Германии, выручавшие из смертельной беды евреев — граждан Германии и даже неграждан? Среди мотивов С. Мадиевский приводит религиозные побуждения, желание противодействовать преступному режиму, личные причины: родственные, дружеские, романтические чувства, чувство благодарности. А кроме того — корысть.

Да, и корысть. Коммерческий интерес, оказание помощи за взятку, за денежное вознаграждение, иногда — очень крупное. Но ведь и степень риска нужно учесть. "Взяточники" — а среди них были чиновники, военные, даже члены фашистской партии — в деле помощи достигали ощутимых результатов. Например, при организации переправки евреев за границу, в Швейцарию, Бельгию, Голландию, старыми контрабандными тропами. Среди Праведников, согласно установленным критериям, требующим полного бескорыстия, они не числятся. Однако принятые в Германии расширительные понятия — "спасатели" и "помощники", считает, в частности, Мадиевский, к ним приложимы. Да и к какой категории, например, отнести поведение офицера-эсэсовца, переводившего через пограничную реку в Бельгию еврейскую семью и запросившего с них за это все их сбережения? Но когда ребенок, сидевший у него на закорках, упал в воду, эсэсовец, не раздумывая, бросился за ним вплавь и вытащил на берег. Хочется думать, что в характерах большинства этих людей неизбежно должно было присутствовать неосознанное, природное понимание ценности каждой человеческой жизни, способность сострадания. Действительно, классификации такие поступки поддаются плохо. Но иногда ведь человек и сам не знает, что движет им в тех или иных случаях.

Так кто они были, эти "другие немцы", что их объединяло?

"Сопротивление спасателей" — устоявшийся термин в немецкой исторической литературе. Доктор Мадиевский убежден

1 Александр Твардовский. Собр. соч. Т. 3. — М.: Худ. лит., 1978, с. 309.

в том, что каждый акт спасения, осознавал или не осознавал это спасатель, был актом борьбы против нацистского государства. Более того, он считает, что политическая оппозиция тоталитарному режиму менее опасна для него, чем личная, человеческая, поскольку последняя подтачивает самые устои тоталитаризма. Следует только добавить, что это прекрасно понимали и Гитлер, и Сталин. Отсюда их стремление сделать страх главным чувством своего народа, чем-то вроде религии. Отсюда их стремление к тотальному контролю над культурой, к превращению ее в пропаганду. Отсюда — жестокие преследования идеологического диссидентства. Помощь евреям как раз и была идеологическим преступлением в Третьем рейхе.

Когда говорят о различии двух тоталитарных систем, напоминают, что сталинская не имела в своей основе расовой теории. И это правда. Но неполная. Репрессии против чеченцев и ингушей, против крымских татар, немцев Поволжья, балкарцев, карачаевцев, турок-месхетинцев — трудно перечислить все народы, а их не менее четырнадцати, на которые "отец народов" смог "обрушить свой верховный гнев"[1] — имели если не расовый, то уж во всяком случае национальный характер. Проживи Сталин чуть дольше, и его личный антисемитизм имел все шансы превратиться в юридически оформленный закон.

И вот теперь стоит вернуться к покаянию, преображению немецкой нации. С. Мадиевский, как, впрочем, и другие исследователи в Германии, отмечает стремление сегодняшних немцев подвести черту под прошлым и стать обычным народом, как все остальные. Но "мир судит и будет судить о Германии и немцах, — пишет историк, — в том числе и по их отношению к прошлому".

Мир судит и о нас. Главное, однако, как сами мы будем судить о себе.

Нам, бывшему советскому народу, а он исторически не исчез, есть в чем каяться. И в первую очередь — перед десятками миллионов жертв ГУЛАГа. "Широка страна моя родная...", "Здравствуй, страна героев..." — и, правда, широка была родная страна, и героев в ней было много. Но страны у нас было две: одна до колючей проволоки, другая — за ней. И сажали полстраны за колючку, и расстреливали — чекисты. А у нас даже слово это не вызывает отвращения. До сих пор сотрудники спецслужб с гордостью называют себя чекистами!

Переживших ГУЛАГ, как и переживших холокост, с каждым днем все меньше. Скоро эти старики совсем исчезнут. Останутся только книги, а книги — не объект для покаяния. Между тем, нам, чтобы стать нормальной страной, нормальным народом, "таким же, как все остальные", нельзя ничего и никого забывать. Где наши "помощники" и "спасатели"? Много ли вы знаете людей, укрывавших от депортации чеченцев, ингушей? И кто спасал от преследований крымских татар, немцев, балкарцев, греков, калмыков? Вы знаете таких людей?

В каждом преследуемом народе есть свои легенды о "спасателях". Невыносимо трудно оставаться один на один со злом. Из уст в уста передаются вымышленные и невымышленные истории о благородном поведении тех, кто оказался на стороне гонителей. Но только если и есть документальные подтверждения этих легенд, они недоступны или неинтересны историкам. Не мертвые, а живые сраму не имут: известно, что за депортацию своего народа — чеченцев и ингу-

1. Попов Гавриил. Правда о предателях// Новая газета, 2005, № 25.

шей — чекистов награждали фронтовыми (!) орденами и медалями. Медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги"!

Может быть, наши "спасатели" и "помощники" до сих пор скрывают свои добрые дела? Возможно. И в Германии не все сегодня готовы говорить о своих давних подвигах. И вовсе не из скромности, а из боязни осуждения соседями, согражданами. Такое поведение особенно характерно для маленьких городков. Об этом тоже есть в книжке Мадиевского. Отнюдь не все немцы и уж точно не тотчас после крушения гитлеровского тоталитаризма прошли через покаяние. Покаяние, перевоссоздание нравственности народа — тяжелейшая задача не только для политического руководства страны, это и непомерный труд души для каждого отдельного гражданина, пережившего униженность, отчаяние, духовное опустошение. Но без этого невозможно духовное возрождение народа.

Да, евреев от гитлеровцев у нас, бывало, спасали. Спасали от чужестранцев с их дикими законами. Но ведь немцы-то спасали от немцев!

Доктор Мадиевский цитирует своего коллегу Г. Д. Лойнера. Внимательно послушаем: "Если мы сегодня дивимся тому, что миллионы подчинялись гитлеровскому режиму, то тем более нужно дивиться тысячам, которые ему сопротивлялись... Эти люди спасли не только тысячи евреев, они спасли саму идею человечности".

Ирина Дементьева
Зиновий Цукерман

Издательские планы

"Я убежден: будущее литературы в прошлом"

С Дмитрием Волчеком, главным редактором издательства "Kolonna publications", беседует Светлана Силакова

"Иностранная литература". Уже долгое время вы работаете на радиостанции "Свобода". Помогает ли вам журналистика в издательской деятельности?

Дмитрий Волчек. Журналистика не дает забывать о реальном мире, которому до нас и наших книг нет никакого дела. Она все время напоминает, что издательство для меня — лишь хобби, замечательное развлечение. Больше всего на свете я бы не хотел превратиться в издателя-профессионала, который думает только о том, как заставить покупателя приобрести абсолютно не нужную ему книгу.

"ИЛ". А что же важно для вас как издателя?

Д. В. Берусь утверждать со всей серьезностью, что "Kolonna publications" можно назвать единственным независимым издательством в России. Не знаю ни одного другого, которое возникло бы так давно ("Колонна" основана 11 лет назад) и выпустило так много книг, существуя при этом совершенно автономно, словно в другой стране и другой эпохе. Конечно, за пределами России таких издательств немало — "Verticales" и "Desordres" во Франции, "Paseka" и "Volvox Globator" в Чехии, "Creation Books", "Mandrake" и "Savoy" в Англии, десятки в Америке. Наш общий пращур — Морис Жиродиас, основатель знаменитой "Olympia Press".

"ИЛ". Можно ли сегодня говорить о делении культуры на общепризнанную и маргинальную?

Д. В. Полагаю, такое представление явно устарело. Если судить по количеству посетителей интернет-сайтов, например, то мейнстримом окажется самая грубая порнография. Существуют сотни субкультур, и в каждой своя система ценностей, свои запросы. У "Колонны", как и у других упомянутых мной издательств, есть возможность выпускать книги, не ориентируясь на рынок. Я не решусь сказать, что мы работаем на какой-то определенный субкультурный круг, просто я выбираю книги, которые нравятся лично мне, не задумываясь о том, как они будут продаваться. Наши тиражи, как правило, ниже порога окупаемости — максимум две тысячи экземпляров. Если бы не технические сложности, я бы сократил их до пятисот-восьмисот, поскольку уверен, что и двух тысяч читателей такой литературы в России не наберется. Если у нас и есть какие-то точки пересечения с литературно-издательским миром, то только в том, что наши книги стоят на полках тех же магазинов, что и все прочие. Меня это изрядно раздражает — я бы предпочел, чтобы все распространялось только через Интернет, вне коррумпированной, пошлой и безнадежно советской книготорговой системы.

"ИЛ". Как же вам удается совершать это "автономное плавание"?

Д. В. Во-первых, мы обходимся без множества статей расходов, которые подрывают бюджет, – без офиса, штатных сотрудников и вообще постоянных ставок. На рекламу тоже не тратимся: у нас есть сайт www.kolonna.org, есть блог для анонсов, вот и все. Во-вторых, нам помогает группа меценатов, объединившихся в тайное общество "Друзья Сосуда". Собственно, мы просто чуть опередили время – в ближайшие годы произойдет окончательный крах книгоиздания (он уже начался, но не все осознают его неотвратимость), и большинству издателей, вероятно, поневоле придется действовать по нашей схеме. Проблема ведь не в том, что читателю трудно найти нужную книгу – в Интернете вопрос решается нажатием одной кнопки, – просто интерес к литературе падает и будет падать, а книг при этом становится все больше и больше. Через десять-пятнадцать лет издательства (во всяком случае, в их нынешнем виде) исчезнут вовсе, как исчезли пишущие машинки. Не нахожу в этом ничего дурного и не вижу смысла гримировать труп книгоиздания.

"ИЛ". Каков круг переводных авторов, которых вы выпускаете?

Д. В. Мы уже несколько лет поддерживаем две серии – скорее условные, чем формальные, поскольку книги выходят в несерийном оформлении. Первая – "Crême de la Crême"[1], – классика мировой литературы. Ее авторы хорошо знакомы читателям вашего журнала: это Ален Роб-Грийе, Альфред Дёблин, Эльфрида Елинек, Гертруда Стайн, Антонен Арто, Луи-Фердинанд Селин, Пол Боулз[2], Гай Давенпорт.

Кстати, моим первым большим увлечением как читателя был немецкий экспрессионизм, в первую очередь Майринк. Множество раз я читал и перечитывал также "Берлин – Александерплац" и "Пощады нет", а теперь очень горжусь тем, что "Колонне" удалось воскресить инициативу разорившегося издательства "Просодия" и выпустить две книги Альфреда Дёблина в великолепных переводах.

Позвольте мне воспользоваться случаем, чтобы обратиться к читателям "ИЛ" за помощью. Перевод знаменитого романа Дёблина "Горы, моря и гиганты" был выпущен ленинградским отделением Госиздата в 1936 году. Весь тираж этой книги уничтожили по распоряжению из Москвы, но я уверен, что хотя бы один экземпляр должен был сохраниться. Поиски в архивах не дали результата, но я не теряю надежды; конечно, можно было бы заказать новый перевод, но мне бы хотелось выпустить эту книгу в старом – хотя бы для того, чтобы колоссальный труд переводчика (возможно, пострадавшего за эту книгу) не пропал окончательно. Так что меня очень интересуют любые сведения о судьбе этого издания.

"ИЛ". А что представляет собой вторая серия вашего издательства?

Д. В. Вторая – "Vasa Iniquitatis"[3]; это трансгрессивные тексты, то, что можно назвать альтернативной классикой. Боюсь, на страницах "Иностранной литературы" ее авторы не упоминались вообще ни разу. Это Пьер Гийота, Габриэль Виткоп, Герард Реве, Ладислав Клима, Але-

1. "Самое лучшее" (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. С. Силаковой*).
2. Пол Боулз (1910–1999) – американский поэт, прозаик, композитор. С 1952 года постоянно жил в Танжере.
3. "Сосуд беззаконий" (*лат.*).

хандро Ходоровский, Моник Виттиг, Кэти Акер, Эрик Стенбок, Пьер Буржад, Франсуа Ожьерас, Кеннет Грант... Надо сказать, за время существования "Колонны" возник почти сектантский круг читателей, которые покупают именно наши книги. Мне нравится это сравнение с сектой, я когда-то был знаком с существовавшими в глубоком подполье прихожанами Истинно Православной Церкви, которые отвергали советскую власть как бесовскую, отказывались от паспортов, не служили в армии и т. п. Примерно так существуем и мы — полностью игнорируя масскультурные тенденции, правила рынка, да и вообще все правила. И в литературе мне прежде всего интересны иконоборцы, девианты, безумцы, аутсайдеры, не знающие и не признающие правил.

"ИЛ". Как по-вашему, в эпоху "пост-постмодерна" литература иконоборцев и аутсайдеров по-прежнему воспринимается как провокативная? Если нет, то что для вас важнее — провокативный характер текста или какие-то другие его качества?

Д. В. Да, книги, когда-то считавшиеся бунтарскими, полностью утратили свою взрывную силу. Кого сегодня шокирует "Колодец одиночества"[1] или "Любовник леди Чаттерлей"? У меня нет никакого желания кого-то эпатировать, я прекрасно понимаю, что это невозможно. Литература влияет на общество не больше чем коллекционирование марок или спичечных коробков.

Если вы подразумеваете, что я отбираю тексты ради кого-то, кому-то бросаю вызов... Ей-богу, "общество" слыхом не слыхивало об издательстве "Колонна", а я вовсе не горю желанием преобразовывать мир. Просто издаю то, что мне интересно. Мне нравится садианская линия в литературе, нравятся тексты эпохи сексуальной революции — точнее тексты, предвосхищавшие ее. Среди них немало откровенно скучных (сочинения Генри Миллера, например), но есть и замечательные диковины, составившие нашу серию "Vasa Iniquitatis". У меня довольно большой список книг, которые хотелось бы выпустить в этой серии. Роман Паркера Тайлера и Чарльза Генри Форда "Молодые и злые", который, по словам Гертруды Стайн, сформировал поколение 30-х. Книги Эрика Журдена: его первый роман, "Порочные ангелы", знаменит тем, что даже либеральная французская цензура дважды его запрещала — в 1956 и 1974 годах, так что первое легальное издание появилось лишь в 1985 году, через 30 лет после того, как книга была написана. Конечно, все это — архивная литература; споры, которые из-за нее разгорались, давно забылись, но красивое зарево осталось.

"ИЛ". Значит, энергетика текста все-таки не подвержена эрозии?

Д. В. Все зависит от реципиента. Кто-то захвачен историей Эммы Бовари (вот одна из великих аутсайдерских книг), а кому-то это кажется невыносимой старомодной тягомотиной. Есть даже теория, что все, написанное до появления киберпанка, устарело безнадежно. Я же не очень внимательно слежу за тем, что пишут сегодня. Из новых писателей меня интересуют буквально два-три. Я убежден: будущее литературы в прошлом.

"ИЛ". И что нового "Колонна" извлечет из прошлого в ближайшем будущем?

1. "Колодец одиночества" — опубликованный в 1928 г. роман английской писательницы Рэдклифф Холл (1883–1943), где затрагивается тема лесбиянства.

Д. В. Я сейчас увлечен американским прозаиком Альфредом Честером. Его ценили в 50– 60-е годы, но быстро забыли – в частности, потому, что он страдал душевной болезнью и порвал с литературным миром. Поэт Эдвард Филд[1] основал "Общество Альфреда Честера" и много сделал для того, чтобы имя этого замечательного писателя вспомнили. Мы с Эдвардом решили выпустить собрание сочинений Честера на русском языке; в этом есть своя логика, поскольку родители Честера были выходцами из России, настоящая фамилия его отца – Шестипальский.

Первый том собрания – это очень смешной эротический роман "Колесница плоти", который Честер написал по заказу "Olympia Press" в Париже (кстати, Честер был редактором первого издания "Лолиты", выпущенного Морисом Жиродиасом). Получив заказ на эротический роман, он, по совету поэта Айры Коэна, использовал фабулу "Подлинной жизни Себастьяна Найта", так что "Колесницу плоти" можно воспринимать и как пародию на Набокова.

В наше собрание войдут еще два романа, в том числе самая известная книга Честера "Изысканный труп", а также рассказы и эссе. Последний том составят его письма из Марокко, которые пока даже на английском изданы не полностью – Честер несколько лет прожил в Танжере, куда его заманил Пол Боулз; Эдвард Филд считает, что этот сборник писем – лучшая книга Честера. Кстати, Филд написал очень интересные мемуары "Человек, который собирался жениться на Сьюзен Сонтаг" (этот "человек" как раз и есть Честер, которого с Сонтаг связывали весьма сложные отношения). У Честера вообще странная судьба – он в детстве полностью облысел из-за скарлатины, и необходимость носить парик изрядно травмировала его психику. В Танжере, где никто не обращал внимания на его странную внешность, он впервые почувствовал себя полноценным и свободным человеком. Книгу его марокканских писем Эдвард Филд озаглавил "Путешествие к краху", потому что эта поздно обретенная свобода в буквальном смысле свела Честера с ума. Я недавно разговаривал с кинорежиссером Томом Калином, он хочет снять фильм о Честере, но ничего не получается: продюсеров приводит в ужас такая идея – сделать главным героем абсолютно лысого шизофреника.

Кстати, у "Колонны" особое пристрастие к танжерскому литературному кругу; сейчас мы готовим к печати сборник Мохаммеда Мрабета[2]. Он не умел читать и писать, поэтому диктовал свои книги Полу Боулзу, который переводил их на английский. У Мрабета очень бурная биография, чем только он не занимался – был и рыбаком, и сутенером, и официантом, и жиголо; и все эти его истории записывал Боулз. В Америке книги Мрабета имели успех, у него появились именитые поклонники – в частности, Генри Миллер, который переписывался с ним через Боулза. Два года назад вышел интереснейший сборник писем Мрабета американским друзьям, он тоже войдет в наше собрание.

В начале 2008 года появится книга еще одного несправедливо забытого писателя – Джослина Брука. Роман "Знак обнаженного меча" был написан в 1949 году на волне политического психоза, когда казалось, что новая мировая война неизбежна. Это кафкианская история о скром-

1. Эдвард Филд (р. 1924) – американский поэт, прозаик и эссеист, лауреат ряда литературных премий США.
2. Мохаммед Мрабет (р. 1936) – марокканский сказитель и художник.

ном банковском клерке, который по воле неведомых сил оказывается в странном армейском подразделении и не может вырваться на свободу. Очень необычная, проникнутая темным эротизмом проза — одна из тех редких книг, которые остаются в памяти навсегда. Ну и, наконец, мы продолжаем издание романов Джеймса Парди[1]. Вот, кстати, досадное упущение "ИЛ" — ваш журнал, если не ошибаюсь, никогда не публиковал Парди, а все же он — один из последних титанов золотого века американской прозы.

"ИЛ". Кстати, как давно вы следите за нашим журналом?

Д. В. Я начал читать "ИЛ" чуть ли не в младенчестве (моя семья выписывала журнал еще со времен "Интернациональной литературы"), брал годовые подшивки и читал все подряд. Между прочим, с этим связана забавная история моей первой в жизни публикации. Когда мне было 11 лет, я написал письмо в редакцию от имени пенсионера Кечлова (перевернул свою фамилию), и это письмо было опубликовано "Иностранной литературой". Мне до сих пор стыдно, потому что письмо было исключительно глупое — я ругал Торнтона Уайлдера (тогда как раз в "ИЛ" был напечатан "Теофил Норт"). Много лет спустя я увлекся Уайлдером, когда прочитал его переписку с Гертрудой Стайн и мемуары Сэмюэла Стюарда[2].

Сейчас я уже не так внимательно читаю ваш журнал, но почти каждый номер смотрю в Интернете. Мне кажется, идеальный путь для "ИЛ" — не пытаться конкурировать с издательствами и не гнаться за литературной модой, а двигаться вспять и вглубь — в вызывающе консервативном духе публиковать то же самое, что и 30-40 лет назад: Фолкнера, Силлитоу, Стейнбека, Видала, Айрис Мердок. Думаю, многие давние читатели такой ход бы оценили.

1. Джеймс Парди (р. 1923) — американский прозаик.
2. Сэмюэл Стюард (1909–1993) — американский писатель и художник; писал также под псевдонимом Фил Андрос.

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Шалев М. *Как несколько дней* / Пер. с иврита Рафаила Нудельмана и Анны Фурман. — М.: Иностранка, 2007. — 464 с. — (Иллюминатор). 7000 экз.

Практически бессюжетный, распадающийся на сотни отдельных маленьких рассказов, но очень красивый роман живого израильского классика Меира Шалева. У главного героя, молодого человека по имени Зейде, есть три предполагаемых отца. Никто, включая мать, толком не знает, кто именно из богатых односельчан зачал его. Расследование тайны происхождения Зейде идет с переменным успехом, теряется в бесконечных побочных историях и притчах.

Фукуяма Ф. *Америка на распутье* / Пер. с англ. А. Григорьева. — М.: АСТ, АСТ-Москва, Хранитель, 2007. — 288 с. — (Philosophy). 3000 (п)

Знаменитый американский философ, автор тезиса о "конце истории", объясняет, что его неправильно поняли. Он говорил вовсе не о том, что после краха СССР все народы мира захотят жить в демократии и на этом кончатся войны и катаклизмы. Он, оказывается, говорил о том, что людям свойственна тяга к хорошей жизни и модернизации, и благодаря этому все народы так или иначе приходят к демократии. Помимо оправданий Фукуяма предлагает и "позитивную программу": пытается объяснить, что Америке делать с Ираком и Ираном. Впрочем, советы его выглядят не слишком убедительно. История, конечно, не кончилась, но в каком направлении она будет двигаться, не знает даже Фукуяма.

Макьюэн Иэн *Суббота* / Пер. с англ. Н. Холмагорова. — М.: РОСМЭН-Пресс, 2007. — 400 с. — 5000 экз. (п)

Один субботний день лондонского нейрохируга Генри Пероуна от пробуждения до отхода к спокойному сну. Пероун — преуспевающий, честный, верный, удачливый, добрый, гуманный и т. д. И родные у него такие же. Такое ощущение, что Макьюэн, лауреат Букеровской премии, решил на спор написать роман о положительном герое и борьбе хорошего с лучшим. И что самое поразительное — получилось интересно.

Дефоре Луи-Рене *Болтун. Детская комната. Морские мегеры* / Пер. с франц. Марка Гринберга. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2007. — 392 с. — 2000 экз.

Еще один замечательный писатель XX века. Два рассказа, вошедшие в книгу, были опубликованы в "ИЛ" (2006, № 9), и Марк Гринберг получил за их перевод премию "Иностранная литература". Но все остальное публикуется на русском языке впервые. В России Дефоре совсем не знают, а между тем он оказал влияние на Камю, удостоился интереса Мориса Бланшо и Ива Бонфуа. Главное в прозе Дефоре не то, что происходит с героями, а то, что случается или может случиться с самой литературой.

Хулио Травьесо Серрано
Julio Travieso Serrano
[р. 1940]. Кубинский прозаик, журналист, университетский преподаватель. Лауреат Национальной премии по литературной критике [1997], Национальной премии по литературе [1981], Мексиканской национальной премии *Масатлан* [1993], венесуэльской премии *Ромуло Гальегос* [1995] и др.

Автор романов *Чтобы убить волка* [*Para matar el lobo*, 1971; рус перев. – *ИЛ*, 1979, № 1], *Когда умирает ночь* [*Cuando la noche muera*, 1981], *Пыль и золото* [*El Polvo y el oro*, 1996] и др., сборника рассказов *Далеко улетает чайка* [*A lo lejos volaba una gaviota*, 2004]. Перевел на испанский язык романы М. Булгакова *Белая гвардия* и *Мастер и Маргарита*, а также произведения Ю. Нагибина и др.
Роман публикуется по изданию *Llueve sobre la Habana* [La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2004].

Брайен Фрил
Brian Friel
[р. 1925]. Ирландский драматург и режиссер. Лауреат президентской награды *Золотое ожерелье* [2006] и др.

Автор пьес *Враг изнутри* [*The Enemy Within*, 1962], *Любовники* [*Lovers*, 1967], *Переводы* [*Translations*, 1980], *Танцы в праздник Лугнаса* [*Dancing at Lughnasa*, 1990], *Филадельфия, я иду к тебе* [*Philadelphia, Here I Come*, 2003], *Родной дом* [*The Home Place*, 2004].
Пьеса публикуется по изданию *Целитель* [*The Faith Healer*. London: Faber and Faber Limited, 2001].

Фабрицио Бернини
Fabrizio Bernini
[р. 1974]. Итальянский поэт. Лауреат литературной премии *Орта Сан Джулио* [2003].

Автор поэтического сборника *Та же порода* [*La stessa razza*, 2003].
Стихи взяты из антологии *Новейшая итальянская поэзия* [*Nuovissima poesia italiana*. Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 2004].

Элиза Бьяджини
Elisa Biagini
Итальянский поэт.

Автор поэтических сборников *Эти узлы* [*Questi nodi*, 1993], *Гость* [*Lospite*, 2004] и др. Участвовала в антологии *Поэзия двадцатилетних* [*Poeti di vent'anni*, 2000].
Стихотворение взято из антологии *Новейшая итальянская поэзия* [*Nuovissima poesia italiana*. Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 2004].

Анила Ханджари
Anila Hanxhari
Итальянский поэт. Лауреат литературных премий *Камайоре и Матакотта*.

Автор поэтических сборников *Я, ты и душа* [*Io, tu e l'anima*, 1997], *Уснувшая на востоке трава* [*Assopita erba dell'Est*, 2002].
Стихи взяты из антологии *Новейшая итальянская поэзия* [*Nuovissima poesia italiana*. Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 2004].

Лукреция Лерро
Lucrezia Lerro
Итальянский поэт и прозаик.

Автор поэтического сборника *Комната слов* [*Una stanza di parole*, 2003] и поэтических публикаций в ряде авторитетных литературных журналов. Из прозаических произведений наибольший успех выпал на долю романа *Бывают дни, когда я счастлива* [*Certi giorni sono felice*, 2005], обеспечившего Л. Лерро место в числе финалистов престижной премии *Стрега*.

Стихи взяты из антологии *Новейшая итальянская поэзия* [*Nuovissima poesia italiana.* MILANO: ARNOLDO MONDADORI EDITORE, 2004].

СИЛЬВИЯ КАРАТТИ
SILVIA CARATTI
Итальянский поэт. Лауреат литературной премии *Матакотта.*

Автор поэтического сборника *Сюжет с металлами* [*La trama dei metalli,* 2000] и ряда публикаций в литературных журналах. Участвовала в антологии *Поэзия двадцатилетних* [*Poeti di vent'anni,* 2000].
Стихотворение взято из антологии *Новейшая итальянская поэзия* [*Nuovissima poesia italiana.* MILANO: ARNOLDO MONDADORI EDITORE, 2004].

АЛЬБЕРТО ПЕЛЛЕГАТТА
ALBERTO PELLEGATTA
[р. 1978]. Итальянский поэт. Лауреат литературных премий *Читта ди Меда* и *Амичи ди Милано.*

Автор поэтического сборника *Широкое утро* [*Mattinata larga,* 2002] и ряда публикаций в литературных журналах. Представлен в антологии *Поэзия двадцатилетних* [*Poeti di vent'anni,* 2000] и в других антологиях новой итальянской поэзии.
Стихи взяты из антологии *Новейшая итальянская поэзия* [*Nuovissima poesia italiana.* MILANO: ARNOLDO MONDADORI EDITORE, 2004].

ФРАНЧЕСКА МОЧЧА
FRANCESCA MOCCIA
Итальянский поэт.

Автор поэтического сборника *Вселенская плесень* [*La muffa del creato,* 2005]. Участвовала в антологии *Поэзия двадцатилетних* [*Poeti di vent'anni,* 2000].
Стихи взяты из антологии *Новейшая итальянская поэзия* [*Nuovissima poesia italiana.* MILANO: ARNOLDO MONDADORI EDITORE, 2004].

МАТТЕО ДЗАТТОНИ
MATTEO ZATTONI
[р. 1980]. Итальянский поэт.

Автор поэтического сборника *Враг* [*Il nemico,* 2003].
Стихи взяты из антологии *Новейшая итальянская поэзия* [*Nuovissima poesia italiana.* MILANO: ARNOLDO MONDADORI EDITORE, 2004].

РЕЖИС ДЕ СА МОРЕЙРА
REGIS DE SA MOREIRA
[р. 1973]. Французский писатель бразильского происхождения, пишет на французском языке. Лауреат премии *Избранная книга* [2000].

Автор романов: *Не теряя времени* [*Pas de temps à perdre,* 2000], *Без потерь* [*Zero tués,* 2002], *Книжник* [*Le Libraire,* 2004].
Публикуемый роман печатается по изданию *Le Libraire* [AU DIABLE VAUVERT, 2004].

ЮЛИАН ТУВИМ
JULIAN TUWIM
[1894–1953]. Польский поэт.

Автор книг *Подстерегаю Бога* [*Czyhanie na Boga,* 1918], *Пляшущий Сократ* [*Sokrates tańczący,* 1920], *Слова в крови* [*Słowa we krwi,* 1926], *Чернолесье* [*Rzecz czarnoleska,* 1929], *Цыганская библия* [*Biblia cygańska,* 1933], *Пылающая сущность* [*Treść gorejąca,* 1936], неоконченной поэмы *Цветы Польши* [*Kwiaty polskie,* опубл. фрагментами в 1949] и др.
Перевел на польский язык *Слово о полку Игореве, Горе от ума* А. С. Грибоедова, а также стихи А. С. Пушкина, В. В. Маяковского, Б. Л. Пастернака и др.
Переводы выполнены по изданиям *Избранные стихи* [*Wirsze wybrane,* WROCŁAW: BIBLIOTEKA NARODOWA, 1964], *Стихи* [*Poezje.* WARSZAWA: CZYTELNIK,1956], *Пером и перышком* [*Piórem i piorkiem.* WARSZAWA CZYTELNIK, 1957].

Гай Мэттисон Давенпорт
Guy Mattison Davenport
[1927–2005]. Американский писатель, переводчик, эссеист и художник.

Автор сборников рассказов *Татлин! Шесть рассказов* [*Tatlin! Six Stories*, 1974], *Велосипед Да Винчи: десять рассказов* [*Da Vinci's Bicycle: Ten Stories*, 1979], *Барабанщик Одиннадцатого Северно-Девонширского стрелкового полка* [*The Drummer of the Eleventh North Devonshire Fusiliers*, 1990] и др., нескольких сборников стихотворений и эссе, комментариев к произведениям античной литературы. На русском языке рассказы, миниатюры и эссе Давенпорта опубликованы в сборниках *Изобретение фотографии в Толедо* [СПб.: Амфора, 2002], *Погребальный поезд Хайле Селассие* [Тверь: Митин журнал/Kolonna Publications, 2003] и *Собака Перголези* [там же, 2007].
Публикуемые эссе взяты из сборника... (дать название по-русски) [*The Hunter Gracchus and Other Papers on Literature & Art*. Washington, D.C.: Counterpoint, 1997].

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат премии *ИЛлюминатор* [2002] и Государственной премии по литературе [2003].

Автор пяти сборников стихов [последний — *Гостья*, 2004]. В его переводах вышли книги У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], Уоллеса Стивенса *Тринадцать способов нарисовать дрозда* [2002], Джона Китса *Гиперион и другие стихотворения* [2004], Джона Донна *Алхимия любви* [2005], сборники *Книга NONсенса* [2000], *Лекарство от Фортуны* [2002], *Единорог* [2003], *Поэты английского Возрождения* [2006] и др. В 2003 г. вышла книга избранных переводов *Англасахаб: 115 английских, ирландских и американских поэтов*. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Татьяна Дмитриевна Венедиктова
Доктор филологических наук, профессор, литературовед, переводчик с английского.

Автор книг *Поэзия Уолта Уитмена* [1982], *Современная поэзия США: традиция и новаторство* [1989], *Человек, который создал себя сам. Американский опыт в лицах и типах* [1993], *Обретение голоса: национальная поэтическая традиция в США* [1994], *"Разговор по-американски": дискурс торга в литературной традиции США* [2003] и др. В ее переводах опубликованы *Удивительный волшебник из страны Оз* Л. Ф. Баума, *Противники Просвещения* И. Берлина и др.

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премии *Литературная мысль* [1997], *зоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна и Д. Китса, дневники С. Пипса и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Ирина Александровна Дементьева
Журналист, очеркист.

Почти 30 лет проработала в газете *Известия*. Последние годы, до ликвидации *Общей газеты*, работала в ней обозревателем. Лауреат премии Союза журналистов.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Зиновий Исаакович Цукерман
[р. 1931]. Сотрудник научно-исследовательского института.

Область интересов — теория вероятности и математическая статистика. Член совета Международного союза бывших узников фашизма. Последние годы занимается сбором, редактированием и изданием воспоминаний узников гетто и нацистских концлагерей. Соавтор книги *Последние свидетели* из серии *Анатомия Холокоста* [М.: Фонд *Ковчег*, 2002].
В *ИЛ* публикуется впервые.

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Издательские планы*. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Д. Рэмптона [1996, № 10], Э. Саида [2003, № 1], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Р. Фернандеса, Х. Альварес, Т. Риверы [2003, № 1], а также перевод романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4], Д. Деллило *Мао II* [2003, № 11–12] и автобиографические заметки Мюриэл Спарк *Curriculum vitae* [2007, № 4].

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Маргарита Ивановна Былинкина
Литературовед, лингвист, переводчик с испанского и немецкого языков, кандидат филологических наук. Лауреат премии *ИЛ* [1988].

Автор монографии *Особенности испанского языка в Аргентине* [1969], документального романа об испанской поэтессе XIX в. Г. Авельянеде *Божественная Тула* [1999], книги воспоминаний *Всего один век* [2005], а также ряда литературно-критических статей о латиноамериканских писателях Г. Маркесе, Х. Кортасаре, Х. Л. Борхесе, М. А. Астуриасе и др. В ее переводе выходили роман *Сто лет одиночества* Г. Маркеса, романы К. Фуэнтеса, М. Отеро Сильвы, А. Карпентьера, Б. Линча, Г. Авельянеды и др., рассказы Х. Кортасара, Х. Л. Борхеса. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Марк Артурович Дадян
[р. 1972]. Лингвист, переводчик с английского и французского языков.

В его переводах публиковались произведения В. Набокова, У. Х. Одена, Дж. Бакли и др. В *ИЛ* в его переводе напечатана Нобелевская речь В. С. Найпола [2002, № 5], эссе С. Сонтаг *Болезнь как метафора* [2003, № 8] и фрагмент романа С. Беккета *Мечты о женщинах, красивых и так себе* [2005, № 10].

Екатерина Владимировна Скрылева
Переводчик с английского.

В ее переводе выходили романы Дж. Деверо, Э. Джордж, М. Али, Г. Вука. В *ИЛ* в ее переводе публиковались эссе М. Этвуд и Р. Дэвиса [2006, № 11], беседа Д. Дроздовского с А. С. Байетт [2006, № 12], статья П. Трэверс [2007, № 6] и беседы с Дж. Бэнвиллом, Дж. Макгахерном, Ш. Хини, У. Тревором из ирландского сборника *Вчитываясь в будущее* [2007, № 6].

Евгений Михайлович Солонович
[р. 1933]. Переводчик с итальянского. Лауреат Государственной премии Италии [1996] и премии *ИЛлюминатор* [2000]. Командор ордена Звезды итальянской солидарности.

Переводил произведения Данте, Петрарки, Ариосто, Джузеппе Белли, Сабы, Джузеппе Унгаретти, Эудженио Монтале, Марио Луци, Джорджо Капрони и др. В 2000 г. вышла книга его избранных переводов *Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича*. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Яна Александровна Арькова
Переводчик с итальянского. Студентка Литературного института им. А. М. Горького [Творческий семинар Е. М. Солоновича].

В ее переводе были опубликованы рассказы Л. Литтиццетто. В *ИЛ* публикуется впервые.

Наталья Самойловна Мавлевич
Переводчик с французского. Лауреат премии *Иноли́ттл* [1999] и премии имени Мориса Ваксмахера [2001].

В ее переводах издавались произведения М. Эме, Б. Виана, М. Юрсенар, Э. Ионеско, Лотреамона, Л. Арагона, М. Жакоба, М. Шагала, Б. Шагал, А. Жарри, Э. Чорана, Э. Ажара и др. В *ИЛ* печатались *Песни Мальдодора* Лотреамона [1993, № 1], романы А. Сарразен *Перелом* [1993, № 10, 11], Э. Ажара *Голубчик* [1995, № 7], А. Нотомб *Антихриста* [2004, № 10], Дай Сы-цзе *Комплекс Ди* [2005, № 8], миниатюры Ф. Делерма [2002, № 7], пьеса Э.-Э. Шмитта *Гость* [2004, № 6], фрагменты книги П. Брюкнера *Вечная эйфория* [2006, № 3], мини-рассказы Ф. Делерма [2006, № 9] и др.

Анатолий Михайлович Гелескул
[р. 1934]. Переводчик, лауреат премий *ИЛ* [1993], *Иноли́ттл* [1995], *ИЛлюминатор* [2001], *Мастер* [2007].

В его переводе публиковались стихи испанских поэтов Х. Р. Хименеса, А. Мачадо, Ф. Гарсиа Лорки и др.; польских — А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского и др.; французских — П. Верлена, Г. Аполлинера и др. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Анастасия Николаевна Власова
Переводчик с английского.

В ее переводе публиковались рассказы Т. Капоте, Б. Мальцберга, Р. П. Уоррена. В *ИЛ* напечатаны ее переводы рассказов Р. П. Уоррена *Ежевичная зима* [2001, № 5], Гиш Чжэнь *Это я — ирландка?* [2002, № 5], эссе М. Бирбома [2002, № 11] и О. Хаксли [2004, № 1].

Дмитрий Олегович Воевода
[р. 1973]. Переводчик с английского. Закончил Литературный институт им. А. М. Горького в 2001 г.

В *ИЛ* публикуется впервые.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.

- оптимальные условия подключения,
- бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использована фотография итальянского фотографа Джиани Костантино из серии *Пейзажи Кубы* [1980].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

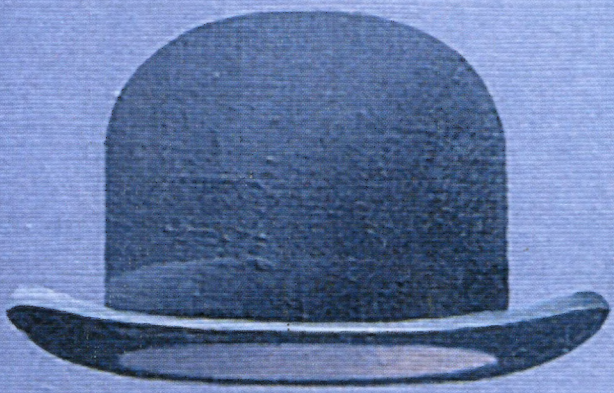
Подписано в печать 15.10.2007
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2613.
Тираж 7200 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Информационная поддержка

[12] 2007

ПИСАТЕЛЬ ПУТЕШЕСТВУЕТ: СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ, ДЕЙВ ЭГГЕРС, И ДР. В РУБРИКЕ "ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ?" / СЬЮЗЕН СОНТАГ, ЛОРЕНС ДАРРЕЛЛ И ДР. В РУБРИКЕ "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ" / В. С. НАЙПОЛ, ПОЛ ТЕРУ И ДР. В РУБРИКЕ "ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ" / "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ": ТОБАЙАС ДЖОРДЖ СМОЛЛЕТТ, АСТОЛЬФ ДЕ КЮСТИН, ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2007, №11, 1-288